

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

ТЕКСТ И ТРАДИЦИЯ

альманах

4

Санкт-Петербург
«Росток»
2016

УДК 82.161.1(051.4)
ББК 83.3(2РОС=РУС)6Я5
Т30

Издание осуществлено по инициативе Петра Авена

Редакционный совет альманаха «Текст и традиция»

Евгений Водолазкин (*Санкт-Петербург*) – главный редактор

Всеволод Багно (*Санкт-Петербург*) • Павел Басинский (*Москва*) •
Алексей Варламов (*Москва*) • Игорь Волгин (*Москва*) • Ренэ Герра (*Ницца*) •
Андрей Дмитриев (*Санкт-Петербург*) • Оливер Реди (*Оксфорд*) •
Татьяна Руди (*Санкт-Петербург*) • Владимир Толстой (*Ясная Поляна* –
Москва) • Лиза Хейден (*Скарборо, США*) • Роберт Ходель (*Гамбург*) •
Елена Шубина (*Москва*) • Леонид Юзефович (*Санкт-Петербург*)

Т30

Текст и традиция: альманах, 4 / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)
Рос. Акад. наук, Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». –
Санкт-Петербург: Росток, 2016. – 447 с.
ISBN 978-594668-165-0

Альманах «Текст и традиция» издается Пушкинским Домом и Ясной Поляной, двумя известнейшими «литературными домами» России. Одной из важных его задач является рассмотрение современной русской литературы в контексте литературной традиции – классической и древней. В определенном смысле альманах соединяет в себе черты научного и литературного («толстого») журналов: в соответствующих разделах публикуются исследования академического типа и литературные эссе. Особое место в издании занимают диалоги участников литературного процесса на историко-культурные темы, а также публикация архивных материалов.

УДК 82.161.1(051.4)
ББК 83.3(2РОС=РУС)6Я5

ISBN 978-594668-203-9



- © Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 2016
- © Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2016
- © Е. Г. Водолазкин, концепция, составление и редактирование, 2016
- © Коллектив авторов, 2016
- © ООО «Издательство „Росток“», 2016

Содержание

ACADEMIA

<i>Татьяна Руди (Санкт-Петербург)</i> «Живые мертвецы» древнерусских житий (из истории агиографической топики)	7
<i>Андрей Рангин (Москва)</i> «Слово о полку Игореве»: поиски контекста	19
<i>Людмила Луцевич (Варшава)</i> «Исповедь» Константина Леонтьева: текст и контекст	41
<i>Владимир Иванов (Берлин)</i> Семейная драма Бугаевых и ее отражение в творчестве Андрея Белого	59
<i>Габриэлла Импости (Болонья)</i> «Война в мышеловке» Велимира Хлебникова: Опыт прочтения	98
<i>Татьяна Двинятина (Санкт-Петербург — Бремен)</i> Две ноги позднего И. Бунина (еще раз о последних стихах)	114
<i>Алла Грачева (Санкт-Петербург)</i> «Творчество как сновидение» (по материалам «Дневника мыслей» Алексея Ремизова) ..	130

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Оробий (Благовещенск)
Матрица современности и новейший русский роман 145

Андрей Аствацатуров (Санкт-Петербург)
Человек и цивилизация
в тексте Генри Миллера «Нью-Йорк и обратно» 156

VOX SCRIPTORIS

Михаил Эпштейн (Атланта, США)
О целях поэзии 171

Людмила Сараскина (Москва)
Право на вольность, или События в театре Шекспира 176

Павел Нерлер (Москва)
«У чужих людей мне плохо спится...»:
Воронежские адреса Осипа Мандельштама 202

Михаил Кельмович (Санкт-Петербург)
Иосиф Бродский. Родственный взгляд 250

Владимир Березин (Москва)
Слово об интимной прозе 273

ИСТОРИЯ КНИГИ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Людмила Сараскина (Москва)
Достоевский как центр литературного притяжения 303

Сергей Носов (Санкт-Петербург)
На правах персонажа
(о романе «Дайте мне обезьяну») 318

Дмитрий Быков (Москва)
Орфография 329

Илья Бояшов (Петергоф)
Танкист, или «Белый тигр» 336

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей Аствацатуров (Санкт-Петербург)
Идеология и поэтика (о романе «Люди в голом») 339

Гузель Яхина (Москва)
Зулейха открывает глаза 343

АРХИВ

Александра Веселова (Санкт-Петербург)
«Лучший в архангелогородском посаде писец
в прозе и стихах»: А. И. Фомин и его сочинения 349

Майкл Вахтель (Принстон, США)
Переписка Вячеслава Иванова с Э. Р. Курциусом 386

Петр Мажара (Санкт-Петербург)
«Всё это преодоление отрыва от России...»:
писатель Л. Ф. Зуров и сохранение исторической традиции
в эмиграции 408

РЕЦЕНЗИИ

Владимир Ермаков (Орел)
Три книги для медленного чтения 425

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 440

ACADEMIA

«Живые мертвецы» древнерусских житий: (из истории агиографической топики)

Рискну предположить, что понятие «живые мертвецы» в сознании условного (особенно — молодого) современного читателя может вызвать ассоциации скорее с мистическими персонажами массовой культуры,¹ чем с традиционными текстами средневековой книжности. Между тем, топос «живых мертвецов» глубоко укоренен в христианской литературе: понимаемый в системе иного культурного кода (подразумеваются не вернувшиеся из потустороннего мира *ожившие мертвецы*, а подвижники, сознательно *умервляющие свою плоть* ради обретения *жизни вечной* за гробом), он является одним из существенных элементов средневековой поэтики и активно используется в агиографических текстах.

Настоящая статья ставит своей задачей рассмотрение вариантов использования топоса «живых мертвецов» в древнерусских монашеских житиях.²

¹ *Живые мертвецы* (англ. *living dead*) — обобщающий термин для обозначения разного рода фильмов и серий фильмов о зомби, первым из которых стал фильм 1968 года «Ночь живых мертвецов» (англ. *Night of the Living Dead*), снятый Джорджем Ромеро и Джоном Руссо.

² Я не рассматриваю здесь феномен известных оксюморонных названий русской классики («Живой труп», «Живые мощи», «Мертвые души») как выходящий за рамки настоящего исследования. См. на эту тему, например: Дробленкова Н. Ф. «Живые мощи»: Житийная традиция и «легенда» о Жанне д'Арк в рассказе Тургенева // Тургеневский сборник: Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. Л., 1969. Т. 5. С. 289–302; Буданова Н. Ф. Рассказ Тургенева «Живые мощи» и православная традиция: (К постановке проблемы) // Русская литература. 1995. № 1.

В Житии Феодосия Печерского — первом русском преподобническом житии — присутствует следующий эпизод: будущий святой, желая принять иноческий постриг, ночью тайно покидает родительский дом. При этом агиограф сопровождает описываемый им сюжет следующим комментарием: «Мати же его много искавъши въ градѣ своемъ и въ окръстьнихъ градѣхъ и яко не обрете его, плакаашеся по немъ люте, биющи въ пьрси своя, яко и по мрътвѣмъ».³

Цитированный фрагмент включает в себя один из ярких элементов агиографической топики, традиционно использующийся в монашеских житиях, — мотив *плага родителей о будущем иноке как о мертвом*.⁴ В качестве иллюстрации к тезису о распространенности этого топоса в русской агиографии приведу здесь лишь некоторые варианты его реализации в древнерусских житиях преподобных.

В Житии Феодосия Печерского, помимо приведенного начального фрагмента, интересующий нас мотив встречается еще раз — в эпизоде, посвященном постригу боярского сына Варлаама. Здесь отец героя, в отличие от матери Феодосия, после долгого сопротивления все же отпускает своего сына-отрока в монастырь, однако сравнение решившего принять постриг с умершим использовано и тут — причем, в более пространным варианте: «Бы же тѣгда вещь пречюдѣна и плачь великъ, яко и по мрътвѣмъ. Рабы и рабыня плакахуться господина своего и яко отъхожааше отъ нихъ, иде жена, мужа лишающися, плакашешя, отъць и мати сына своего плакастася, яко отлугашешя отъ нихъ, и тако с плачьмъ великъмъ проважахути ѱ».⁵

С. 188—194; Шулежкова С. Г. От Земли обетованной к Небесам обетованным: Очерки о судьбах библейских крылатых выражений. М., 2013. С. 122—137; и др.

³ См.: Житие Феодосия Печерского / Подгот. текста, перевод и коммент. О. В. Творогова // Библиотека литературы Древней Руси (далее — БЛДР). СПб., 1997. Т. 1. С. 364.

⁴ Об этом мотиве см., например: Лобакова И. А. «Житие митрополита Филиппа». II. «Житие митрополита Филиппа» и севернорусская житийная традиция: (Вопросы типологии) // ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51. С. 359; Руди Т. Р. 1) О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 497—498; 2) Преподобный и юродивый (о житийной топике и типологии святости) // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI—XX века): Сборник статей, посвященный 45-летию научно-педагогической деятельности Елены Ивановны Дергачевой-Скоп / Сост. и отв. ред.: О. Н. Фокина, В. Н. Алексеев. Новосибирск, 2011. С. 511—513 (Серия «Книга и литература»); и др.

⁵ Житие Феодосия Печерского. С. 374.

В Тулуповской редакции Жития митрополита Филиппа топос представлен в традиционном кратком варианте, в котором «свой град» логическим образом заменен на «царствующий град», а словосочетание «окрестные грады» распространено посредством включения в него идиоматического выражения «грады и веси»: «Родителем же его взысканию велику бывшу о немъ, поискавше его въ царствующем градѣ всюду, и по окрестнымъ градовом и весемъ, и не обрѣтше, и плакашеся, яко по мертвомъ».⁶

В Житии Александра Свирского можно наблюдать еще более близкую текстовую зависимость интересующего нас эпизода от Жития Феодосия Печерского: «Родителя же блаженнаго отрока много искавше в граде и въ окрестных странах и весех, и не обрѣтше его, плакастася по нем лютѣ, яко и по мертвомъ, и перси своя биюще».⁷ Как можно видеть, в лексически близких формах здесь говорится о *многих поисках в окрестных странах и весях* (в Житии Феодосия речь идет об «окръстныхъ градѣхъ»), *лютотом плаге* («плакашеся по немъ лютѣ» и «плакастася по нем лютѣ») и о *биении себя в грудь* («биючи въ пьрси своя» и «и перси своя биюще»)⁸.

Как установила Т. Б. Карбасова, анализируемый фрагмент из Жития свирского подвижника позднее был полностью (с уточнением лишь локализации событий) заимствован в Житие Кирилла Новоезерского: «Родителя же блаженнаго отрока много искавше во градѣ Галиче, и въ ьныхъ градѣх, и во окрестных странах и весехъ, и не обрѣтше его, и плакастася о нем лютѣ, яко и по мертвомъ, в перси своя биюще».⁹ Дополнительным свидетельством прямого заимствования является в данном случае следующий за приведенной цитатой «избыточный» фрагмент текста, совпадающий в тексте-реципиенте и тексте-источнике: «И заповѣдано же бяше по всей странѣ той, идѣже аще кто гдѣ видѣвъ или слышавъ такового отрока, да пришедши возвѣстят о немъ отцу его и мзду примуть о возвѣщении его».¹⁰

⁶ Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа: Исследование и тексты. СПб., 2006. С. 170.

⁷ Житие Александра Свирского: Текст и словоуказатель / Сост.: И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, Л. А. Захарова, К. Н. Лемешев; Под ред. А. С. Герда. СПб., 2002. С. 39 (Памятники русской агиографической литературы).

⁸ См. об этом: Яхонтов И. Жития святых северно-русских подвижников Поморского края как исторический источник / Составлено по рукописям Соловецкой библиотеки. Казань, 1881. С. 37–87, 334–377.

⁹ См. об этом: Карбасова Т. Б. Кирилл Новоезерский: история почитания: Исследование и тексты. М.; СПб., 2011. С. 240–241.

¹⁰ Карбасова Т. Б. Житие Кирилла Новоезерского: Первоначальная редакция // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 648.

Представляет особый интерес индивидуальное развитие, которое рассматриваемый мотив получил в Житии Кирилла Новоезерского. Повествуя о дальнейших событиях, агиограф включил в текст Жития цитату из евангельской Притчи о блудном сыне, которая образует художественное «сцепление» с использованным ранее мотивом плача как о мертвом: когда через семь лет отец отрока узнает о том, что его сын принял постриг в Корнилиевом монастыре, он «скоро тече к женѣ своей и сказа ей вся, како “сынъ наю мертв бѣ и оживе, изгиблѣ бѣ и обрѣтесе”»¹¹ (ср.: Лк. 15: 24; 15: 32).

Как можно видеть, ситуация в данном случае строится как зеркально противоположная первоначальной: в то время как в исходном эпизоде утрата ушедшего в монастырь отрока расценивалась его родными как *смерть*, теперь вновь обретенный сын-инок воспринимается его духовно прозревшими родителями (оба они вскоре также принимают постриг) как *воскресший из мертвых*. Справедливости ради нужно отметить, что плач родителей относится к тому времени, когда о том, что исчезнувший сын ушел в монастырь, им еще не было известно. Вместе с тем, материал различных житий, содержащих тот же сюжетный ход, позволяет полагать, что связь мотивов «плач как о мертвом» и «уход в монастырь» не подлежит сомнению.

Второй из приведенных фрагментов Жития Кирилла Новоезерского, как уже было отмечено, несколько «выламывается» из привычной схемы реализации мотива плача родителей о сыне-монахе как о мертвом. Традиционно же этот топос в большинстве житий является парным к мотиву «монашеский постриг — умертвие миру». Оба они с противоположных позиций отражают представление о монашестве как социальной смерти:¹² в то время как близкие оплакивают оставившего мир инока как мертвого (для них, для прежней жизни в социуме с принятием монашества он, в сущности, умирает), для него самого постриг как добровольное «умертвие миру» (а через него — как путь к спасению и обретению Царствия Небесного) является искомой целью. Показательно в этом отношении, что глава монастырского «Устава» Нила Сорского, посвященная теме отречения иночествующих от всего мирского, имеет следующее заглавие: «О отсѣчении и беспопечении истиннѣм, еже есть умрътвие от всѣхъ».¹³

¹¹ Карбасова Т. Б. Житие Кирилла Новоезерского. С. 649.

¹² О монашестве как одной из архаичных форм добровольно принимаемой социальной смерти см.: Hasenfratz H.-P. Die toten Lebenden: Eine religionsphänomenologische Studie zum sozialen Tod in archaischen Gesellschaften. Leiden, 1982. S. 34–35 (см. также примеч. 36 настоящей статьи).

¹³ Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения / Изд. подгот. Г. М. Прохоров. СПб., 2005. С. 96.

В Житии Александра Ошевенского, которое характеризуется сочетанием традиционной агиографической топики с индивидуальной разработкой многих мотивов, мотив плача родителей о сыне-иноке также получил особое развитие. Здесь отрок Алексей (мирское имя подвижника) уходит из дома, испросив разрешение родителей посетить монастырь Кирилла Белозерского, чтобы приложиться к мощам преподобного. Когда же он принимает решение остаться в обители, то сообщает об этом, послав домой с одним из своих спутников объяснительное «писание», которое становится для родителей тяжелым ударом. Описывая эту сцену, агиограф использовал традиционную агиографическую формулу *лютото плача как о мертвом*, расширив повествование дополнительными деталями, не лишенными определенного психологизма: «Человѣкъ же той приходитъ в домъ Никифоровъ (отца отрока Алексея. — Т. Р.) и вдаетъ ему писание от сына своего (*так!*). Никифор же и жена его велими оскорбистися о сыну своемъ, *плакаста по немъ люте, яко по мертвомъ*. Прочтenu же бывшу писанию, Никифоръ же многая досадительныя глаголы изрече о сыну своемъ от великия жалости и туги и не вѣдый, что сотворити. Жена же его плакашеса и умилныя глаголы мнози изглаголавши от жалости сердца. Соседи же не могоша ихъ от плача увѣщати».¹⁴

В старообрядческом Житии Кирилла Сунарецкого (Сунского, Виданского) интересующий нас мотив осложнен тем, что здесь будущий подвижник покидает родительский дом после того, как был насильно отдан «в сопряжение брака» (довольно распространенный вариант топоса):

И не по мнозѣ времени во едину от ношей, всѣмъ домашнимъ его и супругѣ в глубокий сонъ сведеннымъ бывшимъ, той же, воставъ скоро, взя с собою мало хлѣба и ризу, юже всегда ношаше, изыде тайно из дому своего. <...> Егда же время куроглашения быти, в неже обычай имуть мирския от сна воставати, но Карпъ (мирское имя Кирилла. — Т. Р.) в домѣ не обрѣташеса. Поискавше же его в домашнихъ селенияхъ, мняще, да негли отведоша его камо нѣкая домовная попечения, но единаче не обрѣташеса. И того ради в скорби велицѣй бяху родителие его и супружница и, день от дне провождающе, искаху его во окрест-

¹⁴ Цит. по ркп.: РНБ, Соловецкое собр., № 992/1101, л. 43 об.—44. Отмечу, что А. В. Пигиным была недавно выдвинута гипотеза о том, что одним из источников Жития Александра Ошевенского (и, в частности, интересующего нас эпизода) могло быть Житие Алексея Человека Божия; см.: *Пигин А. В.* Святые «единодушники» Алексей человек Божий и Александр Ошевенский: к проблеме агиографических прототипов // Четвертый агиографический семинар «Парность в агиографии»: В честь Милены Всеволодовны и Татьяны Всеволодовны Рождественских (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, 23 сентября 2015 г.).

ныхъ вѣсѣхъ, но не обрѣтаху, *и того ради плакаху по немъ яко по мертвомъ*. Отець же его, видя сына своего неначаянное отшествие, иногласне¹⁵ — родительской болѣзни, рещи, пагубу, — болшею печалию обложи свою душу. Такожде и мати его матерски кричаше, женскими умилными гласы причиташе. Такожде и супруга его горко вдовства и сиротства своего плакаше, дочь свою малую на рукахъ своихъ держаше, всяческими умилными женскими гласы стоняше. И стекошася на ихъ горкий плачь вси знаемии и сродственнии и сосѣди. И вси с ними горко кричаще, поминающе его добрыя глаголы от Божественнаго Писания, како имъ сказоваше и поучаше ихъ, и глаголаху к родителямъ: «Почто вы сие дѣло над нимъ, не хотящу ему, сотворили? — Принудили его силою законному браку сочетатися!».¹⁶

Примечательно, что мотив *умертвия миру* использован агиографом и в одном из последующих эпизодов Жития, повествующем о том, как Кирилл решил временно покинуть монастырь ради посещения своих престарелых родителей. В этом случае топос «монахи — живые мертвецы» реализуется как бы «в обратной перспективе» — идея необратимости *умертвия миру* озвучивается здесь с позиций монастырской этики, будучи вложена в уста игумена и духовного отца героя. Приведу здесь этот эпизод полностью:

И прииде ему в мысль посѣтити родителей своихъ, не для желания или угождения плоти своея, но для спасения родителей своих, да вина имъ будетъ къ вѣчному спасению, и самъ от нихъ благословения сподобится, а оныхъ на старость от печали свободить. И егда сицевую мысль от сокровища сердца своего во уши игумену и духовнаго своего отца отрыгну, тогда тии немалу тщету возмнѣша быти отшествию его от нихъ, отсюда жалѣюще образъ послушания его изъ обители отпустить, отнюду же боящися, да не будетъ оный пленень любовию родителей и супружницы. Тѣмъже и увѣщавають его, глаголюще: «Почто, чадо, оставляеши спасительное мѣсто и въ мирския жилища отходиши? *Уже бо единою умре мирови, погто к нему яко живѣ обращаетиши?* Почто оставляеши покой и в некончаемое безпокойство идиши? Или не вѣси жалости родителей твоихъ, или не разумѣеши любви супружницы твоея, или не знаеши болѣзней, бываю-

¹⁵ *Испр., в ркп.* имогласние.

¹⁶ Цит. по ркп.: БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 999, л. 10–11.

щихъ о дѣтѣхъ, ихъже всѣхъ в дому твоёмъ имаши? И аще любви тѣхъ плѣнишися, увы, коликая пострадати имаши!».¹⁷

Осознание себя «живыми мертвецами» — по отношению к покинутому ими миру — свойственно героям многих монашеских житий. Так, например, в Житии Димитрия Прилуцкого эта позиция прямо постулируется, будучи вложена в уста героя-инока: преподобный наставляет впавшую в соблазн женщину (узнав о его красоте, она решила во что бы то ни стало увидеть его лицо, скрываемое под куколем) следующими словами: «Почто хотя видети грешнаго и мертвенаго ми телеси, иже мира отвергъшася?»¹⁸

В Житии преподобного Варлаама Важского — севернорусского подвижника, прославившегося богоугодной жизнью в миру и принявшего постриг лишь в конце жизни,¹⁹ — интересующий нас топос присутствует в авторской речи, будучи усилен мотивом противопоставления плоти и духа: «Духу Святому пріятелище бысть, Варлааме, равноангельного ради житія твоего в живоносную мертвость облегеса, повину плоть духови, — тѣмъ от земныхъ прѣставися къ небеснымъ, бесконечный покой от трудовъ своихъ пріять. Сонъ бо честенъ пред Богом смерть преподобных Его».²⁰ Здесь агиографический мотив «живого мертвеца» (в данном случае реализованный с помощью довольно редкого образа «живоносной мертвости») напрямую соединен с темой посмертного воздаяния святому за его подвижничество, с использованием псаломской цитаты-топоса о смерти преподобных, традиционной для монашеских житий (ср.: «Честна пред Господем смерть преподобных Его» (Пс. 115: 6)).

Сходные мотивы, но в ином лексическом выражении, присутствуют и в Службе важскому подвижнику, в которой акцент также делается на

¹⁷ Там же, л. 16–16 об.

¹⁸ Украинская Т. Н. Житие Димитрия Прилуцкого — памятник вологодской агиографии // Древлехранилище Пушкинского Дома: Материалы и исследования / Ред.: В. П. Бударягин, А. М. Панченко, Н. В. Поньрко. Л., 1990. С. 28.

¹⁹ См. о нем: Исидорова З. Н., Рыжова Е. А. Варлаам Важский // Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 611–614; Рыжова Е. А. Житие Варлаама Важского (Пинежского) в рукописно-книжной традиции XVI–XIX вв. // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика / Под ред. Т. Р. Руди и С. А. Семячко (отв. ред.). СПб., 2005. С. 615–647; Исидорова З. Н. Житие Варлаама Важского в контексте агиографического канона // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации / Отв. ред.: Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб., 2011. Т. 2. С. 112–139.

²⁰ РНБ, собр. М. П. Погодина, № 702, л. 2 об. — 3.

дуалистическом противопоставлении «плоть — дух»: «Проразумѣвъ будущая яко настоящая, не пощадѣ плоти своя во умерщвенѣ помыслѣ, но врагъ бывѣ тѣлеси своему, вмѣстилище бысть Святому Духу, воздержаниемъ крайнимъ плоть умертвивѣ, душу си оживилѣ еси. Тѣмъ яко к жизни рачитель бывѣ, приять Небесное Царство».²¹

Тема *умерщвления плоти* в монашеских житиях иногда принимает «прямые формы», когда мотив *живого мертвеца* из плоскости символической переходит в плоскость реального описания. Приведу в качестве примера фрагмент Жития Феофана Соловецкого — пустынножителя Нового времени, подвизавшегося в конце XVIII — первой четверти XIX века на Анзерском острове Соловецкого архипелага и в Поморье. Рассматриваемый эпизод представляет собой рассказ монастырского звонаря, заблудившегося во «внутренней пустыне» и встретившего там некоего пустынножителя; причем для описания изможденного до неузнаваемости подвижника-аскета автору оказывается достаточно одной формулы — пустыжник уподобляется здесь мертвецу:

Бывшу мнѣ, — рече, — въ Анзерскомъ скиту, таже шедшу на Голгофскую гору. Оттуду же возвращаяся, снидохъ съ пути брати ягоды и, заблудившися, потеряхъ путь ко скиту, и пребыхъ, блуждая по острову, два дня. Въ третий же день узрѣхъ дымъ въ горѣ и возрадовахся, надѣяся тамо обрѣсти раба Христова, вѣтайне Богу работающаго. Шедъ убо азъ къ горѣ оной, узрѣхъ малу скважню, въ нюже влѣзъ, обрѣтохъ дверь келлии, идѣже сотворихъ по обычаю иноческому молитву и рекохъ: «Благослови». Абие отвѣща ми нѣкто: «Аминь». Вшедшу же въ келлию, узрѣхъ раба Божия, мертвеца подобие носящаго, и по молитвѣ поклонихся ему. Онъ же повелѣ мнѣ сѣсти и рече: «Не ты ли еси звонарь имярекъ?» Азъ же рѣхъ: «Азъ есмь. Ты же како мя знаеши?» Онъ же отвѣща: «Вѣдалъ ли еси, брате, у отца Феофана въ просфорнѣ бывша ученика Климента? Се азъ есмь».²²

Вообще, уподобление скрывающихся в пустынях аскетов живым мертвецам — довольно часто используемый агиографический мотив, получивший широкое распространение в патериковых рассказах и отшельнических житиях. Приведу в качестве иллюстрации начальный фрагмент «Похвалы живущим в пустынях» из Жития Кирилла Челмогорского — одного из многих пустынников Русского Севера:

²¹ РНБ, собр. М. П. Погодина, № 702, л. 10—10 об.

²² Цит. по ркп.: БАН, собр. Археографической комиссии, № 222, л. 50—50 об.

Сии, слышавше глашь добраго пастыря, абие познаша благого Владыку. Купцы суще, сии, изшедше искати добрый бисерь, самому Христу уподобишася святии они и от Него стяжаша домы в пустыняхъ. Отшедше, видимъ онѣхъ селения *и како сѣдят, яко мертвици во гробѣхъ*.²³

Показательно императивное изложение монашеского правила в соединении с темой *живых мертвецов*, читающееся в «Предании старческом новоначальному иноку» — памятнике, составляющем ядро нравственно-дисциплинарного сборника «Старчество», имевшего широкое хождение в монастырской среде: «Аще хочещи обрѣсти покой и здѣ и везде, о семъ всегда себѣ зазираи и не осужай никогоже, ни уничижи, ни укори, ни оклеветай, ни похули никогоже — и дасть ти Богъ покой, и будеть ти сѣдѣние еже в кѣлии безъ мятежа и бес печали; тако прочее время сѣди в келии своей, и кѣлия твоя научит тя всему добру; *и буди яко мертвъ*,²⁴ не досожая, ни угрожаа чловѣкомъ, и славы от них не приемли — и, тако творя, спасешися».²⁵ Отмечу, что мотив *умертвия миру* соединен в приведенном пассаже с другим распространенным топосом житий преподобных — мотивом *нежелания славы от теловек*.²⁶

* * *

Мотивы *плага как о мертвом и живых мертвецов*, чаще всего использующиеся в монашеских житиях, иногда могут встречаться и в памятниках, связанных со святыми иных чинов святости. Так, например, они присутствуют в одном из недавно выявленных текстов XVII века — прощальном письме юродивого Стефана Трофимовича Нечаева (Стефана

²³ Цит. по ркп.: ГИМ, Музейское собр., № 1510, л. 132 об.

²⁴ Любопытно, что «Большой словарь русских пословиц», со ссылкой на «Книгу о скудости и богатстве» Ивана Посошкова (1724), фиксирует существование в 1-й четверти XVIII в. половицу «Чернец — мертвец» (*Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева Е. К.* Большой словарь русских пословиц. М., 2010. С. 988); см. также: Словарь русского языка XVIII века. СПб., 2001. Вып. 12: Лыстец — Молвотворство. С. 141.

²⁵ Цит. по ркп.: РНБ, F.I. 738, л. 308 об. Об источниках цитированного фрагмента «Предания старческого» см.: *Семячко С. А.* Патерик, Старчество и «Старчество» // ТОДРЛ. СПб., 2010. Т. 61. С. 510. Благодарю С. А. Семячко, обратившую мою внимание на этот памятник.

²⁶ См. о нем: *Руди Т. Р.* О композиции и топике житий преподобных. С. 487—490.

Галичского), которое он оставил своей матери Евдокии и жене Акилине перед уходом на подвиг юродства.²⁷

Юродивый, как и монах, — «живой мертвец», уход которого из дома родные оплакивают как смерть.²⁸ А. М. Панченко замечает по этому поводу: «Письмо Стефана — как бы прощальный завет умирающего (он все время называет себя мертвецом), а мать голосит над ним, как над покойником. <...> Стефан декларативно заявляет о смерти мирянина и рождении юродивого».²⁹ Примечательно, что, комментируя письмо галичского юродивого, А. М. Панченко противопоставляет понятия *мирянин* и *юродивый*, тем самым сближая в определенной степени понятия *юродивый* и *монах*.

В качестве иллюстрации к тезису о родственной природе рассматриваемых элементов топики преподобнических и юродских текстов приведу фрагмент из Слова похвального Прокопию и Иоанну Устюжским Симеона Шаховского, в котором мотивы *живых мертвецов* и *умертвия миру* использованы не однажды: «...до дни смерти своя аггельское житие притяжавша, и уродъ быти Христа ради творя ся, *но мертва себе всеко нежно в житии состави*, апостольскаго гласа, истинствующа бѣше, вѣщая: “Христу сраспахся, не живу уже ктому азъ, живетъ же во мнѣ Христорь. А еже нынѣ живу во плоти, вѣрою Сына Божия, возлюбившаго и предавшаго себе по мнѣ” (Гал. 2: 19—20). *И толико самъ себе умертви блаженный Прокопий, яко инѣ никтоже во странѣ Устюжскаго града*».³⁰

²⁷ Текст письма был обнаружен и введен в научный оборот Н. В. Поньрко. См.: Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976. С. 100—101, 183—191; Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 78—79, 205—213; Панченко А. М. Нечаев Стефан Трофимович // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1993. Вып. 3 (XVII в.), ч. 2. С. 378—379; Fahl S. Ein Brief von einem Narren in Christo // Stimme der Orthodoxie. 1996. Bd. 3 (= Festschrift Konrad Onasch / Hrsg. von H. Goltz und V. Ivanov). S. 15—17; Abschiedsbrief eines Narren in Christo // Auf Gottes Geheiß sollen wir einander Briefe schreiben: Altrussische Epistolographie / Übersetzungen, Kommentare und eine einführende Studie von Dietrich Freydank, Gottfried Sturm, Jutta Harney, Sabine Fahl und Dieter Fahl. Wiesbaden, 1999. S. 397—410 (Opera Slavica. Neue Folge; Bd. 34); Иванов С. А. Блаженные похабы: Культурная история юродства. С. 376—379; и др.

²⁸ Текст письма см.: Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. С. 205—212, Приложение I. Приведу здесь лишь одну выдержку из него: «Приидите, возплачите прилежно, *да послушает мертвый плага вашего и встанет. Аще ли же не полушает и не возстанет, то и аз не требую суетнаго плага вашего и не возвращаюся к вам. И аз убо умерл есмь мирови сему тленному*» (с. 211).

²⁹ Там же. С. 78.

³⁰ Цит. по ркп.: РНБ, собр. М. П. Погодина, № 749, л. 180 об. Ср. в изд.: Власов А. Н. Житийные повести и сказания о святых юродивых Прокопии

Как видим, мотив *умертвия миру* возведен здесь на высшую иерархическую ступень, будучи включен в систему поэтики *imitatio Christi*: Прокопий Устюжский, по утверждению его агиографа, «мертва себе всеконечно в житии состави», желая сораспяться Христу — и потому, умертвив себя для мира, вправе возвестить вместе с апостолом Павлом: «Не живу уже ктому азъ, живетъ же во мнѣ Христосъ» (ср.: Гал. 2: 20). Таким образом юродство, этот «сверхзаконный» духовный подвиг,³¹ оказывается одним из путей *последования Христу* — собственно *юродством Христа ради*.

Вообще же, можно, по-видимому, полагать, что *уход из дома* юродивого — этот необходимый элемент юродских житий³² — не только типологически близок *уходу из мира* преподобного: в определенной степени это два семантически родственных варианта одного и того же житийного мотива: подвизаясь *в миру* (речь здесь не идет о монастырских юродивых), блаженный при этом оставляет *свой мир* — семью, дом, родину, прежнюю жизнь вообще — для того чтобы «претвориться в юродство». Недаром, говоря об особенностях юродства как формы духовного подвижничества, Г. П. Федотов определил его как «самое радикальное отвержение мира, совместимое с пребыванием в миру».³³

Следует отметить, вместе с тем, что, осуществляя служение в миру, юродивый обретает особый социальный статус, в результате чего зачастую оказывается этим миром отвергнут (вспомним традиционный в агиографии мотив преследования юродивых «несмысленными человеками» или детьми). Примечательно, что один из исследователей истории юродства включил тезис об отвержении миром в определение этого феномена: «Слово “юродивый”, употребляемое св. Церковью как эпитет некоторых подвижников, имеет чрезвычайный смысл. Церковь этим названием выражает *их отделенность от общества и избранность Богом*, оттеняет *свойство их благочестия, состоящее в отвержении их миром, в презрении их обществом*».³⁴

и Иоанне Устюжских / Отв. ред. Г. М. Прохоров. СПб., 2010. С. 373 (Серия «Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях»).

³¹ См.: Ковалевский Иоанн, свящ. Юродство о Христе или Христа ради юродивые Восточной и Русской церкви. М., 1902 (репринт: М., 1992). С. 30–32.

³² См. об этом подробнее: Руди Т. Р. О топике житий юродивых // ТОДРЛ. СПб., 2007. Т. 58. С. 443–484.

³³ Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990 (первое издание: Париж, 1931). С. 211.

³⁴ Алексей (Кузнецов), иеромонах. Юродство и столпничество: Религиозно-психологическое, моральное и социальное исследование. СПб., 1913 (репринт: М., 2000). С. 58.

И последнее. Традиционный житийный мотив *плага как о мертвом* может встречаться не только в агиографических текстах: так, например, этот топос присутствует в Повести временных лет — в знаменитом сюжете об отдании князем Владимиром детей «нарочитой чади» «на учение книжное», читающемся под 988 г.: «И, пославъ, нача поимати у нарочитой чади дѣти, и даяти на учение книжное. А матери же чадъ своихъ плакахуся по нихъ, и еще бо ся бяху не утвѣрдил? вѣрю, но акы по мерьтвѣцѣк плакахуся».³⁵

При всем сюжетном различии двух рассматриваемых ситуаций (уход в монастырь и отдание в учение) в них несомненно генетическое родство мотивов: в том и другом случае герой изымается — добровольно или насильственно — из обыденной ситуации, из жизни в *родном* социуме, и переходит в социум иной или, с точки зрения прежнего, — *чужой*, как бы переставая для него (прежнего социума) существовать и, таким образом, переходя в нем в статус *мертвого* (сравним сформулированное Хансом-Петером Хазенфратцем положение, свойственное архаическому сознанию в целом: «Тот, кто оставляет общество, к которому принадлежит, — умирает, становится мертвым»)³⁶. Однако мотив *плага о будущем иноке как о мертвом* в житийных текстах несет в себе несомненный дополнительный смысловой акцент: будучи неразрывно связан с топосом *монахи — живые мертвецы*, он оказывается встроено в дуалистическую систему понятий «мир — монастырь», в которой иноческий постриг (*умервие миру*) воспринимается как важнейший из путей христианского спасения, а, следовательно, — как путь к *вечной жизни*.³⁷

³⁵ Цит. по: Повесть временных лет / Подгот. текста, перевод и коммент. О. В. Творогова // БЛДР. СПб., 1997. Т. 1. С. 162.

³⁶ *Hasenfratz H.-P. Die toten Lebenden. S. 34.* Используемые мной понятия «родной» и «чужой» социум сопоставимы в значительной степени с терминами Х.-П. Хазенфратца «Welt» и «Un-Welt», в которых «мир» (Welt) определяется как «область жизни», а «не-мир» (Un-Welt) — как «область смерти» (ср. антонимическое противопоставление в русском языке понятий «мир» и «монастырь» — как уход из «мира»). Примечательно, что рассмотренные исследователем отдельные архаические «области смерти» («*einzelne Todesbereiche*») совпадают с традиционной топографией монашеских и отшельнических поселений: это лес, пустыня, горы, море (в случае монашеских поселений — соответственно, острова в море) и болото (Ibid. S. 11–24).

³⁷ Ср. позицию А. Е. Мусина, видящего в мотиве *плага о будущем иноке как о мертвом* более масштабное явление, касающееся христианства в целом: Мусин А. Е. *Milites Christi Древней Руси: Воинская культура русского Средневековья в контексте религиозного менталитета*. СПб., 2005. С. 84–85 (Серия «*Militaria Antiqua*»; Т. 8).

«Слово о полку Игореве»: поиски контекста

Нижеследующий текст требует краткого разъясняющего пред-уведомления. Автор этих строк ни в коей мере не стремился к разностороннему рассмотрению такой проблемы, как реконструкция литературного контекста, в семантическом поле которого создавалось и бытовало «Слово о полку Игореве» (далее — СПИ). Как некогда было мудро сказано, «нельзя объять необъятное», так что мое намерение намного скромнее — охарактеризовать и оценить одну из тенденций в современных исследованиях, посвященных интерпретации и анализу СПИ, и, развивая эту оценку, предложить ряд собственных посильных соображений, относящихся к установлению литературного фона СПИ и истолкованию памятника.

Серьезнейшую сложность герменевтической природы, затрудняющую как анализ, так и интерпретацию СПИ, очень точно определил Б. М. Гаспаров в своей книге, впервые изданной в 1984 году: «Изучение художественной структуры “Слова о полку Игореве” является особой, уникальной исследовательской задачей. Понимание того, как организован художественный текст, в чем состоит его природа как произведения словесного искусства, в сильнейшей степени зависит от ряда предварительных сведений об этом тексте: знания <...> эпохи и культурного ареала, к которым он принадлежит, жанровой природы текста, литературной традиции, в которую он вписывается, наконец, степени сохранности дошедших до нас копий. Все эти сведения служат исходной точкой отсчета, определяющей тот угол зрения на рассматриваемый текст, под которым исследователю открываются внутренние закономерности его построения. Радикальное изменение этой исследовательской презумпции неизбежно ведет к столь же

радикальному изменению в понимании того, что представляет собой данный текст как художественное целое и какое значение имеют те или иные отдельные компоненты этого целого».¹

Между тем *любая* исследовательская презумпция в случае с анализом и интерпретацией СПИ лишена устойчивых оснований — вместо обретения твердой почвы интерпретатор рискует увязнуть в «болотах и грязивыхъ мѣстѣхъ». Как заметил известный медиевист О. В. Творогов, «историко-литературным исследованиям, разысканиям в области исторической поэтики и стилистики должна постоянно сопутствовать кропотливая археографическая и текстологическая работа, которая позволила бы с наибольшей полнотой воссоздать тот литературный фон, на котором возникли классические произведения древнерусской литературы — Повесть временных лет, Поучение Владимира Мономаха, древнейшие жития, “Слово о полку Игореве”».² Однако СПИ очевидным образом выбивается из ряда названных древнерусских памятников. Уникальность произведения даже не в том, что одно дошло до Нового времени в единственном позднем списке (то же самое случилось с Мономаховым Поучением, впрочем сохранившимся в рукописи гораздо более ранней и счастливо избегнувшей пожара); для СПИ нет очевидных аналогов не только в современной ему древнерусской словесности (да и в позднейшей нет тоже), но и в литературе других стран (для Поучения Владимира Мономаха такие аналоги отыскиваются, причем в очень широком пространстве — от Византии до англо-саксонской Британии). Показательны уже кавычки, в которые О. В. Творогов помещает название «песни» об Игоре, как это принято делать с произведениями собственно литературными — ни для Повести временных лет, ни для Поучения он не счел это нужным. И не случайно.

Разноречия в трудах, посвященных СПИ, возникают почти по любому поводу: что это — хвала или хула князя Игоря? Стихи или проза? Запись древнего эпоса, бытовавшего исконно в устной форме, или памятник книжной культуры? Полуязыческая «поэма» или христианский нарратив притчевого рода с назидательным смыслом? И — *last but not least* — аутентичный старинный текст или мистификация, рожденная «безумным и мудрым» XVIII веком?

Одна из наиболее решительных попыток найти место памятника в древнерусской словесности и тем самым дать ответ хотя бы на часть «проклятых» вопросов была предложена относительно недавно италья-

¹ Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000. С. 5.

² Творогов О. В. Древнерусская книжность: (О Каталоге памятников) // Творогов О. В. Археография и текстология древнерусской литературы. М.; СПб., 2009. С. 191–192.

янским славистом Р. Пиккио, который осмелился опровергнуть почти общепризнанную мысль об уникальности СПИ, вписав его в контекст древнерусской книжности, носившей — тут ученый абсолютно прав — религиозный характер. Декларация Р. Пиккио: единственно правомерной является «интерпретация “Слова” не как эпического светского памятника (что было бы аномалией на фоне того религиозного целого, каким является древнерусская литература), но как текста, в котором присутствует религиозный лейтмотив».³ Ход рассуждений совершенно естественный — ни одно творение не возникает в вакууме, древнерусская книжность проникнута религиозными мотивами, значит, и в СПИ они должны доминировать. Однако проистекающая из этой презумпции интерпретация СПИ как повествования о небогоугодном походе, соотносящемся с походом в Сирию царей Израиля и Иудеи Ахава и Иосафата, закончившимся гибелью нечестивого Ахава (3-я Книга Царств, глава 22),⁴ оказывается насилием над текстом древнерусской «песни»: ради доказательства своей трактовки Р. Пиккио истолковывает возвеличивающую Игоря характеристику «поостри сердца своего мужеством» как слово осуждения, неправомерно понимая лексему *поострити* как ‘ожесточить’. Различную же участь гордеца Игоря, благополучно вернувшегося из плена, и нечестивца Ахава ученый объясняет покаянием Игоря, хотя СПИ не сообщает о таком покаянии ни слова, в отличие от повествования о походе Игоря в Ипатьевской летописи. Так вместо реального объекта исследования конструируется химерический текст, «слеplенный» из СПИ и летописного фрагмента.⁵

Впрочем, в рассказе Ипатьевской (Киевской) летописи князь кается отнюдь не в совершении самочинного и неурочного похода, а в недавнем разорении русского города Глебова. В тексте же Лаврентьевской (Суздальской) летописи, где действительно осуждается гордыня новгород-северского князя и его близких, покаяния нет вообще. Однако спасение

³ Пиккио Р. «Слово о полку Игореве» как памятник религиозной литературы Древней Руси // Труды Отдела русской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН (далее — ТОДРЛ). СПб., 1996. Т. 50. С. 430—431.

⁴ Там же. С. 431—437.

⁵ Подробная и во многом сходная критика интерпретации Р. Пиккио содержится в написанных одновременно и независимо друг от друга статьях: Соколова Л. В. Политическое и дидактическое осмысление событий 1185 г. в летописях и в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 91—92, 101—102; Рангин А. М. История в «Слове о полку Игореве»: «старые» и «нынешние» князья // Рангин А. М. Вертоград златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. С. 418—423.

князя Игоря (о покаянии которого ничего не сказано) описано в тексте Лаврентьевской летописи в абсолютно ином тоне — Игорь неожиданно причислен к праведникам и сопоставлен с царем Давидом: «И по малых днѣхъ ускочи Игорь князь у половецъ — не оставитъ бо Господь праведнаго в руку грѣшничю: очи бо Господни на боящаяся Его, а уши Его в молитву ихъ! Гониша бо по нем и не обрѣтоша, якоже и Сауль гони Давыда, но Богъ избави ѱ, тако и сего Богъ избави из руку поганых. А они вси держими бяху твердо, и стрегоми, и потвержаеми многими желѣзы и казнми».⁶

Причина такой обескураживающей метаморфозы не только в том, что фигура злосчастного новгород-северского князя в этом пассаже осмыслена и оценена в рамках оппозиции *русские (христиане) — половцы (иноверцы-язычники)*: эта парадигма, конечно, диктует новое отношение к православному правителю, попавшему в плен к поганым, а бегство из вражеских тенет должно быть истолковано с помощью библейских параллелей-прообразов. Счастливое возвращение Игоря на Русь само по себе с позиций христианского провиденциализма могло истолковываться как свидетельство его прощения Богом и благоволения Господа: если Игорь смог вернуться из плена, значит, он прощен.⁷

Но не менее важно и другое. Владимиро-суздальский летописец постоянно подбирает к событиям своего рассказа резюмирующие библейские цитаты. Но резюмирующие сентенции из Священного Писания имеют однозначный религиозно-нравственный смысл. Рассказ о бегстве Игоря также сопровождается цитатой из Писания. Слова «не оставитъ бо Господь праведнаго в руку грѣшничю» — это реминисценция из Псалтири (Пс. 36: 32—33). Ср. в Киевской Псалтири 1397 г.: «Сматрять грѣшныи праведнаго и ищетъ ум(е)ртвити ѱ. Г(оспо)дь же не оставитъ его в руку его, осудит же его».⁸

⁶ Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Стб. 399—400.

⁷ По-видимому, именно из такого понимания исходит А. А. Горский, когда обнаруживает в обеих летописных повестях осмысление истории Игоря «в рамках христианской морали: грех (сопровожаемый отвержением Божья знаменья) — Господня кара — покаяние — прощение». См.: Горский А. А. «Всего еси исполнена земля Русская...»: Личности и ментальность русского средневековья: Очерки. М., 2001. С. 28.

⁸ РНБ, собр. ОЛДП, Ф. 6, л. 50 об.; см. фотокопию в Интернете: http://www.svyatayarus.ru/data/manuscripts/267_kiev_psalter/index.php. Ср. практически идентичный текст в Острожской Библии: Острозька Біблія / Опрацював та приготував до друку ерм. архимандрит др. Рафаїл (Роман Торко-няк). Львів, 2006. С. 909.

Из повествования о походе Игоря Святославича нигде доселе не следовало, что новгород-северский князь проявил себя как праведник. Допустимо предположить, что одно только благополучное возвращение Игоря на Русь не было для летописца достаточным основанием считать северского правителя праведником. Но сам библейский дискурс диктовал такое именование. Нравственная оценка оказывается в этом случае «этикетной» (в терминологии Д. С. Лихачева), вторичной по отношению к стилю текста, от этого стиля зависящей и им продиктованной.⁹

Некоторые отдельные параллели между СПИ и библейскими книгами (зловещие природные явления — знамения),¹⁰ замеченные Р. Пиккио, заслуживают внимания и выглядят допустимыми. Однако попытка «попросту» поместить СПИ в религиозный контекст, пренебрегая *сущностными* различиями и между этим памятником и Писанием, и между СПИ и дошедшими до нас произведениями древнерусской словесности, оказалась неудачной.

Тем не менее, недавно она вызвала подражание — опыт еще более неудачный. Это статья А. Н. Ужанкова «К интерпретации авторской идеи “Слова о полку Игоре”».¹¹ Вслед за Р. Пиккио, хотя и не ссылаясь на него, автор статьи «вчитывает» в текст СПИ мотив покаяния Игоря, содержащийся в повести из Ипатьевской летописи: «Игорь шел за славой, но обрел бесславие — плен. Но нижней, низовой точкой бесславия был побег (потому-то он долго на него не соглашался). А поэтому “чашу бесславия” князь должен был испить до дна и вернуться домой “неславным путем” — бегством из плена. То есть, проявить *смирение*. В этом смысл произведения.

Это — не случайное духовное прозрение Игоря. Князь осмысленно становится на путь возвращения к Богу, Отцу небесному. Надо полагать, это *первое* осмысление произошедшего не было случайным.

Из летописей известно, что он, находясь в половецком плену, призвал из Руси священника. Для него, хотя и оступившегося (кто без греха?), но всё же православного князя, было совершенно очевидно, что *без*

⁹ См. об этом подробнее в моей статье: *Рангин А. М.* Нравственная оценка и библейский дискурс в повести о походе князя Игоря Святославича на половцев из Лаврентьевской летописи // Актуальные вопросы текстологии: традиции и инновации (Кусковские чтения — 2015): Материалы международной научной конференции. М., 2015. С. 266–270.

¹⁰ *Пиккио Р.* «Слово о полку Игоре» как памятник религиозной литературы Древней Руси. С. 438–440.

¹¹ *Ужанков А. Н.* К интерпретации авторской идеи «Слова о полку Игоре» // Герменевтика древнерусской литературы / Отв. ред. М. В. Первушин. М., 2014. Сб. 16/17. С. 850–885.

покаяния невозможен обратный путь домой. Засвидетельствовать это покаяние пред Богом мог только православный священник».¹²

Интерпретатор исходит из презумпции, согласно которой гипотетические (покаяние в плену) или реальные (просьба о священнике) поведение и умонастроение князя Игоря в половецких кочевьях должны составлять актуальный подтекст СПИ. (Между прочим, вызов Игорем священника — поступок, естественный для православного человека, — свидетельствуя о формальном благочестии новгород-северского князя, еще не говорит о глубине его покаяния.) Но СПИ, как признано сейчас практически всеми учеными, — это текст с глубинной символической, мифопоэтической структурой, с чем соглашается и А. Н. Ужанков, анализирующий символику света и тьмы, а также реки в этом памятнике. Соответственно, и образ князя Игоря Святославича должен читаться здесь в мифопоэтическом коде, а не просто проецироваться на исторического Игоря (точнее, на Игоря летописного — что не одно и то же). Речь идет не о том, что автор СПИ отмечает или опровергает покаяние Игоря, — конечно, нет. Но он пишет *о другом*.¹³ Интерпретатор обязан объяснить, почему автор не упоминает о покаянии Игоря, если это событие якобы составляет один из ядерных мотивов «Игорева песни». Однако объяснения нет.

Зато новые аргументы А. Н. Ужанков находит для толкования Игорева похода как небогоугодного и неблагочестивого деяния. Он обнаруживает в СПИ антитезу *богоугодный и благополучный поход на половцев во главе с Владимиром Мономахом весной 1111 года — неблагогестивый поход князя Игоря в 1185 году*. Одно из оснований для выявления антитезы таково: согласно СПИ, битва князя Игоря Святославича с половцами длилась три, а не два дня, как это было в действительности, и, соответ-

¹² Ужанков А. Н. К интерпретации авторской идеи «Слова о полку Игорева». С. 875. Все выделения в тексте здесь и далее принадлежат автору цитируемой статьи.

¹³ Так, Б. М. Гаспаров находит среди подтекстов СПИ евангельскую притчу о блудном сыне: *Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игорева»*. С. 195—197. А. А. Горский считает, что и в СПИ, и в притче «наличествует та же последовательность событий: грех — наказание — покаяние — прощение» (*Горский А. А. «Всего еси исполнена земля Русская...»*. С. 30). Однако «наличествование» этого мотива в «повести» об Игоре и в евангельском тексте — явления принципиально разных уровней смысла: если в притче сын прямо кается в грехе (Лк. 15: 18—19, 21), то в СПИ покаяние Игоря как сюжетный элемент отсутствует: этот мотив может лишь «мерцать» в подтексте, причем только через такой гипотетический претекст/интертекст СПИ, как это евангельское сказание о возвращении грешника. Ни о каком личном покаянии Игоря в древнерусском памятнике речь не идет.

ственно, закончилась не в воскресенье, а в понедельник. Но именно на понедельник пришлось окончание битвы Мономаха со степняками.¹⁴ Объяснения, почему сражение Игоря с половцами названо трехдневным, предлагались в исследованиях, посвященных СПИ, неоднократно (символичность числа три, возможность начала ведения отсчета со дня первого, пятничного, сражения со степняками), но останавливаться на них сейчас нет возможности, тем более что А. Н. Ужанков эти толкования даже не упоминает. Главное — иное: в СПИ о походе 1111 года не сообщается, а имя Мономаха *бесспорно* названо лишь один раз, причем в контексте отнюдь не благоприятном для этого князя: узурпировавший отчий престол Игореве деда Олега Святославича и боящийся «звона» его «славы» «Владимиръ по вся утра уши закладаше въ Черниговѣ».¹⁵

Несуществующей антитезе *поход Игоря — поход Владимира Мономаха* исследователь дает развернутое идеологическое обоснование: «Поход Игоря Святославича начинается на Светлой Пасхальной неделе. Это святотатство!»¹⁶ Однако, во-первых, СПИ нигде не сообщает об этом факте, оно вообще никак не соотносит поход новгород-северского князя с церковным календарем. Тот факт, что поход Игоря начался на Пасхальной седмице, вычисляется А. Н. Ужанковым на основании известия Ипатьевской летописи, которая, хотя и отличается религиозной тональностью, тоже не ставит акцент на совершении похода в якобы недопустимое время, а лишь называет конкретную дату — 23 апреля, на которое приходилась память святого Георгия, небесного покровителя князя: Игорь Святославич «поѣха из Новагорода мѣсяца априля въ 23 день, во вторникъ».¹⁷ Во-вторых, у нас нет достаточных данных, позволяющих считать, что решение начинать военные действия на Пасху, предсуди-

¹⁴ Ужанков А. Н. К интерпретации авторской идеи «Слова о полку Игореве». С. 860.

¹⁵ Ироическая пѣснь о походе на половцовъ удѣльнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходѣ XII столѣтія съ переложениемъ на употребляемое ныне наречіе. М., 1800. С. 15, текст перепечатанных восьмушек первого издания. Далее СПИ цитируется по этому изданию, страницы указываются в скобках в тексте статьи. Значит ли лексема *уши* 'орган слуха' или же 'воротные скобы, проушины' (по-видимому, это один из частных в СПИ примеров омонимической игры), в данном случае неважно: характеристика Владимира Мономаха однозначна, и она далеко не лестная.

¹⁶ Ужанков А. Н. К интерпретации авторской идеи «Слова о полку Игореве». С. 875.

¹⁷ Полное собрание русских летописей. М., 1998. Т. 2: Ипатьевская летопись. Стб. 637.

тельное с ригористической церковной точки зрения, считалось таковым же в княжеской среде.

Еще один идеологический аргумент А. Н. Ужанкова таков: «Святое Писание, по которому должны жить православные князья (и по которому жил Владимир Мономах), запрещало завоевательные походы. Князь обязан защищать пределы своей земли, но не завоевывать чужие. Образец такого сосуществования был положен сыновьями праведного Ноя после потопа. И об этом можно было узнать из “Повести временных лет”, в которую был помещен рассказ о них: “По потоке трие сынове Ноеви разделиша землю... Симъ же Хамъ и Афеть, разделивше землю, жребыи метавше, *не преступати никомуже въ жребий братень, и живяху кождо въ своей части*”.

Для истинного православного человека это была аксиома. <...> И сам Александр Ярославич руководствовался этой аксиомой, принимая судьбоносное решение выступить против шведских рыцарей: “Боже хвалный, праведный, Боже великий, крепкий, Боже превечный, основавый небо и землю и небо и землю и *положивы пределы языком, повеле жити не преступающе в гюжую гать <...>*”. Игорь Святославич преследует совершенно иные цели: “Хочу бо, — рече, — копие приломити *конецъ поля Половецкого, ... а любо испити шеломомъ Дону*”. <...> Или же, как говорят бояре великому князю киевскому Святославу: “Се бо два сокола <...> слетеста съ отня стола злата *поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомъ Дону*”. <...> И в одном, и в другом случаях речь идет об одном и том же: Игорь Святославич предпринял не оборонительный поход, как прежние князья, а **завоевательный!**

Почти двести лет, со времени принятия христианства, Русь не знала завоевательных походов. Поход Игоря — исключение, а потому и вызвал целых три произведения: “Слово о полку Игореве” и две самостоятельные летописные повести». ¹⁸

Владимир Мономах, конечно, отнюдь не всегда жил по евангельским заповедям. Летопись его трудов и походов, включенная в состав Поучения, неоспоримо свидетельствует: «...в княжом ремесле, в мирском поведении Десятословие и Нагорная проповедь им нимало не учитывались». ¹⁹ Наблюдения по поводу заповеди не нарушать чужие границы совершенно справедливы, хотя и не новы. ²⁰ Однако в рассказе Повести временных

¹⁸ Ужанков А. Н. К интерпретации авторской идеи «Слова о полку Игореве». С 868—869.

¹⁹ Панченко А. М. Эстетические аспекты христианизации Руси // Русская литература. 1988. № 1. С. 58—59.

²⁰ Мне приходилось об этом писать: Рангин А. М. Об одном мотиве в Житии Александра Невского // Воинство земное — воинство небесное: Мате-

лет о сыновьях Ноя эта норма подана как образец отношений среди князей Рюрикова дома,²¹ но не как запрет, относящийся к посягательствам на земли соседей Руси; а в Житии Александра Невского ее присутствие определяется тем, что в роли нарушителя выступает враг-иноверец. Противопоставление же «оборонительных» походов русских князей-христиан до Игоря «завоевательному» походу новгород-северского князя попросту абсурдно и основывается на разграничении справедливых и несправедливых войн, присущем Новому и даже Новейшему (XX век) времени в «советизированном» варианте. В реальности все походы русских князей против половцев, включая боевые действия 1111 года, были наступательными, являлись вторжением в Степь, которая, впрочем, воспринималась скорее как ничейная земля, чем как владения половцев. То есть формально они были агрессией, а по существу — превентивной войной. Причем именно Владимир Мономах, которого А. Н. Ужанков противопоставляет Игорю Святославичу, первым из русских князей сменил оборонительную стратегию на наступательную: «Так был достигнут решающий перелом в войне с половцами. Военные действия были перенесены в Степь. Русским удалось выявить слабое место своего врага. Нападая весной на половецкие кочевья и разоряя их, они подрывали военный и экономический потенциал противника, истребляли его живую силу, лишали возможности совершать набеги на русские земли. Больше того, страшась русской угрозы, значительная часть половцев вынуждена была покинуть свои кочевья и переселиться подальше от русских границ».²²

Набеги же русских князей на половцев, носившие полуграбительский характер и в этом отношении мало отличавшиеся от нападений куманов на Русь, случались очень часто. Так, в 1171 году «старший брат Игоря Олег напал на владения хана Гзы и захватил в плен его жену и детей; не исключено, что 16-летний Игорь принимал участие в этом походе».²³

риалы XVIII Всероссийской научной конференции памяти святителя Макария. Можайск, 2011. Вып. 18. Эта статья осталась А. Н. Ужанкову, видимо, неизвестной.

²¹ См. об этом, например: *Franklin S. Some Apocryphal Sources of Kievan Russian Historiography // Oxford Slavonic Papers. 1982. Vol. 15. P. 5–10; Гунтуис А. А. Ярославичи и сыновья Ноя в Повести временных лет // Балканские чтения — 3. М., 1994. С. 136–141; Петрухин В. Я. Древняя Русь: Народ. Князь. Религия // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1: Древняя Русь. С. 124–125; Timberlake A. «Не преступати предъла братня»: The Entries of 1054 and 1073 in the Kiev Chronicle // Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова. М., 2006. С. 102–111.*

²² Карпов А. Ю. Владимир Мономах. М., 2015. С. 127.

²³ Горский А. А. «Всего еси исполнена земля Русская...». С. 14.

Представление о недопустимости завоевательных войн было глубоко чуждо сознанию Киевской Руси — иным образом древнерусская (как и любая иная) государственность сложиться не могла. Книжники же с почтением вспоминали о русских князьях, которым платили дань покоренные народы («то все покорено было Богомъ крестияньскому языку, поганьскыя страны»), и гордились тем, что от страха перед Владимиром Мономахом «половоци дѣти своя полошаху в колыбѣли. А литва из болота на свѣтъ не выныкиваху, а угры твердыху каменные городаы желѣзными вороты, абы на них великий Володимерь тамо не въѣхал, а нѣмци радовахуся, далече будучи за Синимъ морем».²⁴

Что же касается похода 1185 года, то «завоевательным» он, конечно же, не был: намерение Игоря и Всеволода «поискати града Тмутороканя» (с. 24), о котором говорят Святославу Киевскому его бояре, — не более чем эпическая гипербола.²⁵ Тмуторокань в это время, по-видимому, принадлежала Византии, а не куманам.²⁶ (Впрочем, Тмуторокань была «дединой» Игоря — в ней княжил некогда Олег Святославич, поэтому его внук мог иметь на город законные права, а не выступал бы в роли захватчика, если бы пытался и вправду завоевать ее.) «Акцию, организованную Игорем, можно оценить как поход среднего масштаба: с одной стороны, он не был мелким набегом, с другой — уступал крупным военным предприятиям».²⁷ Сильнейший резонанс, вызванный в древнерусской книжности походом 1185 года, объясняется не его будто бы исключительной «неблагочестивостью», а исключительностью неудачи — разгромом войска и пленом четырех князей; неудачи, которую предварило солнечное затмение.²⁸

Наиболее «неудобным» фрагментом для интерпретации СПИ как памятника с религиозной семантикой является, несомненно, Плач Ярославны. А. Н. Ужанков предлагает толковать его как своеобразную молитву Святой Троице: «Но как <...> понимать обращение Ярославны к трем природным стихиям?

Весьма правдоподобное, как мне кажется, их толкование предложено в “Беседе трех святителей”, весьма популярной в Древней Руси: “Что есть

²⁴ Слово о гибели Русской земли // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. 5: XIII век. С. 90.

²⁵ Ср.: Горский А. А. «Всего еси исполнена земля Русская...». С. 17.

²⁶ Литаврин Г. Г. Русь и Византия в XII в. // Литаврин Г. Г. Византия и славяне. СПб., 1999. С. 502—505.

²⁷ Горский А. А. «Всего еси исполнена земля Русская...». С. 20.

²⁸ Там же. С. 24—30.

высота небесная, широта земная, глубина морская? — Иоанн рече: Отец, Сын и Святой Дух”.

Солнце олицетворяет собой “высоту небесную”, гуляющий по всей земле ветер — “широту земную”, река — “глубину морскую”.

Небо — престол Отца; Сын сошел на землю и оставил на ней свой престол — христианскую церковь; при крещении водой нисходит Святой Дух. То есть, получается, что Ярославна обращается к трем природным стихиям, олицетворяющим три ипостаси Святой Троицы!»²⁹

Истолкование Плача Ярославны как молитвы триединому христианскому Божеству предлагалось и раньше.³⁰ Отмечалось также присутствие в этом плаче переключек с библейскими текстами.³¹ Но в интерпретации А. Н. Ужанкова не ясно, почему ветер — «широта земная», если он принадлежит воздушной стихии, и почему Днепр Словутич должен ассоциироваться с «глубиной морской», если в СПИ реки и море везде отчетливо разграничиваются, причем море отдельно названо Ярославной, и оно — символ слез: «а быхъ не слала <...> слезъ на море рано» (с. 39)?

Кроме того, Плач Ярославны обнаруживает глубинное сходство с заговорами — языческими по происхождению. По мнению Б. В. Сапунова, это языческое заклинание, обращенное к «Солнцу, Воде и Стрибогу». Основание для такой трактовки он видит в структуре плача: «Можно легко установить, что по своему характеру “плач” Ярославны в основной своей части (три абзаца из четырех) является типичным языческим заговором. Структура “плача” повторяет обычную четырехчастную форму заговора, сохранившуюся до XX в., — обращение к высшим силам, прославление их могущества, конкретная просьба и заключение. Большое количество заговоров, записанных в XIX в., еще сохранили обращения к солнцу, месяцу, звездам, заре, ветрам, огню, молнии и другим силам

²⁹ Ужанков А. Н. К интерпретации авторской идеи «Слова о полку Игореве». С. 877.

³⁰ См., например: *Якобсон Р. О. Композиция и космология Плача Ярославны // ТОДРЛ. Л.; М., 1969. Т. 24. С. 32–34.* О молитвенной функции Плача Ярославны пишет Р. Пиккио, хотя и признает эту молитву «с церковной точки зрения “неправильной”, если не “языческой”» и «причудливой»; впрочем, он, вслед за Р. О. Якобсоном, не исключает понимания «свѣтлаго и тресвѣтлаго солнца» в плаче Игоревой жены как метафоры Святой Троицы: *Пиккио Р. «Слово о полку Игореве» как памятник религиозной литературы Древней Руси. С. 442–443.*

³¹ См.: *Кусков В. В. Связь поэтической образности «Слова о полку Игореве» с памятниками церковной и дидактической письменности XI–XII вв. // «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI–XVII веков. М., 1978. С. 85; Робинсон А. Н. Солнечная символика в «Слове о полку Игореве» // Там же. С. 49, примеч. 32.*

природы».³² Исследователь безапелляционно отрицает распространенную трактовку Плача Ярославны как художественного приема, а не как языческого заклинательного обряда.

Истолкование Плача Ярославны как действенного языческого заклинания не бесспорно: более чем сомнительна сама возможность появления языческих элементов в их исконной функции в памятнике, написанном на исходе XII столетия, причем содержащем признаки книжного текста и несомненные христианские черты: упоминание о Боге, указывающем путь Игорю в Русскую землю, и церкви Богородицы Пирогощей, к которой отправляется бежавший из плена князь, а также здравицу князьям — участникам похода, построенную на оппозиции христиане — «поганые» половцы.³³

Тем не менее, сходство плача со структурой заговора требует особого объяснения. Как требует его и недавно отмеченное А. А. Туриловым разительное сходство Плача Ярославны с заговором на собаку: «Ты еси вода, ты еси чистота. Течеси из моря в моря сквозе землю Русскую и По-

³² Сапунов Б. В. Ярославна и древнерусское язычество // Слово о полку Игореве — памятник XII века: Сборник статей. М.: Л., 1962. С. 321–322.

³³ Считать заключительную здравицу позднейшей припиской благочестивого редактора нет оснований: приписка явно современна описываемым событиям, так как возгласение здравицы и славы покойным князьям было бы, как уже отмечалось неоднократно, абсурдом. К тому же предположение о позднейшем появлении здравицы не объясняет, почему книжник, благочестивый христианин, решился дополнить будто бы языческий «исконный» текст СПИ. Замечу в связи с вопросом о датировке СПИ, что отнесение его создания к 1198 году (году вокняжения Игоря в Чернигове) или более позднему времени, как это делает А. Н. Ужанков, неправомерно прежде всего именно потому, что автор возглашает здравицу и славу Всеволоду Буй-туру, умершему в 1196 году. Видеть в упоминании автора о пути Игоря «къ отню злату столу» (с. 40) намек на вступление князя на черниговский престол, на котором когда-то сидел его отец Святослав Ольгович (Ужанков А. Н. К интерпретации авторской идеи «Слова о полку Игореве». С. 852), безосновательно. «Отним», отчим для Игоря был и новгород-северский престол, на котором его отец находился с 1146 по 1157 год. См.: Яценко Б. И. Святослав Ольгович Черниговский // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 4: П — Слово. С. 278; ср.: Полное собрание русских летописей. Т. 2: Ипатьевская летопись. Стб. 327–330, л. 121–122; стб. 490, л. 176. При этом в летописи Новгород-Северское княжество именуется именно «отчиной» Ольговичей под 1151 годом: Там же. Стб. 444, л. 160 об. Нужно отметить, что Новгород-Северское княжество в XII веке, по-видимому, не было самостоятельным престолом, а являлось уделом в границах Черниговского княжества; см.: Тихомиров М. Н. Древнерусские города. [3-е изд.] СПб., 2008. С. 257; Зайцев А. К. Черниговское княжество X–XIII вв.: Избранные труды. М., 2009. С. 116.

ловецкую (так! — А. Р.) под землю, а под копаменью (искаженное: по каменью. — А. Р.), и по подкаменью, и по подкорению, измывая всякую скверну и нечистоту».³⁴ В СПИ Ярославна, обращаясь к Днепру, говорит: «Ты пробиль еси каменные горы сквозъ землю Половецкую» — и упоминает море, олицетворяющее печаль, горе (с. 39). Совпадение между двумя текстами настолько разительное, что не может быть случайным: либо у СПИ и заклинания был общий источник, либо Плач Ярославны восходит к более ранней версии этого заговора, либо «Игорева песнь» повлияла на заклинание. Так или иначе, близость двух этих текстов свидетельствует о глубоком сходстве и родстве Плача и заговора — жанра магической словесности, кардинально отличающегося от молитвы и даже противоположного ей.

Р. Пиккио и А. Н. Ужанков интерпретируют СПИ в контексте Библии, Священного Писания, приписывая памятнику особенный, «подтекстовый» смысл, в нем не явленный эксплицитно, — мотив покаяния Игоря. При этом они в целом не соотносят поэтику СПИ с поэтикой памятников церковной книжности и не предлагают радикальных реконструкций текста памятника. Такая попытка была недавно предпринята исследовательницей древнерусской гимнографии Н. С. Серegiной, которая разбивает текст СПИ на двадцать песней, соотнося со структурой церковной службы: «1 песнь из 4-х стихов (до слова “рокотаху”) можно уподобить начальным стихирам службы. 20 песнь (заключительное славение из 3 стихов) созвучна заключительному разделу службы (стихирам “на хвалитех”). Славильный финал после скорбных событий вызывает у многих исследователей сомнение в его сюжетной целесообразности. Выявление же его подобия в группе из трех хвалитных стихир, замыкающих церковный певческий цикл, раскрывает эстетическую оправданность “хвалитного” финала. Тогда остальные 18 песней уподобляются **двойному покаянному канону** (по 9 песней). При такой трактовке композиции “Слова о полку Игорева” раскрывается еще один, *покаянный*, слой его содержания, поддерживающийся и другими контекстами, в том числе летописной статьей 1185 г. из Ипатьевской летописи, содержащей покаяние Игоря».³⁵

Однако в сохранившемся виде текст СПИ не вполне соответствует описанной структуре, и потому в предложенной интерпретации проис-

³⁴ Турилов А. А. Народные поверья в русских лечебниках // Отреченное чтение в России XVII—XVIII вв. М., 2002. С. 375.

³⁵ Серегина Н. С. «Слово о полку Игорева» и русская певческая гимнография XII века. М., 2011. С. 32 (выделения принадлежат автору книги).

ходит его подгонка под прокрустово ложе квазигимнографической модели: «Песнь 11 (Сон Святослава) определяет начало второй половины формы (текста СПИ. — А. Р.), песни 12, 13, 14 содержат “Злато слово” Святослава, обращенное к князьям. Здесь мы вводим две перестановки по принципу перевернутого листа, восстанавливающие логику текста, обретающего структуру девятичастной стихирь-осмогласника <...> би-функционально осмысливаемого в обозначенной “канонной” композиции “Слова”. “Злато слово”, являясь центральным (в точке золотого сечения), уравнивает всю композицию “Слова о полку Игореве”». ³⁶

По гимнографической модели реконструируется даже заголовок СПИ. Оказывается, что названием является только сама лексема *Слово*, а всё за ним следующее будто бы относится уже к вступлению: «Такая форма характерна для древнерусской певческой книжности — первое слово выписывается отдельно, в орнаменте заставки из крупных букв (“СТИХИРАРЬ съ богомъ починаемъ...”, “КОНДАКАРЬ с богомъ починаемъ...”), а остальные выписываются обычным форматом букв всей рукописи.

При таком прочтении соотношения заголовка и текста получается четкая стиховая вопросно-ответная форма первого стиха:

СЛОВО

о плъку Игоревѣ, сына Святѣславля,
внука Ольгова, не лѣпо ли ны
бѣшетъ, братіе, начати старыми словесы
трудныхъ повѣстии?
о плъку Игоревѣ, Игоря Свтѣславича
начати же ся тѣи пѣсни
по былинамъ сего времени,
а не по замышлению Бояню». ³⁷

Такое более чем смелое предложение абсурдно: если Стихирарь и Кондакарь — названия определенных богослужебных певческих сборников, то лексема *Слово* не может быть названием текста — она не имеет конкретного смысла, который необходим для заглавия. Недопустима и предложенная разбивка вступления СПИ на строки: нельзя разделять составное сказуемое *не лѣпо бѣшетъ* надвое, разнося именную часть и глагол-связку в разные строки.

³⁶ Серегина Н. С. «Слово о полку Игореве» и русская певческая гимнография XII века. С. 31.

³⁷ Там же. С. 51.

Н. С. Серегина считает, что СПИ написано гимнографическим стихом. Эта гипотеза не нова, но для ее корректного обоснования необходимо было бы доказать несостоятельность других реконструкций ритмики СПИ, согласно которым этот памятник написан, например, двухчастными строками с двумя и тремя ударениями в полустишиях и с использованием элементов аллитерации (этот стих обладает несомненными признаками так называемого северогерманского аллитерационного стиха)³⁸ либо же былинным стихом (с тактом 4/4 при числе слогов в стопе от 4 до 8).³⁹ Разногласия, возникающие между стиховедами при характеристике и реконструкции ритмики СПИ, заставляют вспомнить давнее резонное замечание М. П. Штокмара: «В “Слове о полку Игореде” в том виде, в каком мы его знаем, невозможно проследить единую систему звуковой организации какого бы то ни было типа. Такой организации в нем нет. Исследователи, правильно аргументирующие звуковую организацию “Слова” от *различных систем*, от *многосистемности*, тем самым вопреки предвзятому заданию доказать стихотворную основу “Слова” подтверждают *прозаическую природу* его звуковой организации».⁴⁰

Прослеживая сегментацию, вводимую специальными значками («структурно-пневматическими знаками») в стихирах, Н. С. Серегина аналогичным образом разбивает текст СПИ, выделяя строки-колонны из одного-двух слов: «а быхъ не слала къ нему / слезъ / на море рано!» или «Дльго / ночь / мркнеть / Заря-свѣтъ / запала, / мъгла / поля покрыла».⁴¹ Однако такая сегментация не является обязательной: разделить текст СПИ на строки можно и совсем иначе.

Более чем уязвимой реконструкция текста СПИ оказывается еще и потому, что исследовательница, прибегая к конъектурам, апеллирует не только к гимнографии, но и к фольклору, находя в повести об Игореде

³⁸ Эта идея принадлежит Р. Абихту: *Abicht R. Das südrussische Igorlied und sein Zusammenhang mit der nordgermanischen Dichtung // 84. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. IV. Abt. Sektion für neuere Philologie. 1907. S. 1–23.*

³⁹ Точка зрения Ф. О. Корша; см.: *Корш Ф. О. Слово о полку Игореде. СПб., 1909. (Исследования по русскому языку; Т. 2. Вып. 6).*

⁴⁰ *Штокмар М. П. Ритмика «Слова о полку Игореде» в свете исследований XIX–XX вв. // Старинная русская повесть: Статьи и исследования / Под ред. Н. К. Гудзия. М.; Л., 1941. С. 82.*

⁴¹ *Серегина Н. С. «Слово о полку Игореде» и русская певческая гимнография XII века. С. 120–121.*

походе элементы фольклорного стиха.⁴² Однако гимнография и жанры песенного фольклора — это две совершенно разные системы, первая из которых принадлежала в Древней Руси к сфере культуры и функционировала в богослужении, а вторая относилась к «низкой» области, к быту, никак не включалась в церковную книжность и ассоциировалась с язычеством. Их симбиоз, а тем более синтез на протяжении всего текста, как это якобы происходит в СПИ, выглядит своего рода культурной шизофренией; если же предположить, что такое возможно, то сама эта возможность требует обстоятельной аргументации.

Гимнографический, или молитвословный, стих за пределами богослужебных текстов встречается в древнерусской словесности в таком памятнике, как Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона.⁴³ Но это произведение церковной книжности, проповедь — текст, очень далекий от СПИ. А, например, Слово о гибели Русской земли, с которым иногда и небезосновательно сближают СПИ, отличается ритмической организацией совсем иного типа: оно «всецело построено по синтактико-интонационной модели сказового стиха».⁴⁴ Это «произведение риторическое, но не церковного, а светского типа. И поэтому его автор обратился к риторическим жанрам русского фольклора и проникся их ритмикой и образностью».⁴⁵

Свою идею о родстве СПИ с гимнографией Н. С. Серегина подкрепляет параллелью между Плачем Ярославны и якобы похожей на него стихирой на Рождество «Сълнце Сыне».⁴⁶ Вот гимнографический текст: «Сълнце сыне. / како тя утаю въ пеленахъ. / Како тя дою. / въсякаго естъства питателю. / како ты рукама. / държащаго въсячьская. / како без боязни на ты възьрю. / на него же не съмѣють възирати. / мьногоочити. / браконейскусьная. / Христа държащи въѣдаше». А в СПИ говорится: «Ярославна рано плачеть / въ Путивлѣ на забрале, аркучи: “О вътрѣ вътрѣло! / Чему, господине, насильно въѣши? Чему мычещи хиновьскыя стрѣлки / на своєю нетрудною крылцю / на моя лады вои? / Мало ли

⁴² Серегина Н. С. «Слово о полку Игореве» и русская певческая гимнография XII века. С. 42—43 и др.

⁴³ Тарановский К. Ф. Формы общеславянского и церковнославянского стиха в древнерусской литературе XI—XII вв. // Тарановский К. Ф. О поэзии и поэтике / Сост. М. Л. Гаспаров. М., 2000. С. 259—260.

⁴⁴ Там же. С. 266 (обоснование — на с. 266—268).

⁴⁵ Там же. С. 268.

⁴⁶ Серегина Н. С. «Слово о полку Игореве» и русская певческая гимнография XII века. С. 123—124.

ти бяшеть горѣ, / подь облакы, вѣяти, / лелѣючи корабли на синѣ-море? / Чему, господине, / мое веселие / по ковылию / развея?»⁴⁷ Ни семантика, ни ритмическая структура двух фрагментов в целом не похожи; сходны лишь анафорическая структура и форма риторических вопросов. Кроме того, прежде чем сблизить СПИ с этим гимнографическим текстом, следовало, как уже было замечено в связи с интерпретацией А. Н. Ужанкова, доказать, что Плач Ярославны не имеет ничего общего с языческими по происхождению заклинаниями-заговорами. А сходство Плача с ними всё же большее, чем с рождественской стихирой.

Основанием для сближения СПИ с гимнографией в книге Н. С. Серegiной (раздел «“Слово о полку Игоре» в контексте гимнографии XII века: опыт словаря») часто оказывается совпадение отдельных лексем, — притом что контекст высказываний может быть абсолютно непохож. Вот лишь один пример: параллель между фразами «невеселая година встала», «встала обида в силахъ» и «сего бо нынѣ сташа стязи Рюриковы» из СПИ и «мъртвии всташа поспѣшаше ко тебе Христось» из гимнографии.⁴⁸ Понятно, что здесь совпадают отдельные слова, но не их конкретные смыслы.

Н. С. Серегина не отрицает присутствия в тексте СПИ языческих (по крайней мере, по своему генезису) элементов, но делает ответственным за них не автора-христианина, а Бояна: «Почему автор отрекается от стиля Бояна? Ответы в тексте касаются времени (старое, в котором предвещали будущее, и нынешнее, былевое, актуальное), манеры (Боян скачет мыслию-мысию по древу, мыслию летит до облаков, волком рыщет по земле), но что-то важное остается скрытым, понятным лишь для посвященных в образную систему авторского рассказа. Ответы на этот вопрос предстают скрытыми в иерархическом взаимодействии разных планов. Минуя все уровни этой иерархии, можно увидеть противопоставление мировоззренческих систем — сферы язычества и сферы христианства».⁴⁹ Боян для исследовательницы вообще фигура негативная: «...Боянова песня — не слава, а хула! Это тонкий упрек, тончайшая, язвительная ирония. Таковую песню спел бы Игорю Боян, поскольку он оставил дружину в “земле незнаемой”».

Боян был любимцем Олега, который сеял раздоры, и сам своей волей сеял вражду и распри между князьями. В этом и ответ началь-

⁴⁷ Стихира и текст СПИ цитируются по книге Н. С. Серegiной, Плач Ярославны — в разбивке на строки, принадлежащей автору книги: Там же. С. 123–124.

⁴⁸ Там же. С. 274.

⁴⁹ Там же. С. 235.

му стиху “Слова”: “не лепо”, никак нельзя петь разделяющую боянову славу князю “настоящего времени”: та, боянова песнь пришлась на новую песнь, на нового, прошедшего через горький опыт, Игоря; его — “нового” — принимает, прощает Русская земля, на него, нового, надеется». ⁵⁰

Рассматривать проблему пародийности Боянова пласта в СПИ здесь нет возможности — она требует особого обстоятельного анализа. ⁵¹ В целом же рассматриваемая интерпретация образа Бояна грешит подчинением материала навязанной ему извне концепции. У нас нет никаких свидетельств, что «Велесов внук» был «любимцем» князя Олега «Гориславича»-Святославича: песни свои он, как сказано в СПИ, посвящал разным князьям. Тем более нет оснований считать, что давний сказитель «сеял вражду и распри»: в тексте сказано лишь, что он «помняшет бо <...> първыхъ времянь усобицѣ» (с. 3). А сам Олег, который воевал за отчий Чернигов против занявших его Всеволода Ярославича и его сына Владимира Мономаха и имя которого может означать не только *принесший много горя*, но и *горящий славою или претерпевший много горя*, — в СПИ фигура, по-видимому, далеко не однозначная. ⁵²

Недостаточно обоснованна и трактовка Бояна как певца — выразителя языческого мировидения. Даже если Боян и притязал на обладание магическими способностями и был, по мнению некоторых исследователей, «скорее всего, шаманским певцом, приобретшим свои знания магическими средствами» ⁵³ (что, впрочем, кажется более чем сомнительным для придворного сказителя, жившего через сто лет после крещения Руси), ⁵⁴ нельзя не отметить, что в СПИ его образ соотносится с царем и пророком-псалмопевцем Давидом, ⁵⁵ причем эта соотнесенность прояв-

⁵⁰ Серегина Н. С. «Слово о полку Игореве» и русская певческая гимнография XII века. С. 253.

⁵¹ Н. С. Серегина развивает здесь наблюдения О. О. Сулейменова и А. Ю. Чернова. См.: Сулейменов О. Аз и Я: Книга благонамеренного читателя. [2-е изд.] М., 2005. С. 96; Чернов А. Хроники изначального времени: «Слово о полку Игореве»: текст и его окрестности. СПб., 2006. С. 119.

⁵² См. об этом, например: Рангин А. М. Путеводитель по «Слову о полку Игореве». М., 2012. С. 61–63.

⁵³ Боура С. М. Героическая поэзия / Пер. с англ. и вступ. ст. Н. П. Гринцера, И. В. Ершовой. М., 2002. С. 27.

⁵⁴ Ср. обзор гипотез о времени жизни Бояна: Дмитриев Л. А. Боян // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995. Т. 5: А–В. С. 149–152.

⁵⁵ См.: Якобсон Р. О. Ущекоталь скача // Jakobson R. Selected Writings. The Hague; Paris, 1966. Vol. 4: Slavic Epic Studies. P. 606; Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игореве». С. 319–320.

ляется в совпадении словесной характеристики, какой Давид наделен в древнерусском Слове на Лазарево воскресение, и описания Боянова песнотворчества.⁵⁶

В российском литературоведении, посвященном изучению русской литературы Нового времени (прежде всего сочинений Пушкина и Достоевского), в постсоветскую эпоху сформировалось течение, названное критически относящимися к нему учеными *религиозной филологией*. Течение, для которого характерны трактовка произведений художественного творчества, содержащих религиозные или квазирелигиозные мотивы, как отражения реального мистического опыта автора и прочтение этих текстов в свете православного вероучения — обычно как не более чем его иллюстраций в образной форме. Нередко такое прочтение принимает характер «благочестивого исправления» литературных произведений — «*идеологического исправления*»,⁵⁷ — то есть интерпретаторского насилия в отношении текста. Это явление объяснимо как реакция на официальный варварский атеизм советской эпохи, но от этого оно не становится менее печальным и тревожным. Объясняя сущность этой тенденции, С. Г. Бочаров заметил: «Нынешняя религиозная филология с очевидностью ориентируется на идеал искусства в составе культа».⁵⁸ Подход, свойственный религиозной филологии, не применим к литературе Нового времени, обретшей автономию, независимость от культа; но при изучении древнерусской словесности он, казалось бы, может быть адекватным. Парадокс, однако же, состоит в том, что и при исследовании русской средневековой книжности адепты такого подхода избирают не жития, проповеди, хождения или даже летописи, которые не просто со-

⁵⁶ См. об этом прежде всего: *Рождественская М. В.* Царь Давид, царь Симеон и вещей Боян // ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 50. С. 104–109. Правда, М. В. Рождественская, обратившая внимание на ряд прежде не отмеченных совпадений между Бояном и Давидом из Слова на воскресение Лазаря, склонна считать Бояна поэтом «мира языческих представлений» в противоположность царю Давиду — «поэту библейско-христианской мудрости» (Там же. С. 108). Конечно, мы можем чисто теоретически допустить, что под пером автора СПИ образ языческого сказителя подвергся некоей «христианизации», однако более простым и логичным было бы предположение о том, что «языческие», «шаманские» элементы в характеристике вешего певца — это не еще живые рудименты древних дохристианских представлений, а всего лишь метафоры, только генетически (но не функционально, не семантически) связанные с «миром языческих представлений».

⁵⁷ *Бочаров С. Г. Р. С.* О религиозной филологии // *Бочаров С. Г.* Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 588 (курсив С. Г. Бочарова).

⁵⁸ Там же. С. 588.

держат религиозные мотивы, но ориентируются на Священное Писание как на модель и образец, а Слово о полку Игореве — произведение, занимающее в этой книжности место уникальное. Е. Г. Водолазкин, подчеркнувший, что СПИ разительно отличается от других древнерусских памятников явной, неприкровенной художественностью, литературностью, констатировал: «Мало-помалу научное сообщество осознает, что уникальность “Слова” является едва ли не главной его особенностью».⁵⁹ Боюсь, нужно признать: осознают далеко не все.

Несколько десятилетий назад Д. С. Лихачев заметил: «Меньше всего в “Слове” той христианской символики, которая столь типична для церковноучительной литературы. Здесь, конечно, сказался светский характер памятника. Эту церковную символику можно усматривать только в образе “мысленного древа”, по которому растекалась мысль Бояна».⁶⁰ Это утверждение не свободно от идеологического отпечатка советской эпохи, в которую появилось: переключек с памятниками церковной словесности в СПИ несколько больше. Тем не менее, по сути своей оно совершенно справедливо. Объяснить место «песни» о князе Игоре в древнерусской книжности можно, лишь признав существование в Киевской Руси светской литературы — традиции, счастливо уцелевшим обломком которой и является СПИ. Такими же обломками ее, вероятно, являются «Девгениево деяние» — перевод-переложение византийской героической поэмы «Дигенис Акрит» (СПИ, по свидетельству его первого издания, находилось в одном сборнике с этим памятником), исконная версия Слова/Моления Даниила Заточника,⁶¹ а возможно, и Слово о гибели Русской земли. (Эта гипотетическая светская литература, безусловно, содержала религиозные мотивы, однако они не определяли всецело семантики этих текстов, а сами тексты не ориентировались полностью на те образцы и модели, которые были безусловными для религиозной книжности.) Только в ряду предполагаемой светской литературы СПИ

⁵⁹ *Водолазкин Е.* Дар «Слова» («Слово о полку Игореве») // Литературная матрица: Внеклассное чтение / Сост.: В. Левенталь, П. Крусанов. СПб., 2014. С. 17.

⁶⁰ *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и особенности русской средневековой литературы // *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. М., 1978. С. 36.

⁶¹ В. М. Живов допускает, что Моление Даниила Заточника изначально было текстом светского игрового характера: *Живов В. М.* Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси // *Живов В. М.* Разыскания в области истории и предьстории русской культуры. М., 2002. С. 103. Впрочем, допуская существование такого рода явлений, исследователь считает, что они не образовывали самостоятельного пласта культуры (см.: Там же. С. 73–115).

перестанет быть сиротливо уникальным, перестанет возвышаться «уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности».⁶²

Надо, впрочем, признать, что даже на этом фоне СПИ выделяется своей оригинальностью. Оригинальностью, которая может объясняться тем, что это памятник, возникший на скрещении мифопоэтической традиции и исторического повествования: «Поэзия “Слова о полку Игореве” снимает дуализм двух мировоззрений, она выводит человека из синкретической космогонии мифа в историю как пространство собственно человеческой жизни. Но в отличие от повествовательного зрения христианской литературы, рассматривающей исторический факт в свете вечно трансцендентальной истины, на фоне должного, идеального образца, поэзия обращена не к провиденциальной, а к реальной истории, осуществляющейся в сфере природного бытия».⁶³ Непохожесть СПИ на другие древнерусские сочинения можно объяснить и тем, что это произведение — трансформация исконного фольклорного сочинения, творения придворного певца-сказителя, в книжный текст. Ведь в этом произведении «есть два начала — литературное и фольклорное. <...> Странная такая конструкция, напоминающая хармсовскую кошку, которая, как известно, лишь отчасти идет по дороге».⁶⁴

Эта особенность делает СПИ текстом, все интерпретации которого носят неизбежно гипотетический характер. Мы не знаем контекста, а, следовательно, не знаем жанра и художественного языка памятника. Интерпретации же, исходящие из других интерпретаций-предположений, оказываются уже не гипотезами, а не более чем гаданиями и мнениями. Из сказанного вовсе не следует, что любое истолкование этого текста — герменевтическая катастрофа для исследователя. Толкования необходимы и неизбежны. Нужно лишь помнить, что они должны быть тщательно обоснованными и что выдвигать новые трактовки допустимо, только если все иные, им противоречащие, интерпретации будут изобличены в неадекватности и несостоятельности. «Необходимо осознать свою собственную предвзятость, только тогда текст явится во всей своей инаковости, обретя возможность защищать свою предметную истину от наших собственных предмнений. <...> Эта задача требует от нас удостовериться

⁶² Пушкин [А. С.]. Полное собрание сочинений: [В 16 т.]. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 268 (статья «О ничтожестве литературы русской»).

⁶³ Подкорытова Т. И. Параллель мифа и истории, образа и нарратива в «Слове о полку Игореве» // Русская филология: Ученые записки кафедры литературы и методики ее преподавания Смоленского государственного университета. Т. 16 / Сост. и ред. И. В. Романова, Л. В. Павлова, Л. Г. Каяниди. Смоленск, 2015. С. 22.

⁶⁴ Водолазкин Е. Дар «Слова» («Слово о полку Игореве»). С. 23–24.

в собственных предмнениях и предсуждениях и наполнять акт понимания исторической осознанностью, так чтобы, постигая исторически иное <...>, мы не просто выводили то, что сами же вложили». ⁶⁵ Пусть мы не знаем твердо, что такое СПИ и какие смыслы заложены в этом памятнике, зато можем определить, чем оно *не является* и каких смыслов в нем *нет*. Даже это не так уж мало. А конечной инстанцией и судьей может быть только сам текст: в филологии всегда «тексту принадлежит контрольная функция по отношению к интерпретации — принимает он ее или отторгает <...>. Текст кажется беззащитным перед нашими интерпретациями с их смелостью, но он же и неприступен». ⁶⁶

⁶⁵ Гадамер Г. Г. О круге понимания // Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного / Сост. М. П. Стафецкий; послесл. В. С. Малаховой; коммент. В. С. Малахова и В. В. Бибикина; пер. с нем. А. В. Михайлова. М., 1991. С. 77–78.

⁶⁶ Богаров С. Г. От имени Достоевского // Богаров С. Г. Сюжеты русской литературы. С. 583.

«Исповедь» Константина Леонтьева: текст и контекст

...тонким ароматом духовной красоты овевая жизнь этого бесприютного неудачника, вечного странника...¹

1

Христианский литературный исповедальный канон, основанный на идее теоцентризма, сложился в сочинениях бл. Августина (354–430), соединившего традицию церковной исповеди и традицию автобиографического повествования:² «Велик ты, Господи, и всемерной достоин хвалы; велика сила Твоя и неизмерима премудрость Твоя». И славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих; человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего».³ Являясь главной частью таинства покаяния,⁴ исповедь объединяет в себе как собственно покаяние (исповедание грехов), так и утверждение основополагающих догматов вероучения (исповедание веры). В своей «Исповеди»

¹ Булгаков С. Н. Победитель — Побежденный // К. Н. Леонтьев. Pro et contra: Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891–1917 гг.: Антология. СПб., 1995. Кн. 1. С. 392.

² См.: Рабинович В. Л. Урок Августина // Рабинович В. Л. Исповедь книгочех, который учил букве, а укреплял дух. М., 1991. С. 197–287; Казанский Н. Н. Исповедь как литературный жанр // Блаженный Августин. Исповедь / Пер. М. Е. Сергеевко, отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб., 2013. С. 275–295 (Лит. памятники).

³ Блаженный Августин. Исповедь. С. 5.

⁴ Алмазов А. И. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви: Опыт внешней истории: Исследование преимущественно по рукописям: В 2 т. Одесса, 1894. Т. 1. С. 2.

(397–398) бл. Августин органично переплетает исповедание христианской веры, прославление Господа с рассказом о собственной жизни, чувствах, страстях и глубоким раскаянием в многочисленных грехах и прегрешениях; кроме того, он критикует устройство современного ему государственного организма (затрагивая вопросы воспитания, образования, школы, университета); характеризует нравы, привычки соотечественников, борьбу партий, состояние науки и искусства и проч.; осмысляет свой опыт обращения, который был бы невозможен без Божьей помощи; касается проблем богословских и философских. Как богослов бл. Августин критикует манихейство, неоплатонизм, астрологию; размышляет о таинстве исповеди, толкует Книги Бытия, излагает учение о Троице, пытается осмыслить, что есть Бог, а как философ рассуждает о человеке, природе памяти, о взаимодействии внутреннего мира личности и космоса, о времени абсолютном и относительном, о возможностях языка и др. «Исповедь» бл. Августина – универсальный текст, суть которого определяет признание Бога и мира, Им сотворенного в многообразии различных связей, а также поиск формы общения с Богом и попытка Его познания. Августин, исповедуясь перед Богом, делает свой человеческий опыт достоянием всех: «Кому рассказываю я это? Не Тебе, Господи, но пред Тобою рассказываю семье моей, семье людской, как бы ничтожно ни было число тех, кому попадет в руки эта книга. И зачем? Конечно, чтобы я и всякий читающий подумали, “из какой бездны придется взывать к Тебе”. А что ближе ушей Твоих к сердцу, которое исповедуется Тебе и живет по вере Твоей?»⁵ Того уровня, на который поднялся в своей «Исповеди» епископ Гиппонский, никто из его европейских потомков не достигнет, но влияние испытают многие.

Исповедания Августина были хорошо известны образованным людям Средневековья. Об этом свидетельствуют труды латиниста Ратхера Веронского (890–974): «Извлечения из исповедального диалога»; немецкого философа монаха Отлоха Санкт-Эммерамского (1013–1072): «Книга об искушениях, переменчивой судьбе и сочинениях»; французского аббата Гвиберта Ножанского (1053–1124): «О своей жизни» (1114–1117) и др. В упомянутых сочинениях, включающих в себя некоторые факты личной биографии авторов, доминирует богословско-назидательный пафос. В то же время появляются произведения с большим акцентом на автобиографизм. Это характерно, например, для французского теолога, философа и поэта Пьера Абеляра (1079–1142),⁶ оскопленного по решению Церкви за связь с его ученицей Элоизой. Его «История моих бедствий» (1132–1136) содержит не столько раскаянья монаха

⁵ Блаженный Августин. Исповедь. С. 23.

⁶ Рабинович В. Л. Урок Августина. С. 289–397.

(он принял постриг вскоре после кастрации) в грехах, сколько описания постыдного, необузданного поведения братии, нередко угрожавшей жизни Абельяра в монастыре св. Гильдазия Рюиского, где он был настоятелем. Помимо описаний нестерпимых унижений, опасностей и бед в «Истории» присутствует едва сдерживаемая гордыня, и в то же время — искреннее исповедание веры, покорное приятие своей судьбы: «Правильно во всех случаях обращаются к Богу со словами: “Да будет воля Твоя!” А притом сколь великое утешение любящим Бога содержится в словах апостола: “Знаем ведь, что для любящих Бога всё творится во благо”».⁷

В эпоху Возрождения к произведениям исповедального типа можно отнести сочинение Франческо Петрарки (1304–1374) «Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру» (1342–1343), написанное в форме диалога между Августином Блаженным и Франциском (самим Петраркой) перед судом Истины; литературный автопортрет итальянского ювелира и скульптора Бенвенуто Челлини (1500–1571) «Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим», где внешняя простота и наивность повествования сочетаются с грубым натурализмом и высокой стилизацией; философские размышления французского мыслителя Мишеля Монтеня (1533–1592) «Опыты» (1580), запечатлевшие духовную и эмоциональную эволюцию человека Нового времени с его сомнениями в силе разума, в возможности соблюдения нравственных принципов и исполнения христианских заповедей.

Постепенно содержание литературной исповеди все более дифференцировалось. С одной стороны, исповедь продолжала свое бытие, ориентируясь на традицию Августина, где в большей или меньшей степени присутствуют раскаяние, покаяние, упование на Господа, а с другой — трансформировалась, уходя от исповедания веры, в результате чего всё более обмирщалась, беллетризировалась, сосредоточиваясь на индивидуальном человеческом «я», которое тяготело к рефлексии и вырабатывало всё более изощренные способы выражения внутреннего состояния личности.

Новая тенденция достигла своего апогея в творчестве Ж.-Ж. Руссо (1712–1778), создавшего сочинение, совместившее в себе автобиографию и беллетристику, messiанизм и смирение, циничную откровенность и утонченный психологизм. В «Исповеди» (1766–1769) Руссо буквально «вывернул наизнанку» свою душу, с горделивым самоуничтожением описав свою жизнь, дурные поступки и любовные похождения. Вместе с тем, он показал человека в его отношениях с окружающей природой и обществом, создал полнокровные биографические портреты и заме-

⁷ Абельяр Пьер. История моих бедствий // История субъективности: Средневековая Европа / Сост. Ю. П. Зарецкий. М., 2009. С. 388.

чательные лирические пейзажи, а, кроме того, с яростью памфлетиста обрушился на своих истинных и воображаемых врагов. Руссоистская исповедальность (которая, по мнению современной исследовательницы, может быть определена как эксгибиционизм)⁸ оказалась востребованной и стремительно распространилась в европейских литературах конца XVIII—XIX века.

На становление и развитие жанра литературной исповеди в России⁹ оказали влияние в первую очередь бл. Августин¹⁰ и Ж.-Ж. Руссо.¹¹ Среди возникших на русской почве исповедей, помимо художественных, особый интерес представляют писательские автобиографические сочинения, такие как «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» Дениса Фонвизина, «Авторская исповедь» Николая Гоголя, «Моя исповедь» Николая Огарева, «Исповедь» Михаила Бакунина, «Исповедь» Льва Толстого, «Биография-исповедь» Петра Лаврова.¹² В этом ряду находится и «Моя исповедь» Константина Леонтьева, которая далее будет рассмотрена подробнее.

⁸ *Артемяева Т. В.* Случай Руссо: исповедь или эксгибиционизм? // Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова: Материалы международной конференции (Санкт-Петербург, 26—27 мая 1997 г.). СПб., 1997. С. 61—67.

⁹ См. об этом: *Уваров М. С.* Архитектоника исповедального слова. СПб., 1998; *Марков Б. В.* Храм и рынок: Человек в пространстве культуры. СПб., 1999. С. 56—75; *Засе С.* Яд в ухо: Исповедь и признание в русской литературе / Вступ. слово Д. Бака; Пер. с нем. Б. Скуратова и И. Чубарова. М., 2012.

¹⁰ «Исповедь» бл. Августина пользовалась популярностью у русских читателей. Первый печатный перевод «Исповеди» на русский язык был издан в 1787 году иеромонахом Агапитом (Скворцовым). Следующий перевод был осуществлен Киевской духовной академией в 1880 г. Одним из лучших переводов XX в. принято считать перевод проф. М. Е. Сергиенко, подготовленный в блокадном Ленинграде (опубликован впервые в 1978 г.). Существуют и другие переводы памятника.

¹¹ Первый русский перевод «Исповеди» Руссо (кн. 1—6) выполнил Д. С. Болтин в 1797 г. О переводах «Исповеди» Руссо на русский язык см.: *Златопольская А. А.* «Исповедь» Руссо и русская мысль XVIII—XIX веков // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. Т. 11. Вып. 2. С. 157—169.

¹² См.: *Луцевич Л. Ф.* 1) «Исповедь» Льва Толстого: анализ, покаяние, поиски истины веры // *Slavia Orientalis*. Warszawa, 2010. Rocznik LIX. Nr 4. S. 467—486; 2) «Авторская исповедь» Гоголя: Текст и контекст // Двести лет Гоголя: Текст и контекст / Под ред. В. Шукина. Краков, 2011. С. 27—37; 3) *Нотосонфитенс Дениса Фонвизина* // Проблемы изучения русской лите-

Жизненный путь Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) обычно определяется как движение от либерализма к консерватизму, от язычества¹³ к монашеству.¹⁴ Это движение неизменно сопровождалось литературной деятельностью, в которой нашла отчетливое отражение самобытная и вместе с тем противоречивая личность автора. Как отмечает современный исследователь, практически всё литературное наследие писателя пронизано автобиографизмом: он «рассказал о себе многое и в романах, и в повестях, и в письмах, и в записях, и в статьях».¹⁵ В этом контексте представляет особый интерес жанр исповеди, к которому писатель обращался в своих художественных и автобиографических произведениях.

В 1864 г. Леонтьев написал повесть под названием «Исповедь мужа»,¹⁶ которую особо выделял в своем творчестве. В письме от 30 ноября

ратуры XVIII века: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 15 / Науч. ред.: Е. И. Анненкова, О. М. Буранок. СПб.; Самара, 2011. С. 130–140; 4) Писательская исповедь: попытка типологии // *Studia Rossica*. Т. XXI: *Autobiografie pisarzy rosyjskich* / Red. naukowa A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Lucewicz. Warszawa, 2012. S. 19–29; 5) Польский вопрос в «Исповеди» Василия Кельсиева // *Studia Rossica*. Т. XXII: *Polska – Rosja: dialog kultur* / Red. naukowa A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Lucewicz. Warszawa, 2012. S. 135–150; 6) *Canon of Confessional Writing and its Modifications Russian* // *Classical Literature Today: The Challenges/Trials of Messianism and Mass Culture* / Ed. by Yordan Lyutskanov. Cambridge, 2014. P. 195–204; 7) Исповедь как авторский житнетекст в антропологической перспективе // *Антропология литературы: методологические аспекты проблемы*: Сб. науч. ст.: В 3 ч. / Ред.: Т. Е. Автухович (гл. ред.) [и др.]. Гродно, 2013. Ч. 1. С. 11–20; 8) «Запрещенная религия польского дела» в Исповеди Михаила Бакунина // *Studia Rossica Gedanensia*. Т. 1 / Red. Katarzyna Wojan & Żanna Śladkiewicz. Gdańsk, 2014. S. 290–302.

¹³ А. М. Коноплянцев вспоминал о Леонтьеве так: «Человек он был по натуре страстный, несдержанный, <...> исповедовал тогда прямо-таки культ сладострастия, и его необузданной фантазии в этом отношении не было ни удержу, ни пределов. <...> Он любил жизнь, все сильные и красивые стороны ее, и, как язычник, этой жизни не боялся и хотел ею пользоваться без границ» (*Коноплянцев А. М. Леонтьев* (<http://knleontiev.narod.ru/biography/konoplyantsev1.htm>); см. также: *Русский биографический словарь*. СПб., 1914. Т. [10]: Лабзин — Ляшенко. С. 229–249.

¹⁴ *Корольков А. А. Пророчества Константина Леонтьева*. СПб., 1991. С. 6.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Впервые издана: *Отечественные записки*. 1867. Т. CLXXIII. Кн. 7. С. 219–272 (под редакторским заглавием «Ай-Бурун»); это заглавие не понравилось автору. Далее произведения Леонтьева цитируются в тексте ста-

1864 г. к профессору-историку Константину Николаевичу Бестужеву-Рюмину (1829—1897) Леонтьев, будучи на тот момент консулом в Адрианополе, пишет: «С этой почтой пойдет в Петербург новая повесть “Исповедь мужа”. У Вас волосы встанут от ее безнравственности (а в душе будете сочувствовать, я ручаюсь, не фактам отдельным, а общему духу)».¹⁷ Тема, к которой обратился в своем сочинении автор, в общем-то, не нова. Это, как справедливо заметил Ю. П. Иваск, вариация «жоржсандовской темы свободной любви», которую в России впервые «обработал» А. В. Дружинин в своей нашумевшей повести “Полинька Сакс” (1847). Позже ту же тему педантично “разработал” в своем романе-трактате Чернышевский».¹⁸ Действительно, названные три текста сближает идея «жизни втроем», но главный герой Леонтьева, что совершенно естественно, отличается от Константина Сакса и от Лопухова с Кирсановым, как и его героиня Лиза отличается от Полиньки Сакс и Веры Павловны. Не останавливаясь на сравнительном анализе персонажей, отмечу только, что Леонтьев в своем тесте менее завуалированно, чем его предшественники, выразил позитивный взгляд на идею «жизни втроем».

В основе сюжета леонтьевской «Исповеди мужа» — любовный треугольник: 45-летний герой женится на 15-летней дальней родственнице, предоставляя ей полную свободу в выражении чувств; через некоторое время девушка влюбляется в смелого молодого грека, ее муж одобряет этот выбор; влюбленные уезжают за границу. Герой продолжает страстно любить свою молоденькую жену, она в свою очередь испытывает глубокую благодарность к мужу, страдая из-за того, что причиняет ему боль, но справиться со своим чувством к молодому возлюбленному не в силах, превращаясь по его воле в покорное существо, безропотно сносящее обиды и унижения. Так, в письме к мужу из Александрии героиня признавалась, что «готова была сносить <...> бешенство» своего возлюбленного, вплоть до диких побоев «головой об стену», пока он «любил душою» ее одну. Она испытывала физическую боль, но «не плакала и молча терпела и <...> целовала не только руки, ноги его целовала»; на

тьи в скобках с указанием номера тома, книги (если есть) и страницы по изданию: *Леонтьев К. Н.* Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Под ред. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2000—2014 (издание продолжается).

¹⁷ *Леонтьев К.* Избранные письма / Публ., предисл. и коммент. Д. Соловьева, вступ. ст. С. Носова. СПб., 1993. С. 45.

¹⁸ *Иваск Ю. П.* К. Н. Леонтьев: Жизнь и творчество // К. Н. Леонтьев. Pro et Contra: Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей после 1917 г.: Антология: [В 2 кн.]. СПб., 1995. Кн. 2. С. 325.

душе у нее было «хорошо», «приятно», поскольку «он был как безумный от любви» и был ей верен (2, 392). Но когда молодой любовник начал бесцеремонно изменять ей с французенкой-циркачкой, терпение героини лопнуло: она решилась покинуть возлюбленного и вернуться к мужу.

Каждый из персонажей повести, охваченный чувством любви, наряду с невероятной *радостью*, переживает *музение*, *безумие* и даже *бешенство*, и каждый не находит себе места от ревности. Как выразился протагонист-повествователь, «истинное, глубокое счастье не по силам нам; мы к нему не привыкли» (2, 373). Писатель наделил своих героев чистосердечием, прямотушием, предоставил им возможность непосредственного самовыражения, используя повествование от первого лица в дневниковых записях и письмах, из которых состоит произведение. Искренность — это, пожалуй, и есть то главное, что связывает повесть Леонтьева с исповедью. Концовка ее трагична: все персонажи гибнут (молодые герои попали в шторм, и их корабль затонул, а муж Лизы, узнав об их гибели, застрелился). Развязка может быть интерпретирована как утверждение авторской мысли о том, что герои не нашли своего места в жизни: они не могли жить вместе, но не могли жить и друг без друга.

Позднее, в 1882 г., Леонтьев, руководствуясь строгими византийско-аскетическими идеалами, оценивал эту свою повесть необычайно сурово: «в высшей степени безнравственное, чувственное, языческое, дьявольское сочинение, тонко-развратное»; он просил не печатать ее без необходимых изменений, видя в существующей версии «грех! И грех великий!» (6, 2, 18). Характеристику «Исповеди мужа» дал в своей монографии Александр Корольков, посвятив ей специальную главу под названием «Тонко-развратное сочинение Константина Леонтьева и эволюция нравственности», где попытался объяснить причины строгой оценки повести ее создателем,¹⁹ а также отметил сходство между ее протагонистом и автором.²⁰ Элемент автобиографичности, может быть, и присутствует здесь в образе героя-повествователя, в некоторой степени наделенного авторским комплексом переживаний, но в целом это, безусловно, персонаж художественный.

3

В отличие от рассмотренной повести, другое сочинение Константина Леонтьева — «Моя исповедь», написанная в 1878 г. в Козельске, куда автор был вызван его духовником отцом Амвросием, — является в полной

¹⁹ См.: Корольков А. А. Пророчества Константина Леонтьева. С. 83—91.

²⁰ Там же. С. 110.

мере автобиографическим текстом. К истории замысла этого произведения можно отнести признание Леонтьева, сделанное им незадолго до смерти, в 1890 г.: «Однажды на Афоне я разговаривал с отцом Иеронимом о тех неожиданных внутренних переменах, которые я в себе ощущал по мере того, как вникал всё больше и больше в учение Православной Церкви. Эти перемены и новые ощущения удивляли и радовали меня. Разговаривая так, я дошел до мысли, что было бы полезно поделиться когда-нибудь с другими этой историей моего “внутреннего перерождения”. Отец Иероним согласился, но прибавил: “При жизни вашей печатать это не годится. Но оставить после себя рассказ о вашем обращении — это очень хорошо”. <...> Это о действительной, автобиографической моей исповеди» (6, 1, 782; выделено мной. — Л. Л.). «Другие», с которыми автор намеревался поделиться историей своего внутреннего перерождения, как следует из дальнейших объяснений, — это люди, схожие с исповедующимся «по воспитанию, привычкам, образованности» (6, 1, 803); именно к ним обращен рассказ о том, как автор «из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного донельзя, до утонченности, стал верующим христианином» (6, 1, 783). Трудная борьба с собой, нескончаемые сомнения, противоречия, контрверзы, странная невозможность решительных действий и поступков — таков, согласно Леонтьеву, удел современной ему личности, желающей, но не всегда способной преодолеть хаос пагубных страстей, «гордость собственного ума сломить и подчинить его сознательно учению Церкви» (6, 1, 789).

Писатель адресовал Исповедь своему духовнику — старцу Амвросию,²¹ с которым познакомился в Москве в 1874 г. В восприятии Леонтьева Амвросий — это человек, способный понять личные тревоги и подсказать пути практического выхода из сложных житейских обстоятельств (6, 1, 805–816). Осень 1878 г. как раз и стала тем временем, когда Леонтьев полностью отдался под духовное водительство старца и без его одобрения не предпринимал ничего важного. В исповеди он описал события, произошедшие с ним с момента религиозного обращения (1871) по декабрь 1878 г. Религиозность новообращенного базировалась на почве острого переживания тленности и обреченности красоты и самой жизни. Свое православие он называл религией разочарования, безнадежности в земном существовании. В собственном религиозном развитии Леонтьев выделял три этапа:

²¹ См. о нем: *Леонтьев К. Н.* Оптинский старец Амвросий: (Из письма к редактору «Гражданина») (6, 1, 805–816); основу этого письма составили «заметки» и статья духовного писателя Евгения Поселянина «Кончина и погребение отца Амвросия» (Московские ведомости. 1891. 25 окт. № 295. С. 3–4); *Котельников В. А.* Амвросий // *Котельников В. А.* Православные подвижники и русская литература: На пути к Оптиной. М., 2002. С. 162–232.

1) детская вера (1830—1840-е гг.), сливавшаяся «с поэзией религиозных впечатлений» (6, 1, 795), когда «религиозное соединилось с изящным» (6, 1, 798);

2) кризис детской веры в 1850—1860-е гг., когда «оставалась только смутная любовь к вере, но самой веры не было» (6, 1, 801), что обусловило «объективное народничество» (6, 1, 801) и ориентацию на эстетический и свободный деизм;

3) принятие идеала строгого монашеского православия как следствие кризиса 1871 г.

Начало третьего этапа с его противоречиями, исканиями и в то же время — настойчивым движением к церкви (под благотворным влиянием о. Амвросия) — нашло отражение в исповеди 1878 г.

Свое признание писатель начал горестными жалобами: «Я до того теперь подавлен обстоятельствами, что у меня нет никакого почти желания. — Читать я пробовал и светское и духовное. — Не могу. — Светское возбуждает во мне гнев и зависть; — духовное не трогает меня ничуть. — О Боге я помню, взываю к Нему почти беспрестанно; но стать на правильную молитву мне наказание. — Я ее почти бросил. — В Церкви я долго стоять не могу: — всё меня раздражает» (6, 1, 228).

Заложенная в первом же фрагменте исповеди «энергия противодействия» (В. А. Котельников)²² в рефлексии на некие «обстоятельства», сокрушающие душевно и физически исповедующегося автора, обуславливает и всё дальнейшее повествование. Контroversивность реакций определяет последующую контroversивность чувств и поступков. Автор, по-видимому, не случайно противопоставляет «взывание к Богу» и «правильную молитву». В обыденной трактовке обращение к Богу и есть часть молитвы. Но словосочетание «стать на правильную молитву» несет в себе дополнительный смысл. Святитель Игнатий (Брянчанинов) учил, что «правильная», «истинная молитва есть голос истинного покаяния»,²³ то есть трезвое и глубокое осознание своих грехов. Началом ду-

²² В. А. Котельников, тщательно изучивший многообразное наследие писателя-философа, пришел к убеждению, что «Леонтьев есть человек реакции (беря это слово в полном объеме его значений). <...> энергия чувства, мысли, а затем и деятельности у него по большей части становится энергией противодействия, получает направление, противное господствующему потоку действительности, массовым тенденциям, количественному прогрессу и качественному упадку истории. И таков Леонтьев во всем: в контroversивном складе ума, в моральной рефлексии, нередко во вкусах и почти всегда в политических пристрастиях» (Котельников В. А. Православные подвижники и русская литература. С. 298).

²³ Игнатий (Брянчанинов), еп. Сочинения: В 5 т. 3-е изд. СПб., 1905. Т. 2. С. 161.

ховной жизни христианина является именно покаяние, переоценка прежней жизни и желание обрести безгрешный путь. Леонтьев же очень редко пишет о каких-то конкретных своих поступках, мыслимых как греховные. На всем пространстве исповеди есть только несколько глухих упоминаний типа: «мои телесные силы, погубленные, по моей собственной вине, прежней греховной жизнью» (6, 1, 230); «от прежних привычек блуда я воздерживался там строго, хотя искушения были» (6, 1, 231); «я *тогда* же по приезде в Кудиново впал в блудное искушение» (6, 1, 236). Но и эти упоминания представляют собой скорее некую фиксацию образа жизни, направленность чувств и побуждений, чем раскаяние и тем более покаяние; они не содержат каких-либо оценок, не переживаются автором эмоционально.

Создается впечатление, что Леонтьев обратился к исповеди не столько ради покаяния, сколько для максимально откровенного выражения сомнений, ожиданий, чаяний, разочарований, испытанных им после обращения. Поворотным моментом в своей биографии он считал духовный кризис, приведший его к православию. В 1871 г., когда писатель стал консулом в Салониках, произошло событие, перевернувшее его жизнь. Внезапно он тяжело заболел (по его предположению, холерой) — и испытал жуткий страх смерти. В отчаянии он обратился с молитвой о спасении к Богородице, пообещав в случае выздоровления принять монашеский постриг. Через два часа почувствовал облегчение.²⁴ Леонтьев сжег

²⁴ Из письма Леонтьева Розанову от 13–14 августа 1891 г.: «...в лето 1871 года, когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти (от сильнейшего приступа холеры), я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я ничего этого предвидеть еще не мог, и все литературные планы мои были даже очень смутны. Я думал в ту минуту даже не о спасении души (ибо вера в Личного Бога давно далась мне гораздо легче, чем вера в мое собственное личное бессмертие); я, обыкновенно вовсе не боязливый, *пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти* (выделено мной. — Л. Л.) и, будучи уже заранее подготовлен (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я вдруг, в одну минуту, поверил в существование и в могущество этой Божией Матери, поверил так ощутительно и твердо, как если б видел перед собою живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: “Мать Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я еду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи...”. Через 2 часа я был здоров, всё прошло еще прежде, чем явился доктор, через три дня я был на Афоне, постригаться немедленно меня отговорили старцы, но православным я стал очень скоро под их руководством...» (Леонтьев К. Избранные письма. С. 424–425).

рукописи объемной эпопеи «Река времен», над которой трудился в течение восьми лет, и отправился на Афон, намереваясь исполнить свое обещание стать монахом. Но афонские духовники отговорили его от этого решения — слишком поспешного для самого Леонтьева и беспрецедентного для дипломата, находящегося на государственной службе.²⁵ Сам Леонтьев, а впоследствии и его биографы, неизменно отмечали, что непосредственным толчком для религиозного обращения стал необоримый ужас умереть, страх смерти,²⁶ вызвавший у писателя «общий мистический испуг, навсегда окрасивший собой его религию».²⁷

Рассказывая в исповеди о событиях своей жизни после обращения, Леонтьев вроде бы пытался понять самого себя, определить свое предназначение: «Что же я такое? Подвижник? — Мученик за эту веру? — Тогда я буду радоваться... А если я только малoverный грешник и всё наказан, и всё наказан?..» (6, 1, 247). Но поставленные вопросы (прежде всего второй и третий), как кажется, имеют в тексте скорее риторическое, чем смысловое наполнение. Леонтьев, общаясь с духовниками, старцами, образованными афонскими монахами, читая церковную, богослужебную и святоотеческую, литературу, не мог не знать, что подвижник — это человек, который постоянно исполняет определенные аскетические действия, берет на себя подвиг борьбы со страстями и направляет свои усилия к религиозно-нравственному совершенству, стремясь к стяжанию добродетелей — прежде всего очищению и освящению сердца,

²⁵ На просьбу Василия Розанова объяснить, что заставило оставить успешно складывавшуюся карьеру дипломата, Леонтьев ответил в письме от 13—14 августа 1891 г. из Оптиной пустыни так: «Причин было много разом, и сердечных, и умственных, и, наконец, тех внешних и, по-видимому (только), случайных, в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку его внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежат, с одной стороны, уже и тогда, в 1870—71 году: давняя (с 1861—62 года) философская ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки и цилиндры, рационализм и т. п.), а с другой, — эстетическая и детская какая-то приверженность к внешним формам православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сердечных глубочайших потрясений (слыхали Вы французскую поговорку *Cherchez la femme!*, т. е. во всяком серьезном деле жизни “ищите женщину”); и, наконец, внешнюю случайность опаснейшей и неожиданной болезни (в 1871 году) и *ужас умереть...*» (Леонтьев К. Избранные письма. С. 424; выделено мной. — Л. Л.).

²⁶ «У К. Леонтьева, — писал Н. Бердяев, — со страха начался духовный кризис» (Бердяев Н. А. Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной мысли. Париж, 1926. С. 94).

²⁷ Булгаков С. Н. Победитель — Побежденный. С. 385.

любви к Богу и ближним. Основываясь на таком традиционном представлении о подвижничестве,²⁸ Леонтьева трудно включить в его сферу. Еще сложнее назвать его мучеником за веру, то есть человеком, принявшим мучение за исповедание веры в Иисуса Христа.²⁹ Очевидно, предложенное им самим определение «маловерный грешник» будет на этом этапе наиболее адекватным его сути.

С момента обращения, по признанию автора, неудачи стали преследовать его во всех сферах жизни — в «семейных и сердечных делах, литературных предприятиях, поправке и выкупе имения, издании сочинений», а также в состоянии здоровья, службе и даже в двух попытках принятия пострига, — всё «кончилось ничем; — срамом!» (6, 1, 248). Длительная депрессия, когда «мыслить ни о чем другом, кроме своих дел, своего горя и своей скуки не мог» (6, 2, 383), и невозможность исполнить взятый на себя обет пострижения — угнетали. Много сил отнимала у Леонтьева борьба с барскими привычками, самолюбием, «гордостью ума», да и чисто физически ему было очень непросто приспособиться к длительной молитвенной службе, поэтому многочисленные жалобы о «муках телесных» наполняют Исповедь: «Я помню, какие телесные муки я вынес три ночи подряд на этой Страстной неделе; три ночи подряд о. Иероним заставлял меня ходить на бдения, которые длились по 8 и более часов. — На последнюю заутреню (под Пасху) мне сделалось <...> дурно. <...> Такие понуждения духовной любви превосходили <...> мои телесные силы...» (6, 1, 230).

Обычно кающийся исповедуется в своих грехах, пороках, сомнениях, старается проанализировать свои действия, поступки, помышления, и глубокое осознание собственной греховности обуславливает потребность очищения и желание новой жизни. Не то в «Моей исповеди» Леонтьева. Она от начала и до конца исполнена отчаяния, печали, уныния, тоски, скуки, страха, нескрываемого раздражения. На первый план в ней выходят несбывшиеся надежды, проблемы со здоровьем, нехватка денег и бесконечное одиночество: «Мне даже стыдно так жить... Какая-то всеми отвергнутая и забытая тварь...» (6, 1, с. 252).

²⁸ «Подвижничество — род духовных и внешних упражнений, основанных на самоотречении с целью христианского самоусовершенствования» (Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 т. СПб., 1912. Т. 2. Стб. 1820—1821).

²⁹ В христианском предании «наименование “мученик” относится исключительно к тем, кто свидетельствует своей кровью <...> тот, кто жертвует своей жизнью из верности свидетельству об Иисусе» (Словарь библейского богословия / Под ред. Ксавье Леон-Дюфура и др. Киев; М., 1998. Стб. 612).

Стараясь понять сам и объяснить другим, почему в его жизни в течение последних «пяти-шести лет *всё, всё* разом не удастся» (6, 1, 248), автор на первой же странице исповеди предлагает ответ в форме «ужасной» мысли: «Ужасно то, что нынешний год в первый раз мне начала приходить мысль, что именно с тех пор как я *обратился* (с 1871 года) все мирские дела мои пришли в упадок. — *С тех пор как я стал православным, я нигде себе места не найду*» (6, 1, 228). Следует уточнить, что мысль эта возникла у Леонтьева не в 1878 г., когда создавалась Исповедь, а значительно ранее. Еще в письме к Игнатьеву от 7 апреля 1875 г. он признавался: «Я <...> думал: стоит только поступить в монастырь, так сейчас в награду сами дела пойдут так, что и долги заплатятся, и всё устроится... — Но я ошибся; — Бог судил иначе; — цели Промысла Его мы понять не можем; — а нравственное чувство наше от этой мысли не успокаивается» (6, 2, 383).

Как видно, в самом начале Исповеди дается обдуманый ответ на вопрос о причине нескончаемых неудач и «безвыходных ситуаций» (6, 1, 238): автор абсолютно убежден в том, что все его проблемы в мирской жизни начались с момента его религиозного обращения. Когда он пишет: «я нигде себе места не найду», речь идет не только о реальной географической перемене мест: он действительно метался между Кудиновым, Калугой, Москвой и Петербургом, тратя последние деньги на переезды и гостиницы. Речь идет и об отсутствии постоянного места службы, и об отсутствии смысла жизни, обусловленного роковой невозможностью принять решение и, наконец, обрести хотя бы относительное внутреннее равновесие и душевный покой. Таким образом, выходит, что именно акт религиозного обращения обуславливает все отрицательные явления в жизни писателя последних лет. Эта мысль развивается и неоднократно повторяется в тексте, становится доминантной: «Итак, повторяю: — до обращения моего — я был обеспечен, здоров, восхваляем начальством, и Катков писал мне, что считает за честь (да! этими словами) печатать мои вещи. — После обращения — всё обрушилось на меня и я *стал скиталец* не по капризу, а по нужде» (6, 1, 234–235). Тема вынужденного скитальчества приобретает в Исповеди особую роль. Известно, что и до обращения Леонтьев немало путешествовал: Кудиново, Смоленск, Петербург, Калуга, Ярославль, Москва, Керчь, Еникаль, Феодосия, Симферополь, Константинополь, Адрианополь, Тульча, Янина, о. Корфу, Салоники, Афон, о. Халки и проч. Но это были служебные перемещения или перемещения «по капризу», то есть по собственной воле. В Исповеди же он называет себя скитальцем «по нужде». Основными причинами вынужденных, «невольных странствий» являются, по признанию автора, материальная неустроенность, нужда, болезни, страх: «Хотел остаться монахом на Афоне; болезнь изгнала меня в Царьград. — Хотел жить

благочестивым мирянином в Царьграде и пером как преданный раб служить Церкви: — здоровье поправилось там: нужда, именно *через духовные сочинения*, выгнала оттуда в Россию. <...> Потом: первый приезд в Кудиново; месяц в Оптинском скиту; Москва; Угреша и подряжник и опять Кудиново; это первый год в России. Странствия *невольные* продолжались. — С Афона меня согнала *болезнь*; из Царьграда — удалила *нужда*. — Из *Кудиново* изгнал меня в Оптину пустынь — *страх*. — Да! Страх и телесный и духовный; и *худой* и *хороший*» (6, 1, 235). В религиозных воззрениях писателя — чем далее, тем более — приобретало значение чувство страха Божьего,³⁰ являющееся основой религиозных добродетелей.

В своих признаниях Леонтьев настойчиво акцентирует мысль о том, что, став истинно православным, он оказался в положении гонимого. Он нигде не упоминает ни предречения ап. Павла «*Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы*» (2 Тим. 3: 12), ни библейское «*Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное*» (Мф. 5: 3—10). Но в самом тексте Исповеди их смысл имплицитно присутствует. Из истории христианства известно, что верным последователям Христа суждены судьбы изгнанников: ученики вынуждены разделить судьбу своего Учителя. Христос нес людям любовь, сострадание, правду, они же его распяли, обрекли на мученическую смерть, потому что правда, которую воплощал Христос, была слишком высока в глазах мира, а любовь чересчур жертвенна. Все те, кто следует стопами Иисуса,

³⁰ В статье «Страх Божий и любовь к человечеству. По поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого “Чем люди живы?”» (1882) Леонтьев писал: «Высшие плоды веры, — например, постоянное, почти ежеминутное расположение любить ближнего, — или никому не доступны, или доступны очень немногим: одним — по особому рода благодати прекрасной природы, другим — вследствие многолетней молитвенной борьбы с дурными наклонностями. Страх же доступен всякому: и сильному и слабому, — страх греха, страх наказания и здесь и там, за могилой... И стыдиться страха Божия просто смешно. Кто допускает Бога, тот должен Его бояться, ибо силы слишком несоизмеримы. Кто боится, тот смиряется; кто смиряется, тот ищет власти над собою, власти видимой, осязательной; он начинает любить эту власть духовную, мистически, так сказать, оправданную пред умом его; страх Божий, страх греха, страх наказания и т. п. уже потому не может унижать нас даже и в житейских наших отношениях, что он ведет к вере, а крепко утвержденная вера делает нас смелее и мужественнее против всякой телесной и земной опасности: против врагов личных и политических, против болезней, против зверей и всякого насилия... Вот отчего святые отцы и учителя Церкви согласно утверждали, что “начало премудрости (т. е. правильное понимание наших отношений к Божеству и людям) есть страх Божий...”» (8, 158—159).

пьют Его Чашу. Это значит, что на пути добродетели невозможно прожить без печалей, скорбей, искушений, жалоб. И Исповедь Леонтьева переполнена ими: «Отовсюду меня гонит? — С Афона *болезнь*, из Царьграда *нужда*; — из Оптиной (в 74 году) *дела*; из Москвы — *опять нужда и горе*; — из Угреши — *изнеможение от голода и боязнь коварного Настоятельского сердца*... Из Кудинова скоро прогонит *аукцион*. — (Через два года, *а может быть и ранее!*) — В скит *не пускает изнеможение от пищи*; в Козельске гнетет *однообразие, пустота общества, ограниченность средств*... На гостинице Оптинской дорого, шумно и грязно... Главное дорого. — В Турецкой провинции лихорадка и скука; в Царьград никак не попаду. — В Москве дорого при моих средствах... В Козельске отвратительно; но я несу и готов долго нести это, ибо считаю это послушанием...» (6, 1, 246–247).

При постоянном соотношении прошлого (периода неверия) и настоящего (периода веры) автор неизменно отдает приоритеты прошлому: «Я знал другую жизнь... И мне было легче, и меня уважали больше, когда я был неверующим!..» (6, 1, 247). «Аксаков, который принимал меня прекрасно, пока я был мирским, стал хуже, когда я зашел к нему монахом» (6, 1, 239). Отсутствие каких-либо видимых позитивных перемен после обращения обостряло ощущение общего неблагополучия жизни; давящая скука и тоска доводили до крайности. Отсюда бесконечные сетования: «Когда я был неверующим — я не понимал самоубийства. — В жизни столько хорошего, думал я. С нынешней весны я стал *понимать* самоубийство. — Я знаю, что я *по страху Божию* никогда не решусь на него. — Но только по страху Божию... А сама *жизнь*, с нынешней весны особенно, стала так бессмысленна и пуста, что ее бы самое, такую подлую и *без смирения униженную жизнь* — что бы ее жалеть? — Так, какая-то скотская привычка!» (6, 1, 249).

Страх Божий трактуется здесь как христианская богобоязнь, как опасение оскорбить нарушением Его воли. Вместе с тем страх призывает к смирению и предохраняет от непоправимых поступков. Но смирения в Исповеди нет; определяющим в восприятии и оценке собственной жизни становился для писателя пессимизм. Этому способствовало и его болезненное состояние; на страницах Исповеди буквально рассыпаны сокрушения по поводу «телесной немощи»: «понос и лихорадка доводили меня до отчаяния» (6, 1, 229), «мучила лихорадка и пищеварение отказывалось вовсе» (6, 1, 229), «спина болела» (6, 1, 240), «простудился, открылось кровохарканье» (6, 1, 240), «изнеможение крайнее, <...> может быть <...> чахотка» (6, 1, 240) и проч. Угнетали трудные родственные отношения, душевное расстройство жены, тяжба с братьями за материнское наследство — родовое имение Кудиново, а затем его утрата и прочие невзгоды. По словам И. В. Вишева, «умонастроение мрачной и безыс-

ходной скуки всё более становилось хроническим состоянием, постоянным самочувствием» писателя.³¹

Тоска усугублялась и из-за неприятия современниками тех новых произведений, которые были написаны Леонтьевым в результате обретения православия. Когда просьба писателя о постриге на Афоне была отклонена, он решил посвятить свое литературное дарование служению Церкви Божией (6, 1, 244): «...я бросил надолго свои бытовые картины и любовные повести, за которые Катков выслал мне деньги вперед, и, уверенный в помощи Божией, нагал один за другим серьезные труды. — 1-й был назван: “Византизм и Славянство” — (в защиту Патриарха и в укор болгарским свободолюбцам, которых безверие и европейские вкусы мне были коротко известны). <...> 2-й мой труд назывался: “Еще о Греко-Болгарской распре”. <...> Третий мой труд тогда были мои “Афонские письма”, про которые отец Иероним сказал: “Я благословляю их обеими руками!” Отцу Клименту они тоже очень нравились, и он находил, что в них много жара новообращения. <...> Таким образом, всё лето и осень 73 года я, прервав повествовательный и небезгрешный по содержанию труд, — посвятил этим христианским сочинениям, не сомневаясь нимало, что Бог внушит Каткову с радостью принять их» (6, 1, 232–234). Но и на этом поприще автор не встретил сочувствия.

На страницах Исповеди неоднократно упоминается Михаил Катков (1817–1887), которого писатель фактически сделал одним из героев (вернее — антигероев) своего повествования. Леонтьев выстраивает свою версию отношений с Катковым в 70-е гг., делая и в этом случае акцент на негативе — утрате взаимопонимания, отрицательном отношении редактора «Московского вестника» к идее принятия писателем монашеского пострига, неприятию его религиозных произведений и проч. Так, в Исповеди отмечается, что Катков, получив новые христианские сочинения своего корреспондента (вместо обещанных беллетристических), «вдруг замолчал на 8 месяцев» (6, 1, 234). Молчание своего издателя Леонтьев связал со слабостью его идеологических позиций, с недостаточностью силы религиозной веры, — отсюда последовали резкие упреки в адрес Каткова: «Его православие было *серенькое*, разведенное либеральностью, он думал, что и мое такое же, а когда я развернул вполне знамя моего *белого* православия, то он испугался *этого варварства и безумия* и по приезде моем в Россию грубо сказал мне — что я в этих статьях договорился “до чортиков”. <...> всё духовное, хотя оно было написано совер-

³¹ Вишев И. В. К. Н. Леонтьев: «Страх божий (за себя, за свою вечность) есть начало премудрости религиозной» // Вишев И. В. Проблема жизни, смерти и бессмертия человека в истории русской философской мысли. М., 2005 (http://www.ordodeus.ru/Ordo_Deus9Problema_Zh_S_V_Ch_Monografiya.html).

шенно светским языком, отверг» (6, 1, 234). По мысли Леонтьева, «став православным», он лишился не только престижной и доходной дипломатической службы, здоровья и имени, но и относительно стабильных литературных заработков, обеспечивавших его существование.

Писатель был убежден, что его новые устремления — церковные и религиозные — должны быть поняты и приняты прежде всего лицами духовными и, соответственно, поощрены, причем не только словесно. Но в действительности никакой позитивной динамики не было, а вместо «наград» Леонтьева «ожидали новые скорби» (6, 2, 383). В сравнении с периодом безверия его положение вначале даже резко ухудшилось, затем несколько стабилизировалось, но эта стабилизация — до серой «унизительной середины» — еще более обострила чувствительность писателя: «...всё так идет, как говорится, “ни шатко, ни валко”; а так, что и до *отгаяния* не доходишь, но и покоен никогда быть не можешь, даже и тем несовершенным покоем *души*, который на земле бывает доступен и который я и сам в жизни испытал. — И *веры* не оставляешь, да и успехов больших в *вере* не делаешь. — Во всём какая-то *унылая, гнусная*, унизительная середка. — Слабый монах, без рясы; — помещик без дохода и ценза; — политик, понимающий много, но без власти и влияния; — семьянин без семьи настоящей; писатель без славы и веса; старик прежде времени; — работник *без здоровья*; светский человек без общества... Что я такое стал и на что и кому я нужен?.. <...> *Скука и пустота* непомерная! — Постоянная. Куда мне деться! — Мне даже *стыдно* так жить; гордость моя уж слишком унижена, и с тех пор как я убедился, что мне не под силу стать монахом, *смирение* перестало утешать меня» (6, 1, 243—244).

Герой Исповеди, как видно, это человек, еще не избавившийся от разного рода претензий и предрассудков; он мечется, сомневается, боится предпринять какие-либо решительные действия; ему нужны постоянные наставления со стороны духовников. Но вместе с тем он, будучи зорким наблюдателем, фиксирует всевозможные негативные проявления в жизни тех, от кого ожидал помощи: «Отец Пимен звал меня дураком и посылал в сильный мороз на постройки собирать щепки, и я с больной спиной изнемогал там... <...> Братия была груба и завистлива» (6, 1, 239); «...миряне гнали за то, что я монах, и за то, что не стыдась защищаю правильные взгляды на Церковь, а монахи — или давили <...> или пребывали в равнодушии и не поддерживали. Невольно приходит на мысль, что интригой и лукавством я бы скорее угодил духовному начальству, вышел бы скорее в люди под монашеским покровом и Церкви бы пером и умом, Божьим даром, теперь зарытым в землю на половину, послужил бы!..» (6, 1, 239).

Суть леонтьевской Исповеди состоит в откровенности, правдивом воспроизведении чувств, мыслей, ощущений, настроений человека, ко-

торый, как кажется, пока еще не готов без гнева и ропота принять свою жизнь такой, какова она есть. На своем личном примере писатель показал в Исповеди, что само решение встать на религиозный путь истинного православия не ведет автоматически к новой жизни. Его ожидания мгновенного преображения не оправдались. Он по-прежнему подвергался многочисленным искушениям, его мучили разного рода сомнения, он был не удовлетворен своим положением, не способен обрести ровное состояние духа, в результате чего в Исповеди он не столько кается, сколько сетует, брюзжит, негодует.

Леонтьев, по его признанию, «стал православным», желая спастись от страха смерти. Пройдет еще немало времени, прежде чем он «найдет себе место», то есть действительно научится истинной вере в Бога, полному доверию к Нему и пониманию того, что всё, происходящее в человеческой жизни, — во благо. А к теме своего религиозного обращения Леонтьев будет возвращаться вновь и вновь, каждый раз пытаясь осознать, понять и объяснить себя — и самому себе, и «другим».

Семейная драма Бугаевых и ее отражение в творчестве Андрея Белого

1. Метаморфозы старого туранца

С ранних лет и до конца жизни отношение Андрея Белого к его отцу, Николаю Васильевичу Бугаеву, было отмечено печатью мучительной и загадочной двойственности. В не менее сложных формах протекало его общение с матерью. В истории русской литературы трудно найти другой пример почти полной свободы писателя от *уз крови*, наследственности, бытовых традиций и в то же время — столь глубокой и болезненной связи с родителями при полном отрицании генетической зависимости от них своей подлинной личности: «высшего Я», имеющего свои истоки в духовном мире.

Учению о *естественном происхождении* человека, с которым он был знаком с раннего детства, Андрей Белый противопоставлял свой метафизический опыт *нерожденности*, с трудом поддающийся вербализации и находящий свое выражение лишь в «шифрах кармы».¹ Заимствованное из восточной мудрости понятие кармы² Андрей Белый интерпретировал в антропософском духе, вносящем в буддийский детерминизм элемент христианской свободы.³ В целом закон

¹ Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступ. статья и коммент. А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада; Подгот. текста Т. В. Павловой, А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб., 1998. С. 426. Темой своего романа «Москва» Андрей Белый считал тему «судьбы, понятой, как карма» (Там же).

² Карма — от санскрит. *karman* (деяние, действие). Поскольку буквальный перевод мало что дает для уразумения метафизического смысла этого слова, оно, как правило, употребляется в современных европейских языках в санскритском варианте, но многообразно интерпретируется в зависимости от религиозных и философских убеждений.

³ Белый А. Воспоминания о Штейнере // Белый А. Собрание сочинений. Т. 7: Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззре-

кармы может рассматриваться «как закон сохранения моральных ценностей. Это означает, что всё происходящее с человеком — результат его собственных поступков»,⁴ совершенных в прошлых жизнях. Признавая реальность кармических закономерностей, Андрей Белый стремился обнаружить их действие как в своей собственной судьбе, так и в судьбах героев его романов. Интуитивное понимание значения кармы для выстраивания коммуникативных связей в литературных произведениях он находил у Достоевского. «Множество лиц, образующих видимый лишь кавардак обстановки романа (имеется в виду любой роман Достоевского. — В. И.) и сброшенных лбами в мятушуюся, суетливую кучу сбежавшихся к центру романа *слугайных* (разрядка моя. — В. И.) людей, при анализе нитей, связавших их где-то *кармизески* (разрядка моя. — В. И.) в точке центральной, нарочно пока еще скрытой, — в дальнейшем течении романа слагаются в общей концепции друг относительно друга как органы целого».⁵ В свою очередь, идея кармы обретает свой полный смысл лишь при допущении возможности реинкарнаций (метафизических метаморфоз) «высшего Я», отличаемого от эмпирической и одноразовой личности.

Для повседневного сознания человека, привыкшего рассматривать жизнь только в границах рождения и смерти, звучит полнейшим абсурдом утверждение писателя-символиста: «Никогда не рождался»,⁶ тогда как для него самого очевидной и переживаемой в медитативном опыте истиной была вечная природа человеческого духа, лишь ниспавшего в материю, чтобы вновь вернуться на свою истинную родину: в духовный мир. Сходные мысли высказывал и Николай Бердяев. «У меня, — писал он в своей автобиографии, — никогда не было чувства происхождения от отца и матери, я никогда не ощущал, что родился от родителей».⁷ При всём том, философ воспринимал внутренне чуждую ему родовую среду

нии современности. Воспоминания о Штейнере / Общ. ред. В. М. Пискунова; Сост., коммент. и послесл. И. Н. Лагутиной. М., 2000. С. 372.

⁴ Буддизм: Иллюстрированная энциклопедия. М., 2010. С.121.

⁵ Белый А. История становления самосознающей души // Белый А. Душа самосознающая / Сост. и вступ. статья Э. И. Чистяковой. М., 1999. С. 266.

⁶ Белый А. Записки чудака // Белый А. Собрание сочинений. Т. 6: Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака / Общ. ред. и сост. В. М. Пискунова. М., 1997. С. 429. Архетипом «высшего Я», пребывающего вне времени и пространства, может служить библейский образ Мелхиседека: «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни» (Евр. 7: 3).

⁷ Бердяев Н. Самопознание. М., 1998. С. 258.

без трагического надлома, несмотря на сложную семейную атмосферу, «родственную Достоевскому»,⁸ и даже снисходительно относился к родителям — «скорее, как отец к детям»,⁹ тогда как Андрей Белый факт своего рождения в семье знаменитого ученого-математика, женатого на молодой красавице, переживал еще в детстве, омраченном постоянными ссорами родителей, как своего рода проданность в *рабство*,¹⁰ *заброшенность в гуждый мир*. Однако с годами всё более и более возрастало его внимание к тайне, связавшей крепкими узами личности, столь противоположные по своим задаткам и способностям.

В особенности воспоминания об отце с какой-то магической силой завладели творческим воображением Андрея Белого. Подвергаясь многочисленным трансформациям, образ профессора Бугаева постоянно возникает в произведениях писателя-символиста — начиная с «Петербург» и кончая романом «Москва», не говоря уже о его мемуарах. Не всегда легко провести в них границу между вымыслом и эмпирической реальностью, или, говоря словами Гёте, «между поэзией и правдой». Образ отца, выведенный Андреем Белым в его мемуарной трилогии с предельной рельефностью, документальной убедительностью и незабываемой красочностью, пробуждал у современников писателя некоторое недоумение, отразившееся, в частности, в рецензии Георгия Адамовича. Поэт, в целом довольно критически оценивший «На рубеже двух столетий», отмечал в 1938 году: «Портрет отца удивителен. Он строен, сложен и блестящ. Не берусь только судить, насколько он правдив именно как портрет, а не как *поэтический образ* (курсив мой. — В. И.)».¹¹ «За давностью лет, — писал Адамович, — первый том воспоминаний Белого легче воспринять как поэтическую фантазию».¹² Однако вполне правомерен вопрос: а нужно ли различать в данном случае «поэзию и правду»?

Ответ зависит от того, с каких позиций изучать биографию Андрея Белого. Имеет смысл доискиваться до *правды*, если пытаться в *объективированной (отгужденной от существования) форме* реконструировать

⁸ Бердяев Н. Самопознание. С. 264.

⁹ Там же. С. 258.

¹⁰ Белый А. На рубеже двух столетий / Вступ. статья, подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М., 1989. С. 219.

¹¹ Адамович Г. Андрей Белый и его воспоминания // Андрей Белый: Pro et contra / Сост., вступ. статья, коммент. А. В. Лаврова. СПб., 2004. С. 879. Впервые рецензия была опубликована в журн.: Русские Записки (Париж). 1938. № 5. С. 137–149.

¹² Адамович Г. Андрей Белый и его воспоминания. С. 879.

ход внешних событий.¹³ Другое дело, когда хотят охарактеризовать те же события с *экзистенциальной* точки зрения, стремясь в той или иной степени интуитивно посмотреть на мир глазами самого Андрея Белого. В таком случае «*поэзия и правда*» предстают в *неслиянном и нераздельном единстве*. В произведениях писателя-символиста образ Николая Васильевича Бугаева представлен прежде всего в динамике его возникновения в сознании самого Андрея Белого: от первых мигнов пробуждающегося к жизни младенца через семейные конфликты и трагедию взаимного непонимания до прозрения в суть духовного архетипа профессора Бугаева, его «высшего Я», пребывающего за чертой быстрого времени.

Путь шел от мифоподобных переживаний, еще не имевших ничего общего с эмпирической личностью декана математического факультета, через враждебное отчуждение (вплоть до чувства отцеубийственной ненависти) к своего рода апофеозу и, наконец, к смиренному признанию в недооценке своего отца, заслоненного обстоятельствами быта профессорской квартиры: «Что отец мой был крупен и удивительно оригинален, глубок, что он известнейший математик, то было мне ведомо <...> и — все-таки: не подозревал я размеров его», — писал Андрей Белый в своих воспоминаниях.¹⁴

До конца дней его не оставляло чувство горечи от непроясненности их отношений друг к другу: непонимание сути духовных устремлений сына со стороны отца, постоянное ощущение недосказанности и трудно выразимой в словах *странности* семейной атмосферы: «Всегда отмечалось мне: странная связь существует меж нами, а разногласия всё углубляются; но чем становились глубже они, тем страннее друг к другу, сквозь них, мы влечемся, вперяясь в друга».¹⁵

Если взглянуть на многосмысленную и многомерную проблему «отец-сын» с точки зрения, на которой стоял сам Андрей Белый с 1912 года, то можно было бы сказать, что такие остро конфликтные и безнадежно запутанные отношения между двумя выдающимися личностями коренятся в далеком прошлом: в кармических узлах, завязанных в предшествующих инкарнациях. Намек на возможность такой интерпретации семейного конфликта дан уже в романе «Петербург», в котором загадочные столкновения между Аполлоном Аполлоновичем Аблеуховым и его сы-

¹³ Надо принять во внимание и неизбежные деформации, привносимые в любое жизнеописание самым объективным биографом: «Уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, неизбежно ее искажает» (*Набоков В. Пушкин, или Правда и правдоподобие // Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 2004. Т. 1. С. 542*).

¹⁴ *Белый А. На рубеже двух столетий. С. 51.*

¹⁵ Там же.

ном объясняются закономерным (кармическим) следствием их прошлых жизней. Это делает понятным определение «Петербурга» самим Андреем Белым как «драмы кармы». ¹⁶

В одной из прошлых жизней, катастрофические последствия которой отразились на судьбе героев романа, «Аполлон Аполлонович, богдыхан, повелел Николаю Аполлоновичу перерезать многие тысячи (что и было исполнено)». ¹⁷ В следующей инкарнации будущий философ-неокантианец «прискакал <...> на своем степном скакуне» на Русь вместе с «тысячами тамерлановых всадников». ¹⁸ Если принять данное сообщение буквально, то эта инкарнация падает на вторую половину XIV столетия. Само по себе вторжение Тамерлана в пределы Рязанского княжества и последующее, быстро свернутое наступление в направлении Москвы в 1395 году носило для великого эмира второстепенный характер, так как его непосредственной целью было не покорение Руси, а преследование войск золотоордынского хана Тохтамыша, причинившего древнерусским княжествам несравненно больший ущерб, чем Тамерлан. Поскольку Андрей Белый, при всей его огромной эрудиции, довольно свободно обращался с историческими, географическими и топографическими понятиями, можно было бы предположить, что в данном случае он, скорее всего, имел в виду участие Николая Аполлоновича не столько в завоевательных походах Тамерлана, сколько в золотоордынских набегах, имевших разрушительные последствия для древнерусской государственности и культуры. Хотя одновременная инкарнация Аполлона Аполлоновича в тексте не упомянута, нетрудно представить, что и в данном случае он выступил в качестве инспиратора завоевательных походов своего сына.

Во всех этих вариантах важны не детали образов и их историческая достоверность, а суть стоящего за ними метафизического конфликта двух индивидуальностей, а также их общей миссии, выполняемой ими в ряду многих инкарнаций. Если выстроенный в исторической конкретике ряд реинкарнаций отца и сына можно считать порождением фантазии гениального романиста, то нельзя усомниться в том, что сам Андрей Белый переживал свой трагический конфликт с отцом как результат каких-то предшествовавших инкарнаций и считал его совершенно необъяснимым только в рамках их совместной жизни в профессорской квартирке на Арбате.

Не подлежит также сомнению, что поиск совместного прошлого шел в «китайском» направлении и доходил вплоть до мифической Атланти-

¹⁶ Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 305.

¹⁷ Белый А. Петербург. М., 1981. С. 238.

¹⁸ Там же.

ды, поскольку именно в Китае Андрей Белый усматривал архаические следы исчезнувшей пракультуры. Профессор Бугаев нередко вызывал у сына ассоциации с восточными образами, как бы выступающими через покров его личности. Об этом говорит само название повести «Крещеный китаец», прототипом главного героя которой является Николай Васильевич Бугаев.¹⁹ Если в «Петербурге» отца и сына объединяет «туранская» миссия разрушения европейской системы ценностей на протяжении целого ряда инкарнаций, то в «Крещеном китаец» Н. В. Бугаев (под именем профессора Летаева) выполняет миссию с обратным знаком: христианизации ценностей восточных культур.

В романе «Петербург» охваченный бредом Николай Аполлонович беседует с отцом, явившимся ему под видом старинного туранца. В его «благоуханной, как первая лилия, желтоватой руке было лишь восточное блюдо с пахнущей кучечкой, сложенной из китайских розовых яблочек: райских».²⁰ В ходе беседы сын уясняет характер миссии, врученной ему отцом еще в древние времена: «до рождения ему врученная и великая миссия: миссия разрушителя».²¹ Николай Аблеухов проваливает свою миссию, задание остается невыполненным. Ему открывается: «Старый туранец, некогда наставлявший его всем правилам мудрости, был Аполлон Аполлонович; вот на кого он, понявши превратно науку, поднимал свою руку».²² Мотив отцеубийства принимает космическое измерение и коренится в глубинах времени.²³ Бросить бомбу в отца означа-

¹⁹ «Крещеный китаец» был задуман Андреем Белым как первая глава первого тома «Эпопеи». Замысел остался неосуществленным, и повесть, вначале появившаяся в альманахе «Записки мечтателей» (1921) под заглавием «Преступление Николая Летаева. («Эпопея» — том первый). Крещеный китаец. Глава первая», впоследствии издавалась уже как самостоятельное произведение. Как и в ряде других случаев, Андрей Белый отрицал прямое тождество героя повести своему отцу, тем не менее, оно не подлежит сомнению. Такое отрицание может рассматриваться как литературный прием, неоднократно использовавшийся писателем и в других его произведениях.

²⁰ *Белый А.* Петербург. С. 236.

²¹ Там же. С. 237.

²² Там же. С. 238.

²³ «Едва ли простой случайностью можно объяснить, что три шедевра мировой литературы всех времен трактуют одну и ту же тему — тему отцеубийства: “Царь Эдип” Софокла, “Гамлет” Шекспира и “Братья Карамазовы” Достоевского» (*Фрейд З.* Достоевский и отцеубийство // *Фрейд З.* «Я» и «Оно»: Труды разных лет. Тбилиси, 1991. Кн. 2. С. 420). В этот ряд вполне вписывается и роман «Петербург».

ло: «бросить бомбу в самое быстротекущее время. Но отец был — Сатурн, круг времени повернулся, замкнулся; сатурново царство вернулось».²⁴ Под Сатурном в данном случае подразумевается не планета нынешней Солнечной системы, а начальная фаза космических перевоплощений Земли, как она охарактеризована в «Очерке тайноведения» Рудольфа Штейнера.

Николай Аполлонович, анамнестически пробегая по ряду своих прошлых инкарнаций, доходит до их вневременного предела. Ему открывается прадревний исток конфликта двух родственных душ, поскольку неким метафизическим актом его существо было «сброшено в безмерность»²⁵ Сатурном («отцом») и обречено на мучительные перевоплощения вечного ядра своей личности. Мифологизирование образа отца в романе «Петербург», когда петербургский сенатор оказывается скрытой проекцией Сатурна (Крона), — («Но отец был Сатурн»),²⁶ — навеяно не только «Очерком тайноведения», в котором планета представляла тепловым образованием, но и восходит к переживаниям раннего детства Андрея Белого. В младенчестве будущему писателю его отец представлялся «огнеротым каким-то —

— краснокудрые пламена, огнерод, вылетают из уст; бородатый крылатый летает на ясных размахах».²⁷ Последующее знакомство с античной мифологией позволило мальчику идентифицировать «огнеротого» отца с Гефестом: «и свое понимание папы определил: он — Гефест»,²⁸ бог огня и всей огненной стихии. В древнеримской мифологии Гефест именовался Вулканом. В антропософской космологии последняя фаза эволюции Земли также обозначена этим именем. В таком случае конец смыкается с началом, Вулкан с Сатурном, а «сын» возвращается к «отцу».

В повести «Крещеный китаец» происходит радикальная перестановка акцентов и выход из мифологического измерения. Профессор Летаев (Н. В. Бугаев) — уже не перевоплощение жестокого богдыхана, хладно-

²⁴ Белый А. Петербург. С. 238.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же. Подробнее о многомерной интерпретации образа Сатурна в романе Андрея Белого см. примеч. 34 к Пятой главе «Петербурга» в: *Грешикин С. С., Долгополов Л. К., Лавров А. В. Примечания // Белый А. Петербург. С. 670–671; см. также: Штайнер Р. Очерк тайноведения. М., 2000. С. 116–129.*

²⁷ Белый А. Котик Летаев // Белый А. Собрание сочинений. Т. 6: Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 48.

²⁸ Там же.

кровно приказывающего сыну перерезать тысячи невинных людей. Теперь он — бессознательный носитель древнекитайской мудрости, но уже христианизированный и открывающий сыну духовный доступ в мир Библии. Судя по воспоминаниям Андрея Белого, он уже пятилетним «проходил с отцом события Заветов»²⁹ и тайком от матери выучил «Отче наш». Толкования, данные Ветхому и Новому Заветам профессором Бугаевым, носили своеобразный отпечаток его собственного научного мировоззрения: «Что же касается Бога, то — Бог, так сказать, есть источник эволюционного совершенства; в чем это абстрактное и туманное совершенство, мне не было ясно», — вспоминал Андрей Белый о библейских уроках, полученных им в пятилетнем возрасте.³⁰ Однако в «Крещеном китайце» он раскрывает более мистический аспект отцовских наставлений, глубоко подействовавших на сознание ребенка.

Рассказ о заключении Завета на Синае Котик Летаев — в духе присущего ему в детстве игрового мифологизирования — спроецировал на события собственной жизни: он пошел на риск заключения своего Завета с отцом вопреки материнским запретам. Разбираясь впоследствии в своих детских переживаниях, Андрей Белый выстроил ряд инкарнаций «крещеного китайца», резко отличающийся от жизней «старого туранца», обрисованных в романе «Петербург». «В веках переряжен он (Н. В. Бугаев. — В. И.) многое множество раз»: ³¹энтелехия отца прошла через инкарнацию в эпоху библейских патриархов, затем в эпоху древнегреческой классики; в XVI веке она явилась инкогнито «заплатанным странником», ³²чтобы, наконец, принять облик профессора математики Московского университета.

Можно сказать, что два этих ряда инкарнаций относятся друг ко другу как позитив к негативу. Сенатор Аблеухов — носитель рокового, разрушительного начала, профессор Летаев — заступник и защитник в библейском стиле. При всей внешней взаимоисключительности оба ряда коренятся в реальных переживаниях отцовского начала в раннем детстве и только впоследствии были встроены писателем-символистом в конкретные исторические периоды. В первом случае они связаны с душевными состояниями, родственными образам древних мифов. Во втором — обусловлены ранним знакомством с библейской историей. «Эти образы мне подавались отцом как аллегории понятий, а мною воспринимались

²⁹ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 189.

³⁰ Там же. С. 190—191.

³¹ Белый А. Крещеный китаец // Белый А. Собрание сочинений. Т. 6: Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 266.

³² Там же.

в ритмах музыкальной эстетики», — писал Андрей Белый в своих мемуарах.³³

Тяжелые сцены семейных скандалов глубоко травмировали душу ребенка, и многое в душевной жизни писателя может быть объяснимо последствиями таких переживаний. И всё же, в конце повести снова выступает лик просветленного древнекитайского мудреца, на этот раз — открывающего ребенку сокровища библейской мудрости. Вновь возникает мотив ароматных яблок, вызывающих ассоциации с райским состоянием первых людей: «И из Небесной империи веет в окошко лазоревым воздухом».³⁴

Помимо вышеотмеченных перевоплощений, образ отца напоминал Андрею Белому еще и «китайского мудреца, одолевшего мудрость И-Кинга».³⁵ Он «казался китайским подвижником, обретающим “Середину и Постоянство” Конфуция».³⁶ «Старый китаец» сумел внести в косный «профессорский круг девятидесятых годов» XIX века «философию “Тао” и Лао-Дзы».³⁷ Общим с «китайским» образом в «Петербурге» остается лишь символ ароматных «яблочек». Профессор Летаев, как и «старый туранец», окружен атмосферой, пронизанной яблочными ароматами, «распространяя тончайшие запахи чая и спелых антоновок».³⁸ В воспоминаниях детства Н. В. Бугаев предстает новым Конфуцием: «конфуцианская мудрость его наполняла».³⁹ Но, несмотря на общий благостный тон повести, в ней прорываются и иные, более драматические ноты. Постоянные конфликты с женой, травившей его мелочными придирками и попреками, пробуждали в «конфуцианце» грозного «самурая». Он предстал в такие минуты с лицом, «разлагаемым черной морщиной, щербимой китайской тушью, и оттеняющей мертвек неживого лица с разорванным ртом до ушей, и с прищуром раскосых глазенок, окрашенных суриком, — напоминающим маску лица самурая, взмахнувшего саблей».⁴⁰

³³ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 191.

³⁴ Белый А. Крещеный китаец. С. 271.

³⁵ Имеется в виду древнекитайская «Книга перемен» («И цзин»); см.: И цзин (Книга перемен) / Пер. с китайского А. Лукьянова, Ю. Шуцкого. СПб., 2007.

³⁶ Белый А. Крещеный китаец. С. 216.

³⁷ Там же. С. 197.

³⁸ Там же. С. 166.

³⁹ Там же. С. 167.

⁴⁰ Там же. С. 235.

Порой для Андрея Белого, осмыслявшего свои анамнестические переживания в детстве, за образом отца возникал дикий скиф.

В ходе дальнейшего переосмысления образа отца Андрей Белый пришел к новой постановке проблемы кармы. Она сводится к стремлению понять человеческую судьбу как результат поступков, совершенных в прошлых инкарнациях,⁴¹ но одновременно дает и возможность ее просветления в свободном стремлении к духовной жизни. Главный герой романа «Москва», профессор-математик Коробкин, являет собой завершающую фазу в истории сублимации Андреем Белым своих детских воспоминаний, вплоть до окончательного примирения с отцом, который в романе предстает как самопожертвованный нового типа.⁴² Судьба Коробкина — это история совлечения высшего Я (Самодуха) с астрала: так «начинало вывариваться из большой знаменитости (абстракции “Я”) и из добрейшего пса (астрала) — человек».⁴³ Профессор Коробкин выполняет то, что не успел до конца осуществить в своей жизни профессор Бугаев: «Он решил понести и *избыть карму*, не отстраняя ее, а переплавляя “пса” в себе в будущего “ангела”».⁴⁴ Здесь происходит замыкание круга проекций: судьба отца становится идентичной судьбе сына.⁴⁵ В образе профессора Коробкина уже сплавляются особенности личностей и того, и другого в моменте изживания *кармы*. Проблема преодоления собственной астральности, психической оболочки, своими страстями препятствующей

⁴¹ Начиная с 1912 года Андрей Белый пользовался понятием кармы в том смысле, который придавал ему Рудольф Штейнер для определения «закономерной связи прежнего бытия с последующим» (*Штайнер Р.* Очерк тайноведения. С. 89).

⁴² С психоаналитической точки зрения можно было бы сказать, что отец становится «Сверх-Я» сына. Фрейд писал: «В конце концов отождествление с отцом завоевывает в нашем “Я” постоянное место. Это отождествление воспринимается нашим “Я”, но представляет собой в нем особую инстанцию, противостоящую остальному содержанию нашего “Я”. Мы называем тогда эту инстанцию нашим “Сверх-Я”» (*Фрейд З.* Достоевский и отцеубийство. С. 416; *Ljunggren M.* The Dream of Rebirth: A Study of Andrej Belyj’s Novel *Peterburg*. Stockholm, 1982. P. 16; см. там же: P. 135, note 24).

⁴³ *Андрей Белый и Иванов-Разумник.* Переписка. С. 382.

⁴⁴ Там же. С. 383.

⁴⁵ Феномен *идентификации с отцом* хорошо известен в психоанализе. «Отношение мальчика к отцу <...> амбивалентно. Помимо ненависти <...> существует обычно некоторая доля нежности к нему. Оба отношения сливаются в идентификацию с отцом...» (*Фрейд З.* Достоевский и отцеубийство. С. 414). Несомненно, что с годами в воспоминаниях Андрея Белого усиленно подчеркивается элемент *нежности*, компенсирующей изначальное чувство вины перед отцом.

щей проявлению «высшего Я» в эмпирической личности, была одной из основных в мировоззрении Андрея Белого. На этом пути профессор Н. В. Бугаев приобретает черты трансцендентального архетипа, или, пользуясь терминологией Юнга, «мудрого старца».

Проекционный характер образа отца в творчестве Андрея Белого бросается в глаза, но не является в данном случае чем-то исключительным. Он только более рельефно и красочно демонстрирует особенность человеческой души, переносящей на родителей собственные проблемы и конфликты. Всякий раз, отмечал Юнг, когда человек «либо критикует, либо превозносит своего отца, он бессознательно метит в самого себя».⁴⁶ Согласно швейцарскому психологу, сын, выносящий суждение об отце, как правило, пренебрегает тем фактом, «что его представление о человеке состоит, во-первых, из полученной им, по всей вероятности, весьма неполной картины облика реального лица и, во-вторых, из проделанных им самим субъективных модификаций этой картины».⁴⁷ Тем не менее, проблемой проекций не исчерпывается характеристика отца в творчестве Андрея Белого. Несравнимо более важными являются его усилия путем медитативного трансцендирования за границы эмпирического сознания отыскать причины семейной драмы Бугаевых в прошлых инкарнациях, что тесно связано с несомненным для писателя-символиста опытом переживания вечного ядра человеческой личности, являющего себя в различных «ролях» и культурно-исторических контекстах.

2. Без вины виноватый?

Профессор Н. В. Бугаев (1837—1903) был выдающимся математиком, обогатившим отечественную науку разработкой основ аритмологии. К сожалению, менее известен он как оригинальный мыслитель, создавший собственную концепцию *эволюционной монадологии*.⁴⁸ Его жизнь, бедная внешними событиями, заслуживает, тем не менее, самостоятельного исследования. В рамках биографии Андрея Белого на первый план выходит иная задача: показать Н. В. Бугаева прежде всего в роли *отца*,

⁴⁶ Юнг К. Г. Эон. М., 2009. С. 35.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ См.: Бугаев Н. В. 1) Основные начала эволюционной монадологии // Вопросы философии и психологии. 1894. Кн. 17. С. 26—44; 2) Математика и научно-философское мирозерцание // Математический сборник: журнал. М., 1905. Т. 25, № 2. С. 349—369. О философских взглядах Н. В. Бугаева см.: Лосский Н. История русской философии. М., 1991. С. 186—187; Зеньковский В. История русской философии. М., 2001. С. 654—655.

увиденного глазами сына, способного к анамнестическим переживаниям, истолкованным как прогляды в прошлые инкарнации. Одной из важных особенностей душевной жизни писателя было чувство иррациональной вины перед родителями, равно как и их вины перед ним. Признавая своих родителей «по существу прекрасными людьми», он в то же время чувствовал себя «рабом прихотей (со стороны матери. — В. И.) и отвлеченных абстракций (со стороны отца. — В. И.), делавших эксперименты над живой моей жизнью». ⁴⁹ Уже в раннем детстве у Андрея Белого возникал мучительный и безответный вопрос: за какую вину он должен быть жертвой постоянных распрей своих родителей? За какую вину он попал в земной мир, чуждый ему не только в бытовых проявлениях, но и в глубинной сути?

Не менее интенсивно будущий писатель ощущал и свою вину перед родителями. Еще ребенком Андрей Белый чувствовал себя виновным в нервном заболевании своей матери, Александры Дмитриевны. «И мне, — писал он, — нить преступленья ясна: эти нервы — последствия трудных родов; беззаконие я учинил перед мамой, явившись пред нею; и после вселил я раздор между нею и папой». ⁵⁰ Сознание своего «преступления» позволяло Андрею Белому с кротостью переносить побои, учиняемые ему матерью и зачастую не лишённые садистического оттенка, и даже молиться за свою мучительницу. Значительно сложнее обстояло дело в отношении к отцу.

Менее всего эту вину перед отцом следует истолковывать в духе фрейдизма с его учением об «эдиповом комплексе». ⁵¹ Если некоторые моменты в биографии Андрея Белого и могли бы стать предметом психоаналитического рассмотрения, ⁵² — в частности, проблема амбивалентности в отношении к собственному отцу, ⁵³ — то, будучи выдвинутыми на первый

⁴⁹ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 219.

⁵⁰ Белый А. Крещеный китаец. С. 245.

⁵¹ Открытие «эдипова комплекса» Фрейдом являлось результатом его многочисленных наблюдений, показавших, что «родители играют преобладающую роль в детской душевной жизни всех позднейших психоневротиков; любовь к одному из них и ненависть к другому образуют неизменную составную часть психического материала, образованного в то время и чрезвычайно важного для симптоматики последующего невроза» (Фрейд З. Толкование сновидений. М., 2011. С. 258—259).

⁵² Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 69—71.

⁵³ Отца, согласно Фрейду, «не меньше боятся, чем о нем тоскуют и им восхищаются» (Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Фрейд З. Тотем и табу: Сб. М., 1998. С. 369). Эта амбивалентность характеризует не только Андрея

план, они существенно искажают представление о «пропорциях», характеризующих внутреннюю жизнь писателя-символиста. Однако было бы неправомерным и желание полностью игнорировать их, поскольку одной из сложных проблем в этом отношении является тема *отцеубийства*, без сомнения, тревожившая автора «Петербурга». В воспоминаниях Ирины Одоевцевой имеется — хотя и не бесспорное в своей вербальной достоверности — место, способное подтвердить фрейдовскую гипотезу. Рассказывая Одоевцевой о своем детстве, Андрей Белый будто бы сделал признание в своей вине перед отцом: «Я был замкнут в круг семейной драмы. Я любил и ненавидел... Я с детства потенциальный отцеубийца. Да, да! Отцеубийца. Комплекс Эдипа, извращенный любовью».⁵⁴

В отличие от однозначности отношения фрейдовского невротика к родителям (эротически окрашенная любовь к матери и ненависть к отцу), у Андрея Белого, по его собственному свидетельству, оба психических элемента — любовь и ненависть — пребывали в состоянии запутанной экзистенциальной диалектики, разыгрывавшейся в иррациональных глубинах подсознания и бросавшей свои проекции на творческие замыслы писателя. Однако одностороннее применение методов психоанализа при рассмотрении произведений искусства только помрачает существо дела. Юнг призывал исследователей оставить фрейдистские приемы в эстетике, поскольку смысл творчества «заключается в том, что ему удается освободиться от узости и тупиков личного, оставив далеко за собой всё преходящее и удушливое из сферы узколичных переживаний».⁵⁵

При анализе творчества Андрея Белого, согласно проницательно-пристрастному мнению Владислава Ходасевича, всегда имеется соблазн рассматривать его романы как звенья в цепи «романов-вариантов, объединенных темой “потенциального отцеубийства”».⁵⁶ Ходасевич отметил тот факт, что романы Андрея Белого, начиная от «Петербурга» и кончая «Москвой», представляют собой «фрагментные вариации одной темы,

Белого: «признаки этой амбивалентности отношения к отцу запечатлены во всех религиях» (Там же). Поэтому представляется неоправданным чрезмерно акцентировать «эдиповские» мотивы при истолковании творчества Андрея Белого.

⁵⁴ Одоевцева И. Из книги «На берегах Невы» // Воспоминания об Андрее Белом / Сост. и вступ. статья В. М. Пискунова. М., 1995. С. 221.

⁵⁵ Юнг К. Г. Об отношении психоаналитической психологии к произведениям художественной литературы // Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М., 2007. С. 31.

⁵⁶ Ходасевич В. [Рец. на кн.:] Андрей Белый. Крещеный китаец // Андрей Белый: Pro et contra. С. 753.

единой в своей глубокой сущности фабулы». ⁵⁷ «Все основные семейные ситуации у Аблоуховых, Летаевых и Коробкиных почти тождественны, за вычетом частностей, не играющих существенной роли». ⁵⁸ В результате Ходасевич сделал вывод о том, что в основе всей фабулы лежит мотив *преступления сына*: «Само преступление, по замыслу автора, имеет, можно сказать, физиологическую основу». ⁵⁹

В отличие от Ходасевича, Федор Степун, признавая, что в душе Белого жила «жутко мучительная тема бунта против любимого отца, обострявшаяся в нем временами до идеи посягательства на его жизнь», в то же время считал неправомерным полагать эту тему «во главу угла всего творчества» писателя-символиста. ⁶⁰ «Я думаю, — подчеркивал Степун, — что исторический подход к творчеству Белого существенней психологического и в особенности психоаналитического». ⁶¹ Многие в биографии творца «Петербурга» следует обойти целомудренным молчанием, хотя неизбежно приходится отметить ряд травмирующих обстоятельств, предопределивших особенности душевной структуры Андрея Белого в той степени, в какой они отразились в его творчестве. «Высшее Я» писателя осталось незатронутым этими конфликтами, но его психика претерпела немалые деформации из-за травм, полученных в родительском доме.

При всем желании не входить в интимные детали биографии Андрея Белого и обоснованном стремлении сосредоточиться на метафизическом аспекте его жизни и творчества, нельзя не отметить беспрецедентную в русской литературе фиксированность писателя на образе своего отца. «Его влияние огромно: в согласиях, в не согласиях, в резких мировоззрительных схватках и в жесте таимой, горячей любви он *пронизывал меня действительно* (курсив мой. — В. И.); совпадение во взглядах и даже полемике с ним определяли круг моих интересов; с ним я считался — в детстве, отрочестве, юности, зрелым мужем». ⁶²

В то же время эта связь отнюдь не определялась лишь *узлами крови*, напротив, зависимость от наследственности вызывала в Андрее Белом чувство отвращения и позора, переносимого им на своего отца как ви-

⁵⁷ Ходасевич В. Аблоуховы — Летаевы — Коробкины // Андрей Белый: Pro et contra. С. 735.

⁵⁸ Там же. С. 739.

⁵⁹ Там же. С. 745.

⁶⁰ См.: Степун Ф. Памяти Андрея Белого // Андрей Белый: Pro et contra. С. 901.

⁶¹ Там же.

⁶² Белый А. На рубеже двух столетий. С. 49.

новника рождения сына. Учение о «естественном» происхождении человека, возникающего в акте совокупления родителей, превращает его в чисто природное существо, заведомо лишенное духовного начала. С этой точки зрения для Андрея Белого, как и для героя его романа «Петербург» Николая Аблеухова, «всё, что ни есть на свете живого, — “отродье”, что людей-то и нет, потому что они — “п о р о ж д е н и я”». ⁶³ Этим объясняется и мотив отцеубийства, положенный в основу «Петербурга»: «Коленька плакал; свой позор порождения перенес он и на виновника своего позора: на отца». ⁶⁴

Чувство вины без вины и преступления без преступления, тяготившее роковым образом Андрея Белого, сопровождало его на протяжении всей жизни и временами приобретало форму настоящей мании преследования. Он постоянно опасался обвинения в порочных и злодейских поступках, представляя, например, что его могут заподозрить в «насилии над малолетней девочкой», совершенном сатанистом. ⁶⁵ Даже свое духовное пробуждение в отрочестве Андрей Белый воспринимал как вину перед родителями. С другой стороны, хотя он мучительно переживал позор «естественного» зачатия, писатель обладал, в то же время, сознанием существования «нерожденного» ядра человеческой личности, доведенного им до полной ясности благодаря своим анамнестическим медитациям. Родственные связи его не интересовали, и он никогда, в отличие от Флоренского, не входил в детальные генеалогические изыскания. Подобно Бердяеву, Андрей Белый мог бы сказать: «Нелюбовь ко всему родовому — характерное мое свойство». ⁶⁶ Его занимала лишь проблема духовного родства. В своем отце он стремился открыть извечно знакомый лик *старинного друга и спутника*, сопровождавшего его на протяжении многих инкарнаций. Понятие *друга* в словоупотреблении Андрея Белого имело примечательный смысловой нюанс, выражающий чувство связи за границами рождения и смерти. Так, в стихотворении, посвященном Вячеславу Иванову, подчеркнуто:

Ты мне давно, давно знаком —
(знаком, быть может, до рожденья). ⁶⁷

⁶³ Белый А. Петербург. С. 331.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ Белый А. Записки чудака. С. 291.

⁶⁶ Бердяев Н. Самопознание. С. 258.

⁶⁷ Белый А. Стихотворения. М., 1988 (репр. изд. 1923). С. 196.

Именно в этом смысле и отец являлся ему *другом и везным спутником*:

Какою-то неодолимой силой
 Меня к тебе приковывает, друг!⁶⁸

Такая стародавняя дружба, коренящаяся в Вечности, нередко способна отбрасывать свою тень и переходить в чувство вражды и ненависти. Вечный друг таким образом неожиданно оказывается вечным врагом. Уже в романе «Петербург» эта тема нашла свое гротескно-трагическое воплощение. Оба Аблоуховы — отец и сын — связаны узами дружбы-вражды. Окружающий мир кажется им сплошной *невнятицей*, безнадежно запутывающей их семейные отношения. Однако за ней скрывается действие *кармы*, которая, по убеждению автора «Петербурга», плетется именно из иррациональных моментов.⁶⁹ Экзистенциальная диалектика «дружбы-вражды» характеризует и отношение Андрея Белого к Александру Блоку.⁷⁰ И в этом случае очевидна вся недостаточность и поверхностность усилий объяснить их «дружбу-вражду» только сцеплением внешних обстоятельств, замкнутых рамками одной жизни. Кармические проблемы с еще большей ясностью выступают в конфликте с Эмилием Метнером,⁷¹ которого Андрей Белый называл «старинным другом», возвратив-

⁶⁸ Белый А. Стихотворения. С. 38. Ср.: «Когда мы чувствуем близость с человеком, которого видим впервые, тогда действует память, наш дух узнает *друга прежних веков* (курсив мой. — В. И.)» (Безант А. Загадки жизни и как теософия отвечает на них // Безант А. Эзотерическое христианство. М., 2001. С. 26). Примером такого *узнавания* может служить отношение князя Мышкина к Настасье Филипповне в романе Достоевского «Идиот». На пути подобных иррациональных *узнаваний* возможны иллюзии и ошибки, о которых предупреждал Н. Бердяев: «Воспоминание о предыдущих перевоплощениях существует как экзистенциальный опыт, но оно смутно и затемнено смешением разных планов, которые не могут быть совершенно разделены или внедрены один в другой. Я могу чувствовать особенную связь с какой-нибудь из эпох прошлого и с какими-нибудь людьми прошлого, но этого не нужно понимать грубо эмпирически» (Бердяев Н. Истина и откровение. СПб., 1996. С. 140).

⁶⁹ «Вот из каких иррациональных моментов плетется *карма*», — писал Андрей Белый о своей жизни (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 526).

⁷⁰ См. очерк Вл. Орлова «История одной “дружбы-вражды”» (Орлов Вл. Пути и судьбы: Литературные очерки. М.; Л., 1963. С. 446—578).

⁷¹ Подробно о запутанных отношениях Андрея Белого и Эмилия Метнера см.: Юнгрен М. Русский Мефистофель: Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб., 2001.

шимся к нему «из мглы веков» («открылся ряд тысячелетий длинный»),⁷² чтобы затем с горечью признать: «Метнер стал — “враг”».⁷³

Преодоление невнятицы стало темой последнего романа Андрея Белого. Оно показано как духовный подвиг, совершенный профессором Коробкиным, в образе которого сливаются черты, присущие Н. В. Бугаеву и его сыну. В духе Карла Густава Юнга следовало бы сказать, что профессор Коробкин — в отличие от сенатора Аблеухова — с честью прошел процесс индивидуации, ведущий к соединению со своим «высшим Я» (Selbst). Он же совершается в перманентной борьбе с «невнятицей». В акте творческого познания иррациональное чувство вины обретает свое просветление и сменяется ясным сознанием законов, лежащих в основе «проекта» человеческой жизни, предопределяющего структуру экзистенциально значимых коммуникаций.

3. Труды и дни профессора математики

Краткое упоминание о детстве профессора Коробкина в романе «Москва» полностью совпадает с тем, что известно из биографий отца и деда Андрея Белого: «Иван Никанорыч Коробкин, вполне добросовестный доктор военный, при императоре Николае за что-то был сослан на дикий Кавказ; там родил себе сына — в фортеции, где защищали страну от чеченцев».⁷⁴ Почти без особых изменений этот пассаж был перенесен из романа в мемуары, написанные несколькими годами позднее:⁷⁵ отец профессора Бугаева был «военный доктор, сосланный Николаем Первым и, кажется, разжалованный; так попал из Москвы в Закавказье он, <...> первое детское воспоминание отца: гром орудий в крепостце, обложенной лезгинами».⁷⁶

В обоих случаях образ отца Коробкина (Н. В. Бугаева) дан слабым контуром. К дальнейшему углублению в собственную генеалогию у пи-

⁷² *Белый А.* Золото в лазури. М., 2004 (репр. изд. 1904). С. 138. Цикл стихов «Старинный друг» с посвящением Эмилию Метнеру был написан в июле 1903 г. и, таким образом, подтверждает факт реальности анамнестических переживаний Андрея Белого задолго до знакомства с Рудольфом Штейнером.

⁷³ *Белый А.* Начало века. М., 1990. С. 101.

⁷⁴ *Белый А.* Московский чудак // *Белый А.* Москва. М., 1989. С. 23.

⁷⁵ «Московский чудак» был написан в 1925 г., а первый том мемуаров Андрей Белый создал в 1929 г.

⁷⁶ *Белый А.* На рубеже двух столетий. С. 55.

сателя не было ни малейшего интереса. Всё внимание сосредоточено на самой ситуации, обозначенной как *невнятица*.⁷⁷ «Младенческое впечатление Ивана — рев пушки, визг женщин: лезгины напали», — и далее следует, исполненный экзистенциально-символического смысла, вывод: «невнятица перепугала; испуг воплотился всей жизнью».⁷⁸ Знаменательно символичен образ *фортеции*, на которую постоянно совершаются нападения. Он полностью соответствует мироощущению Андрея Белого в раннем детстве. Все его воспоминания о том времени отмечены печатью такой же невнятицы, угрожавшей *фортеции* — символу целостности души «второго математика». Постоянные ссоры родителей, угроза их развода, переживавшегося ребенком как «конец мира»: всё это наполняло душу испугом, отзвуки которого были ощутимы до конца жизни писателя.

Дальнейший ход отцовской биографии Андрей Белый интерпретировал как перманентную борьбу с *невнятицей*. Герой романа «Москва» профессор Коробкин, подобно своему прототипу Н. В. Бугаеву, «боялся невнятиц: едва заподозрив в невнятице что бы то ни было, быстро бросался — рвать жало».⁷⁹ Переезд в Москву, учеба в гимназии, побои, переносимые от сверстников, и тяжелая нужда создавали впечатление «беспросветной жизни», из которой одаренный юноша выбился только благодаря твердой воле победить нагроможденные судьбой трудности.⁸⁰

Андрей Белый не сталкивался с подобными проблемами: ему не приходилось жить «в углу у повара» и давать уроки, чтобы заработать гроши на обед. Его жизненный уклад в детстве и юности был обусловлен материальным благополучием семьи, и, тем не менее, будущему писателю приходилось постоянно вести борьбу с невнятицей, угрожавшей разрушить его внутренний мир. Эта борьба со временем приняла жестокие формы оккультных преследований, подробно описанных в «Записках чудака». Зато, если профессор Н. В. Бугаев навсегда остался пленником своего бытового окружения, то его сын сумел радикально порвать с мерт-

⁷⁷ Однако *невнятица* может сыграть позитивную роль как элемент творческого процесса: в творчестве, отмечал Андрей Белый, «невнятица <...> есть организующий фактор; и автор <...> порою сознательно должен отказываться от понимания собственных образов до конца» (*Андрей Белый и Иванов-Разумник*. Переписка. С. 384).

⁷⁸ Белый А. Московский чудака. С. 23.

⁷⁹ Там же. С. 38.

⁸⁰ «Складывалась беспросветная жизнь; и понятно, что Ваня пришел к убеждению — невнятица жизни его побеждаема ясностью лишь доказуемых тезисов. Так вот наука российская обогатилась ученым» (Там же. С. 23).

вующей жизнью и стать на путь духовного возрождения, ведущий к инициации.

В отличие от страннической жизни Андрея Белого, биография его отца складывалась внешне благополучно, за исключением одного несколько авантюрного эпизода в молодости, когда после окончания университета Николай Бугаев решил круто изменить свою жизнь. По неясным мотивам он отказался остаться в Москве для подготовки к профессуре и захотел поступить на военную службу, перебрался для этого в Санкт-Петербург, был зачислен на службу в качестве унтер-офицера в гренадерский саперный батальон и одновременно принят в Николаевское инженерное училище. После сдачи соответствующих экзаменов ему присвоили звание инженер-прапорщика и предоставили возможность продолжить образование в Николаевской Инженерной Академии. Но военная карьера Н. В. Бугаева быстро закончилась, хотя, как заметил его ближайший ученик профессор Л. К. Лахтин, годы, проведенные в Петербурге, «оставили след в его характере. Николай Васильевич высоко ценил военную дисциплину, порядок и точность в исполнении работ».⁸¹

Поводом, заставившим прапорщика Бугаева оставить военную службу вместе с рядом других курсантов, считается протест против отчисления из Академии их сотоварища. Андрей Белый был мало осведомлен об этом, равно как и обо всем «военном» периоде в жизни своего отца. Он полагал, что прапорщик Бугаев был исключен «из-за какой-то разыгравшейся в академии истории (на почве политической)».⁸² Не упоминает писатель и о том, что через некоторое время после отчисления Н. В. Бугаев продолжал службу в саперном батальоне. Не отразился петербургский период и на — параллельной — биографии профессора Коробкина, хотя примечательным образом — в отличие от своего миролюбивого прототипа — «московский чудак», хотя и почти случайно, делает открытие, имеющее огромное значение для развития военной техники.

Вернувшись без помех в Москву, Н. В. Бугаев вновь предался чисто научной работе. В 1863 году он защитил магистерскую диссертацию на тему «Сходимость бесконечных рядов по их внешнему виду» и был направлен в заграничную командировку для подготовки к профессорскому званию. «Так он и выскочил в более сносную жизнь».⁸³ Сказанное в «Московском чуде» о благополучной научной карьере Коробкина — только парафраз фактов биографии Н. В. Бугаева. По возвращении из Франции молодой математик получил доцентуру в Московском универ-

⁸¹ Лавров А. В. Комментарии // Белый А. На рубеже двух столетий. С. 475.

⁸² Там же. С. 58.

⁸³ Белый А. Московский чудак. С. 38.

ситете. В 1866 году он защитил докторскую диссертацию, а в следующем году стал профессором. Через двадцать лет его избрали деканом физико-математического факультета Московского университета.

Несмотря на гладкий путь служебной и общественной карьеры, Н. В. Бугаев явно не вмещался в рамки своей социальной роли. Расщепление между внутренней жизнью и внешними формами, которая она принимала, приводило к чудачествам на грани юродства. «Тут “чудак” в нем скликался со мной», — отмечал Андрей Белый.⁸⁴ Странности в поведении профессора были источником многих анекдотов и даже негативных суждений о маститом декане. Наряду с преданными почитателями, высоко ценившими в Н. В. Бугаеве крупного математика, оригинального мыслителя и просто хорошего, доброго человека, было немало московских интеллектуалов, видевших в нем скучного оратора, педанта, упрямого и надоедливое спорщика. Гротескно-недоброжелательный образ отца своего друга оставил Сергей Соловьев.⁸⁵ Хотя он довольно точно описывает семейную драму Бугаевых, ряд деталей, им приводимых, возможно, объясняется ошибками памяти мемуариста или даже тенденциозностью в расстановке акцентов. В то же время некоторые подробности из жизни семьи Бугаевых, кажется, навеяны воспоминаниями не об отце, а о сыне и только спроецированы на декана физико-математического факультета. Так, Сергей Соловьев отмечает, что Н. В. Бугаев временами «впадал в какое-то мистическое исступление»: «Вдруг он начинал изучать Апокалипсис, приносил его за чайный стол и, впиваясь в страницу маленькими черными глазками и подняв палец, возглашал: — И ангелу Филадельфийской церкви напиши».⁸⁶ Если это действительно имело место, то сходство отца и сына становится еще более разительным, а сцена толкования Апокалипсиса кажется перенесенной из «Второй симфонии» Андрея Белого, питавшего особый интерес к Филадельфийской церкви (Ап. 3: 7–13) как прообразу будущей духовной культуры.

Более загадочным и малоправдоподобным представляется свидетельство мемуариста о том, что «квартира Бугаевых была насыщена духом Индии. Вся семья зачитывалась Блаватской».⁸⁷ Это само по себе мало вяжется как с эволюционной монадологией профессора Бугаева, так и со светским умонастроением его супруги. Возможно, однако, что речь идет только о книге Е. П. Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину». «Письма», представляющие собой ряд очерков о путешествии

⁸⁴ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 54.

⁸⁵ Соловьев С. Воспоминания. М., 2003. С. 170–171.

⁸⁶ Там же. С. 170.

⁸⁷ Там же. С. 171.

в Индию, первоначально появились в 1880 году в «Русском вестнике» и были переизданы в 1883 году. Экзотический характер очерков имел успех, и ими «зачитывалась <...> вся образованная Россия». ⁸⁸ Сам Андрей Белый прочитал их осенью 1896 года. Книга Е. П. Блаватской, подписанная загадочным псевдонимом Радда-Бай, настроила подростка на «теософский» лад еще до знакомства с собственно теософской литературой. ⁸⁹

Многое в поведении «крещеного китайца» казалось непонятным и самому Андрею Белому. Только к концу жизни он сумел разобраться в нагромождении проблем, связанных с загадкой этой противоречивой жизни: «Сочетание редко сочетаемых свойств разрывало его (отца. — В. И.) в “чудака”; и тут — точка моего странного к нему приближения». ⁹⁰ В своей мемуарной трилогии Андрей Белый был склонен оправдывать эти многочисленные «чудачества», из-за которых ему при жизни отца приходилось терпеть немало страданий. Не говоря уже о травмирующих ребенка ссорах, приведших к почти полному отчуждению от родителей и даже ненависти к ним.

Не менее тяжелое воздействие на психику будущего писателя в его юношеские годы оказывали идейные разногласия с отцом. Их вкусы и пристрастия расходились радикально. Н. В. Бугаев терпеть не мог Шопенгауэра, считал Владимира Соловьева психически больным, «туманно пишущему» Канту предпочитал Спенсера и Джона Стюарта Милля. Сын же презирал позитивистов, медитировал над параграфами «Мира как воли и представления», относился к В. С. Соловьеву как к своему духовному учителю и стремился вникнуть в лабиринты «Критики чистого разума». Однако философские убеждения профессора Бугаева, хотя и сформировались под сильным влиянием позитивизма, тем не менее, базировались на смелых интуициях, близких к Лейбницу, и привели к созданию оригинальной концепции, по недостатку времени изложенной им в небольшой работе «Основные начала эволюционной монадологии», ⁹¹ которую Андрей Белый впоследствии интерпретировал в духе своего собственного мировоззрения.

Еще более значительными представлялись философско-математические идеи Н. В. Бугаева, пришедшего к признанию индетерминизма и принципа вероятности в науке. «Бугаев защищал умеренный индетерминизм; “В мире господствует не одна достоверность, — утверждал он, —

⁸⁸ Сенкевич А. Блаватская. М., 2010. С. 208.

⁸⁹ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 337.

⁹⁰ Там же. С. 59.

⁹¹ Бугаев Н. В. Основные начала эволюционной монадологии // Вопросы философии и психологии. 1894. Кн. 17. С. 26—44.

но в нем имеет силу также и вероятность”. Именно поэтому отец Андрея Белого, исходя из своих математических идей, защищал “свободу воли”». ⁹² Идея прерывности в применении к религиозной философии была впоследствии развита Павлом Флоренским, слушавшим лекции профессора в Московском университете и высоко их ценившим. ⁹³ Он усматривал в Н. В. Бугаеве предвозвестника грядущей переоценки ценностей: «Мы, видевшие зарю “нового искусства”, — писал Флоренский в 1903 году, — стоим на пороге и “новой науки”. И только, когда она будет создана, мы сможем достаточно оценить деятельность провидцев — Георга Кантора и Николая Бугаева». ⁹⁴

Независимо от Н. В. Бугаева и Флоренского развивал идею прерывности как основополагающую для понимания истории и Николай Бердяев. ⁹⁵ Прерывность в эволюционном процессе открывала возможность для действия в нем чисто духовных импульсов. «“Прерывные” функции, — писал В. Зеньковский, подчеркивая значение аритмологических интуиций Н. В. Бугаева, — отличны от всех реальных (или чисто математических) связей, где царит непрерывность и сплошность — и это должно быть поставлено в связь с тем, что “прерывность” имеет всегда место там, где появляется “индивидуальное” бытие, как таковое». ⁹⁶

К 1901 году острота мировоззренческого конфликта между отцом и сыном начала постепенно сглаживаться: наметилась возможность по-

⁹² Зеньковский В. История русской философии. М., 2001. С. 655.

⁹³ Наибольшее влияние на Павла Флоренского в его университетские годы профессор Бугаев оказал своими аритмологическими идеями, ведущими к признанию принципа индетерминизма и прерывности. Под этим влиянием Флоренский задумал «большую работу общепhilософского характера “Прерывность как элемент мировоззрения”, синтезирующую философские и математические идеи» (*Игумен Андроник (А. С. Трубаев). Жизнь и судьба // Священник Павел Флоренский. Собр. соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 8*). Подробно вопрос о влиянии Н. В. Бугаева на мировоззрение Флоренского рассмотрен С. М. Половинкиным в статье «П. А. Флоренский: Логос против хаоса» (http://anthropology.rchgi.spb.ru//pdf/38_polov.pdf).

⁹⁴ Флоренский П. Об одной предпосылке мировоззрения // *Священник Павел Флоренский. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 78*.

⁹⁵ «В истории, в которой господствует детерминизм, т. е. каузальные связи, приоткрывается и просвечивает иной план, в более глубоком слое действуют творческие субъекты, прорывается свобода» (*Бердяев Н. Очерки эсхатологической метафизики // Бердяев Н. Царство Духа и царство Кесаря / Сост. и послесл. П. В. Алексеевой; Подгот. текста и примеч. Р. К. Медведевой. М., 1995. С. 247*).

⁹⁶ Зеньковский В. История русской философии. С. 655.

нять друг друга. «В спорах обреталось сближение».⁹⁷ С годами Андрей Белый стал находить еще больше точек соприкосновения с философскими взглядами отца и после его кончины додумывал принципы «эволюционной монадологии», расширяя их в сторону духовной науки. Законченным выражением этой тенденции служит рассказ «Йог», написанный Андреем Белым в 1918 году. Антропософский подтекст этого произведения подробно раскрыт Моникой Спивак в ее книге «Андрей Белый — мистик и советский писатель».⁹⁸

Сложнее обстояло дело с художественными вкусами. Эстетические потребности профессора Бугаева были весьма скромны. В живописи он ценил второстепенного художника Риццони за то, что «его можно в лупу разглядывать».⁹⁹ Литературные вкусы отца приводили сына в ужас и негодование: «с пожимом плечей он читает Чехова, не принимает Горького, не понимает Фета; подчеркивает болезненность в Достоевском, негодует на дух отчаяния в Ибсене, хохочет над Метерлинком»,¹⁰⁰ не говоря уже о поэзии декадентов и символистов. Впоследствии, при всем расхождении вкусов, профессор Бугаев начал отзываться с симпатией о Брюсове и Эллисе, с удовольствием читал роман Мережковского «Юлиан Отступник».

Уже после кончины отца Андрею Белому начала всё больше и больше приоткрываться таинственная связь, существовавшая между ними, несмотря на тягостные воспоминания о детстве. Писатель прозревал за чужаковатой внешностью знаменитого профессора математики, спорщика и педанта его «высшее Я», с которым он стремился войти в духовное общение. Отразив в «Петербурге» мучительный конфликт отца и сына, коренившийся в глубоком прошлом, Белый всё же закончил роман примирительно: хотя отец и сын больше не видятся, но взаимно прощают друг друга. Аполлон Аполлонович Аبلухов умирает с мыслями о сыне, который от кантианства переходит в православие.

Размышляя в дальнейшем о своих отношениях с отцом, Андрей Белый всё больше ощущал трудно выразимое чувство мистической идентичности с ним. Биографическое сходство Коробкина с Н. В. Бугаевым кончается на описании жестокой пытки, которой профессор подвергся от руки негодяя Мандро, любой ценой желавшего получить военное от-

⁹⁷ *Белый А.* Начало века. М., 1990. С. 23.

⁹⁸ См. гл. 5: «Иван Иванович Коробкин на путях посвящения: автобиографический подтекст и эзотерический опыт в рассказе “Йог”» (*Спивак М.* Андрей Белый — мистик и советский писатель. М., 2006. С. 189—208).

⁹⁹ *Белый А.* На рубеже двух столетий. С. 53.

¹⁰⁰ *Белый А.* Начало века. С. 20.

крытие, сделанное гениальным ученым. Страдания, испытанные Коробкиным, по свидетельству Андрея Белого, отражают собственное состояние писателя, подвергнутого еще более изощренной «незримой» пытке своими астрально-окультистскими преследователями. С этого момента происходит как бы мистическое слияние судеб отца и сына, вставших на путь духовного просветления.

4. Звездочка с болезнью чувствительных нервов

Совсем иначе складывались отношения Андрея Белого с его матерью Александрой Дмитриевной Бугаевой (в девичестве Егоровой) (1858—1922). Они носили более человечески простой, понятный и даже житейский характер. В отце писатель прозревал высокую духовную индивидуальность, только частично и остраненно проявившую себя в условиях скованного предрассудками профессорского быта конца XIX столетия. Он глубоко переживал внутреннюю муку Н. В. Бугаева, охваченного «органическим зудом, выраставшим из вечного сопоставления оригинальных и новых мыслей о мире и жизни с “бытиком”, мысли такие расплющивающим».¹⁰¹ Ничего подобного в воспоминаниях Андрея Белого о его матери мы не находим. Она предстает вполне земным существом, лишенным способности понять духовные индивидуальности ее мужа и сына. И всё же Андрей Белый (хотя и на ином уровне, чем с отцом) ощущал связь — не столько духовную, сколько душевную — со своей матерью.¹⁰² Образ ее напрямую почти не отразился в его творчестве и лишь временами появлялся в замаскированном до неузнаваемости виде.

Отдаленный намек на семейную драму Бугаевых, не имеющий силы констатации неоспоримого факта и не призванный бросить тень на репутацию матери Андрея Белого, присутствует в романах «Петербург» и «Москва», в которых мужья переживают — не без хладнокровия — измену своих жен. Ни Анна Петровна («Петербург»), ни Василиса Сергеевна («Москва») не имеют в своей внешности ничего общего с Александрой Дмитриевной Бугаевой, которая в молодости была общепризнанной московской красавицей. Анна Петровна, вернувшаяся в столицу после двухлетнего странствования с «итальянским артистом», обрисована как дама с двойным подбородком, из-под корсета ее «явственной вы-

¹⁰¹ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 67.

¹⁰² С неопределенных позиций отношения Андрея Белого с его матерью подвергнуты анализу в книге: Спивак М. Андрей Белый — мистик и советский писатель. См. главу: «Мать, жена, сестра, дочь? Объект влечений Андрея Белого» (с. 290—316).

ступил округленный живот», прекрасными остались лишь «два лазурью наполненных глаза».¹⁰³ Василиса Сергеевна, изменяющая мужу с другом его детства профессором Задопятовым, охарактеризована в еще более непривлекательном виде: она — «сухая, изблеклая, точно питалась акридами», «и родинка волосом темным вилась над губой».¹⁰⁴ Неизменными остаются два мотива: бытовая травля мужа женой и факт тайной любовной связи. Сознательная затушевка малейшего сходства обеих «героинь» с А. Д. Бугаевой контрастирует с усиленным подчеркиванием сходства сенатора Аблеухова и профессора Коробкина с отцом писателя. У первого — сходство более в стиле поведения, любви к каламбурам и т. п.; Коробкин же и во внешности являет собой почти фотографически точную копию Н. В. Бугаева.

Более достоверным портретом матери Андрея Белого служит образ жены профессора Летаева в повестях «Котик Летаев» и «Крещеный китаец», хотя писатель, подчеркивая свое право на «вымысел», возражал против прямого отождествления изображенной им супружеской четы со своими родителями. Зато в качестве вполне надежного источника могут служить мемуары Белого, в которых он дал точную зарисовку облика и душевных особенностей своей матери. В обоих случаях Андрея Белого меньше всего интересовали генеалогические изыскания, и память писателя не простиралась далее его дедушек и бабушек. Примечательным образом он даже забыл девическую фамилию своей бабушки по материнской линии (в мемуарах: Журавлева; правильно: Желвунова).¹⁰⁵ Но, если биографию отца Андрей Белый был склонен интерпретировать в анамнестической перспективе, и даже внешне несущественные подробности приобретали для него символическое значение, выходящее за пределы чисто эмпирического набора фактов, то жизнь матери он описывал в психологическо-житейском измерении, подчеркивая лежащий в ее основе душевный надлом. Само материнское родословие интересовало его в той мере, в какой оно проясняло семейную драму Бугаевых и проливало туск-

¹⁰³ *Белый А.* Петербург. С. 390. Ко времени написания «Петербург» можно было бы заметить некоторое провоцирующее внешнее сходство между А. Д. Бугаевой и женой сенатора Аблеухова. Ходасевич описывает Бугаеву как «пожилую, располневшую женщину со следами несомненной красоты»; цит. по: *Малмстад Дж.* Ходасевич об Андрее Белом // Андрей Белый в изменяющемся мире: к 125-летию со дня рождения: Сб. / Сост. М. Л. Спивак и др. М., 2008. С. 161. В данной статье Дж. Малмстад опубликовал ранее неизвестный черновик «газетной редакции» воспоминаний Ходасевича.

¹⁰⁴ *Белый А.* Московский чудак. С. 32.

¹⁰⁵ *Лавров А. В.* Комментарии. С. 482.

лый свет на причины, побудившие его мать выйти замуж за нелюбимого человека.

Отец Александры Дмитриевны Д. Е. Егоров был незаконнорожденным сыном «богатого аристократа»,¹⁰⁶ по глухому преданию, чуть ли не из рода Рюриковичей. Узнав о своем происхождении, он покинул дом отчима и «сам стал себя воспитывать».¹⁰⁷ Вначале Егоров избрал для себя художественную карьеру: окончил театральное училище, пел в хоре Большого театра, но потом, как нередко говорят в таких случаях, взялся за ум и в сравнительно короткий срок нажил приличное состояние, торгуя мехами. В 1855 году он женился на Елизавете Федоровне Желвуновой, дочери вышедшего из купеческого в мещанское сословие московского торговца. В недавнее время М. Б. Шапошников на основании архивных материалов реконструировал генеалогическое древо Желвуновых¹⁰⁸ с целью «объяснить некоторые черты личности писателя генетическим опытом нескольких поколений его предков».¹⁰⁹ Никаких особых откровений эти изыскания не принесли. В результате выстроилась линия предков, мало что проясняющая в особенностях личности и творчества Андрея Белого. Иначе и быть не могло, поскольку биография писателя-символиста — свидетельство перманентной борьбы его духа с унаследованной от родителей психосоматической оболочкой и мучительных попыток осознать кармические причины своего воплощения в чуждой ему семье Бугаевых.

Как установил М. Б. Шапошников в результате своих генеалогических изысканий, род Желвуновых происходит из города Серпухова. В 1795 году купец 3-й гильдии Антон Павлович Желвунов перебрался в Москву, где и проживал в дальнейшем на ул. Полянка, занимаясь, по предположению исследователя, торговлей парусиновыми тканями,¹¹⁰ — деталь, мало что дающая для уяснения биографии Белого; интересно только мнение Шапошникова о принадлежности рода Желвуновых к старообрядчеству.¹¹¹ Не имеет смысла далее проследивать историю рода Желву-

¹⁰⁶ *Белый А.* На рубеже двух столетий. С. 100.

¹⁰⁷ Там же.

¹⁰⁸ *Шапошников М. Б.* К вопросу о происхождении Б. Н. Бугаева: материнская линия // Андрей Белый в изменяющемся мире: К 125-летию со дня рождения. С. 186–193.

¹⁰⁹ Там же. С. 186.

¹¹⁰ Там же. С. 187–188.

¹¹¹ Старообрядческая наследственность, согласно Шапошникову, сказывалась у Андрея Белого в «вечном богоискательстве», склонности «к раз-

новых. Нужно лишь кратко упомянуть о деде А. Д. Бугаевой Федоре Степановиче Желвунове, большом неудачнике, трижды женатом и мало преуспевшем в торговле, что повлекло его переход из купеческого в мещанское сословие. От третьего брака у Федора Желвунова в 1830-х годах родилась дочь Елизавета, вышедшая в 1855 году замуж за Д. Е. Егорова. Бабушка Андрея Белого отличалась замечательной красотой,¹¹² но «была <...> ниже и по уровню развития, и по интересам» своего супруга.¹¹³

Вначале семья жила в полном благоденствии. Коммерческие дела Егорова шли хорошо, и он, боготворивший свою старшую дочь, постарался дать ей блестящее образование. «Звездочка» — так звал Сашеньку Дмитрий Егорович — после окончания четвертого класса не пожелала учиться в гимназии. С того времени «началась эпоха домашних учительниц, которые, разумеется, Звездочку ничему не научили, кроме музыки, которую она любила».¹¹⁴ Этот факт имел для биографии Андрея Белого гораздо большее значение, чем купеческие корни его родословного древа по материнской линии. В самый тяжелый период его детства, омраченный скандалами в родительском доме, музыка стала его единственной целительницей. Произведения Бетховена, Шопена, Шумана, исполнявшиеся по вечерам Александрой Дмитриевной, уносили воображение мальчика из бытового бреда в светлый и гармонический мир, который он ощущал своей подлинной родиной. Музыка стала целебным средством, освобождавшим от бремени земного существования. Однако ребенок скрывал долгое время свою любовь к музыке и вызывал гнев матери своей искусно разыгранной «немузыкальностью».

Домашнее воспитание Александры имело, однако, и негативные стороны. «Звездочка» росла капризным, избалованным ребенком. Отец «разрешал ей всё, что ей ни взбредет в голову».¹¹⁵ Педагогический ре-

личного рода медитациям и состояниям транса», а также «сознанию избранности, уверенности в единственной правильности избранного духовного пути» (*Шапошников М. Б. К вопросу о происхождении Б. Н. Бугаева: материнская линия. С. 187*). Все перечисленные особенности старообрядческой психологии могут только с известной натяжкой быть применены для объяснения духовно-душевной структуры Андрея Белого. Коренное отличие писателя-символиста от старообрядчества заключается в его постоянном устремлении в будущее, его «аргонавтизме», искании Грааля. Ничто не было ему столь чуждо, как статическое хранение духовных традиций прошлого.

¹¹² *Шапошников М. Б. К вопросу о происхождении Б. Н. Бугаева: материнская линия. С. 190—191.*

¹¹³ *Белый А. На рубеже двух столетий. С. 100.*

¹¹⁴ Там же. С. 101.

¹¹⁵ Там же.

зультат такого отношения к дочери был плачевным: «Звездочка» превратилась в настоящего тирана в доме.¹¹⁶ Потребность в таком *тиранстве* особо проявилась позднее во время замужества. Главной жертвой *тирана* оказался ее собственный сын.

Благополучное детство Звездочки окончилось со смертью отца. Мать оказалась не в состоянии вести коммерческие дела и быстро разорилась. Началось время тяжелой и унижительной нищеты. Бедственное положение молодой девушки, в одночасье лишившейся привычного комфорта, имело и другие тяжелые последствия. Из-за наступившей нищеты не состоялся ее брак с сыном богатого фабриканта Абрикосова, которому родители запретили жениться на Звездочке. Девушка тяжело переживала разрыв отношений. Он оставил в ее душе глубокую травму, навсегда подорвавшую ее душевное здоровье. Впрочем, у Александры вновь появилось достаточно женихов, когда она стала выезжать на московские балы. С этого времени на городском небосклоне возшла звезда новой красавицы. Александра Дмитриевна, возможно не теряя надежды на брак с молодым Абрикосовым, отказывала всем новоявленным женихам, пока неожиданно не согласилась на предложение профессора Н. В. Бугаева.

Венчание состоялось 16 января 1880 года в Петропавловской церкви «при 4-м Гренадерском Несвижском полку». А уже осенью того же года в метрической книге Троицкой церкви на Арбате появилась запись: «В доме Рахманова октября 14 дня родился, а ноября 20 дня крещен Борис. Восприемниками при крещении были: статский советник Сергей Алексеев Усов и вдова действительного статского советника Мария Ивановна Лясковская. Таинство крещения совершил местный священник Владимир Марков с причетом».¹¹⁷ В дальнейшем все лица, упомянутые в этой метрической записи, сыграли определенную роль в жизни Бориса Бугаева, хотя — с православной точки зрения — выбор крестных родителей был более чем неудачным. Если признать, что крестные берут на себя обязательство помогать родителям в духовном воспитании ребенка, то ни профессор Усов, ни М. И. Лясковская для этого совершенно не годились. Но вряд ли мысль об этом приходила в голову всем присутствовавшим при таинстве крещения младенца Бориса.

Профессор С. А. Усов (1827—1886) был дружен с Н. В. Бугаевым, часто бывал в его доме и хорошо запомнился Андрею Белому: «На Усове сходятся мнения родителей; мать удивляется блеску его».¹¹⁸ Но этот

¹¹⁶ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 101.

¹¹⁷ Цит. по: Тарумова Н. Т., Уланова А. В. Николай Васильевич Бугаев: Новые архивные материалы // Андрей Белый в изменяющемся мире. С. 202.

¹¹⁸ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 115.

«блеск» имел мало общего с религией, хотя перед своей кончиной маститый ученый обратился к изучению древнерусского искусства. Усов более известен как один из первых последователей Дарвина в России. В 1865 году он выпустил свой перевод книги Ролле, посвященной популярному изложению основ дарвинизма.¹¹⁹ С. А. Усов «один из первых твердо водрузил знамя Дарвина в Московском университете», — писал Андрей Белый в своих мемуарах.¹²⁰ Признавая большие научные заслуги профессора Усова и его огромное личное обаяние, следует сказать всё же, что дарвинизм мало пригоден для воспитания ребенка в православном духе, тем более, что Котик, внимая разговорам ученых гостей, и без того уже в раннем возрасте был достаточно наслышан о происхождении человека от обезьяны. К тому же профессор скончался довольно рано, когда Котику исполнилось всего шесть лет, поэтому о его осмысленном общении с крестным отцом не могло быть и речи.

Еще хуже обстояло дело с крестной матерью — Марией Ивановной Лясковской, вдовой профессора-химика Н. Э. Ляковского, дом которого многие годы был местом встречи московских либеральных профессоров. Для Андрея Белого М. И. Лясковская — символ косного быта, держащего в тисках знаменитых ученых. Она считалась хранительницей устоев «как у всех» и «разводила безжалостное лицемерье морали», при этом щеголяла своим поверхностным вольнодумством и «кокетничала нелюбовью к попам и дурному городовому, ее охранявшему».¹²¹ Если профессор Усов хотя бы вызывал симпатию своим добродушно-величественным видом, то Лясковская представлялась Боре Бугаеву монстриком с лягушачьими лапками. Не удивительно, что такая особа не могла и не хотела способствовать духовному воспитанию своего крестника. Ее образ в мемуарах Андрея Белого обрисован в гротескно-негативных тонах. Не мог забыть писатель и назойливого вмешательства Лясковской в семейную жизнь Бугаевых: своими бестактными расспросами она лишь растравляла душевные раны Александры Дмитриевны.

5. Неудавшийся синтез

Сокровенной целью средневековых алхимиков был синтез противоположностей. Символом герметической конъюнкции считалось сочетание мужского и женского начал. В жизни — помимо алхимии — посто-

¹¹⁹ Ролле Ф. Учение Дарвина «О происхождении видов» / Пер. с нем. С. А. Усова. М., 1865.

¹²⁰ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 116.

¹²¹ Там же. С. 112.

янно совершается это «тайнство», и не всегда с удачным результатом, примером чему может служить семья профессора Н. В. Бугаева. Ссоры с женой мало способствовали постижению глубин «эволюционной монадологии» деканом физико-математического факультета, а причины психосоматических недугов Александры Дмитриевны и вовсе не представляют интереса для историка русской культуры рубежа двух столетий как сугубо частное дело жены профессора Н. В. Бугаева. И всё же, биограф Андрея Белого со всей возможной осторожностью обязан коснуться этой приватной сферы — прежде всего потому, что описание семейной драмы стало темой многих произведений писателя и с полной откровенностью дано в его мемуарах.

До конца своих дней Андрею Белому занимал вопрос о том, какие кармические силы могли соединить столь противоположные индивидуальности — его отца и мать. С точки зрения самого писателя-символиста, признававшего реальность предсуществования и реинкарнации, дух воплощающегося человека — непостижимым для земного сознания образом — сам участвует в выборе своих родителей, поэтому его никогда не оставляло чувство собственной «вины», хотя и не в обычном смысле этого слова. Уже четырехлетним мальчиком он осознавал себя своего рода *целью*, прочно связавшей двух совершенно чуждых друг другу людей. «Я нес, — вспоминал Андрей Белый, — мучительный крест ужаса этих жизней, потому что ощущал: я — ужас этих жизней; кабы не я, — они, конечно, разъехались бы». ¹²² Ребенок «нес “вину”, в которой был неповинен». ¹²³

Как же рисовалась самому Андрею Белому история сближения его — столь противоположных по характеру — родителей? В чем усматривал он причину семейных конфликтов? И насколько это соответствует документально подтверждаемой действительности? В какой степени ребенок был «виноват», и в какой — стал невинной жертвой сложившейся еще до его рождения ситуации?

Историю «неравного» брака сорокалетнего профессора с девушкой из разорившейся семьи Андрей Белый выразил в гротескной формуле: «Мать вышла замуж за “уважение”; отец женился на “пропорциях”». ¹²⁴ Под «уважением» имелось в виду, что невеста оценила стремление профессора помочь ей выбраться из унижительной нищеты, признала в Н. В. Бугаеве доброго, сердечного и бескорыстного человека, с которым, после понятных колебаний, решила связать свою судьбу. Профессор,

¹²² Белый А. На рубеже двух столетий. С. 97.

¹²³ Там же.

¹²⁴ Там же. С. 102.

в свою очередь, женился на «пропорциях», поскольку у него был довольно странный канон женской красоты, который выражался в идеально-геометрических пропорциях лица. Красота фигуры или прочие телесные качества и душевные особенности при этом во внимание не принимались. В такой перспективе сложности наступили только в связи с различными взглядами на проблему воспитания их единственного ребенка. Этот семейный конфликт имел, однако, еще более глубокие и загадочные корни. В мемуарах Андрея Белого они обойдены полным молчанием.

Только в последнее время было опубликовано несколько писем профессора Н. В. Бугаева, которые проливают свет на источник последующих конфликтов в его семье,¹²⁵ совершенно независимых от споров из-за воспитания сына. Легендарное увлечение «пропорциями», если оно и имело место вначале, быстро сменилось чувством *ненависти*,¹²⁶ вызванным поведением Александры Дмитриевны. Прочитав письмо профессора-жениха от 7 января 1878 года, можно только удивляться последующему заключению брака. Н. В. Бугаеву было совершенно ясно, что брак заключается «Звездочкой» по эгоистическому и циничному расчету. Он высказывает это своей невесте гневно, резко и оскорбительно: «Вы так спокойно и холодно рассчитываете все выгоды и невыгоды вашего личного Я, что можно подумать, что Вы заключаете торговую сделку на любовной бирже».¹²⁷ Помимо всего прочего он обвиняет ее в бесчестности, эгоизме, тщеславии и причиненном жениху «бесконечном зле».¹²⁸ Несомненно, у профессора Бугаева имелся действительный или воображаемый повод чувствовать себя оскорбленным, хотя столь же очевидна грубоватая и несдержанная гиперболизация в выражении своего чувства. Из мемуаров Андрея Белого известно, что Александра Дмитриевна не обладала ангельским характером, но и не была тем исчадием ада, каким предстает в этом письме.

Далее отношения развивались по сценарию, напоминающему многие психологические коллизии в романах Достоевского. За оскорбительным письмом последовало примирение. Уже в апреле того же года Н. В. Бугаев просит «милую Сашу» назначить день свадьбы и заверяет ее в своем намерении «поступить честно, ясно и определенно».¹²⁹ Через несколько

¹²⁵ Тарумова Н. Т., Уланова А. В. Николай Васильевич Бугаев. С. 198–201.

¹²⁶ В письме к невесте профессор Бугаев писал: «У меня вертится постоянно в голове мысль: *будьте прокляты*» (цит. по: Тарумова Н. Т., Уланова А. В. Николай Васильевич Бугаев. С. 200).

¹²⁷ Там же. С. 198.

¹²⁸ Там же. С. 199.

¹²⁹ Там же. С. 200.

дней он пишет уже не «милой Саше», а «Милостивой Государыне Александре Дмитриевне» о полном разрыве их отношений. Бывшей невесте инкриминируется «нравственный цинизм» и стремление «играть недостойную комедию». Резюмируя суть поведения Звездочки, профессор писал, что она «надругалась над Богом, мною и вашими родными».¹³⁰ На этом сохранившаяся переписка обрывается. Вероятно, остальные письма были уничтожены или пропали в беспокойные годы.

Неизвестно, при каких обстоятельствах состоялось очередное и хрупкое примирение. Известен только его результат: женитьба и рождение в том же году сына, названного Борисом. Вряд ли обе стороны забыли нанесенные друг другу обиды. Звездочка вступила в брак с уже основательно подорванным душевным здоровьем. У нее развилась, по словам ее врача, «болезнь чувствительных нервов»,¹³¹ сопровождавшаяся тяжелыми истерическими припадками. Андрей Белый сравнил этот недуг с отравленной шкурой кентавра Несса, приросшей к телу Геракла.¹³² Поэтому «жестокости» матери по отношению к сыну писатель впоследствии оправдывал, считая их результатом ее невыносимых душевных страданий. «Когда с нее снималась эта к ней прирастающая шкура, она менялась; в корне она была — прекрасным, чистым, честным, благородным человеком».¹³³

Нередко Андрей Белый был склонен винить отца в заболевании матери. Одной из причин, усугубивших конфликт, по мнению писателя, была не только психическая несовместимость, но и большой возрастной разрыв между родителями: «почти старик и — почти ребенок, в первый год замужества играющий в куклы».¹³⁴ Хотя здесь имеется некоторое преувеличение. При заключении брака профессору Бугаеву было сорок два года, а Звездочке — двадцать два.¹³⁵ В те времена девушки выходили за-

¹³⁰ Тарумова Н. Т., Уланова А. В. Николай Васильевич Бугаев. С. 200.

¹³¹ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 99.

¹³² Там же. Изложение мифа о кентавре и предсмертных мучениях Геракла см.: *Аполлодор*. Мифологическая библиотека. М., 2006. С. 159–160, 162–163.

¹³³ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 100.

¹³⁴ Там же. С. 96.

¹³⁵ Приблизительно такое же возрастное соотношение было между сорокапятилетним Ф. М. Достоевским и его двадцатилетней второй женой Анной Сниткиной. Разница в возрасте не помешала этому браку стать образцом супружеской любви и преданности, при всех драматических сложностях внешней жизни. Соответственно, не в различии возрастов следует усматривать главную причину семейных конфликтов Бугаевых.

муж гораздо раньше, так что Александре Дмитриевне грозила опасность остаться «старой девой». Да и сорок лет — отнюдь не старость, даже по меркам того времени. Но Андрея Белого травмировала эта разница в возрасте. Отец представлялся ему, скорее, «дедом», а мать — почти ровесницей. На этой почве в его воображении развивались кошмарные образы насилия старика над юной девушкой. С навязчивой силой они выразились в романе «Петербург».

Аполлона Аполлоновича Аблеухова посещают воспоминания о его первой брачной ночи: «ужас в глазах оставшейся с ним подруги — выражение отвращения, презрения, прикрытое покорной улыбкой; в эту ночь Аполлон Аполлонович Аблеухов, уже статский советник, совершил гнусный, формой оправданный акт: изнасиловал девушку; насильничество продолжалось года». ¹³⁶ При таких обстоятельствах и был зачат сын «статского советника». Акт зачатия состоялся «между двух разнообразных улыбок; между улыбками похоти и покорности». ¹³⁷ В результате родившийся ребенок стал «сочетанием из отвращения, перепуга и похоти», иными словами, стал воплощенным «ужасом». ¹³⁸

Родители Николая Аблеухова, вместо того чтобы «очеловечивать ужас», ими порожденный, лишь раздували его. Неправомерно отождествлять ситуацию, описанную в «Петербурге», с семейной драмой Бугаевых, но нельзя и не видеть в ней некоторого отголоска мучительных воспоминаний Андрея Белого о его детстве; хотя и здесь было бы большим преувеличением считать Котика «ужасом», нуждающимся в очеловечении. Семейный конфликт принял поистине ужасные формы в результате борьбы между родителями, имевшими диаметрально противоположные взгляды на методы воспитания их ребенка. И здесь большая часть вины лежит на Александре Дмитриевне Бугаевой, приложившей все усилия, чтобы внушить Котику страх и отвращение к отцу. В результате отец и сын надолго разучились говорить друг с другом. ¹³⁹ Только постепенно, по мере взросления ребенка, «в годах стабилизировались под контролем ревнивого ока матери прилично официальные отношения», ¹⁴⁰ но тем сильнее чувствовалась горечь утраты взаимного доверия. Отец и сын «потеряли друг друга». ¹⁴¹ В той перспективе, в которой Андрей Белый

¹³⁶ Белый А. Петербург. С. 362.

¹³⁷ Там же.

¹³⁸ Там же.

¹³⁹ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 97–98.

¹⁴⁰ Там же.

¹⁴¹ Белый А. Крещеный китаец. С. 213.

рассматривал свои отношения с отцом как результат предшествовавших инкарнаций, это означало для него «утрату друга», связанного с ним духовными узами на протяжении многих жизней: «... (утратил я друга!); и эта потеря в годах затерялась, когда потерял я способность быть искренним с папочкой».¹⁴² Восстановлению этой памяти и посвятил в значительной степени свое творчество Андрей Белый, начиная с анамнестических переживаний, сопровождавших его работу над «Котиком Летаевым» и нашедших свое завершение в романе «Москва».

Утрате памяти о *друге* из «дорожденной страны» бессознательно способствовала мать Котика. Звездочка хотела любой ценой изгладить в ребенке малейшие признаки сходства с отцом. Котика пугали внезапные приступы слез у матери, оплакивавшей «бугаевские» («летаевские») черты своего сына. В его присутствии она начинала с угрозой говорить «о летаевских — лбах, носах, подбородках, раскосом поставленных глазах».¹⁴³ Это воображаемое сходство¹⁴⁴ ребенка вынуждали воспринимать как «позор», усугубляя в нем и без того рано развившееся чувство *иррациональной вины* перед своими родителями. Особое негодование вызывал у матери большой лоб Котика, ибо она до истерических припадков страшилась превращения ее ребенка во «второго математика». Это чувство со временем приняло патологический характер. Искусственно мальчика стали стилизовать «под девочку»: его наряжали в «атласное платьице», заставили отрастить «шапку волос», скрывающую на редкость красиво сформированный лоб. Не удивительно, что ребенок начал «переживать свой лоб как *гудовищное преступление*» (курсив мой. — В. И.).¹⁴⁵

Только работая над «Петербургом», Андрей Белый в первый раз решился «вынести сор из избы» и вербализовал свои воспоминания о материнских «экспериментах» («она одевала его в кружева, отпускала волосы до плеч; этим, верно, хотела скрасить едва улавливаемые черточки всех Аблеуховых»),¹⁴⁶ — но затем исключил эти подробности, способные вызвать неудовольствие Александры Дмитриевны, из основного текста романа, чтобы уже после ее кончины в полной мере использовать подобные детали в своих произведениях.

¹⁴² Белый А. Крещеный китаец. С. 213.

¹⁴³ Белый А. Котик Летаев. С. 99.

¹⁴⁴ Судя по фотографиям, мальчик был гораздо больше похож на мать, чем на отца; точнее говоря, нельзя обнаружить в нем даже малейших следов сходства с Н. В. Бугаевым.

¹⁴⁵ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 98.

¹⁴⁶ Белый А. Книжная («Некрасовская») редакция двух первых глав романа «Петербург» // Белый А. Петербург. С. 468. Текст опубликован Л. Долгополовым. См. также его примеч. на с. 688.

Другим тяжелым последствием материнского «воспитания» стала сознательная стилизация себя Котиком «под дурачка». Александра Дмитриевна зорко следила за тем, чтобы общение с отцом не привело ребенка к «преждевременному развитию». После каждой «назидательной» беседы с отцом сыну устраивался скандал с угрозой навсегда от него отречься; отцу же мать с досадным постоянством заявляла о необходимости развода. Ребенок переживал такие заявления «эсхатологически»: «Каждый взрыв угрожает разездом отца и матери; для меня же, — писал Андрей Белый, — этот разезд — конец миру, конец моего бытия».¹⁴⁷ Чтобы предотвратить семейную катастрофу, четырехлетний Котик выработал целую серию приемов, имитируя «дурачка» с заторможенным развитием. В свою очередь, «грим дурачка» невероятно раздражал и приводил в отчаяние профессора Бугаева, желавшего видеть в своем сыне будущего ученого.

Постепенно мальчик приобрел «мучительную привычку говорить глупости».¹⁴⁸ Вплоть до старших классов гимназии он «ходил с испуганным, перекошенным лицом», изнемогая под «бременем своей незадачливости, уродливости и “вины”, в которой не виноват (курсив мой. — В. И.)».¹⁴⁹ Не удивительно, что жизнь воспринималась ребенком как «царство бессмыслия, царство слез и обид».¹⁵⁰ Это сделало его в юные годы особо восприимчивым к пессимистической философии Шопенгауэра, а детская «эсхатология» трансформировалась в чаяние «конца мира», предвозвещенного Апокалипсисом.

Со временем обстановка в семье несколько улучшилась. Письма профессора Бугаева к Александре Дмитриевне конца 1890-х годов написаны в ровном, холодно-вежливым тоне. Вернувшись из заграничной поездки в августе 1897 года, Николай Васильевич не спешил повидаться с женой, отдыхавшей на даче в Подмоскowie: «Ввиду позднего времени я уже не могу приехать к Вам, тем более что я несколько устал от всех путешествий».¹⁵¹ От прежних гневных вспышек, как и от «увлечения пропорциями» не осталось и следа. Помня об этой конечной фазе семейной жизни, Андрей Белый завершил свой роман «Петербург» сценой примирения Аполлона Аполлоновича со своей супругой, вернувшейся в Петербург после двухлетних странствий с «итальянским артистом».

¹⁴⁷ Белый А. На рубеже двух столетий. С. 210.

¹⁴⁸ Там же.

¹⁴⁹ Там же.

¹⁵⁰ Там же. С. 218

¹⁵¹ Цит. по: Тарумова Н. Т., Уланова А. В. Николай Васильевич Бугаев. С. 197.

Столь же примирительно отнесся профессор Коробкин (роман «Москва») к измене своей жены Василисы Сергеевны, вступившей в любовную связь с его другом юности профессором Задоптятовым: он давно дал ей «свободу», был способен волноваться научными открытиями, даже таракашками в шкафу, но только «н е э т и м» (т. е. любовными увлечениями жены).¹⁵² Опять-таки, приведенные сюжеты романов не отражают полноту действительности в кармически запутанной жизни Бугаевых. Главным для Андрея Белого оказалась наступившая в определенный момент возможность достигнуть хотя бы некоторого понимания в семье. С 1901 года писатель начинает переживать радость осмысленного общения с отцом. «В той же мере я, — вспоминал Белый, — сблизился с матерью».¹⁵³ И всё же в подходе к своему сыну родители «до конца жизни остались антиподами».¹⁵⁴

Только смерть Н. В. Бугаева 29 мая 1903 года положила конец перманентной семейной драме. Чем дальше она отходила в прошлое, тем сильнее в Андрее Белом проступало сознание неразрешимой загадочности своей кармической связи с родителями, и прежде всего с отцом. Всё подсказывало ему, что причины, соединившие столь разных людей узами кровного родства, не могут быть найдены и объяснены в рамках одной жизни. Особенно яркие анамнестические переживания пробуждал в писателе образ Н. В. Бугаева. После его кончины общение с усопшим приняло формы «свидания по-новому», став «встречей с живой атмосферой идейного мира его».¹⁵⁵ Такая встреча была возможной для Андрея Белого только при твердой вере в бессмертие человеческого «высшего Я» и умении медитативным путем восходить к переживаниям духовного мира. Освобожденная от телесной оболочки душа Н. В. Бугаева представлялась сыну более значительной, чем она проявила себя в условиях земного быта.

По-другому обстояло дело с отношением Андрея Белого к его матери после кончины ее мужа. Александра Дмитриевна не пробуждала в нем никаких особенных анамнестических переживаний, и в кармическом измерении она предстала, скорее, в роли гонительницы, чем *vegного друга*. Ходасевич отмечал, что «влюбленность в мамочку уживалась (у Андрея Белого. — В. И.) с невысоким мнением об ее уме по сравнению с умом отца и с инстинктивным, еще неосознанным отвращением к ее слишком

¹⁵² Белый А. Москва. С. 154.

¹⁵³ Белый А. Начало века. М., 1990. С. 23.

¹⁵⁴ Там же.

¹⁵⁵ Там же. С. 276.

отчетливой, наглядной плотности». ¹⁵⁶ Поэтому, в отличие от поражающих своим богатством вариаций перевоплощений «крещеного китайца», ее образ в произведениях Андрея Белого носит второстепенный, частично замаскированный или даже откровенно негативный характер, примером чему служит Василиса Сергеевна Летаева (роман «Москва»).

У писателя не возникало желания отыскать след своей матери в прошлых инкарнациях. В «Крещеном китайце» она уподобляется гонителям ранних христиан: «что ж: христиане терзались; и львы выпускались из клеток»; так и Котик чувствует себя дома как в клетке, и к нему, разгневанная на вступление сына в Новый Завет с отцом, «в открытую дверь пролетает рычащая мамочка, львица». ¹⁵⁷ Чуть далее описывается, как мать била сына «за вступление в Новый Завет», при этом она уподобляется Иродову воину, участвовавшему в избииении вифлеемских младенцев. ¹⁵⁸ Совершенно ясно, что эти образы не носят характера кармических воспоминаний и ничего не говорят о прошлых инкарнациях жены профессора Бугаева. Они — только личины, подобию, символы; при всём том, символ такого рода «преобольно дерется». ¹⁵⁹ Образы же *неверных жен*, Анны Петровны («Петербург») и Василисы Сергеевны («Москва»), и вовсе, в отличие от образов их мужей, лишены соотнесенности с какими бы то ни было реинкарнациями в силу метафизической незначительности их индивидуальностей.

Не могли вдохновить Андрея Белого на анамнестические поиски духовного архетипа своей матери и отношения, сложившиеся с ней после кончины Н. В. Бугаева, хотя, казалось бы, отпал главный повод для семейных конфликтов. Писатель пытался добиться от матери понимания своих духовных исканий, но постоянно наталкивался на деспотические претензии Александры Дмитриевны. «Я должен буду подтвердить свои данные Богу обещания, стоять на страже зарождающегося религиозного искания, — писал ей Андрей Белый в 1904 году, — Ты же будешь на меня за это сердиться». ¹⁶⁰ В письмах и дневниковых записях постоянно звучат жалобы на нежелание матери помочь сыну в трудных финансовых об-

¹⁵⁶ Цит. по: *Малмстад Дж.* Ходасевич. С. 163. Цитата дана с некоторым сокращением правок, имеющихся в опубликованном черновике Ходасевича.

¹⁵⁷ *Белый А.* Крещеный китаец. С. 267.

¹⁵⁸ Там же. С. 273.

¹⁵⁹ Там же. С. 267.

¹⁶⁰ «Люблю Тебя нежно...»: Письма Андрея Белого к матери. 1899–1922 / Сост., предисл., вступ. статья, подгот. текста и коммент. С. Д. Воронина. М., 2013. С. 45.

стоятельствах. Так, например, в «Материалах к дневнику» Андрей Белый пишет о том, как после его возвращения в Москву в 1911 году жизнь там «кончается роем недоразумений с мамой, не желающей мне помочь (между тем как я ей отдал когда-то все деньги, оставшиеся от папы, и ей пошли деньги от продажи имения), <...> мама же жестко бросает мне, что я желаю ее обобрать».¹⁶¹ Понятно, что конфликты, разворачивающиеся на таком низком уровне, когда стороны решают, кто кого *обобрал*, делают бессмысленными поиски духовных архетипов и сосредотачивают внимание на улаживании чисто земных проблем.

Не менее драматично складывались отношения А. Д. Бугаевой со спутницей Андрея Белого Асей Тургеневой. В них можно усмотреть возобновление семейной драмы, несколько поутихшей после кончины отца писателя. Поскольку рассмотрение этого нового конфликта выходит за рамки данной статьи, достаточно лишь указать на его острые формы, болезненно отражавшиеся на внутренней жизни Андрея Белого и, в известном смысле, возвращавшие его в атмосферу домашних скандалов, омрачавших его детство. В «Материалах к биографии» он упоминает одну из таких сцен: «...ужасная ссора Аси с мамой, в которой Ася была ни в чем не виновата, а мама была вопиюще несправедлива к Асе».¹⁶² Переживание *вопиющей несправедливости* по отношению к себе со стороны матери проходит сквозной темой через всю жизнь Андрея Белого, хотя, с другой стороны, принимая во внимание «многоэтажную» структуру психической жизни великого писателя, не удивительно, что чувство обиды от непонимания и несправедливости сочеталось у него с потребностью в материнской любви.

Последние отголоски семейной драмы Бугаевых на земном уровне заглохли после кончины Александры Дмитриевны в октябре 1922 года. В это время Андрей Белый находился в Берлине и вернулся в Москву только через год. Он не только не приехал на похороны матери, но даже не знал места ее захоронения. Издатель писем Андрея Белого к матери С. Д. Воронин обратил внимание на то, что в «Ракурсе к дневнику» «в записях за октябрь 1922 года нет ни слова о смерти матери», и высказал предположение о том, что «видимо, до конца своих дней писатель мучительно переживал, что не простился со своей матерью и не похоронил ее, как подобает сыну».¹⁶³ Однако нельзя исключить и другого истолкования этого странного молчания о смерти матери, резко контрастирующе-

¹⁶¹ Цит. по: Воронин С. Д. Предисловие // «Люблю Тебя нежно...». С. 17.

¹⁶² Там же. С. 19.

¹⁶³ Там же. С. 24.

го с подробным описанием в мемуарах Андрея Белого благостной кончины его отца и последующего духовного общения с ним.

Семейным связям Андрей Белый противопоставлял принцип духовного родства, а чувству зависимости от уз крови и бремени наследственности — свой анамнестический опыт, убеждавший его в собственной *нерожденности*, обусловленной метафизической природой человеческой души, что, однако, не исключает возможности в рамках семейных отношений найти *везного друга и спутника*, обретенного некогда за пределами, поставленными эмпирическому сознанию. В этой перспективе Андрей Белый и рассматривал свою зачарованность образом отца, наступившую после кончины Н. В. Бугаева. Смерть последнего он пережил как мистическое событие освобождения бессмертного духа от телесных оболочек, нередко скрывавших подлинное существо творца *эволюционной монадологии*. Усопший предстал перед сыном как просветленный помощник — «утешитель в скорбях»: «Продолжала по смерти свершать свою миссию светлая <...> жизнь». ¹⁶⁴ Опыт духовного общения с отцом, перешагнувшим порог смерти, побуждал Андрея Белого искать объяснение таинственной связи с ним за чертой рождения и смерти, свидетельством чему служит большинство его метафизически многомерных творений.

«Война в мышеловке» Велимира Хлебникова: опыт прочтения

Ф

ормирование мировоззрения молодого Хлебникова интересно проследить по появлению и развитию в его лирике военных мотивов и боевой риторики. Так, например, уже в стихотворении 1908 г. под названием «Боевая» (отсылающим к строевой солдатской песне) поэт призывает к «святой» войне славянских народов против «немецкого рода», к походу против врага:

<...> За солнцем, друзья, —
на запад за солнечным ходом, под прапором солнца
идемте, друзья, — на запад за солнечным ходом.¹

Хлебников играет здесь мифологической этимологией слов «славянин» (от «слава» и «слово») и «немецкий» — от «немой» (лишенный дара слова),² противопоставляя «волн[у] неми, с запада яростно бьющей» (СП, II, 23) славянско-

¹ Цит. по изд.: Собрание произведений Велимира Хлебникова: В 5 т. / Под общ. ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова. Л., 1928–1933. Т. 2. С. 23. Далее ссылки на это издание (СП) даются в тексте статьи; номера томов указываются римскими цифрами, страниц — арабскими.

² Подробнее о разных интерпретациях этимологии слова «славянин» в цитируемом ниже «Воззвании к славянам» («Воззвании учащихся славян») см.: *Кацис Л., Одесский М.* Коллар — Хлебников — Блок — Маяковский: От боснийского кризиса до Первой мировой войны // «Славянская взаимность»: Модель и топика: Очерки. М., 2011. С. 121–166.

му роду, который он называет своим квазинеологизмом «Славь»,³ провозглашая победную войну против Запада:

— Победная славь да идет.

Да шествует!

Пусть в веках и реках раздается тот пев:

«Славь идет! Славь идет! Славь восстала...» (СП, II, 23).

Причиной появления этих воинственных стихов стала австро-венгерская аннексия Боснии и Герцеговины в июле 1908 г., которая, по мнению историков, стала одной из роковых искр, разжегших мировую войну. Эти события подтолкнули Хлебникова к написанию манифеста, который он вывесил у входа в Санкт-Петербургский университет, а также напечатал в газете «Вечер» в октябре того же года. Это «Воззвание к славянам» гласит:

Славяне! В эти дни Любек и Данциг смотрят на нас молчаливыми испытателями — города с немецким населением и русским славянским именем. <...> Ваши обиды велики, но их достаточно, чтобы напоить полк коней мести — приведем же их и с Дона, и Днепра, с Волги и Вислы. <...> Или мы не поймем происходящего, как возгорающейся борьбы между всем германством и всем славянством? <...> Русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина. Мы это не забыли, мы не разучились быть русскими. <...> Война за единство славян, откуда бы она ни шла, из Познани или из Боснии, приветствую тебя! Гряди! Гряди, дивный хоровод с девой Словией как предводительницей горы. Священная и необходимая, грядущая и близкая война за попранные права славян, приветствую тебя!⁴

³ Перцова Н. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова // Wiener slavistischer Almanach. Wien; М., 1995. Sonderband 40. S. 324.

⁴ Цит. по изд.: Хлебников В. Собрание сочинений / Под ред. В. Маркова = *Chlebnikov V. V. Gesammelte Werke*. München, 1968–1972. 4 Bände (факсимильное воспроизведение собрания произведений (СП), неизданных произведений (НП) и других материалов). Bd. 3. S. 405. Далее цитируется в тексте статьи (СС), номера томов обозначаются римскими цифрами, страниц — арабскими. В издании собрания сочинений В. Хлебникова под ред. Р. В. Дуганова вместо «с девой Словией» читается «с девой Сл<a>вией»; см.: Хлебников В. Собрание сочинений: В 6 т. / Под общ. ред. Р. В. Дуганова; Сост., подгот. текста и примеч. Е. Р. Арензона и Р. В. Дуганова. М., 2000–2006. Т. 6, кн. 1. С. 198. Далее цитируется в тексте статьи (СС), номера томов и книги обозначаются арабскими цифрами, затем следует обозначение страницы.

Это воззвание позднее было перепечатано в сборнике «Ряв! Перчатки (1908–1914 гг.)»,⁵ а несколько месяцев спустя, после начала войны, обрело новое, злободневное звучание. Недаром в ноябре 1914 г. Владимир Маяковский включил отрывки из этого текста в свою статью «Россия. Искусство. Мы»,⁶ декларируя:

Сейчас две мысли: Россия — Война, это лучшее из всего, что мыслится, а наряднейшую одежду этой мысли дали мы. Да! И много лет назад.⁷

Прочитывая далее длинный отрывок из «Воззвания», поэт дал ему следующий комментарий:

Озарение провидца-художника Велимира Хлебникова. Предсказание, сделанное шесть лет назад. <...> Дружина поэтов, имеющая такого воина, уже вправе требовать первенства в царстве песни. Понятно, отчего короли слова первые раскрыли сердце алым семенам войны.⁸

Как метко выразился Бенгт Янгфельдт: «Для Маяковского война была не просто полем боя, но и эстетическим вызовом — и шансом».⁹ В статье «Штатская шрапнель», опубликованной 12 ноября 1914 г., поэт приходит к выводу об эстетическом потенциале войны:

Как русскому мне свято каждое усилие солдата вырвать кусок вражьей земли, но как человек искусства, я должен думать, что, может быть, вся война выдумана только для того, чтоб кто-нибудь написал одно хорошее стихотворение.¹⁰

⁵ Хлебников В. Ряв! Перчатки (1908–1914 гг.). СПб.: ЕУЫ; Типолит. «Свет», [1913. Дек.].

⁶ См. газету «Новь» за 19 ноября 1914 г.

⁷ Маяковский В. В. Россия. Искусство. Мы // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1955–1961 (далее — ПСС). Т. 1: Стихотворения, трагедия, поэмы и статьи 1912–1917 годов / Подгот. текста и примеч. В. А. Катаняна. М., 1955. С. 319.

⁸ Там же.

⁹ Jangfeldt B. Mayakovsky: A Biography / Translated by Harry D. Watson. Chicago & London, 2014. P. 72 (см. также: Янгфельдт Б. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009).

¹⁰ Маяковский В. В. Штатская шрапнель // ПСС, Т. 1. С. 302–304.

Используя выражения, напоминающие декларации Маринетти о войне как гигиене мира, Маяковский воспринимает и изображает войну как возможность развятия нового, самоценного искусства футуристов:

Теперь, когда каждое тихое семейство <...> впутано в какофонию войны, можно над заревом горящих книгохранилищ зазечь проповедь новой красоты. <...> Поэзия — ежедневно поновому любимое слово. Сегодня оно хочет ездить на передке орудия в шляпе из оранжевых перьев пожара!¹¹

Разве это не воплощение наших идей: называется «война»? <...> А теперь попробуйте-ка вашей серой могильной палитрой <...> написать краснорожую красавицу войну в платье кроваво-ярком, как желание побить немцев, с солнцами глаз прожекторов. <...> Нет, теперь — всё война. <...> Можно не писать о войне, но надо писать *войною!* <...> Война не только изменит географические границы государств, но и новые мощные черты положит на лицо человеческой психологии.¹²

Однако уже через несколько месяцев Маяковский радикально изменил свою позицию — на антивоенную — и написал большую поэму «Война и мир»,¹³ где со свойственным ему обилием гипербол обличил жестокою бессмысленностью бойни, изобразив своего лирического героя в качестве добровольной жертвы, которая ради блага человечества берет на себя все грехи и искупает преступления, совершаемые во время войны.

...это я сам, / с живого сдирая шкуру, / жру мира мясо. / <...>
Радуйтесь! / Сам казнится / единственный людоед.¹⁴

В пятой части поэмы мы находим утопический мир гармонии, где больше нет войн и конфликтов: там «...цари-задиры / гуляют под прищотром нянь. / <...> видели с Каином / играющего в шашки Христа».¹⁵

¹¹ Маяковский В. В. Штатская шрапнель: Поэты на фугасах // ПСС. Т. 1. С. 305—307.

¹² Маяковский В. В. Штатская шрапнель: Вравшим кистью // ПСС. Т. 1. С. 308—310.

¹³ Отдельные ее части были опубликованы в различных журналах и альманахах в течение 1917—1918 гг.

¹⁴ Маяковский В. В. Война и мир // ПСС. Т. 1. С. 232—233, стихи 705—708, 739—741.

¹⁵ Там же. С. 241, стихи 1027—1028, 1035—1036.

Заключительные строки поэмы возвещают приход нового Человека, что звучит как «окончательные ноты русской оперы»:¹⁶

Люди! —
любимые,
нелюбимые,
знакомые,
незнакомые,
широким шествием излейте в двери те.
И он,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!¹⁷

В мировоззрении Хлебникова боевая риторика цитированных выше воззваний и стихотворений изначально сочеталась с видением всеобщего, вселенского мира, в котором нет разницы между человеческим родом и животными. Об этом свидетельствует, например, его юношеская прозаическая «эпитафия» под названием «Пусть на могильной плите прочтут...», датированная 1904 г.¹⁸ Здесь, может быть впервые, Хлебников признал, что он «...вдохновенно грезил быть пророком <...>. Он грезил об отдаленном будущем, о земляном коме будущего» (НП, 318).¹⁹ В этом небольшом сочинении поэт сформулировал и те основные вопросы, которые будут занимать его всю жизнь: «Он нашел истинную классификацию наук, он связал время с пространством, он создал геометрию чисел» (Там же).

Именно «геометрия чисел» привела Хлебникова к убеждению в возможности обнаружения законов времени и чередований исторических событий. Исходным моментом для такого поиска стала для него неудач-

¹⁶ *Markov V. Russian Futurism: A History. Berkeley, 1968. P. 314.*

¹⁷ *Маяковский В. В. Война и мир // ПСС. Т. 1. С. 242, стихи 1044–1060.*

¹⁸ *Хлебников В. Неизданные произведения / Ред. и коммент. Н. Харджева и Т. Грица. М., 1940. С. 318–320. Издание далее цитируется в тексте статьи (НП).*

¹⁹ Опубликовано также в: *Хлебников В. Творения / Общ. ред. и вступ. статья М. Я. Полякова; Сост., подгот. текста и коммент. В. П. Григорьева и А. Е. Парниса. М., 1986. С. 557. Издание далее цитируется в тексте статьи (Т).*

ная русско-японская война, и особенно — трагическое поражение под Цусимой. Как писал сам Хлебников несколько лет спустя в «Свои»:

Законы времени, обещание найти которые было написано мною на березе (в селе Бурмакине, Ярославской губернии) при известии о Цусиме, собирались 10 лет (СП, II, 10; Т, 37).

Уже в диалоге «Учитель и ученик» (1912) ученик восторженно восклицает:

Судьба! Не ослабла ли твоя власть над человеческим родом, оттого что я похитил тайный свод законов, которым ты руководишься, и какой ждет меня утес? (СП, V, 178; Т, 585)

В первые полтора года мировой войны в автобиографических материалах Хлебникова мы находим мало упоминаний о войне.²⁰ Как обычно, он скитается по России, передвигаясь с севера на юг, из Петрограда в Астрахань, и продолжает свои вычисления и поиски законов времени. Будучи в Астрахани, поэт пишет: «Роюсь в Брокгаузе, многотомных трудах о человечестве». ²¹ Результатом этих занятий стала брошюра «Битвы 1915—1917 гг. Новое учение о войне». ²² Это довольно сложное произведение открывается следующим утверждением:

В этой части клинописи о судьбе ставится целью показать, что битвы на море происходят через 317 лет или его кратные <...>, а также показать смены господства на море разных народов через времена кратные 317 (СС, III, 413).

Как ни странно, в центре этих исторических размышлений и вычислений Хлебникова находится не продолжавшая еще мировая война, а русско-японская война 1904—1905 гг., которую поэт-числяр²³ считал

²⁰ Weststeijn W. Chlebnikov and the First World War // Velimir Chlebnikov. 1885—1985 / Ed. J. Holthusen et al. München, 1986. S. 187—212.

²¹ Письмо В. М. Матюшину от декабря 1914 г. (НП, 372, 478—79; СС, 6—2, 165).

²² Хлебников В. Битвы 1915—1917 гг. Новое учение о войне. Пг., 1915. Книга была издана В. М. Матюшиным тиражом в 700 экземпляров; вышла в свет в декабре 1914 г. с предисловием А. Крученых, который в начале ноября писал Матюшину: «Хлебников цензуру прошел. Надо печатать...» (НП, 478—479). Примечания, присланные Хлебниковым в указанном выше письме, в брошюре не печатались. Книга перепечатана в СС, III, 411—434 и, с некоторыми изменениями, в СС, 6—1, 83—100.

²³ Ср. отрывок «Это был великий числяр...» (СС, 5, 58).

«уменьшенным и обратным повторением завоевания Сибири» (СС, III, 425).

В кратком предисловии к «Битвам» А. Крученых писал:

...лишь мы (то будетляне, то азиаты) рискуем взять в свои руки рукоять чисел истории и вертеть ими, как машинкой для выделки кофе! <...> храбрый Хлебников сделал вызов самой войне — к барьеру! (СС, 6—1, 388)

Оказалось, что под кажущимся равнодушием Хлебникова к Первой мировой войне скрывалась серьезная озабоченность и стремление найти способ победить ее роковую неизбежность. Позднее, в отрывке 1920 г., Хлебников так разъяснял свою утопическую концепцию:

...точные законы времени смогут решить задачу равенства во власти справедливого распределения земельных участков во времени, задачу разверстки учений о власти и размежевания поколений. Так возводится правда во времени.

Чистые законы времени учат, что всё относительно. Они делают нравы менее кровавыми, странно облагораживают их (СП, IV, 313; Т, 640).

В статье «Наша основа» он особенно ясно изложил этот принцип, назвав его «Гаммой будетлянина»:

Гамма будетлян особым звукорядом соединяет и великие колебания человечества, вызывающие войны, и удары отдельного человеческого сердца. Если понимать все человечество как струну, то более настойчивое изучение дает время в 317 лет между двумя ударами струны. Чтобы определить это время, удобен способ изучения подобных точек (СП, V, 237—238; Т, 629).

Перед вами будетлянин со своей «балалайкой». На ней прикованный к струнам трепещет призрак человечества. А будетлянин играет, и ему кажется, что вражду стран можно заменить ворожкой струн (СП, V, 239; Т, 630).

Скоро ход войны стал губительным для Российской империи; на смену первоначальному патриотическому порыву пришло осознание трагизма кровавой бойни и преступной некомпетентности русских военных властей. В вышедшем в декабре 1915 г. коллективном сборнике «Взял.

Барабан футуристов»²⁴ Хлебников публикует пацифистские «Предложения» и, в частности, предлагает:

Учредить для вечной непрекращающейся войны между желающими всех стран особый пустынный остров, например Исландию (прекрасная смерть). В обыкновенных войнах пользоваться сонным оружием (сонными пулями) (СП, V, 159).

Здесь же находим статью «Он сегодня», в которой, как Хлебников написал позднее в очерке «Время мера мира»,

изложены общие очертания того мира, который открывается сознанию с высоты той мысли, что число 365 есть основное число земного шара, его «число чисел». <...> Общему закону сравнимости по $365 + 48$ подчиняются не только струны всего человечества (войны), но и струны каждой данной души (СС, III, 445).

В этом же сборнике Хлебников публикует и антивоенные стихи «Где волк воскликнул кровью»:

Где волк воскликнул кровью:

«Эй! Я юноши тело ем», —

Там скажет мать: «Дала сынов я». —

Мы, старцы, рассудим, что делаем.

Правда, что юноши стали дешевле?

Дешевле земли, бочки воды и телеги углей?

Ты, женщина в белом, косящая стебли,

Мышцами смуглая, в работе наглей!

«Мертвые юноши! Мертвые юноши!» —

По площадям плещется стон городов (Т, 457).

Поэт говорит об обесценивании человеческой жизни, создавая гротескную картину мясной лавки, в которой наряду с тушками зайцев висят тела мертвых юношей:

...Висит, продетый кольцом за колени,

Рядом с серебряной шкуркою зайца,

Там, где сметана, мясо и яйца (Т, 457).

²⁴ Взял: Барабан футуристов. Пг., 1915.

Это целое поколение, пожертвованное в первый год мировой бойни ради интересов капитала:

Падают Брянские, растут у Манташева,
Нет уже юноши, нет уже нашего
Черноглазого короля беседы за ужином.
Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам! (Т, 457)

В образе черноглазого короля можно видеть обобщенный образ поколения, а также — намек на самого поэта, который приобретает черты Христа через мотив Тайной вечери («беседы за ужином»). Это стихотворение поэт включил позднее в поэму «Война в мышеловке» (1919)²⁵ — наряду с другими стихотворениями и отрывками, опубликованными в разных сборниках и альманахах 1915—1918 годов. Этот способ работы — характерный для Хлебникова образец композиционного метода, который привел его впоследствии к созданию нового жанра: «сверхповести».²⁶

Вот как сам поэт объяснял свой композиционный метод во введении к своей самой крупной сверхповести «Зангези»:

Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. <...> Им предоставлена свобода вероисповеданий. Строевая единица, камень сверхповести, — повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело — белого камня, плащ и одежда — голубого, глаза — черного. Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения. Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть. Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка (Т, 473).

²⁵ Впервые опубликовано в 5-м выпуске «Неизданного Хлебникова» (М.: Группа друзей Хлебникова, 1928). Напечатано на пишущей машинке и стеклографировано. Текст на одной стороне листа. Иллюстрация на обложке И. Клына.

²⁶ Составители «Творений» Хлебникова, упоминая в комментариях, что автор определял этот текст как «поэму», называют его «сверхпоэмой», включая при этом в раздел «сверхповестей» (Т, 693).

Как свидетельствует Роман Яacobсон, «весной 1919 г. рукопись сверхповести под заглавием “Война в мышеловке” была передана <ему> автором для включения в предполагавшееся издание “Всего сочиненного В. Хлебниковым”». ²⁷ Первоначально этот текст был озаглавлен «Я и Вы». Окончательное название памятника может быть объяснено теми идеями, какие Хлебников с Петниковым сформулировали в «Тезисах», составленных в апреле 1917 г., реагируя на выпуск Временным правительством так называемого «Займа свободы» для привлечения средств на продолжение войны. Эти «Тезисы» носили ярко выраженный антивоенный характер:

1. Мы — смуглые охотники, привесившие к поясу мышеловку, в которой испуганно дрожит черными глазами Судьба. Определение Судьбы как мыши.
2. Наш ответ на войны — мышеловкой (СС, 6—1, 267).

Хотя Велимиру к тому времени было уже за тридцать, в апреле 1916 г. его призвали на военную службу. Впервые Хлебников лично столкнулся с жизнью в казарме — дисциплина и абсурдные военные порядки оказались губительны для поэта и для его искусства:

Во сне провлекший свои дни,
Я тоже возьму ружье (оно большое и глупое,
Тяжелее почерка)
И буду шагать по дороге,
Отбивая в сутки 365 × 317 ударов — ровно.²⁸
И устрою из черепа брызги,
И забуду о милом государстве 22-летних,
Свободном от глупости возрастов старших,

Отцов семейства (общественные пороки возрастов старших).
Я, написавший столько песен,
Что их хватит на мост до серебряного месяца (Т, 456).

²⁷ Яacobсон Р. Из мелких вещей Велимира Хлебникова: «Ветер-пение...» // Яacobсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 317. Публикация издания не состоялась.

²⁸ В статье «Наша основа» (1919) читаем: «Гамма будетлян особым звукорядом соединяет и великие колебания человечества, вызывающие войны, и удары отдельного человеческого сердца. Пехотинец германской пехоты по военному уставу должен делать 81 или 80 шагов в минуту. Следовательно, в сутки он сделает 365 · 317 шагов, то есть столько шагов, сколько суток содержится в 317 годах — времени одного удара струны человечества» (Т, 629).

В отчаянии Хлебников писал тогда Дмитрию Петровскому: «Король в темнице, король томится. В пеший полк девяносто третий, я погиб, как гибнут дети».²⁹ Мотив гибнущего в плену «у дикарей прошлых столетий» (СП, V, 306) поэта находим и в письме к матери, в котором Хлебников вопрошает: «Произойдет или не произойдет убийство поэта, больше — короля поэтов, Аракчеевщиной?» (Там же). В образе короля-пленника можно видеть и автобиографический намек: 24 октября 1915 года Маяковский назвал Хлебникова «королем русской поэзии», а 20 декабря того же года поэт «был избран королем времени» (СП, V, 333). В стихотворении «Печальная новость. 8 апреля 1916»,³⁰ которое он впоследствии также включил в поэму «Война в мышеловке», поэт играет со словом «король», превращая его в «пугливого кролика»:³¹

Нет, в плену я у старцев злобных,
Хотя я лишь кролик пугливый и дикий,
А не король государства времен,
Как называют меня люди:
Шаг небольшой, только *ик*
И упавшее *о*, кольцо золотое,
Что катится по полу (СС, I, 371).³²

Поэт осознает драматическую несовместимость войны и своего поэтического призвания: это конфликт личностных обязательств — внешних и внутренних, сокровенных: «А что я буду делать с присягой, я, уже давший присягу Поэзии?» (СП, V, 309). В отличие от первых военных деклараций Маяковского, который усматривал в войне мощный эстетический потенциал и положительно оценивал какофонию войны, Хлебников слышит в военном гуле полное разрушение чувства ритма и размера, так необходимого для творчества истинного поэта:

²⁹ Петровский Д. В. 1) Воспоминания о Велемире Хлебникове // Леф. 1923. № 1. С. 143—171, 151; 2) Воспоминания о Велемире Хлебникове. М., 1926. С. 17. (Б-ка «Огонек»; № 162). Переиздано в газете «Волга» (номер от 17 сентября 1992 г., с. 12); см. также сайты <http://www.ruthenia.ru/sovlit/jour.html> и <http://ka2.ru/hadisy/petrovsky.html>. Ср.: СС, 6—2, 178. Последнее предложение текста из открытки вошло в отрывок «Где, как волосы девицны...» (Т, 104).

³⁰ Впервые опубликовано в изд.: Временник. М.; [Харьков]: Лирень, 1917 [1916]. Вып. 1.

³¹ Ср.: Парнис А. Е. О метаморфозах мавы, оленя и воина: К проблеме диалога Хлебникова и Филонова // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911—1998). М., 2000, С. 637—695.

³² Ср.: Т, 456 (текст с небольшими вариантами).

Шаги, приказания, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий, и я совершенно не помню правой и левой ноги. <...> У поэта свой сложный ритм, вот почему особенно тяжела военная служба, навязывающая иго другого прерывного ряда точек возврата, исходящего из природы большинства <...>. Таким образом, побежденный войной, я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт. <...> Благодаря ругани, однообразной и тяжелой, во мне умирает чувство языка. Где место Вечной Женственности под снарядами тяжелой 45-см. ругани? Я чувствую, что какие-то усадьбы и замки моей души выкорчеваны, сравнены с землей и разрушены (СП, V, 309—310).

Война «приобретает очертания мифологического существа, богини смерти»,³³ совершающей ритуал очищения своего тела, реализуя таким способом метафору «война — гигиена мира»:

Чесала гребнем смерть себя,
Свои могучие волосы,
И мошки ненужных жизней
Напрасно хотели ее укусить.
<...>
Величаво идемте к Войне Великанше,
Что волосы чешет свои от трупья.
Воскликнемте смело, смело, как раньше:
«Мамонт наглый, жди копыя!
Вкушаешь мужчин *a la* Строганов» (Т, 458).

В поэме рисуются картины разрушения и смерти:

Пером войны поставленные точки
И кладбища большие, как столица,
Иных людей иная стать.
Где в простыню из мертвых юношей
Обулась общая земля (Т, 462).

Интересно отметить, что многие стихотворения, вошедшие в состав второй части «сверхпоэмы», были впервые опубликованы в сборнике «Ошибка смерти», рядом с одноименной пьесой, где Хлебников сформулировал идею «победы над смертью» (СП, V, 333):

³³ Степанов Н. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество. М., 1975. С. 163.

И только смерть, хрипя на дышле,
Дрожит и выбилась из силы.
Она устала. Пожалейте
Ее за голос «куд-кудах!».
Как тяжело и трудно ей идти,
Ногами вязнет в черепах (Т, 460).

Как и в «Зангези», боги вновь улетели, бросили человечество, «и не заглядыва[ют] через плечо на мой [поэта] почерк» (Т, 462). Но поэт-про-рок «в грязи утопая, <...> тян[ет] сетьми / Слепое человечество. / Мы были, мы были детьми, / Теперь мы — крылатое жречество» (Т, 462).

Картинам смерти и разрушения войны у Хлебникова противопостав-ляется утопическая мечта подчинить вселенную разуму человека:

Наденем намордник вселенной,
Чтоб не кусала нас, юношей,
И пойдем около белых и узких борзых
С хлыстами и тонкие,
Лютики выкрасим кровью руки,
Разбитой о бивни вселенной,
О морду вселенной.
И из Пушкина трупов кумирных
Пушек наделаем сна.
От старцев глупых вещице юноши уйдут
И оснут мировое государство
Граждан одного возраста (Т, 460).

Иррациональная и непредсказуемая судьба подчинена разуму законов времени, которые Поэт-воин обнаружил благодаря своим вычислениям:

Вчера я молвил: «Гуля, гуля!» —
И войны прилетели и клевали
Из рук моих зерно.
<...>
Я молвил: «Горе! Мышелов!
Зачем судьбу устами держишь?»

Но он ответил: «Судьболов
Я и волей чисел — ломодержец» (Т, 461—462).

Поэт буквально держит Земной Шар в своих руках:

Я, носящий весь земной шар
На мизинце правой руки,

— Мой перстень неслыханных чар —
Тебе говорю: Ты!
Ты вспыхнул среди темноты,
Так я кричу, крик за криком,
И на моем каменеющем крике
Ворон священный и дикий
Совет гнездо, и вырастут ворона дети,
А на руке, протянутой к звездам,
Проползет улитка столетий! (Т, 463)

Таким образом, наконец, настанет час освобождения от смерти и войны.

Эти стихи были написаны после Февральской революции, когда возникла надежда на скорое окончание войны:

Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на «ты».
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем,
Всегда, навсегда, здесь и там! (Т, 461)³⁴

Финал цикла «Война в мышеловке» слагается из двух четверостиший:

Ветер — пение
Кого и о чем?
Нетерпение
Меча стать мячом.
Я умер, я умер, и хлынула кровь
По латам широким потоком.
Очнулся я иначе, вновь
Окинув вас война оком (Т, 465).

«Меч становится мячом» — параномастическим приемом «внутреннего склонения слова» (выражение Хлебникова) поэт вскрывает «в да-

³⁴ Стихотворение «Свобода...» датировано автором 19 апреля 1917 года. Текст первой публикации см.: Временник. М.; [Харьков]: Лирень, 1917. Вып. 2. Ср.: *Арензон Е. Р.* Свобода, богиня, весна... (Стихотворение «Свобода приходит нагая» в контексте основных творческих идей Велимира Хлебникова) // Хлебниковские чтения: Материалы конференции 27–29 ноября 1990 г. СПб., 1991. С. 62–68.

леких по значению “словах-родичах” их общее содержание»,³⁵ преобразуя кровавое орудие смерти, «меч», в веселое орудие игры и забавы — «мяч».

Меч и мяч — излюбленные парные слова в языковой системе Хлебникова. Уже в поэме «Хаджи-Тархан»³⁶ они сопоставлены: «Война и меч, вы часто только мяч / Лаптою занятых морей» (Т, 248), а в стихотворении «Написанное до войны»³⁷ мы читаем: «— О, прохожий, наши вежи / Меч забыли для мяча» (Т, 88). В «Письме двум японцам»³⁸ Хлебников пишет: «Но это прекрасно, что вы бросили мяч лапты в наши сердца. Это потому хорошо, что дает нам право сделать второй шаг, <...> так как в возврате мяча заключается игра в мяч» (Т, 605). Хлебников противопоставляет острому и жестокому орудию смерти и войны образ мяча, округлого и гладкого, который, в свою очередь, является метафорой космоса, вселенной, овладением мерой мирового времени. «Перековка “ветра чумы на ветер сна” и победа числом и словом над войной и смертью — такова тематика Хлебникова, переплетающаяся с мифом о преображении меча в мяч».³⁹ Словотворчество становится мифотворчеством. Освобождение от войны происходит посредством изменения одной гласной.

Во втором четверостишии последней части поэмы «Война в мышеловке» Хлебников в свойственной ему герметической и лаконичной манере представляет смерть и воскрешение («Очнулся я иначе») лирического «я» поэта-пророка, когда он преобразается в поэта-воина. Но здесь речь идет не о воине, несущем смерть и разрушение, участнике войны. Это воитель, который сражается во имя построения утопической вселенной мира и гармонии, управляемой законами времени и истории, открытыми поэтом. На этом основывается его новый взгляд на мир, когда «окинув вас» подразумевает взгляд на всё человечество, чье искупление мыслится поэтом в системе христианской символики. Смерть и воскрешение поэта-воителя в «Войне в мышеловке» предвещают «шутовскую» смерть пророка Зангези, которой завершается последняя сверхповесть Хлебникова. Этот сквозной и существеннейший мотив пронизывает творчество великого будетлянина, придавая целостность и взаимосвязанность элементам его видения мира.

³⁵ *Якобсон Р.* Из мелких вещей Велимира Хлебникова: «Ветер-пение...». С. 320.

³⁶ Впервые опубликована в сборнике «Трое» (СПб., 1913).

³⁷ Впервые опубликовано в сборнике «Четыре птицы» (М., 1916).

³⁸ Письмо было написано в конце 1916 г.

³⁹ *Якобсон Р.* Из мелких вещей Велимира Хлебникова: «Ветер-пение...». С. 321.

Если сравнить «Войну в мышеловке» с «Войной и Миром» Маяковского или даже со сверхповестью «Зангези», можно заметить, что в поэме Хлебникова нет единого лирического героя, который придавал бы произведению характер цельности и помогал бы читателю следить за ходом фрагментарного повествования. Поэт использует прием «соположения» как «принцип осмысления картины мира»,⁴⁰ причем не только языкового, как в словотворческих опытах или в «активной паронимии» и при разработке «азбуки ума», но и при монтаже «парцеллированных» стихотворений в совершенно иной метатекст, в новое «целое, не сводимое к частям, но создаваемое именно “по частям”».⁴¹ По мнению Романа Яковсона, свойственный поэту «разносоставный монтаж мелких вещей и нередкая разновременность их происхождения не только не нарушают зодческого единства хлебниковских сверхповестей, но, напротив, развертывают и развивают их совокупную художественную проблематику».⁴²

В «Войне в мышеловке» Хлебников, как обычно, выражается герметически и афористически, в его стихах концентрируется огромное количество разного рода сведений, аллюзий, скрытых цитат и, наконец, намеков на его личную биографию. Из-за фрагментарности структуры семантика сверхпоэмы не сразу поддается истолкованию — для чтения этого текста читателю требуется совершенно новый подход, похожий на тот, который, вероятно, должна была выработать публика на первых кубистских выставках, когда впервые из фрагментарных изображений пыталась реконструировать цельную форму.

Как известно, Хлебников в своем словесном искусстве применял некоторые приемы техники живописи. Напомним только о знаменитом стихотворении «Бобэоби пелись губы», в котором рисуется “словесный портрет” человеческого лица. Конечно, сжатые размеры стихотворения облегчают его целостное восприятие и понимание, что намного труднее при чтении и сведении воедино многих мотивов длинной и сложной сверхпоэмы. Несмотря на все сложности, текст «Войны в мышеловке» представляет огромный интерес для филолога, который стремится раскрыть глубинные «геологические» слои смысла произведений Хлебникова. Здесь сконцентрированно излагается подход к поэзии художника слова, всё творческое наследие которого — это открытый, бесконечный и беспредельно преобразуемый текст.

⁴⁰ Григорьев В. П. Велимир Хлебников. Опыт описания идиостиля // Григорьев В. П. Будетлянин. М., 2000, С. 416—417.

⁴¹ Там же.

⁴² Яковсон Р. Из мелких вещей Велимира Хлебникова: «Ветер-пение...». С. 317.

Две ночи позднего И. Бунина (еще раз о последних стихах) *

21 августа 1938 года Бунин вернулся из Парижа в Босолей на машине своих полуслучайных знакомых и в тот же день описал это путешествие в необычной для его эпистолярного стиля элегической манере. Он рассказывал Г. Н. Кузнецовой о том, как их путешествие растянулось на два дня, как не раз ломалась «древнейшая» машина, как водитель «захотел блеснуть» и, не справившись с дорогой, чуть не погубил велосипедиста, о том, какой из этого вышел скандал и как они потом ночевали «в каком-то городке, очень милом за всем тем»... Впрочем, дорожные происшествия тонули в описаниях меняющегося ландшафта: путь до Гренобля — «русский день конца июля, русские облака, поля», да и когда на следующий день подъезжали к Босолею, «опять пошла несказанная красота неба, лесов, гор, [диких]¹ городков и деревушек во всей их провансальской первобытности, грубости и ненаглядной прелести — и солнца, солнца; что я чувствовал и думал, ты в некоторой мере должна понять». Главной темой этого неоконченного (и, судя по всему, неотосланного) письма стало — и, кажется, Бунин понимал это уже тогда — то расширение сознания, которое предшествует творчеству. «Ну

* Приношу искреннюю благодарность хранителю Русского архива в Лидсе (Leeds Russian Archive, University of Leeds; далее — РАЛ) Ричарду Д. Дэвису за ряд необходимых замечаний и уточнений.

¹ Небезразличный для содержания зачеркнутый текст при цитировании источников сохраняется и дается в квадратных скобках.

вот, любезный друг, и Beausoleil, — еще раз началось в моей жизни что-то новое, хотя и в знакомом, прежнем мире: что-то похожее на эпизод»,² — с этими, первыми словами того письма Бунин вступил в один из самых плодотворных периодов своего позднего творчества.

Он уже очень долго не мог начать работать. Весна прошла в подготовке к литературному турне по Прибалтике, стоившему многих сил, а материального достатка не принесшему. Еще два года назад пришлось оставить обжитый и любимый дом — виллу «Бельведер» в Грассе. Жить в Париже круглый год было дорого и хлопотно, и весь июль 1938 года Бунин «скакал по Ривьере, от Ментоны до Марсея, ища <...> пристанища на лето, — и ничего не нашел».³ Квартиру с садиком (villa «La Dominante») в Босолее, рядом с Монте-Карло, они сняли только в августе, — и вот он там, почти один. Почти — потому что первое время с ним еще была жена, Вера Николаевна, а когда она уехала, остались недавно принятые ею в бунинскую семью «Ляля» (Елена Николаевна Жирова, недолгая жена Н. Рощина — «капитана») и ее дочка Оля. Их пребывание в доме и на его попечении чрезвычайно тяготило Бунина. К обычным жалобам на непомерные траты добавились новые. 3 октября 1938 года он пишет В. Н. Буниной: «И думаю о себе: за что послал мне Бог в конце концов такую странную и горькую жизнь! Один, какая-то Ляля, какая-то девочка... Недоставало еще ребенка в моем несчастном доме — того, чего я всю жизнь так боялся... за что, за что? / Ну, да “плакать не поможет”».⁴ И еще он никак — уже пятый год — не мог примириться с тем, что любимая им женщина, Галина Кузнецова, безвозвратно потеряна для него. Он вспоминал время их первой любви — лето 1926 года, первую встречу, весну 1927-го, когда она только поселилась в их доме в Грассе, и он как раз начал «Жизнь Арсеньева»: он писал, а она печатала на машинке... Без этой книги он едва ли получил бы Нобелевскую премию, а получив — тут же потерял Кузнецову, встретившую на обратном пути из Стокгольма (заехали к Степунам в Дрезден!) Маргу Степун и до конца жизни оставшуюся с ней. В ноябре 1938 года Бунин, отмечая пятилетие присуждения ему Нобелевской премии, пишет жене: «Грустно еще и потому, что нынче

² Бунин И. А. Письмо Г. Н. Кузнецовой от 21 августа 1938 г.: РАЛ. MS.1066A/170.

³ Бунин И. А. Письмо М. В. Карамзиной от <20 июля 1938 г.>; цит. по: Письма <И. А. Бунина> к М. В. Карамзиной. 1937–1940 / Предисл. и публ. А. К. Бабореко // Иван Бунин: [Сб. материалов]: В 2 кн. М.: Наука, 1971. Кн. 1. С. 669 (Лит. наследство; Т. 84).

⁴ Бунин И. А. Письмо В. Н. Буниной от 3 октября 1938 г.: РАЛ. MS.1066A/178.

9 ноября: 5 лет тому назад в этот день судьба меня побаловала. Но потом взяла за это такую контрибуцию, что хоть трагический рассказ пиши!»⁵

И все-таки осень 1938 года — одно из редких затиший. В начале сентября Вера Николаевна уехала в Париж, хлопотала там об устройстве вокального вечера Марги, Галина была с ними, — и Бунин, как ни странно, мог почувствовать некоторое освобождение: в конце концов, все они в Париже, заняты слухами о грядущей войне, своими заботами и мыслями, а он — здесь и, кажется, наконец может писать. Он давно уже думал о продолжении «Жизни Арсеньева»: «Лица» еще не была написана, и образ главной героини, в чем-то еще слишком близкий, явный, всё ускользал.

Сентябрь он провел «почти не вставая за письмен<ным> столом».⁶ В «канун октября 1938 года» — «вдруг» написал рассказы «Муза» («Жизнь художника на даче, подмосковные дни и ночи там — некоторое подобие <...> того недолгого времени, когда я гостил на даче писателя Телешова») и «Степа» («Представилось однажды, что еду на беговых дрожках от имени моего брата Евгения (на границе Тульской и Орловской губерний) по направлению к станции Боборыкино»)⁷ Гонорар за «Степу» просил отдать Кузнецовой: знал, что и она, и М. Степун очень нуждаются, и жалел их... «Написал почему-то несколько стих<ов>»⁸, среди них было и стихотворение «Под окном бродила и скучала...», предтеча созданного через пару недель рассказа «Поздний час», одного из самых совершенных его творений. В то же время он всё еще мучился тем, что невозможно продолжать «Жизнь Арсеньева». «Я много в нее вписал нового — надо, чтобы вышел целый роман с этой выдуманной Ликой и чтобы ее образ был до конца понятен. Дальше писать — просто невоз-

⁵ Бунин И. А. Письмо В. Н. Буниной от 9 ноября 1938 г.: РАЛ. MS.1066A/196 (курсивом выделено подчеркнутое Буниным). Это написано уже после примирения Бунина с Кузнецовой в октябре 1936 года, и участие Бунина в судьбе Г. Кузнецовой и М. Степун (хотя бы во время войны) еще не раз оградит их от серьезной опасности. В мае 1943 года они навсегда покинут Францию, и их пожизненная переписка с Буниными станет долгим эпилогом драматических событий 1926–1934 годов. См.: «...Когда переписываются близкие люди»: Письма И. А. Бунина, В. Н. Буниной, Л. Ф. Зурова к Г. Н. Кузнецовой и М. А. Степун. 1934–1961 / [Науч. ред. серии О. А. Коростелев и Р. Дэвис; Сост., подгот. текста, науч. аппарат Е. Р. Пономарева и Р. Дэвиса; Сопровод. статья Е. Р. Пономарева]. М., 2014. — (И. А. Бунин: Новые материалы; Вып. 3).

⁶ Бунин И. А. Письмо В. Н. Буниной от 21 сентября 1938 г.: РАЛ. MS.1066A/172.

⁷ Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. / Под общ. ред. А. С. Мясникова, Б. С. Рюрикова, А. Т. Твардовского. М., 1967. Т. 9. С. 372–373.

⁸ Бунин И. А. Письмо В. Н. Буниной от 15 октября 1938 г.: РАЛ. MS.1066A/182.

можно! Будет уже явная автобиография — к тому же уже всем известная. Не знаю, как быть».⁹

Кажется, что все произведения той осени — это не только самостоятельные произведения, но и попытки разглядеть ту Лику, в которой сольются реальное прошлое и художественное будущее, мерцающее, проявляющееся и неугасимое.

В Париже и рассказы, и стихи перепечатывала Вера Николаевна, спешила, посылала мужу обратно чистые тексты. Попутно сообщала о своих впечатлениях. Так, 10 октября 1938 года она писала: «Мне рассказ понравился, очень хорошо написана Степа, очаровательное создание, и какое животное, именно животное, ее герой. Хороша гроза, ночь. Но меня больше интересует, что ты пишешь в “Арсеньеве”. Вот бы прислал, а я переписала бы, да и Галя тоже».¹⁰ И потом 18 октября: «Очень мне понравились стихи, особенно... Ледяная ночь, — ».¹¹

* * *

Под этим текстом всегда стоял 1952-й год.

НОЧЬ

Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.¹²

⁹ Бунин И. А. Письмо В. Н. Буниной от 5 ноября 1938 г.: РАЛ. MS.1066A/193.

¹⁰ Бунина В. Н. Письмо И. А. Бунину от 10 октября 1938 г.: РАЛ. MS.1067A/178.

¹¹ Бунина В. Н. Письмо И. А. Бунину от 18 октября 1938 г.: РАЛ. MS.1067A/195.

¹² При отсутствии особых указаний поэтические тексты Бунина цит. по изданию: Бунин И. А. Стихотворения: В 2 т. / Вступ. статья, сост., подгот. текста, примеч. Т. М. Двинятиной. СПб.: Издательство Пушкинского Дома; Вита Нова, 2014. (Новая Библиотека поэта).

«Ночь» — последнее стихотворение Бунина, напечатанное при его жизни, сначала в 1952 году в «Новом журнале» (кн. 28), затем — в год смерти, в последнем сборнике «Весной, в Иудее. Роза Иерихона» (Нью-Йорк, 1953). Это стихотворение известно и по двум машинописям, на одной из которых указание на 1952 год напечатано, как и весь текст, на машинке, а на другой — вписано от руки.¹³ В стихотворении ошутим итог поэтического и жизненного пути, преддверие и отражение вечности, и это впечатление подкреплялось до сих пор принятым временем его создания Буниным: за год до смерти, в болезни, немощи и абсолютно ясном сознании.

Маленький фрагмент из письма В. Н. Буниной от 18 октября 1938 года переводит это представление.

А спустя три недели, поздним вечером 9 ноября 1938 года, в третьем письме жене за день (во втором он как раз сетовал на взятую судьбой «контрибуцию»), Бунин даст и прозаическую транскрипцию этого стихотворения:

«Получил от Гали “Арсеньева” — передай ей мою благодарность.

Стоят совершенно необыкновенные по красоте лунные ночи, уже свежие, ясные. Луна высока так, что надо голову закидывать. Горы над нами и вокруг нас что-то неземное. И огни по их скатам, огни, рассыпанные везде внизу, и кипарис возле нашей прекрасной площадки лаковый, холодный блеск апельсиновых деревьев, блеск моря вдали, далекие, переливающиеся огни Италии...

Целую, всем покойной ночи».¹⁴

* * *

Чуть позже Бунин напишет в Бослесе еще одно стихотворение:

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

Смотрит луна на поляны лесные
И на руины собора сквозные.
В мертвом аббатстве два желтых скелета
Бродят в недвижности лунного света:

¹³ РГАЛИ, ф. 44, оп. 4, ед. хр. 28. Маш., дата: 1952; ИМЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. хр. 40. Маш., дата от руки: 1952.

¹⁴ Бунин И. А. Письмо В. Н. Буниной от 9 ноября 1938 г.: РАЛ. MS.1066A/197.

Дама и рыцарь, склонившийся к даме
(Череп безносый и череп безглазый):
«Это сближает нас — то, что мы с вами
Оба скончались от Черной Заразы.
Я из десятого века, — решаюсь
Полюбопытствовать: вы из какого?»
И отвечает она, оскалываясь:
«Ах, как вы молоды! Я из шестого».

Рукописная судьба этого текста имеет на пару звеньев больше, чем у других бунинских стихотворений. Как и другие стихи того времени, оно не известно ни в первоначальной рукописи, ни в машинописной копии осени 1938 года. В своей первой редакции дошло до нас по автографу 1943 года,¹⁵ во второй — по авторизованной машинописи, на которой в качестве даты указан 1947 год.¹⁶ Без заглавия это стихотворение публикуется в 1946 году в газете «Русские новости» (20 декабря, № 84), затем, уже в окончательном виде (зафиксированном машинописью 1947 года), входит в последнюю прижизненную книгу Бунина «Весной, в Иудее. Роза Иерихона».

Автограф 1943 года — это запись в том разнородном собрании листов, которые получили название «Парижских тетрадей» Бунина.¹⁷ Здесь под стихотворением стоит дата «5.XI.38» и сделана помета: «Засыпая в ночь с 4 на 5.XI.38. Думал про аббатство Торонэ, где был в 1926 г. летом». Чуть позже, 17 февраля 1944 года, посылая это стихотворение Б. К. и В. А. Зайцевым, Бунин сопроводил его текст пояснением: «Представилось что-то вроде аббатства Thoronet».¹⁸

Бунин крайне редко вписывал свои стихи в письма, и начало 1944 года — исключение. 29 января 1944 года он шлет Зайцевым стихотворения «Дни близ Сорренто,¹⁹ дни в апреле...» и «Мистраль бушует за стеной...».

¹⁵ РГАЛИ, ф. 44, оп. 4, ед. хр. 25.

¹⁶ ИМЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. хр. 40.

¹⁷ РГАЛИ, ф. 44, оп. 4, ед. хр. 20–25.

¹⁸ Письма И. Бунина к Б. Зайцеву / Публ. А. Зверса // Новый журнал. 1979. Кн. 137. С. 132. Примечательно, что осенью 1938 года, посылая Зайцеву только что написанные произведения (например, «Поздний час»; отклик на него Зайцева и ответ Бунина см. соответственно: Новый журнал. 1982. Кн. 149. С. 148; 1979. Кн. 136. С. 127), Бунин ему этого стихотворения, судя по всему, не послал.

¹⁹ В бунинском написании: Сорренто.

Начальная редакция первого из этих текстов восходит к 1916 году,²⁰ позднее на нее, очевидно, наложились впечатления от совместных путешествий Буниных и Зайцевых по южному берегу Франции (с поэтическим перенесением на Италию):²¹

Дни близ Сорренто, дни в апреле,
Когда так холоден и сыр,
Так сладок сердцу Божий мир...
Сады в долинах розовели,
В них голубой стоял туман,
Селенья черные молчали,
Ракиты серые торчали,
Вдыхая в полусне дурман
Земли разрытой и навоза...
Таилась хмурая угроза
В дымящемся густом руне,
Каким в горах спускались тучи
На темно-синие их кручи...
Дни, вечно памятные мне!²²

Второе стихотворение известно только по этому письму (где оно приведено без деления на строфы) и по недатированному правленому автографу (верхний слой которого хотя и совпадает с текстом письма, но поделен на строфы).²³

Мистраль бушует за стеной,
Безлюдный ветер длится, длится...
Пора в постель — уснуть, забыться,
Душе и телу дать покой.

²⁰ См. правленный автограф стихотворения «Абрикосы» («В помпейский серый день, в апреле...»), с датой *7 апреля 1916*: РГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 3, с. 48. Впоследствии Бунин изменил первую строчку посланного Зайцевым варианта на «Дни близ Неаполя в апреле...», а в последней прижизненной публикации (в книге «Весной, в Иудее. Роза Иерихона», 1953) дал тексту заглавие: «Nel mezzo del cam<m>in di nostra vita».

²¹ Ср. впечатление Б. К. Зайцева о том, что в Грассе и его окрестностях чувствовался «<n>екий тосканский дух» (*Зайцев Б. Памяти Ивана и Веры Буниных // Зайцев Б. Далекое. Вашингтон, 1965. С. 137*).

²² Текст из письма И. А. Бунина Б. К. и В. А. Зайцевым от 29 января 1944 г. (*Новый журнал. Кн. 137. С. 131*).

²³ РГАЛИ, ф. 44, оп. 4, ед. хр. 26.

Куришь, свет лампы созерцая,
И думать, думать без конца —
Зачем вам эта жизнь пустая,
Людские бедные сердца!

Что пользы подводить итоги
Ничтожных чувств, ничтожных дел,
Поняв, что близок твой предел,
Что ты на роковом пороге!²⁴

Чуть позже, 17 февраля 1944 года, Бунин посылает в письме Зайцевым стихотворение «Смотрит луна на поляны лесные...» (заглавия в письме нет).

6 марта 1944 года, получив ответ Зайцева на свои письма, Бунин пишет ему: «Рад, дорогой Борис, что стихи тебе понравились, горькое чувство, что уже далеки и невозвратны те “*виргилианские*” дни! Господи, как мы были счастливы и молоды — да, даже и я, — поистине было мне не больше 30 лет!»²⁵

Очевидно, все эти стихотворения — объединенные более или менее удаленными во времени средиземноморскими впечатлениями и образами в контексте поздних размышлений о прошедшей жизни — составили для Бунина одну цепочку ассоциаций, и Зайцев был именно тем читателем, которого Бунин хотел этими стихами окликнуть. Почему именно его и почему именно ими?

Самая первая, общая и ясная причина состоит в том, что Зайцев — ближайший свидетель жизни Бунина и самый давний его друг из всех, кто оказался в эмиграции. Они были знакомы с 1900 года, принадлежали к одному московскому кругу; в доме Зайцевых в ноябре 1906 года Бунин встретил свою будущую жену. Зайцев был и среди тех, с кем Бунин в первый же вечер отмечал в московской «Праге» свое избрание в Акаде-

²⁴ См., кстати, и в описании Зайцевым Пюжета: «Таким заезжим и случайным как мы с Иваном — нравится, а жить тут постоянно, и особенно зимой... (Воображаю, что за холодище в нашем доме, когда мистраль задует!)» (*Зайцев Б.* Памяти Ивана и Веры Буниных. С. 142).

²⁵ Новый журнал. Кн. 137. С. 133. В связи с «*виргилианскими*» днями см. стихотворение Бунина «У гробницы *Виргилия*», написанное в зимнем Глоттово (31 января 1916) при воспоминании об итальянских путешествиях (1909, 1910, 1912, 1913 или 1914 годов, когда Бунин, гостя на Капри, каждый раз так или иначе проезжал через Неаполь или приезжал в него). Довольно часто бывал в Италии и Зайцев и, по крайней мере, в 1910—1912 годах мог встречаться там с Буниным. Найти подтверждения их «*итальянских*» встреч нам не удалось, но адресованная другу апелляция Бунина к итальянскому прошлому могла бы, кажется, считаться косвенным их свидетельством.

мию наук по разряду изящной словесности 1 ноября 1909 года, и тем, кто после известия о Нобелевской премии в ночь на 10 ноября 1933 года писал в парижской типографии «Возрождения» ликующую статью «Бунин увенчан». Но был еще и конкретный сюжет, который Бунин имел в виду, посылая Зайцеву эти стихи.

Как-то летом 1926 года Бунины гостили в прованском Пюжете у Зайцевых, живших два сезона (1925 и 1926 годов)²⁶ «в департаменте Вар, в имении друзей» — В. Б. и Ф. О. Эльяшевичей. О приездах к ним Буниных — и об их приездах к Буниным в Грасс — как о самом счастливом времени их многолетней дружбы Зайцев спустя тридцать с лишним лет написал в некрологе «Памяти Ивана и Веры Буниных». И там же — о любимых совместных прогулках — «в Торонэ, деревушку в километре»:

Под вечер мы ходили в монастырь Торонэ. Какою-то тропинкой, среди мелкого леса — и вот другая тропинка пересекает ее — в старых, замшелых плитах-камнях.

— Иван, смотри, это древняя дорога в аббатство Торонэ. По ней ездил сюда на ослике Св. Бернгард. Тот, кто Крестовые походы проповедывал. Бернард Клервоский — он и считается основателем аббатства.

Еще довольно жарко, пахнет нагретой хвоей, цикады немолчны. Выходим на большую дорогу, современную. Налево красные россыпи боксита, невдалеке романского стиля колокольня. <...>

Удивительна эта заброшенность аббатства Торонэ, одного из знаменитых памятников романской архитектуры. Как всё сурово, строго тут! Ни украшений, никакой радости для глаза. Как будто сказано: «К чему обольщенья? Веруй, молись».

Голые каменные стены храма, сумрачная трапезная для монахов, портики во дворе на приземистых колоннах, нехитрый колодезь — и ни души! Даже привратника нет. Входи с дороги, кто хочет. Правда, и украсть нечего: сплошной камень, да так уж прочно приторочено, что веками стоит.

Во дворе присаживаемся у колодца, Иван закуривает.

— Да, это не то, что у нас в Ельце или у вас там в Кашире. А мне нравится. Ей-Богу, нравится. Ты посмотри, как строили... Да-а, писали не гуляли.²⁷

²⁶ См.: Ростова О. Примечания // Зайцева-Соллогуб Н. Б. Я вспоминаю...: Устные рассказы. М., 1998. С. 55.

²⁷ Зайцев Б. Памяти Ивана и Веры Буниных. С. 139, 141—142.

Этот день описан и в дневнике В. Н. Буниной за 14 августа 1925 года, после двухдневного пребывания у Зайцевых:

От поездки к Зайцевым осталось поэтическое впечатление. Сами они очень милы, приятны и родственны.

Местность очень приятная — глухомань! Природа успокаивающая, будь лошадь, на которой можно было бы кататься, со всем можно жить. <...>

Ходили вчера к разрушенному революцией Великой аббатству 12<-го> век<а>. Еще романский стиль. Кое-где еще и готическое.

Сегодня, когда мы пришли в Toronet, сделали привал около церкви, из кот<орой> лились божествен<ные> звуки, Ян сказал: «Можно залить всю землю кровью за то, что смеют разрушать храмы. Вот и аббатство вчерашнее, какая прелесть, а между тем Великая революция наложила на не<го> руку». Все мы согласились.²⁸

Через год, приехав к Зайцевым, Бунины снова ходили в Тороне. В тот день Бунин впервые увидел Г. Н. Кузнецову (она была приглашена с мужем, Д. М. Петровым), и их роман начинался на глазах у Зайцевых. Если и были какие-то подробные записи о том времени, то Бунин их впоследствии уничтожил. Остались только краткие напоминания в разрозненных бумагах, как, например, в письме к нему В. Н. Буниной от 17 июля 1936 года: «Десять лет прошло [почти], как мы ездили в Пюжет на “юбилей” Бориса, вспомнилось, как вчера. Хорошо провели тогда день!»²⁹

Это был не единственный раз, когда В. Н. Бунина напомнила мужу о важном для него дне. Спустя четверть века после той поездки Бунин

²⁸ РАЛ. MS.1067/383. Об этом дне см. и в поздних воспоминаниях Н. Б. Зайцевой-Соллогуб: «...летом 1925 года, когда мы жили в имении Ельяшевичей в департаменте Вар (а Грасс был, быть может, в ста километрах отсюда), Бунины к нам приехали на машине. Они иногда брали шофера с машиной, и в этот раз мы провели вместе весь день. Мы завтракали под платанами, а потом папа показывал всем аббатство Тороне» (*Зайцева-Соллогуб Н. Б. Я вспоминаю... С. 34*).

²⁹ Бунина В. Н. Письмо И. А. Бунину от 17 июля 1936 г.: РАЛ. MS.1067A/132. Летом 1926 года Б. К. Зайцев отмечал 25-летие литературной деятельности. См. также: Бунин И. А. Письмо Б. К. Зайцеву от 9 августа 1948 г.: «Мы были у Вас в Пюжете в июле 1926 года (28 июля по новому стилю)» (Новый журнал. 1980. Кн. 138. С. 175; выделено Буниным). Этой фразе суждено было стать последней в многолетней переписке Буниных и Зайцевых.

пишет Г. Н. Кузнецовой: «Нынче Вера вспомнила июль, бывший двадцать пять лет тому назад. Она сказала, что совершенно точно помнит, что мы познакомились с тобой 6/19 июля, а 15/22³⁰ ездили в гости к Зайцевым, которые гостили тогда в имении Эльяшевича за les Arcs в лесистой местности, недалеко от одного мертвого полуразрушившегося аббатства в диком прекрасном лесу, куда мы ходили в тот день с Зайцевыми». ³¹

Тем же летом была сделана первая фотография Бунина и Г. Кузнецовой, на обороте которой она написала: «Первый раз в Грассе. 1926 г.». ³²

Начиная со второй половины 1940-х годов Зайцевы и Г. Н. Кузнецова находились в постоянной переписке, одним из лейтмотивов которой были воспоминания о добром грасском времени — не именно об июле 1926 года, а вообще о бунинском Грассе и присутствии в нем Кузнецовой. Так, 17 марта 1957 года Зайцев пишет: «Дорогая Галина <...>. С Вами у меня связаны дни Грасса, солнце, Ваша женственность и изящество. Сохранилась фотография — Вы, Зуров и я в каком-то городке близ Грасса. Давно всё было. И теперь всё другое». Несколько раньше, 25 марта 1951 года: «Как раз недавно вспомнился почему-то Грасс, удивительный вид из наших с Вами окон на собор, город, равнину к морю и на Эстерель». ³³ Мне Грасса очень жаль, там хорошо было, какой-то светлый артистический мир — у Вас, возможно, иное воспоминание, но вот я, например, тоже помню, как раз мы ездили с Вами и Зуровым (без Ивана) куда-то за Magagnoscque, какой-то городишка (так! — Т. Д.) над Gorges du Loup, ³⁴ очень славная поездка. У меня остались даже фотографии — думаю, Вы снимали: я с Зуровым. / А знаете, на другой день, 12-го февраля, вдруг пришел Зуров, поздравил, принес бутылку вина. Всё было очень весело и легко (!) (так в тексте. — Т. Д.)». ³⁵

³⁰ Видимо, опечатка, и следует читать: 15/28.

³¹ Бунин И. А. Письмо Г. Н. Кузнецовой от 29 июля 1951 г.; цит. по: *Бабореко А. К. Галина Кузнецова // Кузнецова Г. Н. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М., 1995. С. 6.*

³² Воспр.: *Бабореко А. К. Бунин. Жизнеописание. Изд. 2-е. М., 2009. Вклейка между с. 321 и 322.*

³³ Горный хребет на Лазурном берегу.

³⁴ Magagnosc (Маганьоск), поселок в 5 км на северо-восток от Грасса, на полпути к Gorges du Loup.

³⁵ Таким образом был, видимо, отмечен день рождения Зайцева (29 января по ст. ст.). Дневниковые записи Буниных не позволяют однозначно определить год, к которому относятся эти воспоминания, и по ряду признаков мы можем только предположить, что речь идет о 1931 годе. Письма

Но все эти светлые воспоминания (и самого Бунина, и его жены, и Зайцева, и, надо думать, Кузнецовой, не пресекавшей в поздней переписке этих тем) остались далеко за пределами бунинской «Ночной прогулки», лишенной живых примет бытия и обращенной к читателю исключительно своей жуткой потусторонней стороной. В ряду ностальгических стихотворений о лучших днях прошлого «Ночная прогулка» оказывается вопреки своему прямому смыслу — благодаря конкретному топонимическому указанию на полях и включенности в ряд других стихов, посланных Зайцеву зимой 1944 года. С помощью этого «ключа» стихотворение открывается как изнанка некогда чудесного любовного сюжета, опрокинутого в царство смерти, и тот всё искривляющий, змеящийся ужас, который должен был испытывать Бунин, сочиняя его, должно быть, ничуть не уступал тому холодному чистому отчаянию, которое владело им, когда он писал «Ночь».

* * *

Кроме «Ночи» и «Ночной прогулки», осенью 1938 года в Босолее Бунин пишет еще шесть стихотворений:

- (1) «Вечерний Ангел грустным звоном...». 15.10.1938.
- (2) «Ночью, в темном саду, постоял вдальеке...». 16.10.1938.
- (3) «Ты жила в тишине и покое...». 18.10.1938.
- (4) «Здесь клад зарыт. Здесь жутко: тайна, клад...». 21.10.1938.
- (5) «Панихида» («Священники в черном, кадила...»). 22.10.1938.
- (6) «Под окном бродила и скучала...». 6.11.1938.

Каждый из этих текстов выглядит, скорее, как отрывок, относящийся к какому-то большему целому или, во всяком случае, соотносящийся с ним, нежели как самостоятельное произведение.

Три их них — (2), (3), (6) — так прочно, образно и стилистически, связаны с рассказами «Темных аллей», что представляются поэтическими иллюстрациями к ним, вплоть до точных текстовых инкрустаций. Ср. в рассказе «Поздний час» (авторская дата — 19 октября 1938):

А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал:

— Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.³⁶

Б. К. Зайцева Г. Н. Кузнецовой хранятся в Архиве Института Восточной Европы г. Бремена (FSO 01—141).

³⁶ Бунин И. А. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1966. Т. 7. С. 41.

— и обещание героя, данное «ей» («тебе») в «весеннем саду» в стихотворении «Под окном бродила и скучала...» (авторская дата — 6 ноября 1938):

Если встретимся в саду в раю,
 На какой-нибудь дорожке,
 Поклонюсь тебе я в ножки
 За любовь мою.

Три других текста — (1), (4), (5) — прямо связаны с темой смерти, причем если в (1) она решается в пастельных тонах мирно уходящего дня, то в двух других показана своей таинственной, жуткой и отвратительной стороной: «Здесь жутко: тайна, клад» (4), «Всё позорное, / Всё грубое — и беспризорное...» (5).

Таким образом, шесть коротких стихотворений 15 октября — 6 ноября 1938 года ровно пополам растягиваются между надмирным и просветленным взглядом «Ночи» и искаженным, болезненным взглядом «Ночной прогулки» (его миновал, как уже сказано, только «Вечерний Ангел...», но тематически он привязан именно к этому полюсу, «смерти»).

И опять же, ни автографов 1938 года, ни машинописных копий того времени, выполненных Верой Николаевной или «Галей», насколько мы можем судить, не сохранилось. Спустя пять лет эти стихи, как и «Смотрит луна...», с датами осени 1938 года были переписаны Буниным в «Парижскую тетрадь». Скорее всего, тогда же были уничтожены их ранние автографы («Парижская тетрадь» — единственный известный сегодня источник этих текстов).

В то же время, на рубеже 1943—1944 годов, вернувшись к своим стихам разных лет, Бунин выправил давнее стихотворение «Абрикосы», из которого теперь получились «Дни близ Сорренто, дни в апреле...», и заново записал «Смотрит луна на поляны лесные...» (вероятно, уничтожив при этом первый автограф). Видимо, тогда же он написал «Мистраль бушует за стеной...». Все три стихотворения, разошедшиеся по разным «подсобраниям» в бунинском архиве (ни «Дней...», ни «Мистралья...» в «Парижских тетрадях» нет), были посланы Зайцевым, образовав единый круг ностальгических воспоминаний «на роковом пороге».

Шесть коротких стихотворений, будучи переписаны в «Парижскую тетрадь», Зайцеву не посылались и при жизни Бунина не публиковались.

«Ночь» отсутствует в бумагах 1943—1944 годов и не фигурирует в переписке с Зайцевыми. Вероятно, ее текст затерялся в бумагах или сохранился в каком-то другом «собрании листков», и Бунин вернулся к ней только в 1952 году. Упоминание в письме В. Н. Буниной — единственное

указание на то, что стихотворение (по меньшей мере, в своей первой редакции) было написано не в 1952 году, а на 14 лет раньше. Самого текста 1938 года, как уже было сказано, не сохранилось, и оценить степень изменения текста не представляется возможным.³⁷

* * *

В подзаголовок этих заметок включен известный оборот «Еще раз...». Конечно, хотелось бы думать, что вся необходимая информация о последних стихотворениях Бунина уже была отражена в недавно вышедшем научном издании его стихотворений.³⁸ Однако не успело оно разойтись по домашним и научным библиотекам, как работа над следующими же архивными материалами бунинского наследия заставила вернуться и пересмотреть самые, казалось бы, незыблемые представления о ключевых — как мы видим, и в буквальном смысле: замыкающих — произведениях поэта.

Согласно принципу, принятому в поэтическом двухтомнике, его основной раздел составили стихотворения, которые сам Бунин при жизни напечатал в своих авторских изданиях. При таком подходе «Ночная прогулка» была предпоследним, а «Ночь» — последним текстом основного раздела. В разделе стихотворений, не вошедших в авторские издания (напечатанных только в периодике или не напечатанных вовсе), в том же временном промежутке оказываются стихи «Мистраль бушует за стеной...» — очевидная «рифма» к «Ночи» (см. выше), и «Венки» (<1952—1953>) — своего рода автоэпитафия, *Exegi monumentum* Бунина.

³⁷ «Ночь» связана с Зайцевыми еще несколькими окказиональными линиями разного порядка, сопряжение которых возможно исключительно по «поэтическому» принципу. Так, вилла в Босолее была снята для Буниных дочерью Зайцевых Н. Б. Зайцевой-Соллогуб (см.: *Зайцев Б.* Повесть о Вере // Мосты. Мюнхен, 1968. № 13/14. С. 16–17). В письме Зайцевым от 2 декабря того же, что и посланные стихи, 1944 года Бунин вновь употребляет уже известное словосочетание: «*Ногь ледяная*, месяц еще не взошел, — “примеркать стал”, как говорили когда-то, — в мертвой тишине, в лесу над нами, немолчное любовное завывание, — у-у-у! — кричат филины» (Новый журнал. Кн. 138. С. 161–162; выделено мной. — Т. Д.). Ср. мотивы жутковатого нарушения «мертвого» пространства (тишины — в этом письме, аббатства — в «Ночной прогулке») и т. д. С этим же письмом Бунин посылает Зайцеву «на память» свой рассказ «Поздний час» (см. выше) и благодарит за отзыв на рассказ «Мистраль».

³⁸ См. примеч. 12 настоящей статьи.

ВЕНКИ

Был праздник в честь мою, и был увенчан я
Венком лавровым, изумрудным:
Он мне студил чело, холодный, как змея,
В чертоге пирном, знойном, людном.

Жду нового венка — и помню, что сплетен
Из мирта темного он будет:
В чертоге гробовом, где вечный мрак и сон,
Он навсегда чело мое остудит.

Если когда-нибудь будет предпринято издание с иным принципом подачи текстов и в его основной раздел войдут *все законченные* Буниным стихотворения (независимо от факта их прижизненной публикации), то «Мистраль бушует за стеной...» и «Венки» по хронологии завершат основной раздел и примут на себя роль пуанта, семантика которого выходит за рамки одного (даже взятого в контексте) стихотворения и распространяется на весь «большой текст» Бунина. В таком случае после того сквозняка, который дует из надмирных сфер в «Мистрале...», «Венки» мраморной плитой лягут на всё поэтическое (и не только поэтическое) творчество Бунина, и книгу можно будет закрыть (далее пойдут только отрывки, комментарии и всяческие указатели).

Но при сохранении принципа «Бунина, прочитанного его современником», по которому основной раздел — это стихи, которые сам автор хотел и успел опубликовать при жизни (этот подход мы считаем наиболее оправданным и точным как для представления самосознания и эволюции самого поэта, так и для истории поэзии в целом), хронологическое трение между «Ночной прогулкой» и «Ночью» становится своеобразным внутренним — и, со стороны совершенно ясно, сущностным — спором о главной теме и интонации бунинской поэзии, мерцанием смысла — о чем она и с какой точки зрения (высоты) говорит, о ее героях и пейзаже, в котором разворачивается ее действие.

Разговор с Богом один на один о жизни и без посредства культуры ли, истории — или обращение к средневековой традиции *пляски смерти*; мир, исполненный золотого недвижимого света, — или сквозные руины собора; мертвая печаль живого — или жуткий, оживший ночью оскал мертвеца; молчание живого — или разговор мертвых. При всем одиночестве и последней печали в «Ночи» есть божественный свет и божественное присутствие. В «Ночной прогулке», пересекающейся с ней целой сетью мотивов, ни того ни другого нет, а есть только лишенный жизни, мысли и чувства макабрический танец, изнанка жизни, насмешка смерти. При всей условности сближений «Ночь» ближе экзистенциаль-

ному чувству Лермонтова («Выхожу один я на дорогу...»),³⁹ «Ночная прогулка» — сатирической интонации Гейне («Auf dem Hardenberge...»)⁴⁰.

Какое из этих двух стихотворений должно завершать поэтическое собрание Бунина, составленное, согласно академическим правилам, по хронологии первой даты? До сих пор этим стихотворением была «Ночь», с единственной датой «1952». Если принять «октябрь 1938» как первую дату «Ночи», то она уступает место «коды» «Ночной прогулке», написанной (пусть даже в своей первой редакции) в ночь на 5 ноября 1938 года. Спор вторых дат — 1944 год для «Ночной прогулки» (дата обозначена в книге «Весной, в Иудее. Роза Иерихона», 1953) и 1952 год для «Ночи» — уже второстепенен.

Вместе с передатировкой «Ночи» существенно меняется наше представление о поэтическом пути Бунина. Можно сказать, что он сокращается почти на 14 лет: «Мистраль...» и «Венки» — как и серия «домашних», шуточных стихотворений 1940-х годов⁴¹ — оказываются далеко вынесенными из основного поэтического потока, хотя бы потому, что ни одно из стихотворений, начатых после 1938 года, Бунин не публиковал. Само собой, меняется ретроспективное прочтение «Ночи»: одно дело — *предсмертное* «Золотой недвижимый свет / До постели лег», и совсем другое — теми же словами — сиюминутное ощущение одной конкретной, *этой* ночи, когда впереди еще и война, и «Темные аллеи», и еще великое множество чувств, событий, мыслей, рукописей, встреч... Но было ли оно другим для автора?

Поставив «1952» на машинописи, попавшей ли ему в ту пору на глаза или тогда же зафиксировавшей только что написанный / только что измененный текст, Бунин подтвердил тождество своего состояния в прошлом и настоящем, уравнивая их и холодную — *ледяную* — ночь, в которой чем дальше, тем острее он чувствовал свое одиночество. И перенесенный из первой в последнюю строчку мистраль напоминает ветер из Книги Екклесиаста, который кружится, кружится и возвращается на круги своя (Еккл. 1: 6).

³⁹ К концу жизни Бунина Лермонтов занял в ней совершенно особое место. В последние месяцы он вспоминал и читал наизусть «Выхожу один я на дорогу...» и «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...», говорил: «Всю жизнь я думал, что первый русский поэт — Пушкин. А теперь я знаю, что первый наш поэт — Лермонтов» (*Адамович Г.* Бунин. Воспоминания // Новый журнал. 1971. Кн. 105. С. 135; то же см.: *Алданов М.* О Буине // Новый журнал. 1953. Кн. 35. С. 133). См. также: Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. / Под ред. М. Грин. Frankfurt/Main: Посев, 1982. Т. 3. С. 188, 208.

⁴⁰ Это стихотворение в переводе А. Н. Майкова («На горах Гарца») — один из претекстов «Ночной прогулки».

⁴¹ См.: Нецензурный Бунин: Стихотворные пародии конца 1940-х годов / Подгот. текста, вступ. статья и примеч. Е. Р. Пономарева // И. А. Бунин: Новые материалы. М., 2010. Вып. 2. С. 478—499.

«Творчество как сновидение» (по материалам «Дневника мыслей» Алексея Ремизова) *

Алексей Михайлович Ремизов вел дневники с самого детства. Это были не только записи о дневных событиях, но и фиксация его снов. Традиция создания дневниковых записей была сохранена писателем и в годы его эмиграции во Франции. В 1930-е гг. он выработал свой оригинальный вид «графического дневника»,¹ представляющего собой альбом ежедневных рисунков, листы которого по художественной организации воспроизводили форму иконы с клеймами. В центре помещалось изображение образов сна, а по сторонам располагались отдельные «клейма», содержанием которых становились дневные события и портреты их участников, чьи головы были окружены нимбами.

Ремизов прервал создание «графических дневников» в период оккупации Парижа немцами, опасаясь, что его рисунки могут быть использованы немецкими властями с целью получения информации о тех или иных деятелях русской эмиграции, чьи узнаваемые изображения были представлены на страницах альбомов. В эти годы писатель ухаживал за смертельно больной женой — Серафимой Павловной Ремизовой-Довгелло (С. П.), бедствовал, но не участвовал в коллаборантских изданиях. В последние дни жизни Серафимы Павловны, по ее просьбе, Ремизов стал снова делать отрывочные дневниковые заметки, но к систематическим записям вернулся только после смерти жены, скончавшейся 13 мая 1943 г.

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 16-04-00179а).

¹ См., например: *Ремизов А. М.* Именинный графический пряник Тырло. 550 снов. 22.XII.1933 — 8.IX.1937 (РО ИРЛИ, ф. 256, ед. хр. 46. 597 л.).

В дальнейшем он регулярно вел свой «Дневник мыслей» вплоть до кончины в 1957 г. Рукописи дневника хранятся в РГАЛИ (Москва), ныне они последовательно публикуются.²

Ремизовский дневник является произведением нового вида документально-художественного жанра. Название — «Дневник мыслей» — было заимствовано писателем у его друга, философа Льва Шестова, который назвал так комплекс записей периода 1919—1920 гг.³ — времени своего отъезда из «бунташного» Крыма в Швейцарию. Лейтмотив текста Льва Шестова — утверждение торжества человеческого разума над тяготами и бедствиями реального мира. Причиной использования Ремизовым «чужого» заглавия была свойственная писателю жанровая чуткость. Ранее он назвал свои дневниковые записи времен революции 1917 г. «Временником», тем самым как бы манифестируя присоединение к исторической традиции очевидцев-летописцев катастрофических событий русской истории, каким был свидетель Смуты XVII в. — дьяк Иван Тимофеев. Заглавие «Дневник мыслей» также соответствовало главной теме записей Ремизова и обстоятельствам их появления.

«Дневник мыслей», начатый в 1943 г. в виде кратких записей о ежедневных событиях с нерегулярной фиксацией ночных сновидений, постепенно приобрел четкую форму.

Ремизов вел свой Дневник на страницах школьных «общих тетрадей». На левой (оборотной) стороне разворота тетрадного листа делались краткие заметки о дневных событиях. Это были восходящие к традициям классических бухгалтерских записей перечни лиц, которые приходили в квартиру Ремизова в доме 7 по улице Буало или участвовали в значимых для писателя событиях. То были посещения могилы Серафимы Павловны, присутствие в церкви на ежегодной панихиде по ней и по Наташе Ремизовой, участие в праздновании Пасхи, Рождества и т. д. Также на этой странице записывались точные данные о гонорарах с указанием библиографических сведений о публикации; делались пометы о получении материальной (денежной или вещевой) помощи, писем и посылок; лапидарно фиксировались даты смерти знакомых. Все записи сопровождалось цифрами, означающими дату дневного события. Значительные по объему списки лиц могли, дополнительно к цифре, отмечающей дату посещения ими квартиры Ремизова, сопровождаться внутренней порядковой нумерацией, в сумме обозначающей количество визитеров.

² Ремизов А. М. 1) Дневник мыслей: 1943—1957 гг. СПб., 2013. Т. 1: Май 1943 — январь 1946. 374 с.; 2) Дневник мыслей: 1943—1957 гг. СПб., 2015. Т. 2: Январь 1946 — март 1947. 380 с.

³ Шестов Л. Дневник мыслей // Континент (Париж). 1976. № 8. С. 235—252.

На правой стороне тетрадного разворота располагались ремизовские изложения содержания снов, помеченные двойной датой, обозначающей ночь с такого-то на такое-то число, например: «27—28.III», «20—21.IX», «17—18.XI» и т. д.

К 1944 г. форма Дневника Ремизова, казалось бы, уже окончательно сложилась. Однако, при сохранении двухчастной системы записей, она продолжала эволюционировать и в дальнейшем. Также менялись, усложняясь, и темы дневника, и его функции как сложного вида документально-художественной прозы.

В Первой тетради Дневника левая («дневная») сторона тетрадного разворота, за исключением лапидарных сообщений о дневных событиях, представляла собой нескончаемый лирический «плач» об умершей жене, философские размышления о смерти и о дальнейшей метафизической судьбе ушедших. Постепенно исповедальное авторское повествование о главном — уходе из жизни Серафимы Павловны — заменилось характерной для деловой прозы стилистически-нейтральной фиксацией дневных событий, приведением списков лиц — посетителей квартиры Ремизова. Образное осмысление основного вопроса, волновавшего писателя в середине 1940-х гг., — вопроса о возможности вернуться на Родину — происходило на правой («ночной») стороне тетрадного разворота, воплощаясь в сюжетах и персонажах его снов. Как известно, в 1947 г. Ремизов получил советский паспорт, что привело к разрыву с целым рядом старых друзей и к исключению его из парижского Союза писателей. Однако известия о новом ужесточении сталинского режима в СССР; сведения о смерти дочери, скончавшейся в киевской больнице в 1943 г., и, наконец, убежденность в том, что реальная писательская деятельность на Родине для него невозможна, — всё это привело Ремизова к мысли оставить идею вернуться в Россию. Болезненно переживаемые обстоятельства жизни писателя отражены и на «дневных», и, в особенности, на «ночных» страницах его Дневника. Однако мучительное ночное обдумывание реальных проблем постепенно стало всё более заменяться ночным «возвращением» Ремизова в мир творчества.

В 1947 г. претерпела изменения жесткая и, казалось, полностью сложившаяся структура дневниковых записей. Отчасти трансформировался и сам тип дневниковых заметок на левой и правой сторонах тетрадного разворота.

«Дневная» (левая) сторона разворота, на которой фиксировались реальные контакты Ремизова с людьми, в целом, осталась прежней. Ее составляющие: информация о гонорах, полученных посылках, смертях знакомых, а также разные по объему «перечни» посетителей. На этой странице неоднократно появляются и такие, идентичные по смыслу, за-

писи: «1) <1.XII.1947. — А. Г.> никого»;⁴ «23) <23.III.1948. — А. Г.> никого»; «24) <24.III.1948. — А. Г.> ник<ого>»; «28) <28.VI.1948.— А. Г.> никого»; «6) <6.XII.1948. — А. Г.> никого» и т. д. Значительным изменением «дневной» стороны было то, что иногда она как бы «возвращалась» к тому виду, какой имела в первой тетради Дневника, когда на ней располагался текст авторского монолога, а не лапидарная, сопровождаемая цифрами, фиксация дневных событий и посещений. Например:

Запись от 25 марта 1948 г.:

На ночь думал: «К “снам”».

Мертвый не может видеть живого и живой мертвого. Но, зная магический прием, мертвый может увидеть, а живой магией же схоронится.

Единственное общение: во сне.

В том мире человек теряет свои личные свойства. Его можно узнать по заветной памяти в жизни: по дару.

«Голос в голос, волос в волос».

Позднее эта дневниковая запись в переработанном виде была включена Ремизовым в эссе «Полодни ночи»⁵ (опубл.: 1953), ставшее впоследствии частью книги 1954 г. «Мартын Задека. Сонник»: «Продолжающееся бытие мертвых открывается в снах у живых. В сновидении единственное общение “этой” жизни с “той” жизнью. Только так мертвые и могут войти в жизнь живых и, возможно, что и живые могут что-то изменить в судьбе мертвых».⁶

Основные структурные и семантические трансформации произошли с видом и содержанием правой («ночной») стороны тетрадного разворота.

На эту страницу начинают периодически добавляться комментарии Ремизова, поясняющие отсутствие записи сновидения или причины его информативной недостаточности:

Запись от 31.III — 1.IV.<1947>:

Очень поздно лег: объяснял Одарченко его рассказ в «Ларионе»: «Чего не надо». Снова задавил сон. И поднялся ни свет, ни заря.

⁴ Здесь и далее тексты «Дневника мыслей» цитируются по автографу: РГАЛИ, ф. 420, оп. 6, ед. хр. 35 и 36.

⁵ Впервые опубл.: Ремизов А. Сны в русской литературе: Полодни ночи // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1953. 7 июня, № 15016.

⁶ Ремизов А. М. Собрание сочинений: В 10 т. М., 2002. Т. 7: Ахру. С. 357.

Запись от 12.IV.<1947>:

Так устал последние 2 недели: кончил «Идиота» и думаю, как напишу, сон весь пронизан мыслью, без образов.

Запись от 24–25.V.<1947>:

От того, что пришлось стоять, дожидаясь очереди в Консульство, очень болела нога: я заметил, что это и всегда так: как сверлит. Пришлось выжидать, когда успокоится, курил. И заснул легким сном — нежным овевающим. Помимо цвета, Кодрянская, и еще кто-то с тишиной и (слова не найду) тихостью майского утра, как сейчас — здешняя Троица.

Запись от 24–25.VI.<1947>:

Много стоял, и ночью сводило ногу. Очень больно. Боль срежала сон.

Запись от 27–28.XI.<1947>:

Не могу вспомнить сна. За что ухватиться. Очень было холодно. И огорчения. Не великой важности: к сроку перевод не кончен. (Бахрак). Но меня это изъело. И вот эта мысль стерла сон.

Запись от 27–28.VIII.<1948>:

Контролер — электричество и счет газ — свеили сон. Осталось: делаю постройку из ящиков. Один из ящиков: Пришвин.

На «ночной» странице также появляются дневниковые записи, напрямую отражающие бытовые события дня:

Запись от 14–15.IV.<1947>:

Это наяву: в полдень страшный звук. Я отворил и узнал: это почти помешанная. Не здороваясь: «Сдайте комнату». — «Нет», — говорю. И она, не говоря, пошла по коридору. «Да у вас много комнат». Я очень резко остановил ее.

Запись от 10–11.VI.<1947>:

Возиться с собой мне всегда тягостно, а пришлось за порошками в аптеку. Всё сделалось чудес<ным> образом. Оля Андреева достала, а Кодрянская чай и сахар.

Запись от 25–26.VII.<1947>:

Вот странно, видел много снов, а не могу ничего вспомнить.

Запись от 1–2.X.<1948>:

Не могу вспомнить. Очень было холодно. А днем без кофия.

Запись от 8–9.X.<1948>:

Жарили кофе. И так задымили, дышать нечем. Сон поверхностный. Пантелеймонов.

В ряде записей автор не просто номинативно констатирует, но и анализирует увиденное во сне:

Запись от 28–29.IV.<1948>:

Переходы. Сад. Я живу в саду. Алданов. Меня выгоняют в сад из комнаты. Сон не яркий, а выблискивающий: д<олжно> б<ыть> от усталости: натирал пол и думал о деньгах.

Нередко фиксация сновидения трансформируется в его развернутый аналитический пересказ:

Запись от 19–20.VIII.<1948>:

Всё время один вопрос: что вы сделали? И К<опытчик> (С. К. Маковский. — А. Г.) отвечает: «Ничего, но я сделаю — наверное». Потом Копытчик: почему так любят забавляться «мраком» и «пророчеством». И ругать. Какой висел мрак в Петербурге перед войной 1914 г. Религиозно-философские собрания. Один Мережковский, съеденный Достоевским, символ. Очарование «мировой погибелью». А Блок предчувствовал землетрясение. Помню, я молча всё слушал, но ничего-то, ничего не чувствовал.

Так в разговорах с Копытчиком сегодняшний сон.

Сновидения начинают не просто «фактографически» заноситься в Дневник, но и подвергаться «литературной обработке». Она имеет несколько видов. На начальном этапе автор Дневника стремится внести в запись сновидения субъективную точку зрения повествователя, старящегося рационально осмыслить увиденные образы. Например:

Запись от 10–11.IX.<1948>:

«Чего ты спишь?» А я подумал: а и вправду я сплю, но ведь я не говорил, что не сплю.

Прохожу через широкие улицы. Какие постройки — новый дворец цвета сливок, он подымается на глазах по ту и по другую сторону улицы. М. И. Терещенко и П<елагея> Ив<ановна> — но она совсем другая: моложе, а главное, крепкая и светлая. Может, она это сказала: «Чего ты спишь?».

Следующей стадией «литературной обработки» является изменение жанровой природы сно-формы. Уже в момент непосредственной записи увиденного ночью изложению сна придается нарративная форма. Текст меняет прежнюю типологическую жанровую принадлежность. Теперь

его можно отнести к пограничному жанровому виду, расположенному на грани документальной и художественной прозы. В дополнение к субъективности повествования происходит его сюжетное развертывание, персонажи (исключая Серафиму Павловну, всегда обозначаемую как С. П.) получают взамен инициалов более полные имена, иногда сопровождаемые авторскими пояснениями. Например:

Запись от 28–29.II.<1948>:

Вчерашнее: забота, погубившая Фауста, оказалась желанной гостьей. Цель жизни.

Попал в неизвестный город. И признака не найду. И справиться о поезде не знаю, где. Брожу по улицам, да и мостовая — колдобины, все перескакивать и перелезть. И собрались все революционеры — когда-то молодые — сейчас все старые люди. И я смотрю на них — на эту историю — с восхищением, сколько в них было порыва, огня. И вот обуглившись, но с горячим сердцем. И среди них жалкий в сером — Стекольщик (Пантелеймонов). Я отошел в сторону и вижу С. П., и она говорит: «Я хочу оставить тебя». И по улыбке замечаю, что никогда не оставит меня. Она была так светла, и так ярко — я как поднялся, и какие-то мне молоко несут и показывают мне комнату — ночь перебыть.

Запись от 15–16.III.<1948>:

Подают мне два ящика: один побольше, а другой совсем маленький. В первом — баранки, в другом — талисман. Второй ящик я не раскрыл — я знаю: талисман — нежнейшая тонкая палочка, как засушенный цветок тонкого аромата. Сквозь футляр проникает благоухание.

Баранки я повесил за окно — окно в сад, на ветку, рукой взять.

Живем мы наверху. А внизу Коммиссаржевская. В приемной комнате у нее много вещей — разбросаны. С. П. торопит меня: сейчас проснется, неудачно. И я перехожу на лестницу и всё схватываюсь о баранках. А талисман со мной.

А. Р. Кугель: я прочитал пьесу Ходотова и показываю. Пьеса никуда. Кугель одобряет. С. П. говорит: надо купить 60 резинок. И Диксон согласен.

«Но куда нам столько», — говорю, и рассказываю, как меня однажды арестовали: жить во дворце не очень удобно. И арестовали только за то, что я в приемной Коммиссаржевской забыл... С. П. прерывает, укоризненно глядит: зачем я это рассказываю.

А я спускаюсь и к окну, где висят баранки: они раскачиваются на ветке, и одной нет — или упала, или птицы взяли.

И встречаю Лифаря. Он недоволен. Мы ему не по душе. «Но что вы хотите?» — «Да не то, не то», — и он перелетает со скамейки на скамейку.

Наконец, краткая *фиксация* сновидения начинает осмысляться Ремизовым как *материал* для последующего создания развернутого, *художественно обработанного текста*. Иногда он записывается на следующей «ночной» странице Дневника, придавая последней добавочную функцию — места для «чистовика», — т. е. записи литературно отшлифованного текста сно-формы. Сравним:

л. 8

1—2.Ш.<1948>

1) Посвящение. Очень страшно. Пришвин.

2) К<одрянская> с альбомами повседневными и синаник —
портреты
Наташа Резникова.

3) Несостоявшееся представление.

4) В поезде, с татарами.

5) Алекс<андр> II и дает мне бумагу на торжество. Знает, что сам я ее писал. Но всё равно, не пропустят.

л. 9 (л. 8 об. — не заполнен)

<Без даты>

Иду по узкой дороге влажной, и чем дальше иду, тем страшнее мне из-за поворотов: как возвратиться — не узнаю дорогу. И на некоторых поворотах сторожа: как наша консьержка: «Не дойдешь!» По дороге Пришвин. Он уверенно идет: он знает эти дороги.

К<одрянская> показывает два альбома: один «повседневный», другой «синаник» — портреты. К<одрянская> вся кубическая и вращающаяся. И тут же Наташа Резникова с ревнивыми глазами.

Человек — росту с Чижова — соломинка с розовым носом.⁷ Раздвигает занавес: началось. А что начинать, ничего не приготовлено. Полон зал. И все ждут.

И я попадаю в поезд — быстро невероятно. А ездят: татары. И меня мчит без остановок.

Ал<ександр> II показывает мне бумаги. В одной я узнаю свою рукопись. Расплылось — пролили воду. Это пропуск на торжество.

Да всё равно ведь не пропустят.

⁷ В необработанной записи снов на л. 8 образ «соломинка с розовым носом» завершал запись сна в ночь с 29 февраля на 1 марта и относился к другому лицу: «А. Д. Радлова. Соломинка с розовым носом».

Присутствующая на «дневной» стороне (л. 9) переработка лапидарной точной фиксации сно-формы свидетельствует о творческом переосмыслении записи, используемой как источник дальнейшего художественного текста. Кстати, именно в эти годы Ремизов начал работать над своей основной книгой, содержащей обработки его реальных снов, — «Мартын Задека. Сонник» (Париж, 1954).

С 1947 г. началась пора небывалой творческой активности Ремизова-писателя. Одновременно он работал над реализацией нескольких литературных замыслов.

Он отделявал, перерабатывал, переписывал, постоянно редактируя и совершенствуя, произведения, в своей основе создававшиеся еще в 30-е гг., — «Подстриженными глазами» и «Учитель музыки». В то же время Ремизов писал и публиковал главами в периодике США и Франции необычный по жанру текст о своей революционной юности — «Иверень».

После 1943 г. определилось еще одно, магистральное с точки зрения Ремизова, направление его литературной работы. Едва очнувшись после смерти Серафимы Павловны, писатель начал планомерно «воскрешать» возлюбленную в вечном духовном пространстве своего творчества. Первый результат этого мощного духовного импульса — произведение «Сквозь огонь скорбей»,⁸ повествующее о последних годах и обстоятельствах смерти Серафимы Павловны (позднее оно составило заключительную часть романа «В розовом блеске».)⁹

1947—1948 годы стали порой напряженной работы литератора над созданием произведения особого художественно-документального жанра — книги «На вечерней заре». В ее основе лежала цитируемая, пересказанная и откомментированная переписка Ремизова и Серафимы Павловны за всю их долгую совместную жизнь.¹⁰ В «ночных» дневниковых

⁸ Отдельные главы впервые опубл.: *Ремизов А.* Залом. — Из страд «Сквозь огонь скорбей» (1. Вывертень. 2. Беспастушное пространство) // Орион: Литературный альманах / Под ред. Ю. Одарченко, В. Смоленского и А. Шайкевича. Париж, 1947. С. 83—94; Святый вечер // Русские новости (Париж). 1947. 3 янв., № 86; В розовом блеске. Из страд «Сквозь огонь скорбей» (1. Пропад. 2. Сирена. 3. Конец. 4. Омут. 5. Туда. 6. Дупло) // Новоселье (Нью-Йорк). 1948. № 37/38.

⁹ *Ремизов А. М.* В розовом блеске. Нью-Йорк, 1952. С. 314—384.

¹⁰ На вечерней заре: Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло [1900—1906 гг.] / Вступ. зам., публ. и коммент. А. Д'Амелия // *Euro Orientalis*. 1985. № 4. Р. 143—190; 1987, № 6. Р. 239—310; 1990, № 9. Р. 443—498; На вечерней заре: Письма А. М. Ремизова С. П. Ремизовой-Довгелло: 1907 год; 1908 год; 1909 год (часть первая) / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Е. Р. Обатиной // *Русская литература*. 2014. № 1. С. 149—178; № 3. С. 142—185; 2015. № 3. С. 153—203.

записях рубежа 1947–1948 гг. зафиксировано завершение работы над книгой «На вечерней заре»:

Запись от 20–21.XII.<1947>:

Продолжаю переписывать свои письма. Надо соединить без «дат» — этим я занят.

Запись от 24–25.I.<1948>:

Снова и снова прочитываю письма к С. П. Последние. И вдруг подумал: неужто я их забыл переписать? В письмах есть строчки, выходят из бумаги, застывают.

Запись от 7–8.V.<1948>:

Горькая моя любовь.

С. П. Мы вышли. И по дороге. Красный деревянный дом. Мы вошли во двор. А целой стеной белые голуби. И я осторожно, чтобы не спугнуть.

Перевожу года на новый стиль.

Горькая моя любовь.

Запись от 11–12.V.<1948>:

Нашли папки с письмами С. П. Я всё откладываю посмотреть их: боюсь, опять надо переписывать. Но в папках оказались уже переписанные. И рисунки. Лучше не трогать.

Запись от 22–23.VI.<1948>:

И во сне разбираю письма. И появляются адресаты, они, как через воздушное решето, сыплются.

Окончание работы над письмами и архивом жены было воспринято Ремизовым как конец большого этапа своего внутреннего развития:

Запись от 21–22.VII.<1948>:

Как-то всё успокоилось — разместилось. О себе скажу, я вдруг посмотрел на прошлое, это много значит. Стало быть, остыл. Я был прав, конечно, и смешно, искал невозможного и даже создал этот образ «нереальный». <...> И опять чувство, как бывает после смерти «знаменитости» — «вечная память», под которой чувство освобождения и Бог с тобой, надоел вот так или порядочно.

Завершение литературной обработки переписки было финалом трудов по сохранению памяти о реальных взаимоотношениях писателя и Се-рафимы Павловны — истории их любви, разворачивавшейся на фоне художественной жизни России начала XX в. и бытия довоенной русской

эмиграции в Европе. Вероятно, что проходящая во снах писателя бесконечная череда образов ушедших деятелей русской культуры Серебряного века была, во многом, связана с его дневной работой над письмами той эпохи. Далее в творчестве Ремизова наступил этап романтизации и символизации образа ушедшей любимой, этап, который можно сравнить с абсолютизацией Данте совершенств умершей Беатриче.

В 1947 г. Ремизов начал создавать вдохновленный образом Серафимы Павловны цикл «Легенды в веках».¹¹ Первой ступенью реализации этого замысла стало написание произведения «Повесть о двух зверях. Ихнелат (так! — А. Г.)», основанного на притче о двух друзьях-шакалах из классического памятника санскритской повествовательной прозы — «Панчатантры». В «Дневнике мыслей» предстают этапы ремизовского труда над переработкой исходного текста. Сначала в сно-формах отражается освоение писателем материала источника:

Запись от 10—11.VI.<1948>:

Переехали в Берлин, а может, это другой город, только знаю, в Германии. <...> Потом я читаю начало сказки из Панчатантры. Оно светится и вдруг стеклится. Я хочу запомнить и снова перечитываю.

В дальнейшем в записях фиксируется процесс ремизовской авто-рефлексии. Писатель стремится рационально осознать причины своего подсознательного выбора источника — притчи о двух видах дружбы: заканчивающейся предательством и верной до смерти. По ходу работы писателя над своим вариантом старинной легенды ее герои — Стефанит и Ихнелат — всё более приобретали черты старых интеллигентов-эмигрантов, по судьбе и профессии в чем-то очень похожих на Ремизова.

Запись от 11—12.X.<1948>:

Летучий сон. Пишу. Фразы настигает как дуем ветра. И они улетучиваются. Почти не спал. Всё мысленно прохожу за «Стефанитом и Ихнелатом».

Запись от 18—19.X.<1948>:

Оканчивая «Стефанита и Ихнелата», меня вдруг осенило: слезы Ихнелата открыли мне разгадку — Стефанит и Ихнелат — это дружба (самоубийство Стефанита) «увенчанного», а Лев и Телец, хороша дружба: наговор «следящего» Льву на Тельца и Тельцу на Льва разрушил до убийства Тельца: друг убил друга, а не друг убил себя, предвидя гибель (смертная казнь) друга.

¹¹ О цикле «Легенды в веках» см. подробнее: Грачева А. М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб., 2000. С. 166—316.

«Дневник мыслей» фиксирует интенсивный процесс работы Ремизова над текстом, процесс, развивающийся по нарастающей, продолжающийся не только днем, за письменным столом, но и ночью, в подсознании:

Запись от 22–23.X.<1948>:

Раскладываю разговор – Стеф<анита> и Ихнелата – блестящие «янтари».

Запись от 26–27.X.<1948>:

Сочиняю фразу к «Стеф<аниту> и Ихнелату» – говорит Ихнелат.

Запись от 4–5.XI.<1948>:

У меня такое чувство, что я не спал всю ночь, повторяю фразы из «Стефанита и Ихнелата».

Запись от 7–8.XI. <1948>:

Рассматривал тетрадь со «Стеф<анитом> и Ихнелатом». На правой странице печатный текст, переписанный моей рукой и картинка. Когда дохожу до картинки, чего-то скучно. Думаю, уничтожу текст. Остается одна картинка. И тут какая-то тетка учит меня по-французски: «При уничтожении надо читать». А произносит она плохо, думаю: не буду – буду по-русски.

Запись от 16–17.XI.<1948>:

Поправляю разговоры Матери Льва. Что-то не выходит. И я всё возвращаюсь.

Запись от 16–17.XI.<1948>:

Всё пишу, не могу отстать – отдельные фразы в «Стефаните и Ихнелате».

Запись от 25–26.XI.<1948>:

Наконец я понял, как надо разделить книгу «Стефанита и Ихнелата». В ней 4 части. Я отдал страницы. И читаю. И это повторяется. Первый раз до 2 ч<асов> ночи, а потом под утро.

Запись от 8–9.XII.<1948>:

Читал моего «Стеф<анита> и Их<нелата>», рукопись на больших листах с красным. Но не могу докончить, мешают.

Запись от 18–19.XII.<1948>:

Новые сцены из «Стефанита и Ихнелата». Во время разговора с Ихнелатом вдруг показывает Льву, что это ревет Бык. / Лев:

«Чтой-то? Мне показалось». / Их<нелат> [С жиру бесится] Автомобиль гудит».

Дневниковые записи показывают кристаллизацию основной темы повести. Истолковывая смысл своего произведения Н. Кодрянской, Ремизов пояснял: «Старинная русская повесть для меня не только пересказ, а выражение моих чувств, содержание повести для меня материал. Повесть о двух зверях — Стефанит и Ихнелат. О зверях среди зверей. Явление таких, которые получают название “человек” (Стефанит и Ихнелат). <...> Я и Стефанит, я и Ихнелат — человек. <...> я беру место и время, что мне ближе по моему чувству: Париж, война, алерт (тревога). События шестого века, а у меня двадцатого».¹²

Основная философская тема произведения Ремизова — экзистенциальное одиночество человека. Писатель материализует эту тему, имеющую явный автобиографический подтекст, в истории двух героев — интеллектуалов, фактически представляющих собой две составляющих человеческой личности. Ихнелат — это та ее часть, которая делает попытку установить связи с социумом, приспособиться, социализироваться и, в итоге, обрести от этого выгоду. Стефанит — воплощение таящегося в человеке стремления бескомпромиссно отстаивать свое «я» и принимать как должное свое право на одиночество. В итоге индивидуум в любом случае обречен на уничтожение социумом, но проявлением свободы выбора (хотя бы свободы выбора смерти) личность утверждает свою победу над навязываемым обществом нивелированием ее самооценности и самодостаточности.

Запись от 10—11.I.<1949>:

«Поднялся с 6 ч<асов>. Думал, как назвать “Стеф<анита> и Их<нелата>”. А что если “Звериная комедия”».

В дневниковой тетради сно-формы, посвященные работе над «Повестью о двух зверях», соседствуют с записями снов, фиксирующих острое переживание Ремизовым юридических и психологических последствий принятия им советского гражданства. Это соположение сно-форм делает явными внутренние коннотации тематики произведения с вопросами, волновавшими писателя в реальной жизни, — об осуществленном им праве на свободу выбора и о цене, которую он за это заплатил.

В это время в «Дневнике мыслей» кроме записей, регистрирующих продолжающийся и ночью процесс создания конкретных литературных текстов, появляются сно-формы, которые условно можно назвать «эстетическими абстракциями». Они представляют собой фиксацию свободной творческой мысли автора, мысли, не отягощенной какой бы то ни

 ¹² Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959]. С. 113.

было прагматической и, вследствие этого, конкретизирующей мотивацией, привязкой к определенному тексту, к реальному или пассажискому локусу с присущими тому субъектно-объектными атрибутами. «Содержание» такого рода сно-форм двояко.

Во-первых, это — бесконечно вариативная словесная материализация родового понятия «литературное творчество», различные составляющие которого «визуализируются» во всевозможных пластических образах:

Запись от 10—11.IV.<1947>:

Есть два, и неизменных, способа воплощения образа: физическое и формальное. Я стою перед двумя «конструкциями». Это вид двух столбиков: книга на книге с выступами. Самое трудное: формальное, п<отому> ч<то> всё время движущееся.

Запись от 2—3.VIII.<1947>:

Я выбирал целые фразы, все они были сделаны из осколков, деревянных обрубков, и всё это выговаривал. Очень было выразительно, и — я их видел перед глазами. И фраза за фразой — надоедливо.

Запись от 18—19.XII.<1947>:

Воздушная постройка из цветных квадратов и спиралей. И всё это слова.

Запись от 21—22.IV.<1948>:

Рукописи в виде карликов: отдельно книги.

Запись от 4—5.VII.<1948>:

Над фразой: надо закрепить: начало и конец начинают высвечивать живым огоньком, как пуговка. Не могу добиться: конец должен светиться ровно — зеленым листком. А всё не выходит.

Запись от 8—9.VIII.<1948>:

Ряды словесных примеров. Как ломтики ветчины. И я всё переделяю. И путаюсь. И всё боюсь, перепутаю, и забуду.

Запись от 10—11.VIII.<1948>:

Изгородь и вся в бисеринках. Бисеринки — мысли.

Запись от 9—10.XI.<1948>:

Слова в виде миндальных пирожных укладываю в коробку. Одной мало — надо еще коробку.

Во-вторых, это — сно-формы, в которых единственным субстантивированным субъектом/объектом становится сам автор («я»). Подобно Протею, он воплощается в различных сущностях, зачастую перетекающих из одной конфигурации в другую:

Запись от 23—24.VI.<1947>:

Я превращался в цветы, расчлняясь, целая грядка, и чудных пушистых зверьков. Я знал, как это делать: тут же находился станок, где выдывались мною и цветы, и звери.

Запись от 26—27.II.<1948>:

Я себя делю на ломтики, как «смокву» — таким я себя вижу. Всё это живо, но чтобы действовать, надо что-то со мной сделать. Но я загорожен. И попадаю в загон — невылазная грязь, ступить страшно, а вместе с тем я должен, мне необходимо оставаться в этом загоне.

Запись от 19—20.III.<1948>:

Моя комната. Тишина. Не слышно шагов. Ровный земляной ковер. Зеленая лампа. Без окон — и только стеклянная дверь — там проходят. Передо мной сидит человек; в нем всё, что есть человеческого. И смотрит: тройным взглядом. И я читаю, как в книге, по строчкам, меж строчек и за строчками. И это несколько трудно, но я чувствую, как, глядя, незаметно для себя, я вхожу в него. И если бы сказать мне, остановиться, я не мог бы. Или он видит во мне тот же тройной взгляд и не может оторваться — не смотреть.

Появление многочисленных сно-форм, воспроизводящих происходящую в авторском сознании работу над своими произведениями, а также сно-форм — «эстетических абстракций» свидетельствовало о наступлении нового этапа в развитии «Дневника мыслей», ставшего с этих пор полномасштабным отражением творческого мышления Ремизова.

Матрица современности и новейший русский роман*

Попытки определить феномен современности, обозначить ее границы предпринимались неоднократно. «Современность» — текучее явление. Масштаб художественного явления порой понятен не сразу, *большое видится на расстоянии*; другими словами, «чтобы жизнь сложилась в историю, она должна быть не твоей, а чужой и прошлой».¹

Но, как ни велик соблазн передоверить разговор о текущей литературе грядущим поколениям, сегодня трудно уклониться от представления, что отечественная словесность в последние 10–15 лет пребывает в новом качестве, представлена самыми разнообразными жанрами и тенденциями, противоречива и в то же время органична. Рискнем сказать, что она вошла в стадию новой сложности.

Литературный мир — усложняется. «Во времена Белинского в год появлялось 2–3 заслуживающих разговора романа, при Чуковском — 7–8, теперь — 50–60», — замечает один критик.² «Ежегодно, по моим подсчетам, выходит около 40–50 качественных романов на русском», — утверждает другой.³

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 15-34-01013 «Интертекстуальная поэтика русской художественной прозы XIX–XXI веков и теоретические основы интертекстологии».

¹ Генис А. Рип ван Винкль // Генис А. Шесть пальцев. М., 2009. С. 477.

² Данилкин Л. Клудж: Как литература «нулевых» стала тем, чем не должна была стать ни при каких обстоятельствах // Новый мир. 2010. № 1. С. 140.

³ Абдуллаев Е. Свободная форма: «Букеровские» заметки о философии современного романа // Вопросы литературы. 2015. № 5. С. 34.

Отсюда — «может быть, главная характеристика литературы нулевых — она не поддается централизации, гуртованию. <...> Одни могут выстраивать картину нулевых вокруг Пелевина, другие — вокруг Прилепина, третьи — вокруг Улицкой, четвертые — А. Иванова и так далее, но всё это свидетельствует либо о личных пристрастиях наблюдателя, либо о его неосведомленности», — заметил Лев Данилкин.⁴ Важнейшее качество литературы — ее множественность, гетерогенность.

Как разобраться в этом многообразии? Что брать за точку отсчета? И есть ли она? А если таких точек — множество?

Писатель Леонид Юзефович в одном интервью на вопрос «Что будет с историей как наукой дальше?» ответил: «Не представляю. Ведь если, условно говоря, по Древней Руси у вас есть десять источников, то у вас один уровень возможных комбинаций и манипуляций, а если их десять тысяч, то совершенно другой. По современности количество источников уже превосходит мыслимые пределы. Мне кажется, что картина мира будет дискретной, будет множество историй: обуви, холеры, стакана, Верховного Совета, вашего журнала. Они, в свою очередь, будут делиться на национальные истории и региональные истории».⁵

Не так ли и с литературоведением? Нет общего представления о литературном пейзаже — но только ли потому, что «большое видится на расстоянии»? Или потому, что новейшая история литературы — это резко возросшее количество комбинаций, и потому она неизбежно должна мыслиться иначе?

Если теоретики искусства начала XX века смотрели на мир монтажно, то исследователи XXI столетия смотрят на мир сквозь призму матрицы. Михаил Эпштейн рассуждает о «матричном» подходе к реальности, обращаясь к научному творчеству таких ученых, как Билл Гейтс, Стив Джобс, Рэй Курцвейл.⁶ Культурологический потенциал «матрицы» использует Ольга Балла, рассуждая о «нулевых» годах русской истории.⁷

⁴ Данилкин Л. Клуб. С. 154.

⁵ «Это дар — не знать, что будет завтра»: внутренняя Монголия Леонида Юзефовича (интервью) // Афиша-Воздух. 13.10.2015.

⁶ «...разве не во все времена были техники, прагматики, эмпирики, которые точно так же относились к бытию как к набору легио, который предлагает массу альтернативных решений? Конечно, такие люди были всегда, но только с конца прошлого века у них появилась профессия, которая оправдывает «матричный» подход к жизни и делает его массовым. Мир — подвижная матрица из элементов, кирпичиков, которые можно состыковывать со всех сторон, не так, так этак. <...> Матричный человек — не материалист, а практический идеалист, концептуальный инженер...» (*Эпштейн М. Н.* Мир как матрица: О новом психотипе // Частный корреспондент. 24.10.2011).

⁷ Балла О. Право на безвременье // НГ Ex Libris. 27.10.2011.

Перед нами нечто большее, чем наукообразная метафора — скорее научная модель. Чем она хороша? С такого ракурса современность представляется не линейным развертыванием событий, но сочетанием многообразных факторов, влияний, тенденций. Она лишена устойчивого центра, однако держится напряжением разных литературных страт. Представить литературный процесс как многополярную матрицу — значит попытаться освоить его многомерность, будучи участником процесса.

Можно возразить, что участник событий по определению не может судить о качестве всей системы, пока находится внутри нее. Однако вряд ли корректно говорить, что только спустя сто лет, вытянувшись в хронологическую линию, литература станет более объективной. Вообще говоря, литературоведы не «объективнее» литературных критиков — речь идет о разных типах смысловой работы: в его статике (академическая наука) и в динамике (литературная критика). Как писал философ Вадим Руднев, «наиболее “реалистическое” представление человеческой биографии — это не хронологическая таблица, приложенная к книге из серии “Жизнь замечательных людей”, а фильм Тарковского “Зеркало”. Хронологическая таблица не выступает по отношению к нелинейной памяти как нечто инвариантное. Инвариантность предполагает синхронность».⁸

Модель литературного процесса как матрицы опирается на представление об истории как многовариантном процессе — в духе романной теории Бахтина, поздних работ Лотмана о «непредсказуемых механизмах культуры» и семиосфере, социологических работ о теории хаоса («После метода» Джона Ло, «Антихрупкость» Нассима Талеба), критических работ Льва Данилкина о «длинном хвосте» отечественной словесности («Нумерация с хвоста»). Особое значение здесь имеют работы русских формалистов (прежде всего, Тынянова и Шкловского), изучавших текущую литературу с высоты теории словесности и историю литературы — с позиции современников. Понятие «матрица» отражает тот же уровень теоретической абстракции, что и «структура» у семиотиков или «ризома» у постмодернистов. При этом матрица — единица иного системного плана, нежели структура или ризома. Матрица органичнее структуры — это гибкая система, готовая к изменчивости. Матрица концептуальнее ризомы — она целостна.

Принять идею неопределенности, многофакторности литературного развития непросто — тогда как именно это и составляет его движущую силу. Литература — нестабильная система, и непредсказуемость — ее *perpetuum mobile* («В искусстве вообще чаще всего ничего не получает-

⁸ Руднев В. П. Феноменология события // Руднев В. П. Философия языка и семиотика безумия: избранные работы. М., 2007. С. 61.

ся», — сказал когда-то Шкловский; Нассим Талеб добавил бы, что литература — это антихрупкая система). Так что речь в данном случае идет и об особой позиции исследователя. «Внимательный и беспристрастный взгляд, направленный навстречу исследуемой действительности, не должен спешить увидеть в ней раз и навсегда определенную структуру, ибо таким образом он рискует навязать ей свои собственные структуры. Мы как можно дольше воздерживаемся от интерпретации — мы собираем для нее данные», — писал Жан Старобинский.⁹ Эти слова швейцарского филолога можно взять эпиграфом к нашему разговору.

Особость этой исследовательской позиции еще и в оценке временной дистанции. Критик судит о литературных событиях с пылу с жару; литературовед оперирует куда более протяженными временными отрезками — десятилетиями, столетиями. Однако меж двумя крайностями — «потомки рассудят» и «очевидцам виднее» — есть и золотая середина. Она была найдена Тургеневым: в одном из писем П. В. Анненкову (от 21 апреля — 3 мая 1853 г.) он говорит об умении «судить о произведениях — не скажу как потомство, а как обыкновенная публика судит о них пять лет после их появления». Игорь Сухих назвал это умение «критической силой отдаления предмета», «критерием Тургенева».¹⁰ Думается, этот критерий не чужд и литературоведению в его динамической ипостаси.

(Кстати, напомним, что пять лет назад вышли «Письмовник» Шишкина, «Остромов» Быкова, «Метель» Сорокина, «Горизонтальное положение» Данилова, «Мультики» Елизарова, «Хлорофилия» Рубанова. Читатель может сверить свои впечатления.)

Представляя, какой может быть литературная матрица современности, мы прежде всего говорим о развитии современного¹¹ романа. Именно этот жанр наилучшим образом отвечает самой идее современности — всегда становящейся, неготовой. Так мы отвечаем на вопрос теоретического порядка: а можно ли представить современность в виде целостной модели? Матрица современного романа как раз и определяется многообразными *отношениями* между разными индивидуальными текстами (их

⁹ Старобинский Ж. Психоанализ и познание литературы // Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры: В 2 т. М., 2002. Т. 1. С. 64.

¹⁰ Сухих И. Прорицатель Белинский и живописец Гончаров: (К проблеме «Литература и критика») // Знамя. 2012. № 10. С. 161.

¹¹ Ограничим наши изыскания последним пятнадцатилетием, взяв за символическую точку отсчета 1999 год, когда, помимо прочего, вышел роман Михаила Шишкина «Взятие Измаила» — знаковая книга для новейшей отечественной прозы.

мотивами, темами, символикой), которые входят в это дискурсивное целое. Нас интересует художественная комбинаторика. Выделяя разновидности нового русского романа, мы фиксируем не столько их противостояние, сколько взаимопроникновение.

Сама история изучения романа — это история постижения его изменчивости.¹² Важнейшая роль здесь принадлежит, как известно, Михаилу Бахтину. Им определена не только природа романа, но сам ракурс его изучения: роман — единственный «становящийся жанр», возникающий из непосредственного контакта с «незавершенной» действительностью. «Изменчивость» романа и «текучесть» его форм дала Бахтину основание назвать этот жанр «центральным героем» литературного процесса, ибо его рождение и становление «совершается при полном свете исторического дня».¹³

И сегодня роман остается центральным героем литературного процесса. Какая она, матрица современности?

Чтобы понять генезис современного романа, нужно обратиться к тем моделям времени, которые он создает (по Бахтину, всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов), и к тем фабульным механизмам, с помощью которых чувство времени выражено.

Дмитрий Быков сформулировал метасюжет русского романа XIX века как движение «из усадьбы на каторгу». Мысль эта любопытна; вспомним, что Бахтин, анализируя роман XIX века, подчеркивал значение таких замкнутых локусов, как усадьба, замок, отмечал «существенно новую локальность» в виде гостиной-салона в романах Стендаля и Бальзака: «Здесь сгущены, сконденсированы наглядно-зримые приметы как исторического времени, так и времени биографического и бытового...».¹⁴ Быков сформулировал и метасюжет революционной эпопеи XX века:

¹² Как замечает И. Силантьев, «среди работ, представляющих концепции романного жанра, выделяется ряд исследований, для которых характерен *подход к роману как многоаспектной и целостной структуре, устойчивой (и в то же время развивающейся) на протяжении всей литературной истории жанра. Представления подобного рода в 1920-е г. предваряла теория романа Б. А. Грифцова, но основные контуры этого подхода были заложены в трудах М. М. Бахтина. В настоящее время представления о романе как целостной и «самонастраивающейся» структуре развивают исследования Д. В. Затонского, Н. Д. Тмарченко» (Силантьев И. Сюжетологические исследования. М., 2009. С. 47. Курсив мой. — С. О.).*

¹³ Бахтин М. М. Эпос и роман // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 447.

¹⁴ Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Там же. С. 395.

«раннее растрение — отцом или отчимом — прочитывается как метафора прямого насилия “прежней власти”. Уход к любимому сулит свободу, но оборачивается еще горшей, еще более безвыходной несвободой. Родившийся от незаконной любви плод — новое общество, новое поколение — оказывается нежизнеспособен»¹⁵ (этот метасюжет прослеживается Быковым в «Тихом Доне», «Докторе Живаго» и «Лолите»).

Могут возразить (в соответствии со знаменитым предостережением Романа Jakobсона о Набокове),¹⁶ что мы цитируем не академическое исследование, а статью писателя (впрочем, Быков — не только поэт, но в одной из своих ипостасей исследователь литературы XIX—XX вв.). На это возможен контраргумент, причем из бахтинского арсенала. Упрекая литературоведов в том, что они пытаются изучать роман, изобретают для него разные ограничивающие классификации и не понимают изменчивой природы жанра, Бахтин замечал: «Гораздо интереснее и последовательнее те нормативные определения романа, которые даются самими романистами, выдвигающими определенную романную разновидность и объявляющими ее единственно правильной, нужной и актуальной формой романа. Таково, например, известное предисловие Руссо к “Новой Элоизе”, предисловие Виланда к “Агатону”, Вецеля к “Тобиасу Кнау-ту”. <...> Такие высказывания, не пытающиеся обнять все разновидности романа в эклектическом определении его, сами зато участвуют в живом становлении романа как жанра».¹⁷

Словом, если мы хотим выстроить не канон, но художественную матрицу современного романа, следует принимать во внимание и «неокончательные» суждения самих писателей — разумеется, в литературоведческой перспективе. Постараемся и мы, связав критику и теорию, проследить некоторые черты «живого становления».

Мы полагаем, что своеобразие современного романа складывается на пересечении двух метасюжетов.

Во-первых, в новейшей прозе долгое время была востребована фигура «современного Бальзака», который бы показал картину нравов, совершил ревизию состояния общества, сформулировал метафору современности. В разное время на эту вакансию претендовали Дмитрий Быков

¹⁵ Быков Д. Метасюжет русской революции // Новая газета. 12.11.2014. № 127.

¹⁶ Как известно, Jakobсон забаллотировал на профессорскую должность автора «Дара»: в ответ на замечание, что Набоков — крупный писатель, Jakobсон якобы ответил, что слон — крупное животное, но при этом его не приглашают возглавить кафедру зоологии.

¹⁷ Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 2012. Т. 3: Теория романа (1930—1961 гг.). С. 614.

(«Списанные»), Захар Прилепин («Санья»), Роман Сенчин («Елтышевы»), Андрей Рубанов («Сажайте, и вырастет»). Потом оказалось, что метафора современности лучше всего видна сквозь призму прошлого — и в начале 2010-х зафиксирован резкий рост числа исторических романов / романов о перемещениях во времени: «Обитель» Прилепина, «Девушка с веслом» Кунгурцевой, «Агафонкин и время» Радзинского-мл., «Зулейха открывает глаза» Яхиной и др.

Важно отметить, что эстетика Сенчина, Кунгурцевой, Быкова, Радзинского, Прилепина, Яхиной — это во многом эстетика позднесоветской прозы (Трифонов, Житинский, Стругацкие) и открытых заново в позднесоветское время авторов (например, Булгакова, чья идея о спасительном визите нечисти прямо обыграна в «Девушке с веслом» и «Агафонкине»). Среди особенностей этой эстетики: умеренные фабульные эксперименты, социальная перспектива, этическая однозначность, чётко расставленные акценты в рамках «свой-чужой». И — особое переживание времени: «век не отпускает». Отсюда — повторяющийся из романа в роман мотив: бегство, побег, в самом общем виде — попытка выйти за некие заранее очерченные кем-то пределы. Герои бегут *откуда-то* (из Соловецкого лагеря, из галлюцинаторного мира Теллурии, из невыносимой «олимпийской столицы», из реальности цукербринов) или *куда-то* (в тайгу, как герои романа Ремизова «Воля вольная»; в параллельное измерение, как герои Агафонкина; в 41-й год, как герои Кунгурцевой; в деревню Ненастье, как герой романа Иванова «Ненастье»; в Средневековье, как герой романа Алешковского «Крепость»). Они, наконец, перемещаются вовсе помимо воли — конечный пункт путешествия может оказаться спасением (как для героини Яхиной) или же обернуться новой, уже не управляемой бедой (как для героев романа Сенчина «Зона затопления»). Непосредственным участником такого сюжета оказываются некие властные силы — социальные (советская власть у Прилепина и Яхиной, власть нынешняя у Ремизова, Сенчина, Алешковского и Кунгурцевой, общество будущего у Сорокина) или сверхъестественные (пелевинские цукербрины, власть Хроноса у Радзинского). Важной (хотя и факультативной) составляющей сюжета является встреча путешественников-беглецов с неведомым («Сигналы» Быкова, упоминавшие романы Кунгурцевой и Радзинского).

Стремление персонажей сбежать, покинуть пределы враждебного пространства (физического или ментального) оказывается тщетным: попытка дописывания «Мертвых душ» ограничивается синопсисом («Возвращение в Египет» Шарова), беглецы Прилепина не проходят испытания холодным осенним морем свободы и приплывают обратно в лагерь («Обитель»), герой Ремизова вынужден вовсе уехать из России в климатически близкую, но духовно чуждую Канаду («Воля вольная»), гибнет

археолог Иван Мальцов, в буквальном смысле оказавшись в плену у прошлого («Крепость»), Герману Неволину деньги не приносят счастья — напротив, заставляют скрываться от всех, усиливая *нелюбовь* в душе, в буквальном смысле *лишая воли* («Нелюбовь»), персонажи Сенчина после всех злоключений оказываются пленниками не только государственных сил, но и сил природы («Зона затопления»), путешественникам Кунгурцевой жуткий 41-й год кажется гораздо более понятным временем — но и там они надолго не задерживаются, будучи приняты бдительной Зоей Космодемьянской за шпионов («Девушка с веслом»).

Побег оказывается тщетным потому, что речь идет не о другой «земле обетованной», но о времени обетованном.¹⁸ В силу такого своеобразия фабулы этот метасюжет обозначим как «центростремительный» — он фиксирован на одной эпохе, советской, на постоянном воспроизведении ее коллизий.

Романная модель совсем иного рода нашла отражение в творчестве таких авторов, как Михаил Шишкин («Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник»), Александр Гольдштейн («Помни о Фамагусте», «Спокойные поля»), Евгений Водолазкин («Лавр»), Сергей Соловьев («Адамов мост»), Александр Иличевский («Солдаты Апшеронского полка»), Мариам Петросян («Дом, в котором...»), Алексей Макушинский («Пароход в Аргентину»), Лена Элтанг («Побег куманики», «Другие барабаны»), Олег Юрьев («Неизвестные письма»). Их не интересует цайтгайт, они сосредоточены не на портрете эпохи, но на самих свойствах Хроноса — поэтому в их романах границы времени разомкнуты, действие происходит везде и всегда. Эти авторы тоже читали Стругацких и Трифонова, но литературные уроки брали у Джойса и Фолкнера («У вас совсем нет советских интонаций», — замечает герой «Парохода в Аргентину» Александр Воско рассказчику). Их художественная матрица — западноевропейский роман XX века; некоторые из них когда-то были зачислены (а потом частично реабилитированы) в постмодернисты. Сегодня их местожительство не обязательно ограничивается границами России, и место проживания тут фактор не политический, а эстетический: как если бы нахождение *вне* способствовало высоте взгляда, с которой виден не только советский человек или, скажем, человек эпохи «нулевых», а человек в его универсальности. Сама манера повествования преодолевает историческое время, что нашло отражение в эпистолярном метасюжете, воспроизводящемся у Шишкина («Письмовник»), Элтанг («Побег куманики», «Другие барабаны»), Юрьева («Неизвестные письма»): герои пишут друг другу письма из разных времен, не наде-

¹⁸ Подробнее см.: *Оробий С.* Вечное возвращение в «советский Египет»: метасюжет новейшего русского романа // Литература. 2015. № 56 (июль).

ясь на ответ или же вступая в диалог высшего порядка — преодолевая ход времени.

Вспомним, что среди всего разнообразия хронотопов Бахтин выделял лишь один его тип, в котором «время <...>, можно сказать, вовсе выключено». ¹⁹ Это хронотоп средневековых символических романов-видений, «Божественной комедии» Данте. «Временная логика этого вертикального мира — чистая одновременность всего (или “сосуществование всего в вечности”)». ²⁰ Разделяющее время не имеет «осмысливающей силы», и только «во вневременности может раскрыться истинный смысл того, что было, что есть и что будет...» — писал Бахтин. ²¹ Хронотоп романов данного типа — это именно «хронотоп без времени». Буквальное воплощение он нашел в «неисторическом романе» Евгения Водолазкина «Лавр».

Такой метасюжет обозначим как «центробежный», или разомкнутый.

Эти наблюдения не исчерпывают всего разнообразия романной сюжетики — скорее, намечают некие «силовые линии» (в той мере, в какой литература вообще имеет дело с тенденциями). За пределами этой статьи остаются интереснейшие вопросы, непосредственно касающиеся матрицы современности. Например, вопрос о сложной взаимосвязи социальных сетей и традиционной литературы — и формировании на этой почве «поэтики флуда». Или вопрос о перераспределении жанровых ресурсов между большой и малой формами — и возникновении такого квазижанра, как *романоид*. ²² Или вопрос о влиятельности стилистики нон-фикшн, когда факты ценятся больше фабул, а умный рассказчик — больше придуманного героя («Горизонтальное положение» Дмитрия Данилова, «Обращение в слух» Антона Понизовского, «Детство 45—53» и «Поэтка» Людмилы Улицкой и др.). Или аналогии с литературной ситуацией столетней давности: с одной стороны, провозглашен расцвет прозы (например, Тыняновым в программной статье «Промежуток»), а с другой стороны — проза переживает жанровый кризис, происходит движение от классического романа к очерку, запискам («Записки юного врача», «Конармия», «Египетская марка» и мн. др.). Шкловский называл это явление «разроманиванием» — не наблюдается ли нечто похожее и сегодня?

¹⁹ Бахтин М. М. *Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике*. С. 306.

²⁰ Там же. С. 308.

²¹ Там же. С. 307.

²² См. об этом: *Оробий С. П.* Романы и романоиды // *Современные проблемы науки и образования*. 2014. № 2. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.science-education.ru/116-12348>.

Кроме того, мы не разводим писателей по литературным лагерям. Вот контрпример. Метасюжет бегства при всей его внешней злободневности очевиден и в романе Иличевского «Матисс» — романе «про исход из метафизического рабства», герой которого, «галлюцинирующий наяву физик Королев, уставший и от науки, и от омерзительных девяностых/нулевых, бросает всё, обручается со статуей, плутает несколько недель в адском лабиринте секретного метро, а затем уходит странствовать с бездомными и, умирая от упоения левитановскими пейзажами, растворяется в русском ландшафте».²³

Так разные романские формы, оставаясь противоположностями, формируют подлинное романное единство. Общая картина формируется только с учетом феноменов, разных по своей природе. При этом обе рассмотренные нами фабулы связаны одной важной идеей. Это идея выключенности из настоящего. Роман 2000-х повествует о современности, преодолевая ее, уходя от нее. Прошлое настолько влиятельно, что подменяет настоящее и тем самым определяет сценарий будущего. *Хронотоп* превращается в *хроноцид*.²⁴ Кажется, что в русском романе, при всем обновлении повествовательных техник, XXI век еще не настал. Век же двадцатый нырнул в какое-то условное Средневековье: опричники Сорокина, Иван Грозный у Алексея Иванова и Гиголашвили, Лавр Водолазкина, сны о монгольской Орде у Алешковского...

Впрочем, не так ли и в веке XIX-м? Кажется, русскому роману всегда было уютнее в прошлом, чем в современности. Самые злободневные романы писал самый «западный» классик — Тургенев, но и он убил героя своего времени — Базарова. Символично, что роман о современном Базарове — прилепинский «Санька» — заканчивается принципиально «несовременным» переживанием времени: «В голове, странно единые, жили два ощущения: всё скоро, вот-вот прекратится, и — ничего не кончится, так и будет дальше, только так».

Впрочем, история новейшего русского романа не закончена.

* * *

Резюмируем.

Матрицу можно представить как промежуточную стадию культурной рефлексии — между структурой и ризомой, между «современникам виднее» и «вот как всё было на самом деле». Это сама себя осознающая совре-

²³ Данилкин Л. Клубж. С. 154.

²⁴ Подробнее об этом см.: Эпштейн М. Н. Хроноцид: пролог к воскрешению времени // Октябрь. 2000. № 7. С. 157–171.

менность. В ее создании участвуют разные механизмы аккумуляции культурных смыслов: манифесты, премии с их «длинными» и «короткими» списками и т. д. Можно ли утверждать, что у каждого времени — своя «матрица»? Можно, хотя эта проблематика оказывается слепой зоной гуманитарных исследований — вне дихотомии «критика/литературоведение», так что история литературы (в общепринятом представлении) воображается нам готовой и чужой. Теорию словесности, которая апеллирует к самовосприятию современников, создавали опоязовцы.

Литературный процесс XXI века тоже можно представить в виде матрицы — системы, состоящей из десятков малых и крупных литературных полей, связанных между собой более или менее сильной гравитацией. Да, такая поэтика неизбежно противоречива и неполна, но — вспомним Шкловского: «Если факты разрушают теорию, то тем лучше для теории». Речь идет о такой области знания, которая располагается между критикой и академическим литературоведением. Тот, кто осваивает это пространство, играет роль медиатора, посредника. Это фигура неоднозначная, рискованная, однако медиатор — недаром один из ключевых персонажей с глубокой древности. Фольклористы подтвердят.

Человек и цивилизация в тексте Генри Миллера «Нью-Йорк и обратно»

Американский прозаик Генри Миллер (1891—1980) принадлежит к числу культовых писателей XX в.: его жизнь овеяна легендами, а его тексты снискали автору репутацию литературного скандалиста. Им восхищались Дж. Оруэлл, Бл. Сандрар, Л. Дарелл. Его одобряли мэтры модернизма, такие как Э. Паунд, Т. С. Элиот, О. Хаксли. Им вдохновлялись Дж. Керуак, Н. Мейлер, Э. Йонг. В защиту его произведений выступали Ж. Батай, П. Элюар, Ж.-П. Сартр. Романы его парижской трилогии («Тропик Рака», «Черная Весна», «Тропик Козерога»), опубликованные в Париже в 1930-е гг., были запрещены на родине автора до 1961 г., что, впрочем, только подогревало к ним интерес. Однако к началу 1970-х «мода» на Миллера сошла на нет. Его тексты стали объектом сокрушительной критики знаменитой феминистки Кейт Миллет,¹ и с этого момента в глазах журналистов, интеллектуалов и даже читательской публики он стал выглядеть как «сексуальный шовинист», а его книги — как «компендиум сексуальных неврозов Америки».² Атака Миллетт не раз подвергалась критике,³ анализу⁴ и переосмыслению,⁵ но так или иначе

¹ *Millet K.* Sexual Politics. New York, 1970. P. 294—313.

² *Ibid.* P. 295.

³ *Mailer N.* The Prisoner of Sex. Boston: Little, Brown & Co., 1971. P. 105—123.

⁴ *Williams J.* Henry Miller: the Success of Failure // Virginia Quarterly Review. 1968. Spring. P. 225—45; *Woolf M.* Beyond Ideology: Kate Millett and the Case for Henry Miller // Perspectives on Pornography and Literature: Sexuality in Film and Literature / Eds. G. Day and C. Bloom. London: Macmillan, 1989. P. 113—128.

⁵ *Jong E.* The Devil at Large: Erica Jong on Henry Miller. New York: Turtle Bay Books; Random House, 1993. P. 191—212.

она привела к ослаблению интереса к текстам Миллера, которое мы наблюдаем и сегодня.

До самых последних лет академическая наука также избегала Генри Миллера. О нем редко писали, редко говорили. На сегодняшний день, несмотря на возросшее число публикаций о нем, Миллер «так и не канонизирован академическим сообществом»: ⁶ он остался на периферии культуры, в стороне от литературного официоза.

Данная статья посвящена тексту «Нью-Йорк и обратно» («*Aller Retour New York*»), одному из как будто бы маргинальных у Миллера, о его путешествии из Европы в США. Этот текст, написанный в середине 1930-х гг., исследователи, как правило, обходят стороной, хотя он сочинен именно в том жанре, в котором Миллер больше всего преуспел, — в жанре письма к другу, жанре, из которого вырастает вся его зрелая проза. Миллер с юности любил писать письма и придавал большое значение своей переписке, уделяя ей столько же времени, сколько и художественной прозе. Даже в 1920-е и 1930-е гг. письма друзьям значили для него ничуть не меньше, чем художественная проза. Он, в общем-то, и состоялся как писатель, когда научился синтезировать, примирять эти два импульса, эти два вида деятельности, литературный и эпистолярный, художественный вымысел и откровенность. Миллер во многом следовал урокам Ван Гога, по многу раз перечитывая его знаменитую переписку, которую оценивал, как и «Дневник» Нижинского, выше всякой литературы. ⁷

Переписка Миллера с его друзьями, с Дарреллом, ⁸ с Майклом Френкелем, ⁹ оценивается читателями и исследователями ¹⁰ ничуть не ниже, чем его романы или его эссе, части которых порой также строятся как личные письма.

Данный текст оказался исключением. Опубликованный в 1935 г. издательством «Обелиск пресс» (1935), в котором за год до этого вышел

⁶ *Decker J.* Henry Miller and Narrative Form: Constructing the Self, Rejecting Modernity. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Inc, 2005. P. 148.

⁷ *Миллер Г.* Тропик Рака. СПб.: Азбука, 2000. С. 22, 33.

⁸ *Durrell L., Miller H.* A Private Correspondence / Ed. By G. Wickes. New York: E. P. Dutton & Company, 1963. 400 p.

⁹ *Miller H.* Henry Miller's Hamlet Letters / Edited, and with an Historical Introduction by Michael Hargraves and an Original Preface by Henry Miller. Capra Press. Santa Barbara, 1988. 184 p.

¹⁰ *Decker J.* Henry Miller and Narrative Form: Constructing the Self, Rejecting Modernity. P. 10.

роман «Тропик Рака», «Нью-Йорк и обратно» (далее сокращенно — «Нью-Йорк») переиздавался потом крайне редко. Критики реагировали на него прохладно, отмечая главным образом лишь неприязнь к Америке и отсутствие политкорректности.¹¹

Однако, на наш взгляд, этот текст по праву должен занять одно из главных мест в наследии Миллера. Он строится на пересечении многих силовых линий, пронизывающих творчество писателя. Это сочинение ни в коем случае нельзя считать проходным, тем более что оно не воспринималось в качестве такового самим Миллером. Текст «Нью-Йорк и обратно», безусловно, эстетически значим и интересен, но в нашу задачу не входит оценка его художественных достоинств. Для нас он важен, прежде всего, как свидетельство определенного этапа творческой эволюции Миллера. Автор повторяет и разрабатывает уже освоенные им в «Тропике Рака» техники письма, а также обращается к новым, которые характерны для его более поздних текстов парижского периода. Кроме того, в «Нью-Йорке» Миллер развивает ряд обозначенных им в первом романе тем, постепенно приближаясь к той завершенной концепции человека и мироздания, которую он позднее представит в «Тропике Козерога».

Создавая пространство «Нью-Йорка», Миллер придерживается того образца, который был задан им в «Тропике Рака». Он сосредоточивает внимание повествователя, как и в первом своем романе, на внешнем, эмпирическом, осязаемом мире, на фрагментах повседневной жизни. В «Нью-Йорке» нет погружения в реальность микрокосма, в сферу субъективного «я», как это происходит в «Черной Весне». Личность повествователя, оценка им происходящего присутствуют в тексте, но лишь подспудно, будучи намеренно репрезентированы в картинах жизни. Миллер выводит себя в образе почти бесстрастного наблюдателя, пассивного участника событий. Кроме того, макрокосмическая панорама миллеровского мира, эксплицированная во всех нюансах в романе «Тропик Козерога», в «Нью-Йорке» скрыта, вынесена за скобки и может быть обнаружена лишь при самом пристальном и внимательном чтении. Это не означает, что ее нет или она пока не сформировалась в сознании Миллера. Та картина макрокосма, которую Миллер воссоздает в «Тропике Козерога», уже присутствует, как мы попытаемся показать ниже, на страницах текста «Нью-Йорк и обратно». Но здесь она абстрагирована в философских и эстетических отступлениях настолько фрагментарно, что вывести ее основания читателю, не знакомому с «Черной Весной» или «Тропиком Козерога», невозможно. Тем не менее, эта картина угадывается в описываемых Миллером событиях повседневной жизни, в пер-

¹¹ Stern G. *Stealing History*. [San Antonio (Texas)]: Trinity University Press, 2012. P. 270–272.

сонажах, в явлениях мира и предметах. Миллер, повествователь «Нью-Йорка», в письме к супруге газетного издателя даже намекает на свое «космическое видение действительности»: «Вы обитаете на социально-экономическом уровне, а мне принадлежит астрономический». ¹² И всё же он придерживается стратегии воссоздания мира, выбранной им для романа «Тропик Рака». При этом необходимо отметить одну немаловажную черту, серьезным образом отличающую мир «Тропика Рака» и мир «Нью-Йорка». «Тропик Рака», будучи романом, вне всякого сомнения, автобиографическим, тем не менее, заявлен именно как художественный текст, как область вымысла и воображения. В свою очередь «Нью-Йорк и обратно» задуман и предложен читателю как письмо реально существующего человека другому, ничуть не менее реальному человеку, Альфреду Перле. Миллер предваряет «Нью-Йорк» следующим пояснением: «Рассказ о путешествии до Нью-Йорка и обратно, в точности как он изложен в письме к Альфреду Перле, знаменитому французскому сочинителю из Вены, чей рекорд в составлении длинных посланий я только что побил». ¹³ Миллер подчеркивает достоверность описываемых им событий. Он стремится к нарочитой документальности, давая понять читателю, что автор оценивает и воссоздает только то, что происходит в окружающей его действительности. Миллер исключает из своего текста пародийные космогонии, фантазмагорические видения, философско-художественные отступления, гротескные сцены — всё, что делало «Тропик Рака» игрой воображения. Он оставляет лишь несколько разрозненных философско-эстетических наблюдений, которые выглядят скорее как единичные и случайные.

Таким образом, в творчестве писателя формируется и обозначает себя линия, близкая к жанру документального путевого очерка, прерванная сочинением романов «Парижской трилогии» и восстановленная в «Колоссе Маруссийском» и, в большей степени, в двухтомном сочинении «Аэрокондиционированный кошмар».

Важнейшей темой «Нью-Йорка» становится насущная для Миллера проблема тождественности человека самому себе и совпадения личности со своей подлинной сущностью, которая, как правило, подавляется репрессивной культурой, интроецирующей себя в сознание человека. Постановка этой проблемы, с одной стороны, сближает Миллера с представителями модернизма, для которых была актуальной проблема говорения от своего подлинного, глубинного «я», с другой — с представителями анархоиндивидуализма (Макс Штирнер), чьи идеи серьезно повлияли

¹² Миллер Г. Нью-Йорк и обратно. М.: АСТ, 2004. С. 67.

¹³ Там же. С. 5.

на искусство рубежа XIX—XX веков.¹⁴ Миллер рассказывает своему другу Альфреду Перле о том, как он утратил, находясь в Америке, свое подлинное «я» и, вернувшись в Европу, вновь его обрел.

Путешествие в Нью-Йорк и обратно, описанное в тексте, несомненно, обладает скрытым символическим смыслом и понимается Миллером как ритуальное умирание / воскресение. В «Тропике Козерога» Миллер представит путь человека как непрерывную череду смертей и воскресений. Повествователь познает смерть, заданную, как это обычно бывает у Миллера, в образе отчужденной рационально-механизированной цивилизации; он проходит круги нью-йоркского Ада, сам становясь смертью, ибо его «я» подчиняется ее логике. Это дантовское путешествие,¹⁵ необходимое герою, путешествие к основанию «я», через последовательное развоплощение оболочек личности, завершается пробуждением, воскресением, обретением своей первозданной, изначальной природы, сущности, пустоты, дзеновского покоя. Древнее, всеобщее обнаруживает себя в сиюминутном. Мир, который лицезреет герой, также выглядит первозданным, бесконечно древним и одновременно юным: «Покинув Плимут, я вдруг проникся глубочайшим покоем. Плимут и сам по себе отлично успокаивает нервы. Зеленый, мирный, окутанный дремотой краешек суши нежно растворяется среди волн, и мнится, будто сама Англия босиком спускается к морю. Земля здесь дышит жизнью, словно в день творения».¹⁶ О Плимуте как о древнейшей географической точке, где мир берет свое начало, где открывается замысел мироздания и где человек испытывает органически присущий ему покой, соприкасаясь с основанием своего «я», Миллер рассуждает и в сборнике «Черная Весна»,

¹⁴ См. об этом: *Antliff M.* Cubism, Futurism, Anarchism: The «Aestheticism» of the «Action d'art» Group, 1906—1920 // *Oxford Art Journal*. 1998. Vol. 21. No. 2. P. 101—120; *Aubery P.* The Anarchism of the Literati of the Symbolist Period // *The French Review*. 1968. Vol. 42. No. 1 (Oct.). P. 39—47; *Wash-ton R.-C.* Occultism, Anarchism, and Abstraction: Kandinsky's Art of the Future // *Art Journal*. 1987. Vol. 46, No. 1 (Spring): *Mysticism and Occultism in Modern Art*. P. 38—45.

¹⁵ Эрика Йонг высказывает интересную гипотезу в отношении эволюции Генри Миллера, приходящейся на «европейским» периодом его жизни и творчества. В ее представлении Миллер проходит тот же путь, что и Данте в «Божественной комедии»: сначала он погружается в Ад («Тропик Рака»), затем поднимается в Чистилище («Тропик Козерога») и, наконец, оказывается в Раю, где лицезреет Бога («Колосс Маруссийский»). (*Jong E.* *The Devil at Large: Erica Jong on Henry Miller*. New York: Turtle Bay Books; Random House, 1993. P. 101). Эта идея выглядит вполне убедительной, учитывая характер репрезентации мира и человека в данных текстах.

¹⁶ *Миллер Г.* Нью-Йорк и обратно. С. 123.

в главе «В ночную жизнь».¹⁷ Миллера-повествователя влекут те образы мира, которые существовали до появления человека; он пытается метафорически явить замысел жизни, не связанный с человеческими устремлениями, но вовлекающий в себя человека, его культуру и его историю. Замысел не открывается человеческому разуму и отталкивает все схемы и системы познания, изобретенные человеком, но лицезрение ситуации, ландшафта, в котором замысел обнажается, разрушает эти схемы и, возвращая человека к самому себе, делает его самотождественным.

Проблема самотождественности персонажа, как мы уже отмечали, решается здесь Миллером в духе идей анархоиндивидуализма. Не случайно писатель упоминает в «Нью-Йорке» знаменитую работу Макса Штирнера «Единственный и его достояние»: «Звали парня Селф, Уилл Селф. Превосходное американское имя, и славно звучит на любом языке. Чем-то напоминает “Единственный и его достояние”, напыщенную и претенциозную анархическую книгу, прочитанную в те дни, когда я тоже изо всех сил пытался стать ковбоем — и стал бы, если б не клопы».¹⁸ Ироническая характеристика книги Штирнера скорее связана с ошибочным стремлением подчинить мир интеллектуальной схеме, пусть даже анархической. Однако сам характер миллеровского рассуждения, сам его строй выдает в рассказчике именно анархический инстинкт. Мир абсурдно уклоняется, не давая человеческим планам и целям осуществиться: повествователь должен был стать ковбоем, но не стал, потому что... вмешались клопы. Жизнь анархически спонтанна. Таким же спонтанным, не подчиняющимся внешним предписаниям должен быть человек.

Миллер во всех своих текстах утверждает наличие в человеке неделимой сущности, бессознательного, всеобщей силы, захватывающей мир. Эту силу он иногда называет «Богом». Подлинное познание, с точки зрения Миллера, есть самопознание, путешествие человека к своей изначальной сущности, к Богу, которые обретаются в глубине его «я»: «Для человека существует лишь одна дорога — дорога к Богу. На этом пути, ища и молясь, человек обретает себя».¹⁹

Рассуждая в «Нью-Йорке» о гетевском «Фаусте», Миллер говорит: «В конце концов, всё сводится к зову Природы, что твердит тебе, Богоподобному: Стань собой! Оставайся на земле!»²⁰ Этот анархистский призыв несет в себе требование отбросить то, что не принадлежит личности, что не свойственно человеческой природе и навязано культурой. В «Нью-

¹⁷ Миллер Г. Черная Весна. СПб.: Азбука, 2005. С. 158–159.

¹⁸ Миллер Г. Нью-Йорк и обратно. С. 35–36.

¹⁹ Там же. С. 75.

²⁰ Там же. С. 76.

Йорке» Миллер говорит, что человеку внутренне не свойственна биологическая борьба за выживание, за власть, за материальный успех. Эту борьбу объявляют обязательной либеральные идеологи, социал-дарвинисты, доминировавшие на поле либеральной мысли США до эпохи прогрессизма и появления «социального либерализма».²¹ Подлинно, с точки зрения Миллера, лишь бессознательное, которое, являясь ядром личности, ее творческим началом, при этом оказывается, как было отмечено, силой всеобщей, коллективной: Миллер обретает себя, свое индивидуальное «я», соприкоснувшись с европейской почвой, с всеобщим духом европейской культуры. Он познает бестелесную силу, рождающую как его личность, так и весь мир, и оказывается у истоков своего социального «я», у основания материального мира, в ситуации предсуществования вещей. Миллер размышляет об управлении энергией, рождающей все явления мира. Вещи в его рассуждениях предстают временными обиталищами, оболочками всеобщей энергии. Миллер видит, как в Европе вещи истлевают, ветшают, разлагаются, постепенно сходят на нет, открывая тем самым заключенную в них всеобщую силу, которую созерцающий вещи субъект обнаруживает в самом себе: «Дверь ни в какую не желает раскрываться, петли проржавели, сиденье унитаза покрыто трещинами, краска рассохлась, на стенах столовой цветет плесень. Тут тебе не Америка: разложение наступает мгновенно. *Физическое* разложение. Душа же человеческая, напротив, раскрывается. Неуклонно, как ползущий кверху столбик термометра, душа распахивается настезь. Вещи истлевают, уходят в небытие, и среди этого стремительного распада твое эго зарывается в прекрасно удобренную почву, подобно живому семени, пускает ветвистые корни. Здесь, где можно забыть о сухих стенах, четких границах, разломах и схемах, тело становится растением, которым оно и было изначально, испускает собственные соки, творит собственную ауру и, наконец, приносит цветок».²²

Познание энергии, создающей материю, означает познание своего тела, принятие себя как материальной формы наравне с другими материальными формами, вовлеченными в поток вещей и явлений. В «Нью-Йорке», как и в других текстах парижского периода, Миллер вновь гедонистически превозносит реакции тела, восторгаясь тем, что приносит телесное удовольствие, например, едой: «Если верить Кронштадту, целых два десятка читателей обоого пола в Нью-Йорке уже знают, что я гений. А гению нужно есть и пить. Надеюсь, они помнят об этом. И еще надеюсь, ты встретишь меня на берегу с приличным угощением».²³

²¹ *Согрин В. В.* США в XX и XXI веках. М.: Весь мир, 2015. С. 25–26.

²² *Миллер Г.* Нью-Йорк и обратно. С. 127–128.

²³ Там же. С. 49.

Своеобразной формой обретения человеком себя в условиях репрессивной цивилизации Миллер считает безумие. Обращаясь к проблеме безумия в «Нью-Йорке», писатель, вне всякого сомнения, учитывает опыт сюрреалистов и их проекты симуляции безумия.²⁴ В «Нью-Йорке» безумцем становится персонаж по фамилии Маннхайм, пассажир корабля, на котором Миллер возвращается в Европу. Маннхайма насильно депортируют из Америки на родину, в Голландию, и на корабле его держат взаперти. Миллер подчеркивает осознанный характер безумия своего персонажа, расценивая его поведение скорее как творческую симуляцию почти в духе сюрреалистов: «Единственное, чего он желает, — прогрессировать в своем безумии, дабы навсегда обеспечить себе крышу над головой и бесплатную трехразовую кормежку».²⁵ Безумие Маннхайма Миллер представляет не как неразумие, а как прорыв к бессознательному, как схватывание человеком сущности своего «я» и мира. Субъект сбрасывает цепи рассудка и разрушает картину реальности, якобы объективной, а на самом деле — навязанной репрессивной культурой. Он раскрывает ресурсы воображения, творит свой собственный, не подчиняющийся принципу реальности мир и тем самым рождает язык чистого удовольствия. Речь Маннхайма, заряженная первозданной энергией, напоминает сюрреалистические коллажи, в которых творческое воображение сочетает несочетаемое, даря читателю или слушателю удовольствие от ощущения возможности мыслить альтернативно по отношению к общепринятым схемам: «— Для чаек! — восклицает он. — Птички летят на родину вместе с мадам Шуман-Хайнк. На очистки от апельсинов пошлину еще не придумали. Скоро мы избавимся от вас, безумные людишки. На берег я схожу последним. Увидишь, на пирсе будет ждать личный экипаж. У меня назначена встреча с ее Величеством... Промеж собой мы кличем ее “баклажанчик”. Та еще сумасбродка, поверь на слово. Хотя бу маги всегда в порядке. Обычно она путешествует первым классом, разве что погода слишком жаркая».²⁶

Маннхайма можно сопоставить с персонажем из романа Сергея Довлатова «Заповедник». Довлатовский герой — человек творческой профессии: он фотограф, и его безумие, как и у Маннхайма, носит вполне рациональный, симуляционный характер: имитируя безумие, он выстра-

²⁴ Гальцова Е. Сюрреалистические симуляции (о некоторых особенностях концептуального творчества французских сюрреалистов) // Вестник филол. факультета Института иностранных языков. СПб., 1999. № 2/3. С. 76. См. также: Гальцова Е. Г. Параноидально-критическая деятельность // Энциклопедический словарь сюрреализма. М., 2007. С. 363—364.

²⁵ Миллер Г. Нью-Йорк и обратно. С. 119.

²⁶ Там же. С. 120.

ивает внутреннюю защиту от реальности, на сей раз советской. Его речь также построена на сюрреалистическом коллажировании различных риторических фигур, цитат и штампов:

Сквозь общий гул неожиданно донеслось:

— Говорит Москва! Говорит Москва! Вы слушаете «Пионерскую зорьку»... У микрофона — волосатый человек Евстихеев... Его слова звучат достойной отповедью ястребам из Пентагона...

Я огляделся. Таинственные речи исходили от молодца в зеленой бобочке. Он по-прежнему сидел не оборачиваясь. Даже сзади было видно, какой он пьяный. Его увитый локонами затылок выражал какое-то агрессивное нетерпение.

Он почти кричал:

— А я говорю — нет! Нет — говорю я зарвавшимся империалистическим хищникам! Нет — вторят мне труженики уральского целлюлозно-бумажного комбината... Нет в жизни счастья, дорогие радиослушатели! Это говорю вам я — единственный уцелевший панфиловец... И то же самое говорил Заратустра... <...>

Длинноволосый, нелепый и тощий, он производил впечатление шизофреника-симулянта. Причем, одержимого единственной целью — как можно скорее добиться разоблачения. Он мог сойти за душевнобольного, если бы не торжествующая улыбка и не выражение привычного каждодневного шутовства. Какая-то хитровая сметливая наглость звучала в его безумных монологах. В этой тошнотворной смеси из газетных шапок, лозунгов, неведомых цитат...²⁷

Современная культура изолирует безумие, помещая сумасшедших в психиатрические лечебницы. Миллеровский Маннхайм обречен путешествовать в клетке. Эта репрессия безумия — следствие торжества отчужденного разума. Завершая разговор о Маннхайме, Миллер солидаризируется с сюрреалистами, требовавшими отпустить безумцев на свободу: «А сейчас, дружище Маннхайм, прощальное слово для тебя... Если б только ты мог представить, какая печаль наполняет мое сердце из-за нашей разлуки! Ты единственный человек на этом корабле, к кому я искренне прикипел душой. Лучше бы другие сидели в клетках, а люди вроде тебя разгуливали на воле. Мир сделался бы гораздо свободнее и радостнее».²⁸

²⁷ Довлатов С. Д. Собрание сочинений: В 4 т. СПб.: Азбука, 2000. Т. 2. С. 253–254.

²⁸ Миллер Г. Нью-Йорк и обратно. С. 122.

Внутренняя тождественность человеческого «я», по мысли автора «Нью-Йорка», находит отражение в искусстве и в самом характере творчества. В небольшом отступлении на тему литературы Миллер заявляет о единстве искусства и жизни, следствием которого является преодоление формы как заданной структуры, подчиняющей и ампутирующей становящуюся и изменчивую реальность: «Достаточно выбить пробку, и строки польются как вино из бездонной бочки. Сюжет разбежится подобно кругам на зеркальной глади пруда: с одной стороны, сохраняется полная свобода, с другой — возникает иллюзия поступательного движения <...> долой анализ и самонаблюдение, за борт сюрреализм и расовую логику, к чертям собачьим стиль и форму!»²⁹

Искусство, занятое поиском формы, утверждающее форму, — всего лишь знак, отсылающий к жизни и непримиримо отчужденный от нее. Миллер стремится преодолеть этот разрыв, объявляя текст проживаемой реальностью: «Каждый, кто пожелает, получит слово, причем вдосталь. Здесь же, в книге, я буду есть и спать, а когда приспичит, помочусь прямо на страницы».³⁰

В «Нью-Йорке» негативная критика Миллера, как в остальных текстах парижского периода, направлена в адрес современной цивилизации и ее оснований. Если в «Тропике Рака» писатель воссоздает дух европейской культуры и, следуя традиции французского декаданта, представляет ее в образе старого умирающего города-животного — Парижа, то в «Тропике Козерога» он размышляет о культуре-цивилизации в ее американском обличье, рисуя ее как механизированный ад. Принципиально также, что концепция цивилизации, равно как и представления Миллера о человеке и о мире в целом, существенным образом усложняются в «Черной Весне» и в «Козероге» по сравнению с первым романом парижской трилогии. В «Нью-Йорке», где традиционно противопоставляются Европа и Америка, нетрудно обнаружить модель мира и, в частности, цивилизации, близкую к «Черной Весне» и к «Тропику Козерога».

Человек, с точки зрения Миллера, призван открыть в себе всеобщую энергию (бессознательное) и научиться управлять ею. В этом случае его сознание окажется целостным, соединяющим всеобщее и индивидуальное. Однако современная цивилизация и принадлежащий ей субъект, с точки зрения писателя, развиваются в ином направлении. Человек пассивно, автоматически подчиняется всеобщему, бессознательному, оказавшись не в силах утвердить собственную индивидуальную волю. Движение бессознательной энергии захватывает его и регулирует его мысли и влечения.

²⁹ Миллер Г. Нью-Йорк и обратно. С. 51.

³⁰ Там же. С. 51–52.

Эта концепция в «Нью-Йорке» возникает в размышлениях Миллера, находящегося на борту корабля и наблюдающего Атлантический океан: «Прошу помнить, где я сейчас нахожусь. Океан проникает прямо в мысли, от него невозможно избавиться. Его чересчур много, а воды и неба недостаточно. Вот почему матросы всегда подшофе. С утра до ночи. Круглые сутки напролет. От избытка океана».³¹

Безвольные, опьяненные стихией океана матросы напоминают Миллеру его современников, а сам океан — цивилизацию, представленную в собирательном образе Америки. Точнее говоря, это Америка обретает в тексте Миллера свойства океана. Она воплощает безличную волю, задающую общий ритм жизни безвольному, бессознательному, подчиняющемуся ей человеческому стаду. Здесь угасает индивидуальный творческий инстинкт, и потому невозможно творить: «Я понял, почему столь восхитительно трудно писать книги в Америке: она похожа на океан. Ее слишком много. Ты перестаешь видеть небо и воду. Один сплошной океан. Плынешь себе по воле бесконечных волн десять, двенадцать дней. Люди приходят и уходят. Судовая компания распланировала твою жизнь по минутам. Всё расписано, урегулировано до отвращения. В конце концов тобой овладевает чувство хаоса.словно находишься посреди стада, охваченного стихийным бегством. Никто не знает, куда его несет нелегкая, но жметя ближе к соседу — так надежнее, спокойнее».³² Автоматизм, неосознанность являются основными свойствами жизни современных ему американцев.

США, в понимании Миллера, воплощает то, что Освальд Шпенглер в «Закате Европы» именуется «цивилизацией», т. е. последнюю стадию культуры, в которой все составляющие оказались окончательно отчужденными от почвы, от ландшафта. «Фаустовская душа», т. е. европейский дух, находит в ней свое последнее прибежище.³³ Ее устремление, которое характеризуется жаждой свободы, одиночества, страстью к бесконечному, попыткой овладеть пространством и временем, деградирует к расчленению жизни, ее подчинению механическому рассудку. Искусство, предлагаемое цивилизацией, одним из воплощений которого становятся небоскребы, соединяет мощь, отсутствие большого стиля и признаки самовыражения.³⁴

Америка Миллера (цивилизация) есть воплощенный рассудок, искусственно созданная людьми схема, которая обрела способность ими

³¹ Там же. С. 86.

³² Там же. С. 92.

³³ Там же. С. 135.

³⁴ Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 1: Гештальт и действительность. М: Мысль, 1993. С. 471.

управлять. В отличие от Европы, являющей собой органическое целое, наделенное фаустовской душой, сущностью, объединяющей людей, Америка Миллера, вспоминающего шпенглеровский «Закат Европы», сродни механизму. «Слово “локальный”, — пишет Миллер, — подразумевает некое понятие места, чувство целого и его частей. Америка же лишь кажется новой, ибо здесь нечего и не с чем сравнивать. В реальности никакой Америки не существует! А есть миллионы предметов, сроднившихся между собой не более, чем детали автомобиля».

Нью-Йорк, мегаполис, метонимически замещающий Америку, понимаемый Миллером как ее синоним, также уподобляется механизму: «Вот вам и Нью-Йорк! Это часовой механизм, который идеально работает в условиях невообразимого хаоса».³⁵ Соответственно, жизнь в этом пространстве регламентируется, обретает стандартизированный, обезличенный характер: «Время какого сорта? Американец в жизни не задаст себе подобного вопроса. Его занимает лишь время. Точнее, часы. Еще точнее, механизм, который изображал бы часы, обладай разум американца способностью хотя бы отдаленно вообразить их. Однако такой способности у него нет...».³⁶

Идея цивилизации в тексте также репрезентируется в образе небоскреба. В романе «Тропик Козерога» небоскреб станет важнейшим символом, ключом к пониманию миллеровских представлений о человеческом разуме. В тексте «Нью-Йорк и обратно» Миллер приступает к разработке этого образа. Центральному нью-йоркскому сооружению — Эмпайр-стейт-билдинг — он посвящает несколько страниц. Писатель иронически стилизует этот фрагмент текста под рекламный проспект, намекая тем самым на поверхностный, декоративный характер небоскреба и разоблачая претензии его создателей, заявивших о стремлении возвести монумент «прогрессу и человеческой изобретательности».³⁷ С точки зрения Миллера, это действительно квинтэссенция цивилизации, памятник человеческому разуму, но разуму деградировавшему, утратившему подлинные цели и перспективы. Уже в самом начале «Нью-Йорка» Миллер в энергичном сравнении соотносит небоскреб с предсказуемым механическим движением и, соответственно, со смертью: «Небоскребы смахивают на чудовищно громадные, вставшие на дыбы рельсы — блестящие, металлические, прямые будто сама смерть».³⁸

³⁵ Миллер Г. Нью-Йорк и обратно. С. 129.

³⁶ Там же. С. 129.

³⁷ Там же. С. 84.

³⁸ Там же. С. 26.

Цивилизация в «Нью-Йорке», репрезентированная мегаполисом и небоскребом, также соотносится с образом женщины. Эта параллель будет подробнейшим образом развернута в «Тропике Козерога», где Миллер разрабатывает свою мифологию женщины. В «Нью-Йорке» американки изображаются как носительницы черт, свойственных цивилизации, а цивилизация, в свою очередь, обретает черты женщины. Американки, в отличие от европейек, лишены, по мысли Миллера, индивидуальности: «Все американки, от шлюх до герцогинь, смотрятся одинаково. Европейская женщина имеет тысячи разных обличей; здешней доступно лишь одно».³⁹ Они несут в себе рациональность, механистичность машины и заложенный в основе этой механистичности биологический инстинкт борьбы за существование.

«Нью Йорк» завершается, как и большинство автобиографий Миллера, утверждением повествователем собственной личности, своего индивидуального «я», обнаруженного в процессе сочинения текста. Правда, на этот раз это утверждение проникнуто самоиронией: «Ну что, Фрэд, как впечатление? На этом я, пожалуй, ставлю точку. Можешь начинать славословить! Расскажи всем, что я за гений».

Мы сделали попытку показать, что текст «Нью-Йорк и обратно», оценивавшийся как проходной, не стоящий внимания, является средоточием ключевых тем и мотивов творчества писателя, чье влияние на американскую и европейскую литературы трудно переоценить. Более того, этот текст открыл определенную силовую линию в творчестве Миллера, с успехом реализовавшуюся затем в его путевых очерках, которыми будут восхищаться и которым будут подражать его ученики в Европе и Америке.

Список использованной литературы

- Гальцова Е. Г.* Параноидально-критическая деятельность // Энциклопедический словарь сюрреализма. М., 2007. С. 363–364.
- Гальцова Е.* Сюрреалистические симуляции (о некоторых особенностях концептуального творчества французских сюрреалистов) // Вестник филол. факультета Института иностранных языков. СПб., 1999. № 2/3. С. 76–82.
- Довлатов С. Д.* Собрание сочинений: В 4 т. СПб., 2000. Т. 2. 571 с.
- Миллер Г.* Нью-Йорк и обратно. М.: АСТ, 2004. 141 с.
- Миллер Г.* Черная Весна. СПб.: Азбука, 2005. 256 с.
- Согрин В. В.* США в XX и XXI веках. М.: Весь мир, 2015. 592 с.
- Шпенглер О.* Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 1: Гештальт и действительность. М: Мысль, 1993. 663 с.
- Antliff M.* Cubism, Futurism, Anarchism: The «Aestheticism» of the «Action d'art» Group, 1906–1920 // Oxford Art Journal. 1998. Vol. 21. No. 2. P. 101–120.

³⁹ Там же. С. 60.

- Aubery P.* The Anarchism of the Literati of the Symbolist Period // The French Review. 1968. Vol. 42, No. 1 (Oct.). P. 39–47.
- Jong E.* The Devil at Large. Erica Jong on Henry Miller. New York: Turtle Bay Books; Random House, 1993. 337 p.
- Decker J.* Henry Miller and Narrative Form: Constructing the Self, Rejecting Modernity. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Inc, 2005. 182 p.
- Durrel L., Miller H.* A Private Correspondence / Ed. by G. Wickes. New York: E. P. Dutton & Company, 1963. 400 p.
- Mailer N.* The Prisoner of Sex. Boston: Little, Brown & Co., 1971. 240 p.
- Miller H.* Henry Miller's Hamlet Letters / Edited, and with an Historical Introduction by Michael Hargraves and an Original Preface by Henry Miller. Capra Press. Santa Barbara, 1988. 184 p.
- Millet K.* Sexual Politics. New York, 1970. 397 p.
- Stern G.* Stealing History. [San Antonio (Texas)]: Trinity University Press, 2012. 307 p.
- Washton R.-C.* Occultism, Anarchism, and Abstraction: Kandinsky's Art of the Future // Art Journal. 1987. Vol. 46. No. 1: Mysticism and Occultism in Modern Art (Spring). P. 38–45.
- Williams J.* Henry Miller: the Success of Failure // Virginia Quarterly Review. 1968. Spring. P. 225–45.
- Woolf M.* Beyond Ideology: Kate Millett and the Case for Henry Miller // Perspectives on Pornography and Literature: Sexuality in Film and Literature / Eds. G. Day and C. Bloom. London: Macmillan, 1989. P. 113–128.

VOX SCRIPTORIS

О целях поэзии

Ж

ан Кокто сказал: «Поэзия необходима — знать бы только, для чего». Кто лучше самой поэзии может знать, для чего она нужна? Спросим великих поэтов и мыслителей — и найдем пять разных ответов, пять взглядов на природу и назначение поэзии.

1. Идеально-религиозный

Поэзия — божественная гармония, вносимая в мир для разрешения всех его скорбей и противоречий, голос Абсолютного, Всеединого. Такой взгляд глубже всего выражен у Ф. В. Й. Шеллинга, а в русской поэзии — у Ф. Тютчева:

Поэзия

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

2. Субъективно-психологический

Поэзия утешает, врачует душевные раны, разряжает эмоциональные порывы, спокойным созерцанием вытесняет бессмысленное волнение воли. Гармония здесь мыслится не

как высшее космическое начало, а как психологическая потребность и терапевтическое средство. Такой взгляд, если не считать соображений Аристотеля о катарсисе, был последовательнее всего выражен А. Шопенгауэром (поэзия как отрешение от мировой воли и путь к созерцательной нирване) и З. Фрейдом (поэзия — сублимация и вытеснение полового инстинкта), а в русской поэзии — Е. Баратынским:

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей,
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастице своей.

3. Стихийно-демонический

Поэзия — антинравственна, антиобщественна, противозаконна. В ней находит выход первичная оргиастическая стихия, безудержность и невнятность мирового хаоса. На поэте лежит печать проклятия и отверженности, он преступает любые законы, низвергает святыни. Его дело — быть выражением музыкально-волевого напора, бушующих подземных недр бытия. Таково воззрение Ницше на «дионисийскую», демоническую природу искусства, выраженное впоследствии А. Блоком:

К Музе

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастья есть.
И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...

4. Действенно-социальный

Поэзия призвана не примирять, а воинствовать, но не потому что она есть голос раздирающих друг друга стихий, а потому что выражает волю одной из сил к победе. Не борьба сама по себе вдохновляет поэта, а побе-

да в борьбе, и слово есть орудие власти. Поэзия зовет к поступку, вмешательству в реальную жизнь. Это воззрение выросло из философии Просвещения и затем нашло обоснование в марксизме, а в русской поэзии лучше всего выражено у Маяковского («Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо»):

<Неоконченное>

Я знаю силу слов, я знаю слов набат.
Они не те, которым рукоплещут ложи.
От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых ножек.
Бывает, выбросят, не напечатав, не издав,
но слово мчится, подтянув подпруги,
звенит века, и подползают поезда
лизать поэзии мозолистые руки.

Таким образом, поэзия есть

1. Выражение изначальной, объективной гармонии.
2. Способ достижения душевной, субъективной гармонии.
3. Выражение изначального, объективного хаоса.
4. Способ вовлечения в битву и обретения победы.

Эти четыре представления возникают из сочетания двух двоичных оппозиций: *гармония — хаос* и *объективное — субъективное*.

5. Возможно и пятое воззрение, противоположное всем предыдущим, поскольку отрицает за поэзией какой бы то ни было смысл, считая ее бесполезной или даже вредной. Этот нигилистический взгляд развивается на крайне идеалистической (Платон) или крайне материалистической (Д. Писарев) основе. В первом случае — поэзия не нужна, потому что слишком чувственна, привязана к материальной жизни — и далеко отстоит от мира чистых идей. Во втором — слишком фантастична, прихотлива и отдалается от жизни в сторону самодовлеющих отвлеченных идеалов.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...

Ф. Тютчев

...Боюсь я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили вновь перуны,
В которых спит судьба моя.

И отрываюсь, полный муки,
От музыки, ласковой ко мне,
И говорю: до завтра, звуки —
Пусть день угаснет в тишине.

Е. Баратынский

..Отвергнул струны я, —
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот несет ему рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти
Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети.

Е. Баратынский

Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо.

А. Фет

Зарыться бы в свежем бурьяне,
Забыться бы сном навсегда!
Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!

А. Блок

Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.

В. Маяковский

Как ни парадоксально, все эти пять воззрений предполагают, что основные цели поэзии лучше достигаются не поэзией, а другими средствами.

Если поэзия — выражение изначальной гармонии, то не искать ли еще более чистого ее выражения в природе, например, в море, волны которого так певучи, что человеческий голос перед ними — одинокий ропот? Слово возмущает чистые ключи бытия.

Если поэзия — целительница, то не лучше ли нас исцеляет сон, забвение, молчание, небытие? Ведь, врачуя рану, прикасаясь к ней, легко ее разбередить и, изживая песнью несчастья и тревоги, накликаешь их вновь, привлечь словом «перуны судьбы».

Если поэзия — голос мирового хаоса, то не лучше ли непосредственно раствориться в нем, минуя его отражение в книгах, где хаос не выплескивается за пределы переплетов?

Если поэзия — могучая сила действия, то не надежнее ли — прибегнуть к штыку или маузеру?

Пятый взгляд на поэзию как на нечто бесполезное не только противостоит предыдущим четырем, но и объемлет их, а по сути — из них вытекает. Если утверждать, что поэзия нужна потому-то и для того-то, то в конце концов придется согласиться, что она полностью бесполезна, поскольку те же цели лучше достигаются без нее: маузер стреляет точнее, море колышется вольнее, дерево вырастает в почву глубже...

Но из этого вытекает только то, что поэзию, как и жизнь, нужно полюбить прежде смысла ее, не доискиваясь целей. Это можно было бы назвать шестым взглядом, но в том-то и дело, что это уже не «взгляд на», а «любовь к». Поэзия столь же естественна и неосмыслима, как и жизнь. Поэзия — это сердце, бьющееся в речи и разгоняющее — переносящее — смысл слов по всему мирозданию. По сравнению с поэзией просто жизнь есть аритмия, вялость сердечной мышцы, силы которой хватает только на то, чтобы перегонять кровь в теле, — низшая степень жизненности. Поэзия — жизнь вдвойне, она распространяется на такие сферы сознания, культуры, воображения, о которых обычная жизнь не смеет и мечтать. Это высшая степень здоровья, когда ритмично пульсируют мысль и речь и когда в такт сердцу начинает биться всё мироздание.

Право на вольность, или События в театре Шекспира

В о втором акте шекспировской трагедии «Гамлет» старые друзья принца, столичные трагики, прибывшие в королевский замок Эльсинор по причине «войны театров»¹ и в поисках заработка, собираются представить королю и придворным некую пьесу. Они, как утверждает Полоний, мастера на все руки и во всех жанрах: «Лучшие в мире актеры на любой вкус, для трагедий, комедий, хроник, пасторалей, вещей пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагикомико- и историко-пасторальных и для сцен в промежуточном и непредвиденном роде. Важность Сенеки, легкость Плавта для них не диво. В чтении наизусть и экспромтом это люди единственные».²

Гамлету приходит в голову дерзкая мысль: использовать представление именно «в непредвиденном роде» — для того, чтобы найти неоспоримые доказательства виновности его дяди, нынешнего короля Клавдия, коварно убившего своего брата, о чем Гамлет узнал от Призрака. Принц просит первого актера прочесть монолог об убийении Приама. Актер читает блистательно. Гамлет взволнован: «Будь у него такой же повод к мести, / Как у меня? Он сцену б утопил / В потоке слез, и оглушил бы речью, / И свел бы виноватого с ума, /

¹ См. об этом: Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет». М., 1986. С. 178.

² Шекспир В. Собрание избранных произведений: [В 10 т.]. Т. 1: Трагическая история о Гамлете, принце Датском; Сон в летнюю ночь / Пер. с англ. Б. Пастернака. СПб., 1992. С. 112–113. (Библиотека зарубежной классики). Далее текст «Гамлета» цитируется по этому изданию, страницы указываются в тексте в скобках.

Потряс бы правого, смутил невежду / И изумил бы зрение и слух...» (121).

Принц говорит первому актеру: «Скажи, старый друг, можете вы сыграть “Убийство Гонзаго”?» (120). Актер соглашается. Спектакль намечен на вечер следующего дня. «Скажи, можно ли, в случае надобности, заучить кусок строк в двенадцать-шестнадцать, который бы я написал, — можно?» (120).

Оказывается, можно. Если нужно, то — можно.

1

Поручая актеров заботам Полония, принц остается в одиночестве, созревая до опасного решения: «Я сын отца убитого. Мне небо / Сказало: встань и отомсти» (122). Нельзя, однако, действовать вслепую, мстить бездумно и безрассудно, нужно точно знать, кто виновник подлого злодеяния. Цель предстоящего спектакля Гамлет формулирует предельно точно: «Я это представленья и задумал, / Чтоб совесть короля на нем суметь / Намеками, как на крючок, поддеть» (122); в переводе М. Лозинского «служебная» цель предстоящего спектакля выражена еще жестче: «Зрелище — петля, чтоб заарканить совесть короля».³

Что же, однако, это за пьеса — «Убийство Гонзаго»? Актер, выслушав просьбу принца, готов выполнить заказ. Иначе говоря, он признает, что такая пьеса существует и даже имеется в репертуаре труппы. В мире, где живет принц Гамлет, пьесу знают и представляют на театре. Однако за его пределами это далеко не так. Многочисленная и многоопытная армия шекспироведов долго искала, но так и не нашла в истории мировой драматургии пьесы с таким названием. Автор «Гамлета» просто придумал имя для несуществующей пьесы, потому что ему было необходимо, чтобы бродячие актеры представили в Эльсиноре что-то такое, во что можно было бы вставить «отсебятину» Гамлета.

«Отсебятина» меж тем имела сильнейшую мотивацию: Гамлет исходил из соображения, что *убийство*, при правильной постановке дела, *выдаст себя без слов*:

Проснись, мой мозг! Я где-то слышал,
 Что люди с темным прошлым, находясь
 На представленья, сходном по завязке,
 Ошеломлялись живостью игры

³ Шекспир У. Трагедия о Гамлете, принце Датском / Пер. с англ. М. Лозинского. СПб., 2007. С. 169.

И сами сознавались в злодеянье.
Убийство выдает себя без слов,
Хоть и молчит. Я поручу актерам
Сыграть пред дядей вещь по образцу
Отцовой смерти. Послежу за дядей —
Возьмет ли за живое. Если да,
Я знаю, как мне быть. Но может статься,
Тот дух был дьявол. Дьявол мог принять
Любимый образ. Может быть, лукавый
Расчел, как я устал и удручен,
И пользуется этим мне на гибель.
Нужны улики поверней моих (122).

Придумка Гамлета — вставить в пьесу специально сочиненную сцену «строк в двенадцать-шестнадцать» — и должна была заставить убийцу (если им действительно является Клавдий) публично, при свидетелях, «ошеломиться живостью игры». Это и могло стать верным доказательством, необходимым для «точечного» мщения. Принц обставляет свой замысел придирчивой режиссурой.

Во-первых, он привлекает к делу надежного свидетеля, своего близкого друга («Горацио, ты изо всех людей, / Каких я знаю, самый настоящий» (142)), чья честность и верность — залог успеха рискованного следственного эксперимента. Принц объясняет другу условия игры:

Сейчас мы королю сыграем пьесу.
Я говорил тебе про смерть отца.
Там будет случай, схожий с этой смертью.
Когда начнется этот эпизод,
Будь добр, смотри на дядю не мигая.
Он либо выдаст чем-нибудь себя
При виде сцены, либо этот призрак
Был демон зла, а в мыслях у меня
Такой же чад, как в кузнице Вулкана.
Итак, будь добр, гляди во все глаза.
Вопьюсь и я, а после сопоставим
Итоги наблюдений (143).

Гамлет говорит: «*Мы* королю сыграем пьесу», считая себя автором (соавтором?) инсценировки и режиссером спектакля. Поэтому полагает необходимым со всей режиссерской строгостью наставить и проинструктировать артистов: ведь от их игры зависит, выдаст ли себя дядя хоть чем-нибудь или останется безучастным. И тогда провалится вся затея...

«Говорите, пожалуйста, роль, как я показывал: легко и без запинки. Если же вы собираетесь ее горланить, как большинство из вас, лучше было бы отдать ее городскому глашатаю. Кроме того, не пишите воздух этак вот руками, но всем пользуйтесь в меру. Даже в потоке, буре и, скажем, урагане страсти учитесь сдержанности, которая придает всему стройность. Как не возмущаться, когда здоровенный детина в саженном парике рвет перед вами страсть в куски и клочья, к восторгу стоячих мест, где ни о чем, кроме немых пантомим и простого шума, не имеют понятия. Я бы отдал высечь такого молодчика за одну мысль переиродить Ирода. Это уж какое-то сверхсатанинство. Избегайте этого. <...> Однако и без лишней скованности, но во всем слушайте внутреннего голоса. Двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движениям, с тою только оговоркой, чтобы это не выходило из границ естественности. Каждое нарушение меры отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет: держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное — низости, и каждому веку истории — его неприкрашенный облик. Если тут перестараться или недоусердствовать, несведущие будут смеяться, но знаток опечалится, а суд последнего, с вашего позволения, должен для вас перевешивать целый театр, полный первых. Мне попадались актеры, и среди них прославленные, и даже до небес, которые, не во гнев им будь сказано, голосом и манерами не были похожи ни на крещеных, ни на нехристей, ни на кого бы то ни было на свете. Они так двигались и завывали, что брало удивление, какой из поденщиков природы смастерил человека так неумело, — такими чудовищными выходили люди в их изображении. <...> играющим дураков запретите говорить больше, чем для них написано» (139–140).

Гамлет предлагает артистам сыграть пьесу в строгом реалистическом ключе, в естественной и сдержанной манере — только такой театр, по мнению принца, способен «показать доблести ее истинное лицо и ее истинное — низости, и каждому веку истории — его неприкрашенный облик». А главное, когда на карту поставлены жизнь и судьба, когда театр с его живой и ошеломляющей игрой может достоверно доказать и обличить злодейство, он, театр, не имеет права оставаться просто зрелищем, просто развлечением. Ставка принца Гамлета — на высокое реалистическое искусство, на подлинность страданий и переживаний артистов, без их привычной ходульной декламации и крайней экспрессивности, хотя и без вялости; режиссер требует от актеров самостоятельности в понимании доставшихся им ролей. Надежда на ожидаемый эффект тем более серьезна, что сочиненная сцена в двенадцать-шестнадцать строк может быть сыграна лишь раз. Когда бы и где бы ни играли столичные

трагики пьесу «Убийство Гонзаго», эта сцена более не понадобится: она и была нужна только для одного-единственного представления.

Итак, начинается пантомима: на сцене король, королева и — позже — отравитель, племянник короля Луциан; увидев уснувшего короля, племянник снимает с дяди корону, целует ее, вливает ему в ухо яд и уходит. «Возвращается королева, видит, что король мертв, и жестами выражает отчаяние. Снова входит отравитель с двумя или тремя похоронными служителями, давая понять, что разделяет ее горе. Труп уносят. Отравитель подарками добивается благосклонности королевы. Вначале она с негодованием отвергает его любовь, но под конец смягчается. Уходят» (148).

«Наверное, пантомима выражает содержание предстоящей пьесы?» (149) — спрашивает Офелия. «Вы знаете содержание? В нем нет ничего предосудительного? — спрашивает и Клавдий. — Как название пьесы?» (154).

Гамлет уверяет, что ничего предосудительного в пьесе нет, что всё это в шутку, включая и отравление. Про название пьесы отвечает: «“Мышеловка”. Но в каком смысле? В фигуральном. Пьеса изображает убийство, совершенное в Вене. Имя герцога — Гонзаго. Его жена — Баптиста. Вы сейчас увидите. Это препакоктнейшая проделка. Но нам-то что до того? Вашего величества и нас, с нашей чистой совестью, это не касается. Пусть кляча лягается, если у нее зашиблены задние ноги. Наши кости в порядке» (154).

Заметим: ни Офелия, ни Полоний, игравший когда-то в университетском театре и считавшийся хорошим актером,⁴ ни королева Гертруда, ни король Клавдий не слышали не только содержания пьесы, но даже ее названия. Один принц ориентируется в смысле происходящего; он торопит артистов, подгоняя пьесу к кульминации. «Начинай, убийца! Ну, чума ты этакая! Брось свои безбожные рожи и начинай. Ну!» (155).

Убийца, племянник короля Луциан, произносит строки, написанные принцем. Пока их только шесть (и одна ремарка), и они резко контрастируют с напыщенным стилем «Убийства Гонзаго»:

Рука тверда, дух черен, крепок яд,
Удобен миг, ничей не видит взгляд.
Теки, теки, верши свою расправу,
Гекате посвященная отрав!
Спешి весь вред, который в травах есть,
Над этой жизнью в действие привесь!

(Вливает яд в ухо спящего.) (Там же).

⁴ «Гамлет: Кого же вы играли? Полоний: Я играл Юлия Цезаря. Меня убивали в Капитолии. Брут убил меня. Гамлет: С его стороны было брутально убивать такого капитального теленка» (144–145).

Гамлет комментирует: «Он отравляет его в саду, чтобы завладеть престолом. Имя герцога — Гонзаго. История существует отдельно, образцово изложенная по-итальянски. Сейчас вы увидите, как убийца достигает любви жены Гонзаго» (Там же).

Здесь должны были прозвучать еще восемь-десять строк, сочиненные Гамлетом, но они уже не понадобились. Король, ошеломленный историей, так схожей с его собственной, не выдерживает, в сильном расстройстве встает и уходит прочь. Уловка сработала. Король выдал себя с головой. Пристально наблюдавший всю сцену Горацио, не спускавший глаз с короля, подтверждает впечатление принца, а тот с сарказмом замечает: «Раз королю неинтересна пьеса, / Нет для него в ней, значит, интереса» (157).

Но как раз сцена отравления вызвала столь бурную реакцию короля, что он не только прервал представление и покинул зал: почувствовав себя разоблаченным, догадавшись, что неспроста Гамлет затеял представление, Клавдий замышляет новое злодеяние.

Придумка Гамлета сработала стопроцентно и не оставила сомнений в виновности дяди-злодея. Сопоставив итоги наблюдений, друзья пришли к единому выводу: Клавдий — братоубийца. Не возникло сомнений у принца и в его праве распоряжаться бродячими актерами, их сценической игрой, ходом и исходом действия никому не знакомой пьесы.

Но можно ли себе представить, чтобы современный театральный режиссер или режиссер кино, который ставит «Гамлета», включил бы в пьесу свою, а не Гамлетову, «отсебятину» — с целью досадить кому-то из зрителей? Допустим, присутствует на спектакле или на просмотре в кинозале некое «значительное» лицо, которое режиссер хочет выставить дураком или мерзавцем. И режиссер пускается во все тяжкие (сочиняет сцены, выдвигает обвиняющие намеки, проводит нелюбимые аналогии), не заботясь о санкциях со стороны «лица». Ведь в «Гамлете» санкции последовали незамедлительно — Клавдий понял, что его тайна разгадана, так что необходимо в самом скором времени убрать еще и племянника. И если бы не Гертруда, королева-мать, казнь могла бы случиться уже в ближайшие после спектакля часы...

Подчеркну: Гамлет ни минуты не раздумывает, можно ли исказить литературный первоисточник — текст пьесы «Убийство Гонзаго». Он вставляет в нее слова собственного сочинения — для одного только спектакля, на один только раз, для одного только мгновения — увидеть выражение лица злодея-дяди в момент, когда тот обнаружит, что на сцене играет копия его злодеяния. При этом Гамлет обставляет вторжение в текст пьесы безупречной мотивацией, проводит подробный инструктаж актеров, излагает им (и нам, читателям) свой взгляд на театр как на искусство живого и прямого действия, приглашает друга-наблюдателя следить

за ходом спектакля и добивается, наконец, искомого результата. Совесть короля «заарканена»; театр не только обязан, но и способен оказывать глубокое и сильное моральное воздействие.

Не дал ли здесь великий драматург ключ к тому, как следует обращаться с литературными первоисточниками? Не является ли эпизод с бродячими актерами и их выступлением в придворном театре неким благословением высшей инстанции, то есть автора, на вольное обращение с драматургическим материалом? Не объясняет ли Шекспир нам, его зрителям и толкователям, что буквализм, пресловутая точность и верность оригиналу не всегда должны соблюдаться неукоснительно? Что есть причины, по которым полное соответствие оригиналу при его сценическом воплощении может быть ему только во вред, ибо не достигает цели... И в то же самое время принц Гамлет решительно возражает против пустой отсебятины, которую позволяли себе комики в их стремлении рассмешить невзыскательных зрителей: «Некоторые доходят до того, что хохочут сами для увеселения худшей части публики в какой-нибудь момент, существенный для хода пьесы. Это недопустимо и показывает, какое дешевое самолюбие у таких шутников» (140—141).

Но вернемся к «Убийству Гонзаго», несуществующей пьесе, обретающей контуры в трагедии Шекспира только благодаря стихотворной вставке принца Гамлета. Он, как мы помним, говорит, что в пьесе изображается убийство герцога Гонзаго, совершенное в Вене, и что будто бы «такая повесть имеется и написана отменнейшим итальянским языком». Следов пьесы исследователям обнаружить, повторю, как будто не удалось, однако сюжет ее, кратко пересказанный Гамлетом, напоминал нашумевший случай убийства в 1538 году итальянского герцога Урбино, которое, по одной из версий, совершил лекарь герцога по наущению некоего Луиджи Гонзаго. «Шекспир дал жертве имя убийцы, но само по себе употребление этого имени и тот же оригинальный способ умерщвления (вливание яда в ухо) указывают на историческое злодеяние как на модель для его литературной версии».⁵ Один из самых авторитетных исследователей трагедии Шекспира «Гамлет» А. А. Аникст пишет по этому поводу: «Мы не знаем, дошла ли до Шекспира весть о зверском убийстве итальянского маркиза Альфонсо Гонзаго на его вилле в Мантуе в 1592 году или, может быть, он слышал о том, что еще раньше, в 1538 году, урбинского герцога Луиджи Гонзаго убили новым тогда способом, влив ему яд в ухо, что поразило даже выдающуюся ренессансную Европу. Так или

⁵ См.: Убийство Гонзаго [Murder of Gonzago] // [Электронный ресурс] URL: http://www.clubook.ru/encyclopaedia/ubijstvo_gonzago_murder_of_gonzago/?id=36164 (дата обращения — 16.05.2015).

иначе, «Убийство Гонзаго» было инсценировкой сенсационного события».⁶

В общем — темная история. Известно, что убийство было, но неизвестно, была ли о нем написана пьеса.

Известно также, что Шекспир не сам придумал сюжет «Гамлета» (1601), а заимствовал его из старинных легенд. В комментариях к «Гамлету» обычно сообщают, что история об Амлете (Амледе, Гамлете), принце датском, впервые встречается у летописца Саксона Грамматика (ок. 1200). Благодаря французскому пересказу (1576) сюжет стал известен в Англии, где неизвестный автор около 1589 года написал трагедию. Шекспир наверняка знал ее, но текст трагедии не сохранился, и сказать, насколько драматург воспользовался ею, крайне затруднительно.⁷

2

За четыре столетия почти забылись пра-источники «Гамлета», и трагедия Шекспира стала восприниматься как оригинальное сочинение. Драматурги следующих поколений пользовались уже не легендами, а пьесой Шекспира. Так, современный болгарский драматург Недялко Йорданов сочинил по мотивам «Гамлета» пьесу «Убийство Гонзаго» (1988).⁸ Ее действие происходит в замке Эльсинор, действующие лица — Чарльз, Элизабет, Бенволио, Генри, Амалия, Суфлер, Полоний, Офелия, Горацио, Палач. Первые пятеро — актеры бродячего театра, с ними Суфлер; именно они, а не обитатели замка — герои спектакля, между ними существуют напряженные отношения, их преодолевают присущие артистам страсти. «Мы, бывшие столичные трагики, остались без публики и превратились в жалкую бродячую труппу, — говорит своим товарищам директор труппы Чарльз. — И вот сегодня, совершенно неожиданно, нас пригласили в замок Эльсинор, в королевскую резиденцию».

Оказавшись поблизости, актеры были приглашены в Эльсинор первым королевским советником Полонием — для того, чтобы сыграть спектакль и развлечь принца Гамлета, который то ли тяжело грустит, то

⁶ Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет». С. 182.

⁷ См., например: Шекспир В. Собрание избранных произведений. СПб., 1992. Т. 1. С. 440.

⁸ Йорданов Н. Убийство Гонзаго / Перевод с болгарского Э. Макаровой // [Электронный ресурс] URL: <http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0&csq=2292%2C13468%2C18%2C21%2C0%2C0> // (дата обращения — 16.05.2015). Цитаты из текста пьесы даются по экранной версии.

ли тяжело болен — душевной болезнью. Репутация Гамлета в устах Полония — впечатляющая: «Он тихий сумасшедший. Меланхолик. Постоянно колеблется — быть ему или не быть...». Красотка Амалия, которую посылает к Гамлету Полоний (быть может, для утех?), видела, как принц читает книгу и бормочет: «Слова, слова, слова...». Артистам обещано двадцать тысяч дукатов: пять тысяч им выдали сразу, в качестве аванса, и, если всё пройдет хорошо, они получают еще пятнадцать тысяч. Это хороший гонорар; возвратившись в столицу, они смогут создать стационарный театр.

Меж тем актеры чувствуют, что ввязались в какое-то темное дело — «есть что-то гнилое в датском государстве». Цитаты из «Гамлета» здесь на каждом шагу, в каждой второй реплике; но сам Гамлет, король Клавдий и королева Гертруда — внесценические персонажи: они не появляются перед зрителями, из-за сцены доносятся только их голоса. О принце говорят только вскользь и украдкой, передают его слова, сообщают о его желаниях. «Послушай, дружище, — сказал он где-то в коридорах Эльсинора актеру Бенволио. — Можете ли вы сыграть “Убийство Гонзаго”?.. Вы его покажите завтра вечером... А если потребуется десять-пятнадцать стихов, пантомиму, и включить всё это в представление, вы сможете выучить к сроку?» Актеры соглашаются, но чувствуют себя в западне, «в руках великих шахматистов-политиков».

В шекспировской пьесе актеры не спрашивают принца, зачем ему нужна вставка в пьесу. В пьесе болгарского автора они чувствуют себя пешками в руках принца, с помощью которых он собирается объявить королю то ли шах, то ли сразу мат. Успокаивает одно — мысль о том, что артисты вне политики. «Мы люди маленькие. Мы произносим чужие слова, те, что нам напишут. Нам заплатят? Заплатят. А сейчас нам нужны деньги...».

Артисты начинают репетировать пьесу, но, когда доходят до сцены отравления, их охватывает ужас:

БЕНВОЛИО. Чарльз! Не могу больше скрывать. То, что мы делаем, — самоубийство.

ГЕНРИ. Что ты хочешь сказать, старик? Почему самоубийство?

БЕНВОЛИО. Самоубийство через воспроизведение убийства. Буквальное воспроизведение убийства старого короля, отца принца Гамлета. Он умер при подобных обстоятельствах. Во время сна кто-то ему в ухо налил яд.

ГЕНРИ. Кто же налил яд?

БЕНВОЛИО. Не догадываешься?

ГЕНРИ. Нет.

БЕНВОЛИО. Неужели ты такой тупой... Тот, кто женился на его жене, вдовствующей королеве.

ГЕНРИ. Король?! Нынешний король Клавдий! Его брат!!

БЕНВОЛИО. И эту роль, мой мальчик, играешь ты.

ГЕНРИ. Не хо-о-о-чу! Не хо-о-о-чу!

Суфлер пытается предотвратить беду. Он просит Офелию показать страницы, исписанные почерком принца, Полонию. «Мы с вами должны его спасти. Прочтите, и вы сами убедитесь... Я ничего не прошу взамен. Я переписал текст. Только передайте оригинал вашему отцу. Полоний должен остановить опасное представление, которое угрожает жизни принца». Офелия обещает сохранить страницы на память о принце.

Наступает вечер премьеры. Актеры играют спектакль точно по написанному, однако в тот самый момент, когда король, разгневанный увиденным, встает и шумно уходит из зала, Полоний громогласно объявляет актерам: «Господа, именем короля, вы арестованы. Вы обвиняетесь в антигосударственном заговоре. Немедленно освободите зал, за дверью вас возьмет швейцарская стража... Кто вам разрешил показывать эту пьесу? Это провокация! Король вне себя!»

Артистов уводят. Об итогах спектакля (здесь это и впрямь мышеловка, только не для короля, а для актеров) размышляют Горацио, советник принца, и Полоний, советник короля.

ПОЛОНИЙ. Ты читал Эразма Роттердамского, дружище? «Королевские уши не выносят истины».

ГОРАЦИО. А вы читали древних греков, сударь? «Взгляд храбреца сильнее меча труса».

Друг принца спрашивает королевского советника: «Что будет с актерами?» Тот с предельной откровенностью отвечает: «Недавно королевский хирург мне показал свежий отрезанный орган человеческого тела, который называется аппендикс. Люди искусства как аппендиксы, дружище. В спокойном состоянии они безвредны, когда ж начинают говорить — их нужно удалять».

Но еще прежде, чем «удалят» актеров, «удалили» Полония, сослали в Англию Гамлета.

Сцена допросов, которые проводит Палач, это уже «вставка» болгарского автора. Опытный дознаватель, который виртуозно умеет «ломать и сокрушать» любого подопечного, проводит операцию «удаления» *по-зти* без помех. Актеры, которых обвиняют в шпионаже, дают показания.

ПАЛАЧ. Как началась твоя шпионская деятельность?

ГЕНРИ. К нам пришел человек, агент норвежца Фортинбраса, и сказал: измените свой маршрут и пройдите мимо королев-

ской резиденции, замка Эльсинор. Норвежец сказал, что нас встретит первый королевский советник Полоний и выпустит шестерых актеров в замок.

ПАЛАЧ. Кто были эти шестеро?

ГЕНРИ. Господин директор, его жена Элизабет, госпожа Амалия, Бенволио, господин суфлер и я.

ПАЛАЧ. И все знали задание?

ГЕНРИ. Мы пятеро — да, господин суфлер ничего не знал.

ПАЛАЧ. Какова была ваша задача?

ГЕНРИ. Сыграть пьесу и во время представления осуществить ее содержание.

ПАЛАЧ. Как называлась пьеса?

ГЕНРИ. «Убийство Гонзаго».

ПАЛАЧ. Сюжет?

ГЕНРИ. Убийство короля.

ПАЛАЧ. Как вы предполагали осуществить ее содержание?

ГЕНРИ. Создать суматоху и убить короля.

ПАЛАЧ. Кто должен был убить короля?

ГЕНРИ. Господин директор, Чарльз.

ЧАРЛЬЗ. Что за фарс! Что ты несешь, Генри? Это же фарс!

ПАЛАЧ. Дальше.

ГЕНРИ. Мы сыграли спектакль, создали суматоху, но не успели убить короля, потому что нас арестовали. Признаю себя виновным, осуждаю свою деятельность и ожидаю сурового, но справедливого приговора. Прошу только о снисхождении — не отнимать у меня жизнь.

ЧАРЛЬЗ. Вы во всё это верите, господин Палач?

ПАЛАЧ. Моя задача — не верить, а добиваться правды.

ЧАРЛЬЗ. Какой правды?

ПАЛАЧ. Той, что полезна для государства.

После камеры пыток, где избивают, ломают ребра, заставляют сутками стоять навтыжку, надевают колодки, откуда доносятся жуткие крики и вопли, актеры, один за другим, сознаются в шпионаже под диктовку Суфлера. На вопрос об имени и профессии следует отвечать: «Мое имя — грязная свинья, профессия — рыться в помоях». Согласно принципу Палача, допрашиваемого следует сначала лишить его имени и достоинства — и только потом заставить сознаться в том, в чем ему, Палачу, нужно.

Доходит очередь и до Суфлера. Он свидетельствует: «Я участник антигосударственного заговора против нашего короля Клавдия. Вовлечен был в него господином директором Чарльзом, который мне дал текст

с антигосударственным содержанием. Не знаю, кто этот текст написал, но почерк был принца Гамлета.

ПАЛАЧ. Лжешь! Откуда ты знаешь почерк принца Гамлета?
СУФЛЕР. Госпожа Офелия подтвердит. У нее оригинал.

ПАЛАЧ. Кто ей дал?

СУФЛЕР. Я.

ПАЛАЧ. С какой целью?

СУФЛЕР. Передать ее отцу, первому королевскому советнику Полонию, чтобы приостановить спектакль.

ПАЛАЧ. Покойный первый королевский советник оказался норвежским шпионом, следовательно, ты тоже.

Очень скоро Палач объявит актерам: «Ваш Суфлер замолчал навсегда. Он получил по заслугам. У меня принцип — кто прощает виновных, тот осуждает невинных».

Начинается поединок между Палачом и Горацио. Палач обвиняет Горацио в организации антигосударственного заговора против короля Клавдия. Используя сумасшествие принца Гамлета, он заставил принца написать пьесу с обидным для короля содержанием, заплатил пять тысяч дукатов бродячим актерам, чтобы они сыграли эту пьесу в королевской резиденции с целью создать суматоху и убить короля. Страницы, написанные рукой принца, — тому доказательство.

Однако Горацио, в свою очередь, объявляет, что пришел от имени его величества короля Дании, в качестве члена королевской свиты, и напоминает Палачу, что от него требуется только одно: разоблачить покойного первого королевского советника Полония как шпиона враждебного Дании государства, получить соответствующие письменные показания от арестованных артистов — его соучастников — и немедленно представить их королевскому совету. Палачу категорически запрещено упоминать под любым предлогом имя принца Гамлета, иначе это будет иметь непоправимые последствия для датского государства. По этой причине принц был отправлен с дипломатической миссией в Англию. Горацио требует немедленно передать ему опасные страницы и продолжить расследование.

Под пытками сознаются все без исключения. У Офелии, потерявшей рассудок, Палач отбирает страницы, написанные рукою принца. Директор труппы тоже сознается в шпионаже, хотя пытается всю вину взять на себя и выгородить остальных. Мужчины сломлены; женщины, отданные на поругание истомившейся по женскому телу швейцарской страже, обещены и растерзаны. Палач объявляет приговоры: кому — смертная казнь через обезглавливание, кому — удары палками у позорного столба, лишение гражданских прав и запрет на профессию до конца жизни.

Так стихотворная вставка принца Гамлета, имеющая в трагедии Шекспира цель «заарканить совесть короля», становится в позднейшей пьесе болгарского автора самостоятельным сюжетным элементом, который раздвигает рамки действия в сторону, условно говоря, Оруэлла. Никто не может вынести пыток, никто не может удержаться от предательства. Даже друг Горацио, тот, кто у Шекспира является олицетворением честности, стойкости и верности («из всех людей ты самый настоящий»), здесь — главный интриган, к тому же он развязен, пошел, банально флиртует с замужней актрисой на глазах ее супруга, директора театра, и провозносит приговор такой, оказывается, небесспорной добродетели как дружба:

ГОРАЦИО. Запомни, что я тебе скажу, Чарльз. У каждого человека на этом свете есть только один друг.

ЧАРЛЬЗ. Кто же?

ГОРАЦИО. Он сам. Моего единственного друга зовут Горацио. Понял?

ЧАРЛЬЗ. Понял.

В трагедии Шекспира судьбы бродячих актеров остаются в тени, нет ни единого намека на то, что же случилось с ними после того, как спектакль был прерван. В пьесе современного автора именно они, да еще Палач, вершитель судеб своей страны, оказываются в центре действия.

Но в «Убийстве Гонзаго», пьесе, символизирующей нравы XX века, но созданной по мотивам трагедии из конца XVI — начала XVII века, всё же не должно быть смертей больше, чем в оригинале, и драматург в основном соблюдает верность источнику. В жертву принесен только безымянный Суфлер, угодивший в собственную мышеловку: негоже человеку из толпы пытаться изменить ход истории и мировую драматургию — «Убийство Гонзаго» должно быть сыграно по нотам и до конца, пусть даже по тексту, который переписал Суфлер с оригинальной рукописи принца, спрятав оригинал. Король так или иначе должен увидеть копию своего злодейства — остальное за него сделает Палач.

Как же, однако, добиться хоть какого-то сносного финала? Нельзя ведь закончить спектакль массовыми казнями. Драматург выходит из положения за счет «друга» Горацио, истинного лицедея, единственного, кто как будто остался в выигрыше от случившегося. Слова шекспировского Гамлета — «Горацио, ты изо всех людей, / Каких я знаю, самый настоящий» — аukaются здесь злой карикатурой. Здесь «настоящий Горацио» надменно объявляет Палачу, готовому немедленно привести свои приговоры в исполнение: «Отстаёте от жизни, господин Палач. В королевском замке час тому назад разыгралась настоящая античная трагедия. Мертвые: вернувшийся из Англии принц Гамлет проколот отравленной

шпагой Лаэрта, сына покойного Полония; сам Лаэрт заколот принцем Гамлетом; королева выпила отравленный бокал с вином, приготовленный королем Клавдием; и сам король Клавдий, которого проткнул шпагой принц Гамлет. Четыре трупа и один новый король — король Фортинбрас!.. Указ короля Фортинбраса, написанный мной лично и скрепленный королевской печатью: «Актеры бродячей театральной труппы: директор Чарльз, Элизабет, Бенволио, Амалия, Генри, активные участники заговора против бывшего короля Клавдия, объявляются героями Дании. Выражаю им высочайшую королевскую благодарность и назначаю их актерами нового постоянного королевского театра во главе с директором Чарльзом»».

А я, — спрашивает Палач, — я, господин королевский советник?

ГОРАЦИО. Учитывая ваш опыт, вы назначаетесь королевским Палачом, господин королевский Палач... Перед смертью принц Гамлет мне сказал: «Горацио, расскажи правдиво мою историю!» Пришло время, я расскажу ее правдиво, а принц Гамлет будет погребен с почестями. Господин Палач, передайте господам артистам конфискованные десять тысяч дукатов. Они будут нужны для нового королевского театра.

ЧАРЛЬЗ. А остальное, сударь? Что дальше?

ГОРАЦИО. Дальше — тишина...

Занавес опустился, действие закончилось. Осталось ощущение погрязшей, оболганной, обокраденной правды, чудовищной, циничной несправедливости, перевернутого, искаженного мира, с которым придется мириться бедным, измученным актерам в течение всей дарованной им жизни. Придется жить с сознанием того, что и при новом короле, Фортинбрасе, палачом назначен тот же самый негодяй, кто их мучил, терзал и пытал, кто издевался над их человеческим достоинством и над их профессией. Они никогда не были активными участниками заговора против бывшего короля Клавдия, они никакие не герои Дании, они всего только артисты, которые играли то, что им было предложено, — но им придется молча выслушать указ о своем награждении, подписанный хитрецом, пронырой и лжецом, которого они считали другом погибшего принца. Такой Горацио никогда не напишет правдивой истории о своем преданном друге, он повернет ее так, как будет выгодно новому королю и текущему политическому моменту.

Подлинная современная трагедия — та, где не торжествует правда, та, где нет катарсиса, та, где царствует и правит лукавая подлость.

Таковы сегодняшние вариации «Гамлета», такова судьба легендарной сценарной вставки принца, задуманной на двенадцать-шестнадцать

строк, но воплощенной всего в шести стихах и ремарке в одну строку. Всемирно известная гамлетовская история, увиденная глазами бродячих актеров, показывает жестокость мира, в котором правит безжалостный Палач, вырывающий из глоток бедолаг «правду, полезную для государства». Драма артистов, польстившихся на большой гонорар и попавших в беду, оборачивается сначала трагедией, а потом фарсом, который столь же абсурден, сколь и реалистичен.

Спектакль шел и продолжает идти на сценах московских и других российских театров. В 1992-м трагикомедия была поставлена в Малом театре. «Этому спектаклю “повезло” родиться на свет в смутное время перестройки. Публика практически перестала ходить в театры, из театров начали уходить специалисты — зарплата, которую получали работники театра, была ничтожной. С трудом выпускались одна — редко две премьеры в сезон. Почти три (!!!) года в Малом практически не открывались верхние яруса — всем, купившим билеты, предлагалось размещаться в партере, где и после такого заполнения оставалось много свободных мест... А на сцену в спектакле “Убийство Гонзаго” выходили Н. Анненков, Е. Самойлов, Ю. Каюров, Ю. Васильев, Б. Клюев, Н. Верещенко, Л. Титова, О. Пашкова, А. Коршунов, Д. Назаров, А. Клюквин, Т. Скиба, В. Езепов и с полной отдачей играли для тех немногих, кто решился потратить деньги на билет в театр. Ни о каких съемках тогда и речи не велось, потому и этот прекрасный спектакль, и многие другие, не менее достойные, так и не были сняты для показа по телевидению. В 1992 году режиссер Б. Морозов повторил постановку этой пьесы на сцене новосибирского молодежного театра “Глобус”. В тех же декорациях и костюмах, с теми же мизансценами и с той же музыкой, что и в спектакле Малого театра. И некоторое время актеры Малого приезжали в Новосибирск, где играли в спектакле со своими коллегами из молодежного театра».⁹

А вот анонс Кировского областного драматического театра — премьеры «Убийства Гонзаго» состоялась в марте 2014 года: «Главными действующими лицами спектакля по пьесе Недялко Йорданова становятся актеры и... его величество Театр. Да-да, эдакий парафраз шекспировских же строк “Весь мир — театр, а люди в нем актеры”. Может ли и должен ли театр существовать вне контекста, вне общества, вне политики? Что стоит в центре его интересов — только ли “вечные ценности” или и день сегодняшний тоже? Должны ли актеры “служить королю и короне”? А, может быть, именно им даровано право сказать со сцены, что “король-то голый”... Но за любые свободы приходится платить высокую, порой несоизмеримую цену. Этот урок человечество усвоило хоро-

⁹ См.: На сцене Малого... Вып. 12 // [Электронный ресурс] URL: <http://imgcache.no-ip.org/torrents/628362> (дата обращения — 18.05.2015).

шо. Так готовы ли герои спектакля ради искусства и правды поставить на кон свои жизни? Смогут ли бродячие артисты покинуть стены мрачного Эльсинора, где царит тягостная средневековая атмосфера интриг, всеобщего недоверия и лжи?»¹⁰

А вот один из зрительских откликов: «Замечательный спектакль “Убийство Гонзаго” — для тех, кто любит по-настоящему хорошую, серьезную драматургию! В новой постановке театра рассказана История Одного Спектакля — знаменитой “Мышеловки” из “Гамлета”. Вокруг этой темы возникают различные другие смысловые пласты и подтексты. Очень колоритны герои, яркие, одержимые сильными страстями и чувствами, — совершенно в духе шекспировского театра! Актерский состав великолепный: игра по-настоящему трогает за душу! Посмотрев спектакль, испытала ощущение, будто это неизвестная доселе вторая часть “Гамлета”, о существовании которой просто не знала — настолько органична связь с самим Шекспиром!»¹¹

Спектакль играют сегодня во Пскове, в драматическом театре им. А. С. Пушкина и в театре на открытом воздухе «Карусель»; в Московском театре Smile, в Мытищинском театре драмы и комедии «Театр “Фэст”». Спектакль будто создан для кинематографа: сюжет с бродячими артистами, которые оказываются в центре событий, — совершенно кинематографическая история.

Экранизаций «Гамлета», одной из самых знаменитых пьес в мире, существует около сорока, с «Гамлета» начался кинематограф XX века — французской постановкой Мориса Клемана с Сарой Бернар в роли принца (1900). Девять раз экранизировала «Гамлета» Англия, по пять раз — США и Италия, по три раза — Россия и Франция, по разу — Турция, Китай, Канада, Финляндия, Дания, Япония, притом что китайский «Гамлет» вышел под названием «Банкет», финский — «Гамлет идет в бизнес», турецкий — «Женский Гамлет», японский — «Плохие спят спокойно», канадский — «Сдержанный напиток». Наиболее значимыми в мире кино считаются пять экранизаций — режиссеров Лоуренса Оливье (1948), Григория Козинцева (1964), Тони Ричардсона (1969), Франко Дзеффелли (1990), Кеннета Брана (1996).

История переводов «Гамлета» на русский язык началась в 1748 году, когда за Шекспира взялся А. Сумароков. Первые варианты были переделками на основе переводов Гамлета на французский и немецкий языки, но уже в XIX веке появились добротные переводы пьесы с оригинального

¹⁰ См.: «Королевская мышеловка» («Убийство Гонзаго»): История одного спектакля в двух действиях // [Электронный ресурс] URL: <http://kdt.kirov.ru/performances/58> (дата обращения — 18.05.2015).

¹¹ Там же.

текста. В списке — 33 имени: то есть, кроме Н. Полевого (1837), М. Лозинского (1933) и Б. Пастернака (1940—1950-е), к «Гамлету» обращались еще 30 переводчиков. Последний перевод датируется 2010 годом (В. Ананьин).

3

Однако, несмотря на существование классических переводов (далеко, кстати, не буквально точных, зато интересных с художественной точки зрения), а также блестящих, признанных во всем мире экранизаций самой знаменитой трагедии Шекспира, фантазию художников сцены и экрана, которые хотят раздвинуть рамки оригинала и заглянуть за кулисы, в примерные, вывернуть сюжет наизнанку, перелицевать характеры персонажей, узнать их подноготную, подглядеть в замочную скважину за всеми, а не только за главными действующими лицами, — эту фантазию остановить невозможно.

Приведу всего несколько примеров.

В 1960 году в прокат вышел японский художественный фильм Акиры Куросавы «Плохие спят спокойно» — одна из самых социально острых картин этого выдающегося кинохудожника. Сюжет фильма лишь отдаленно напоминает шекспировского «Гамлета». Молодой человек Коити Ниси (эту роль исполняет Тосиро Мифунэ) жаждет отомстить за смерть отца, которого принудил к самоубийству вице-президент крупной земельной компании. Ради того чтобы посадить в тюрьму соучастников преступления, Ниси (это не его настоящее имя) использует чужие документы, нанимается секретарем в ту самую компанию, входит в доверие к вице-президенту Ивабути и сыну Ивабути и даже женится на его дочери Ёсико. Критика писала, что Куросава, идя на бой с капиталистическими нравами, не находит иного способа борьбы, чем месть одиночки, оскорбленного гибелью отца. Шекспировская проблематика в японской картине вывернута наизнанку — если сила датского принца в честности его рефлексий и его жертвенности, то сила Ниси — в необузданной злобе и жажде мести, которые им движут.

* * *

Известный финский режиссер Аки Каурисмяки в 1987 году снял картину «Гамлет идет в бизнес» — по собственному сценарию и мотивам трагедии Шекспира (авторами сценария в титрах значатся Аки Каурис-

мяки и Вильям Шекспир).¹² Классическая пьеса и хрестоматийный сюжет перелицованы и превращены в гротескное зрелище индустриального мира Хельсинки второй половины XX века. Гамлет — сын и наследник богатого бизнесмена, «юноша с сердцем, теплым, как холодильник», не ладит с отцом, думает только о себе, стремится захватить контроль над компанией. Ему известно, что Клаус (Клавдий), будучи любовником матери, систематически подсыпает яд в бокал отца. Гамлет меняет яд на более сильный, и отец умирает от отравления. Принц — совсем не тот скупающий молодой человек, впадающий в меланхолию и апатию, не тот одержимый рефлексией аристократ, которого мы знаем по трагедии Шекспира. У Каурисмяки Гамлет — делец, стремящийся к власти и играющий окружающими его людьми. Его любовь, его чуткость — всего лишь уловка, его безумие — спектакль, четко спланированный ход, и даже месть за убийство отца оказывается предлогом для достижения цели. История, рассказанная в оригинальной пьесе, обретает совсем новый смысл: центр и источник всего происходящего — сам Гамлет, продумавший всё от начала и до конца в своем маленьком спектакле.

Окружение Гамлета столь же цинично, надменно и корыстолюбиво, как и он сам. Клавдий убивает своего брата, чтобы завладеть его компанией, расчетливая Офелия по настоянию отца заигрывает с Гамлетом (ведь у него 51 процент акций компании), мать Гамлета, говоря о смерти Полония, интересуется лишь тем, сильно ли эта смерть повредит бизнесу. Все герои, перенесенные в современность, радикально сменили свои нравственные ориентиры.

В центре «производственного» сюжета — финансовое маневрирование, борьба за иностранных партнеров, перевод капиталов, передел сфер влияния. Средства для реализации этих целей — обман, криминал, интриги. Клаус захватывает контроль над компанией, полагая, что Гамлет — пешка, инфантильный дурачок. Клаус и Полоний намереваются продать финские активы компании шведам, однако Гамлет неожиданно блокирует сделку. Чтобы нейтрализовать его, Полоний поручает своей дочери Офелии соблазнить Гамлета и склонить его к браку. В сцене пресловутой «мышеловки» Гамлет дает понять Клаусу и матери, что ему известно об их причастности к смерти отца. Насилие нарастает, становится всё более абсурдным и приводит к гибели почти всех действующих лиц. С шекспировских времен борьба за власть остается неизменной пружиной человеческих страстей, однако в качестве предмета этих страстей в финском «Гамлете» фигурируют деньги: они вытесняют все остальные чувства.

¹² Гамлет идет в бизнес (1987) // [Электронный ресурс] URL: <http://www.videomax.org/videos/9355/gamlet-idet-v-biznes/> (дата обращения — 18.05.2015). Цитаты из фильма приводятся по экранной версии.

Для «Гамлета», — признавался режиссер, — я писал изо дня в день, а точнее, из часа в час. У меня была комнатка на верхнем этаже над помещением, где мы снимали, я убежал туда после каждой сцены, чтобы написать диалоги для следующей, а в это время площадку готовили к съемке. Я старался более или менее точно следовать Шекспиру, потом раздавал диалоги актерам и давал им полминуты, чтобы выучить текст, не разрешая менять ни слова... Все мои фильмы некрасивы. Этот — наименее некрасивый. Этот фильм — моя дань уважения голливудским B-movies 40-х годов, он выдержан в том же стиле. В фильме «Гамлет идет в бизнес» юмор действительно черный, так что в живых никого не остается. Умирают все, потому что они жадные. Диалоги наполовину Шекспира, наполовину мои, и я очень горжусь этим.¹³

Перелицовка классического сюжета о распаде семьи и трагедии мести трактуется у Каурисмяки с откровенным цинизмом. Мир Гамлета полон здесь беспросветного зла, в котором все нравственные ориентиры относительны, всё продается и покупается. Гамлет уже не только не мстит за поруганные семейные ценности, но и сам оказывается главным разрушителем традиционного семейного уклада — впрочем, как и все вокруг. Полоний манипулирует дочерью Офелией, та манипулирует своим женихом Гамлетом, а он, как выясняется в конце фильма, с циничным эгоизмом манипулирует ими всеми. «Офелия, — говорит режиссер, — это истеричная папенькина дочка, провалившаяся в балетном классе, который был чуть ли не единственной ее надеждой в жизни. В итоге у нее хватает мужества утопиться, и ей приходится это сделать, потому что так написано в книге. Вместо цветов по воде плывет продукция фабрики по изготовлению резиновых утят».¹⁴

Гамлет человечен лишь в той мере, в какой он гурман и чревоугодник. Вместо классического монолога «Быть или не быть?» он задается вопросом: «Не похудел ли я с прошлой весны?» При этом признается: «Сколько бы я ни съел, внутри у меня пусто». Но и его душу раздирают всё те же призраки, а сознание омрачают всё те же демоны: «Ты знаешь, что я делаю по утрам? Я блюю — вот так мне плохо!»

Это, может быть, единственный фильм, где мне удалось достичь хеппи-энда, — говорит режиссер. — В других страдания

¹³ См.: Гамлет идет в бизнес: Аки Каурисмяки о своем фильме // [Электронный ресурс] URL: <http://aki-kaurismaki.ru/films/hamlet.htm> (дата обращения — 18.05.2015).

¹⁴ Там же.

главных героев продолжают, а здесь все находят покой, за исключением собаки, служанки и шофера... Люди имеют превратное представление о счастье. У всех моих фильмов счастливые концы, и самый счастливый — в «Гамлете».¹⁵

Каурисмяки, — замечает рецензент, — вероятно, стоило большого труда найти в современном мире и склеить осколки того, что можно показать под видом «Гамлета». Автору пришлось мешать и варить новую кашу. Совмещение трагичности былого и сегодняшнего быта выражено и в постоянно меняющемся музыкальном сопровождении фильма — то душераздирающие Чайковский и Шостакович, то нагло-хамский блюз, и в сочетании аристократических качеств действующих лиц с их главным занятием — производством резиновых уточек; описание гибели героев простирается от пистолетных выстрелов до отравления жареной курицей и надеванием старого лампового радиоприемника на голову Лаэрта (и пусть при этом звучит бешеный твист!), а любовь приносят в жертву лесопилке... Трагичное в фильме замешано на комичном, а так оно и есть на самом деле в нашей современной жизни. Констатация этого звучит в финальном аккорде саундтрека — звучит известная вариация Шостаковича на тему революционной песни «Мы жертвою пали в борьбе роковой».¹⁶

Критики определяют фильм Каурисмяки и как трагикомедию, и как кинофарс, и как фильм-нуар, то есть относят к жанру «черных» фильмов, запечатлевших атмосферу пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма. Режиссер шуточно назвал свою картину «черно-белой-андеграунд-би-муви-классической драмой». Кинокритик Андрей Плахов определил фильм как «циничный нуар, немного в духе раннего Дэвида Линча»; еще одно определение фильма — «социальный гротеск из финской жизни эпохи авантюрных биржевых игр, банковских кризисов и “экономики казино”».¹⁷

Вместе с тем, для создания циничного кинофарса из жизни финской бизнес-элиты известный режиссер взял моделью шекспировскую трагедию. Резонно возникает вопрос: зачем? Не проще ли было написать ори-

¹⁵ Там же.

¹⁶ См.: Куды Гамлету податься? Рецензия // [Электронный ресурс] URL: http://aki-kaurismaki.ru/films/hamlet_r1.htm (дата обращения — 18.05.2015).

¹⁷ Плахов А., Плахова Е. Аки Каурисмяки. Последний романтик: Фильмы, интервью, сценарии, рассказ. М., 2006. (Кинотексты). С. 52–59.

гинальный сценарий с оригинальным героем, носящим финское имя и переживающим финские, а не датские страсти? Не для того ли, чтобы наглядно показать, как далеки от новой реальности мораль и нравы шекспировского Эльсинора? Как низко пали люди «после Шекспира», как измельчала священная месть, как деградировало само понятие «Быть Гамлетом»?

* * *

Что значит быть бывшими университетскими товарищами Гамлета? — На этот вопрос попытался ответить десятью годами ранее британский драматург, режиссер, киносценарист и критик Том Стоппард, снявший в 1966 году художественный фильм «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»¹⁸ по своей одноименной пьесе. На русский язык пьеса была переведена в конце 1960-х годов Иосифом Бродским, который тогда ничего не знал о ее авторе. Рукопись перевода сохранилась в архивах журнала «Иностранная литература» и была опубликована в 1990 году.

Помня знаменитые шекспировские строки «Весь мир — театр. / В нем женщины, мужчины — все актеры. / У них свои есть выходы, уходы, / И каждый не одну играет роль»,¹⁹ Стоппард поместил в рамки трагедии «Гамлет» свое понимание мироустройства. Акценты радикально сместились: давние приятели принца датского Розенкранц и Гильденстерн (у Шекспира королева Гертруда говорит о привязанности к ним ее сына: «Я больше никого не знаю в мире, / Кому б он был так предан» (87)) из безликих статистов стали главными героями пьесы. Прежнюю привязанность к ним подтверждал в пьесе Шекспира и сам принц: «Заклинаю вас былой дружбой, любовью, единомыслием и другими, еще более убедительными доводами: без изворотов со мной. Посылали за вами или нет? <...> Если любите меня, не отпирайтесь» (105–106). Говорит Гамлету и Розенкранц: «Принц, вы когда-то любили меня» (161). Но — про-

¹⁸ См.: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1966) // [Электронный ресурс] URL: <http://bobfilm.net/drama/8659-rozenkranc-i-gildenshternmertvy-1990.html> (дата обращения — 18.05.2015). Цитаты из фильма приводятся по экранной версии.

¹⁹ *Шекспир В.* Как вам это понравится (As You Like It). Впервые подобную фразу сказал древнеримский философ Эпиктет: «Наша жизнь — пьеса, в которой Бог распределил роли. Нам остается лишь их с достоинством сыграть!» Другим источником шекспировских слов стали сочинения Гая Петрония. Его строка «Mundus universus exercet histrioniam» украшала фронтон здания, где размещался театр «Глобус», для которого писал свои пьесы Шекспир.

шло время, и оно не пошло на пользу дружбе, так что Гильденстерн вынужден признаться: «Милорд, за нами посылали» (106).

В картине Стоппарда глазами университетских товарищей Гамлета зритель видит и историю принца, и печальную судьбу королевства. «Гамлет» вывернут наизнанку: в центр событий поставлено то, что происходит с незадачливыми студиязусами Розенкранцем (Гарри Олдмэн) и Гильденстерном (Тим Рот) — именно они разыгрывают странную и смешную историю, ведут абсурдные диалоги с претензией на философские размышления и, в рамках отведенной им роли, участвуют в разворачивающейся где-то на заднем плане трагедии. Играя главные роли в своей жизни, они являются лишь второстепенными, а порой и вовсе несущественными персонажами в жизни чужой.

Трагедия при этом легко превращается то в комедию, то в фарс.

Что мы знаем по пьесе Шекспира об этих двух юношах, которые всегда появляются вместе и никогда врозь, так что порой вообще кажутся одним персонажем по имени то ли «Розенстерн», то ли «Гильденкранц»? Они учились вместе с принцем в Виттенбергском университете (Германия), проводили с ним много времени, но теперь служат королю Клавдию против Гамлета, шпионят за ним, доносят на него и вообще — готовы на всё.

В фильме Стоппарда мы, однако, сразу же перестаем их путать: это два разных человека, два характера — с разными способностями разбираться в событиях и с разной готовностью выполнить любой приказ короля. Рациональный и въедливый наблюдатель Гильденстерн и меланхоличный фаталист Розенкранц (от огорчения он может даже всплакнуть), призванные в Эльсинор, получают задание выведать причины недуга принца. На протяжении всего пути к замку и в самом замке их преследуют необъяснимые происшествия и неразрешимые вопросы. В сущности, они «маленькие люди», попавшие под колеса большой политики и оказавшиеся в центре большой интриги — про такие неприятности принято говорить: попали «как кур в ощиц». Всё происходящее в Эльсиноре им видится совсем не так, как это мог бы увидеть Гамлет. Они много беседуют, порой просто болтают. Гильденстерн пытается, но не может выведать, что же происходит в замке, Розенкранц строит бумажные кораблики и запускает бумажных птиц, — при этом приятели то и дело заговаривают о смерти: «Где тот момент, когда человек впервые узнает о смерти? Должен же он где-то быть, этот момент, а? В детстве, наверно, когда ему впервые приходит в голову, что он не будет жить вечно». Призрак смерти караулит во дворце всех, и юноши, кажется, догадываются, как близко он подобрался и к ним. «Закулисье» пьесы столь же трагично, как и основная сцена; разница лишь в том, что до «закулисья» никому нет дела, и гибели двух недотеп, впутавшихся в дурную историю, никто не заметит.

Но почему же поручение короля, который убил своего брата (о чем Розенкранц и Гильденстерн, быть может, и догадываются, но реагируют на это с каким-то вялым безразличием), — поручение шпионить за Гамлетом — не вызвало у друзей ни возмущения, ни неповиновения? Почему они с такой готовностью принялись за выполнение поставленной перед ними задачи, ощущая, кажется, холод могилы, ожидающей их в конце миссии? Гильденстерн меж тем произносит главные слова пьесы: «Был в самом начале момент, когда можно было сказать “нет”, но мы его пропустили». Узнав, что в письме, которое они везут в Англию, содержится предписание казнить Гамлета, Розенкранц робко протестует: «Мы же его друзья, мы же на его стороне», но Гильденстерн стоит на своем: «Лучше ни во что не вмешиваться». Мрачная ирония судьбы состоит в том, что, не вмешавшись, пустив события на волю волн, друзья в итоге выбрали свою гибель. Но как бы могла повернуться их судьба, расскажи они принцу (по-дружески! по-товарищески!) о коварном замысле короля?

Фильм, однако, сделан так, что всё произошедшее может быть воспринято как сон и бред, как морок или спектакль, поставленный одним из бродячих актеров. Корабль, на котором приятели сопровождают Гамлета в Англию, не похож на настоящий... Буря условна; лица друзей слишком уж спокойны и безмятежны для висельников... Да и мертвы ли они?

В любом случае фильм напоминает, что судьба есть не только у первых лиц пьесы — королей, принцев и королев, — она есть даже у таких придворных, как Розенкранц и Гильденстерн, которые, как послушные марионетки, готовы исполнять роль, написанную для них невесть кем. И если идти по этой драматургической дорожке, можно озаботиться также судьбами Озрика и Фортинбраса, будущим могильщиков, солдат из стражи короля, вестовых и свиты. Нет предела фантазии. Вопрос лишь в том, раздвигает ли она границы трагедии, насыщает ли ее новыми смыслами — или еще один автор решил осовременить классику и погреться в лучах славы великого Шекспира.

* * *

В 2009 году на экраны вышла 4-х серийная драма режиссера Юрия Кары «Гамлет. XXI век» — переложение трагедии Шекспира в современных реалиях.²⁰ Рабочим названием фильма было «Гамлет: история повторяется», однако, расслышав в массовке фразу: «Когда уже Гамлет встретится с Джульеттой?», режиссер понял, что историю о принце датском нужно рассказывать как в первый раз — то есть так, как он бы рассказы-

²⁰ Гамлет. XXI век (2009) // [Электронный ресурс] URL: <http://smotrim-serial.com/serialrusonline/3467-gamlet-xxi-vek.html> (дата обращения — 18.05.2015). Цитаты из фильма приводятся по экранной версии.

вал ее людям, ничего о Гамлете не слышавшим. Съемки проходили в Крыму: Воронцовский дворец превратился в Эльсинор, а Офелия падала в море (Черное, а не Северное) со стен замка Ласточкино гнездо.

Сюжет пьесы в картине почти полностью сохранен — были усилены лишь некоторые акценты, а действие и антураж насытились суперсовременными реалиями. Фильм начинается со свадьбы короля Клавдия и королевы Гертруды, которая проходит в пафосном ночном клубе; в их честь объявлено соревнование — между Гамлетом и Лаэртом — в стрит-рейсинге на дорожных гоночных автомобилях. Праздник в разгаре: вспыхивают фейерверки, гремит рок-н-ролл, свое порочное искусство демонстрируют стриптизерши, повсюду снуют крутые байкеры и полуголые танцовщицы. Герои с выбеленными лицами и густо подведенными черной тушью глазами одеты в костюмы в стиле готов и «темных панков»; готы и готессы предаются безудержному веселью под музыку «Deep Purple» и «Токио».

Гамлет, простоватый молодой человек с седой прядью в густой черной шевелюре (студент-дебютант Г. Месхи), прекрасно чувствует себя в готической традиции-декорации посреди танцующего Эльсинора, создавая при этом образ байронического, рокового аристократа — изящного, нежно влюбленного, — однако вынужден вдруг задуматься о мести, заподозрив в убийстве своего отца его брата, короля Клавдия.

Клавдий — брутальный красавец-гот со всеми атрибутами агрессивной и жестокой гиперсексуальности, злодей до кончиков пальцев, униженных крупными перстнями с черными камнями (Д. Дюжев), демонстрирует безудержное влечение к королеве Гертруде — стильной брюнетке-готессе, одержимой плотской страстью к своему новому супругу, проявлений которой она не может скрыть даже на людях (Е. Крюкова). Эти двое ничего и никого не стесняются, так что придворные уже не удивляются, заставая их среди бела дня в жарких и нарочитых объятиях. Моложавый Полоний (А. Фомин), модник из модников, поминутно меняющий костюмы (кожа, металл, парча, латекс), воспроизводит, кажется, стилистику картины «Поколение Р» — по той вольготности и пренебрежению правилами приличия, с какими живут все циники, карьеристы и политические приспособленцы. Розенкранц и Гильденстерн (А. Бердников и Ю. Оболонков), оба с причудливыми лакированными ирокезами, в супермодных кожаных куртках, увешанные металлическими цепями и медальонами, разъезжают на сверхскоростных мотоциклах, преследуют Гамлета, грубят ему и задирают его, давая понять, что они, бывшие однокурсники, теперь на службе короля Клавдия и — в случае чего — не пощадят старого приятеля, хоть он и принц.

Хотя персонажи фильма говорят нарезками из классических русских переводов «Гамлета» М. Лозинского, А. Кронеберга, Б. Пастернака,

П. Гнедича, А. Радловой, в их речи то и дело встречаются фразы из современной жизни: «Тот самый шалопай из Куршевеля»; «В желтой прессе сделают рекламу ему совсем бесплатно»; «Не должен опускаться я до злых средневековых правил мести»; «Ты слишком занят был своими гонками, девчонками, рок-музыкой и прочей суетой». При почти полном тождестве сюжета фильма оригинальному многие его линии здесь существенно ужесточены. Во время выступления бродячих артистов король, разгадав замысел принца («мышеловку»), приходит в ярость и неистовство — так, что хрустальный бокал с вином крошится в его в руке, будто сделанный из песка. Придворный короля Озрик (В. Сухоруков), по Шекспиру — кривляка, пустое место, мыльный пузырь, здесь — безжалостный убийца, готовый выполнить любой кровавый приказ. Он «помогает» Офелии упасть в море с высокой галереи дворца, ибо Клавдий приказал ему избавиться от девушки, опасаясь, что безумная дочь Полония беременна от Гамлета, а еще один наследник престола злодею не нужен. Слежка за Гамлетом осуществляется с помощью технических средств: дворец нашпигован видеокамерами, так что король может наблюдать за принцем, сидя у себя в кабинете, — изображение передается на монитор его плазменного телевизора или ноутбук на письменном столе. Микрофон висит и на шее нежной белокурой Офелии (Ю. Кара) — ее подслушивают «в прямом эфире», и она отлично знает это. На яхте «Святой Николай», на которой Гамлет вместе с Розенкранцем и Гильденстерном отплывает в Англию, обнаруживается огромная мина, и принц, узнав о смертельной ловушке, вызывает по мобильному телефону Горацио (Д. Бероев); друг — здесь он друг без обмана и подвоха — приплывает за принцем на катере, так что им удается избежать гибели. Дуэль Гамлета и Лаэрта, в которую они втянуты королем, — это снова стритрейсинг на гоночных автомобилях: ловушка — в подстроенной неисправности руля в машине Гамлета, которому придется отбиваться от Лаэрта еще и мечом.

Финал не только трагичен, но и безысходен: умирающий Гамлет кается в том, что ему пришлось опуститься до уровня убийцы, но теперь его отец отомщен. В ответ он слышит от Призрака (И. Лагутин): «Я лишь хотел, чтобы ты поднялся над людскою суетой и понял, что тебе судьбою начертано вершить людские судьбы и быть ответственным за всё, что происходит в мире». Гамлет: «Всё кончено, отец мой. Бог с тобою! Прощай! Я вижу: дальше — тишина». Призрак: «Погибло наше королевство». Спасительный и спасающий Фортинбрас не появляется, и справедливость не торжествует. Вместо норвежца промелькнул Озрик — видимо, он и займет трон.

Решение режиссера осовременить фильм, насытив его электронными гаджетами, готической модой и неистовой сексуальной агрессией монархов, было вызвано, как не раз признавался Ю. Кара, стремлением понра-

виться массовой молодежной аудитории, сделать образы и коллизии высокой литературы более доступными для нее и, быть может, подвинуть ее к прочтению трагедии. Однако, по всей видимости, прививка Шекспиром не слишком удалась: по выражению А. В. Бартошевича, мы живем в «негамлетовское время».²¹

Критики-шекспироведы различают не только понятия «шекспиризация» и «шекспиризм», но и понятия «гамлетизация» (форма есть, но содержание качественно отличается от того, что заложено в герое Шекспира) и «гамлетизм» (глубокая философская рефлексия героя, сомнения, одиночество, загадочность): «Гамлетизация — принцип-процесс, подразумевающий включение в какой-либо культурный контекст <...> отдельных реминисценций, образов, мотивов, части или всей сюжетной конструкции “Гамлета” В. Шекспира»; «Гамлетизм — идейно-эстетический принцип-процесс, подразумевающий конгениальное развитие философско-культурного содержания шекспировской трагедии “Гамлет”, рецепции ее идейного и мировоззренческого контекста».²² Как выясняется, современные режиссеры и сценаристы чаще эксплуатируют «гамлетизацию», а «гамлетизм» обходят стороной.²³ Разумеется, подобная эксплуатация широко практикуется и в отношении многих других сюжетов высокой литературы.

В современной отечественной культуре подлинный русский Гамлет, который бы не противоречил шекспировской картине мира, пока не появился. Быть может, это объясняется не теми или иными режиссерскими предпочтениями, а имеет более глубокие — кризисные — культурные причины.

А тем временем прошло полвека со дня выхода в свет фильма Григория Козинцева «Гамлет» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли. Известно, что один из крупнейших актеров XX века, лауреат четырех премий «Оскар» и сорока других кинематографических наград англичанин сэр Лоуренс Оливье, сыгравший Гамлета в снятом им фильме (1948), полагал, что экранизация Козинцева — это лучшее киновоплощение трагедии Шекспира из всех, которые он когда-либо видел. На презентации фильма в Лондоне сэр Лоуренс в костюме елизаветинских времен встал на сцене перед Смоктуновским на колени и передал ему свою шпагу.

²¹ См. об этом: Бартошевич А. В. Гамлеты наших дней // Шекспировские чтения / Гл. ред. А. В. Бартошевич. М., 2010. С. 209—216.

²² См.: Гайдин Б. Н. Образ Гамлета на отечественном экране второй половины XX — начала XXI века // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 4. С. 170—182.

²³ Там же.

Павел Нерлер

«У чужих людей мне плохо спится...»: Воронежские адреса Осипа Манделъштама¹

Окольцованный Манделъштам

После кратковременного пребывания в Чердыни-на-Каме он поселился в Воронеже.

А. Дымищиц

Манделъштам и Воронеж — эти имена уже неотрывны друг от друга.

Воронеж для Манделъштама стал и овидиевой Скифией, и пушкинским Болдино. Манделъштам для Воронежа — одной из самых ярких красок в городской истории.

¹ Публикация представляет собой фрагмент новой биографии О. Э. Манделъштама, над которой автор работает в настоящее время для издательства «Вита Нова». В тексте приводятся ссылки на тома и страницы следующих изданий: *Манделъштам О.* Собрание сочинений: В 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993—1997 (указание тома и страниц дается в скобках, арабскими цифрами); *Манделъштам Н.* Собрание сочинений: В 2 т. / Ред.-сост.: С. В. Василенко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрейдин. Екатеринбург: «Гонзо» (при участии Манделъштамовского общества), 2014 (далее — НМ, с указанием тома и страниц арабскими цифрами); *Герштейн Э.* Мемуары. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. 528 с. (далее — ЭГ, с указанием страниц арабскими цифрами); О. Э. Манделъштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935—1936) / Вступ. статья Е. А. Тоддеса и А. Г. Меца; Публ. и подгот. текста Л. Н. Ивановой и А. Г. Меца; Комментар. А. Г. Меца, Е. А. Тоддеса, О. А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год: Материалы об О. Э. Манделъштаме. СПб.: Академический проект, 1997. С. 7—185 (далее — СР, с указанием страниц арабскими цифрами); *Штемпель Н. Е.* Манделъштам в Воронеже // «Ясная Наташа»: Осип Манделъштам и Наталья Штемпель / Сост.: П. Нерлер и Н. Гордина. М.; Воронеж: Кварт, 2008 (далее — ЯН, с указанием страниц арабскими цифрами).

«Трудно сложились для поэта и житейские обстоятельства. После кратковременного пребывания в Чердыни-на-Каме он поселился в Воронеже», — так трогательно и мило написал об этом миграционном акте Александр Дымшиц, автор предисловия к тому же Мандельштаму, вышедшему в серии «Библиотека поэта» в 1973 году.²

Осип Мандельштам приехал в Воронеж в июне 34-го не на отдых и не в творческую командировку. Он прибыл в ссылку, в порядке исполнения назначенного ему наказания. Здесь он провел 35 последующих месяцев, лишь ненадолго отлучаясь в непродолжительные поездки — в частности, в Воробьевский район (две командировки от газеты — в 1934 и 1935 гг.), на дачу (предположительно в Сосновку) в 1935 году, в Тамбов (в санаторий, на стыке 1935 и 1936 гг.) и еще раз на дачу — в 1936 году (в Задонск).

Поначалу всё как-то задалось — и работа, и подработки, и даже стихи, но постепенно над Мандельштамом стали сгущаться тучи. Сначала — бытовые, денежные (изгнание к осени 1936 года практически отовсюду, где он когда-то работал или подрабатывал), а потом и политические.

Будучи очень открытым по природе человеком, Осип Эмильевич в воронежской ссылке столкнулся с острейшим дефицитом человеческого общения. Из-за его ссыльного статуса многие побаивались, как сказал один артист воронежского Большого советского театра, «прислоняться» к нему, а в конце, когда появились классические обвинения в контрреволюционности и троцкизме, многие стали от него шарахаться. Один довольно известный университетский профессор-философ³ просто испугался знакомиться с Мандельштамом, полагая — и, наверное, резонно, — что это небезопасно.

Словом, постепенно вокруг Мандельштама в Воронеже выкачивался воздух. Оказавшись в вакууме, задыхаясь в нем, человек обычно попадает в жуткую депрессию, начинает думать о самоубийстве и т. д. Но с Мандельштамом — вопреки болезни и слабости — произошло иначе. Сама природа, сам город, его лучшие люди, с которыми он здесь не просто общался, а подружился, — такие как Наталья Штемпель, Павел Загоровский или Маруся Ярцева — вдохнули в него дух дружества и, сообщая, оказались сильнее торричеллиевой пустоты и репрессивной машины.

Изоляция, в которой поэт оказался в Воронеже, всегда была сильной, но никогда — абсолютной или герметичной.

² Дымшиц А. Поэзия Осипа Мандельштама // *Осип Мандельштам*. Стихотворения. Л., 1973. С. 11.

³ Бер Моисеевич Бернадинер (1903–1964) — преподаватель диамата в различных вузах Воронежа, автор книг «Философия Ницше и фашизм» (1934) и «Демократия и фашизм» (1936).

Уже через пару недель после прибытия в Воронеж его проведаль Эренбург. Позднее к нему приезжали, пользуясь гастрольями, Юдина и Яхонтов (и не раз!). Заходили и другие гастролеры: летом 1935 года — артисты Камерного театра, например, а 23 ноября того же года — пианист Лео Гинзбург.

Дважды на майские праздники приезжала Эмма Герштейн, по разу, но на день — оба брата Осипа. На неделю — Ахматова и на месяц — Дина Бутман. И, наконец, дважды — его теща, Вера Яковлевна Хазина.

Медленно и постепенно складывались добрые отношения Мандельштама и с жителями Воронежа (хозяева съемных квартир и соседи — не в счет): Федей Маранцем, Карлом Швабом, Наташей Штемпель, Павлом Загоровским и Марусей Ярцевой.

Первый — он же и самый ранний, и самый ближний — круг общения составили репрессированные москвичи и ленинградцы: врачи, писатели, журналисты. Из них — по интенсивности общения и воздействию на поэта — выделялись двое: Павел Калецкий и Сергей Рудаков.

Второй круг — воронежцы: те же категории лиц, но с добавлением разве что газетного и писательского начальства. Но ни с кем из писателей Мандельштам по-настоящему не сблизился: ближе других к нему оказались Борис Песков и Петр Прудковский (прозаики), а также Вадим Покровский (поэт). Зато Наташа Штемпель заменила их всех и прочно вошла в жизнь поэта — как его друг и читатель (нет, куда ближе: как первый слушатель!). Близким человеком был и Федя Маранц.

По признаку преобладающего общения воронежское трехлетие Мандельштама можно разбить на три неравные трети, или, условно, — на три «года»: «год» с Павлом Калецким, «год» с Сергеем Рудаковым и «год» с Наташей Штемпель.

«Год Павла Калецкого», если считать его от приезда Мандельштама и до отъезда Калецкого в июле 1935 года, продлился чуть больше 12 месяцев: в это время Осип Эмильевич осваивался в Воронеже и приходил в себя после ареста, тюрьмы и Урала.

На «Год Сергея Рудакова», вобравший в себя 15 месяцев (с апреля 1935 по июль 1936), выпали стихи «Первой тетради». Точнее, стихи пришли на несколько месяцев, «общих» для двух «годов» — года Калецкого и года Рудакова (лишь «Летчики», стоящие несколько особняком, дописывались уже в отсутствие первого). Но стихи вернулись буквально на глазах — и даже в присутствии — именно Рудакова, хотя именно он пытался повлиять на их дальнейшее «прохождение» и финальные редакции.

Если Калецкий в «свой» год относился к Мандельштаму скорее равнодушно, будучи связан смертельной болезнью жены, то Рудаков в «свой», напротив, был нацелен на общение с поэтом, о чем чуть ли не ежедневно,

а нередко и дважды в день отчитывался в письмах перед своей женой. Эти письма — ценнейший источник свидетельств о Мандельштаме в Воронеже.

Другое дело, что общение Рудакова с поэтом было весьма специфическим: его недюжинные эгоцентризм и неискренность ставили его не в положение преданного или хотя бы уважительного Эккермана, что было бы так естественно, а в положение аспиранта, варварски, хищнически, по-конквистадорски собирающего материал к «диссертации», да еще и учащего свой предмет уму-разуму. Мандельштам интересовал Рудакова примерно так же, как физиолога — мышка или таксидермиста — тушка. Даже не догадываясь о таком омерзительном к себе отношении, Мандельштам интуитивно ему не поддавался. И чем ближе к отъезду Рудакова, тем менее информативны и интересны становились его свидетельства, хотя иное письмоцо нет-нет да и «вспыхивало» заемными (у Осипа Эмильевича!) искрами.

А когда Мандельштам погиб и тема «диссертации» определенно изменилась, поэт и вовсе перестал интересоваться Рудакова: так, отложеннице в архиве.

Самым коротким (с конца сентября 1936 года и до середины мая 1937-го) был «Год Натальи Штемпель». Это самый изгойский и самый трудный период за все воронежское трехлетие поэта. Но именно отношение к ней, отношения с ней, как и с теми, кого она с собой «привела», впервые были по-настоящему и двусторонне дружескими. И не случайно именно на эти восемь месяцев пришлось две «воронежские тетради» из трех!..

Глядя на Мандельштамов сквозь призмы воспоминаний о поэте Натальи Штемпель и эпистолярной Сергея Рудакова, порой испытываешь затруднение: а не о разных ли людях идет в них речь? Но разница не в Мандельштаме — разница в них самих, в их «оптиках» и в их «космогониях».

Встреча и дружба с Наташей Штемпель — настоящее чудо и величайший подарок в жизни Осипа Мандельштама, ничуть не меньший, чем встреча и дружба с Борисом Кузиным. Рудаков же, напротив, оказался внутренне совершенно не готов к этой встрече и променял этот дар на свои комплексы. Для него мандельштамовские стихи, конечно, и чудо, и восторг, но прежде всего — предмет нелепого соревнования и навязчивого, маниакального их редактирования и «оптимизации». Если допустить, что Мандельштам — «Моцарт», то Рудаков тогда — вовсе не «Сальери», как могло бы показаться на первый взгляд: он, безо всяких кавычек, — Нарцисс!..

Пока Мандельштам отбывал свою ссылку, историческое время напруглось и ужесточилось. Репрессии набирали и набрали обороты. Буха-

рин, который систематически покровительствовал Мандельштаму «сверху», был арестован, а вслед за ним — и почти все столичные и местные руководители, которым давалась команда «помогать» Мандельштаму. И Сталину, вдоволь наигравшемуся с этой мышкой, было уже не до поэтишки — готовились слишком «большие процессы». А, может, он и решил — для всех и за всех: нечего больше миндальничать.

Так что возвращение Мандельштама в Москву в середине мая 1937 года было, возможно, произвольным, пусть и не долговременным, но спасением.

Самое поразительное — те дивные стихи, которые Мандельштам написал в Воронеже, вершинные во всем творчестве.

Трижды — с апреля по июль 1935, с декабря 1936 по февраль 1937 и с марта по май 1937 г. — его накрывал невероятный творческий прилив, а когда волна уходила, «на берегу» всякий раз оставалась стопка листов с новыми стихами.

Воронежский период — время высочайшей творческой интенсивности. Четверть всего, что Мандельштам написал, приходится на его воронежские годы: настоящая «Болдинская осень»!

Тут, правда, надо учесть одну особенность дарования — Мандельштам не мог писать одновременно стихи и прозу. Но сесть за прозу в Воронеже у него и не получилось.

Зато рождались стихи. И излучаемое ими чувство просветленного оптимизма, замешанного на человеческой трагедии, — потрясает.

Это то, что Мандельштам именно отсюда, из Воронежа, привнес в русскую и мировую поэзию, — «кое-что изменив в ее строении и составе» (4, 177).

Благодаря своим воронежским стихам Мандельштам навсегда прописался в этом городе.

Я около Кольцова
Как сокол закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца...

В 1991 году в Воронеже, на улице Энгельса, — одновременно с Москвой и Ленинградом — появилась мемориальная доска, затем, в 2006 году — вторая, посвященная приезду к нему Анны Ахматовой. В 2008 году открыли памятник поэту, а сквер, в котором он стоит, неофициально (а со временем и официально) стал именоваться Мандельштамовским.

И нет сомнений: когда-нибудь в Воронеже будет и улица Мандельштама.

- Это какая улица?
- Улица Мандельштама...

Поговорим же о воронежских пристанищах поэта и его жены — об их терраске возле Бринкмановского сада, о каюте на корабле в яме на Лиейной, о смежных комнатах на Революции и на Энгельса и о счастливой комнате в доме без крыльца у театральной портнихи. Но не забудем и о поездках по окрестностям — в Воробьевку, Тамбов и Задонск.

Гостиница «Центральная»

Уронишь ты меня иль проворонишь...

О. Мандельштам

В Воронеж — к своему новому месту отбытия наказания — Мандельштамы приехали примерно 25 июня 1934 года. Никакие славные ребята ни из каких железных ворот их, кажется, не сопровождали, как никто их и не ждал, и не встречал. Взяв извозчика, они отправились со своим скарбом в гостиницу «Центральная» на проспекте Революции (бывшей Большой Дворянской улице).⁴ Номер им не дали, но по койке в мужском и женском номерах на разных этажах предоставили.

Здесь, в середине центральной улицы, позвякивавшей трамваями и еще не забитой эманациями примитивной конструктивистской советскости, город излучал полузабытый губернский шарм. Какой все-таки контраст с уездной Чердыню!

Первые же прогулки по окрестным кварталам в поисках съемного жилья, первые же взгляды на зареченские дали — всё это своего рода форпосты визуальной колонизации города, в котором, не дожидаясь хозяйина, однажды уже побывали мандельштамовские строчки, — в 1919 году, в виде публикации манифеста «Утро акмеизма» в нарбутовской «Сирене».⁵

Самый первый визит — в дом 39 по улице Володарского, в местное управление НКВД, вчерашнего ОГПУ, где находилась и приемная комендатуры. Прибытие новенького административно-высланного зарегистрировали, а с него самого взяли типовую подписку. Мол, я, такой-то,

⁴ Гостиница жива и по сей день (д. 44, или 42–44 по современной нумерации).

⁵ В 1918–1919 гг. Владимир Нарбут издавал в Воронеже изысканный по оформлению журнал «Сирена». В № 4/5 за 1919 год Нарбут опубликовал статью-манифест Мандельштама «Утро акмеизма».

расписываюсь в том, что мне объявлено следующее: первое — о перемене места жительства заявлять в органы не позже, чем через сутки после перемены (иначе — квалифицируется как побег), второе — за пределы городской черты Воронежа без разрешения органов отлучаться не смей! Пределами же города при этом объявлялись: правый берег реки Воронеж и сама река в черте города, железнодорожная линия между вокзалами Воронеж-I и Воронеж-II, последние постройки слобод Троицкой и Чижевки и Ботанический сад (включительно). Левый берег Воронежа, Сельхозинститут (СХИ) и слобода Придача считались расположенными уже за городской чертой, так что мандельштамовский «Чернозем», написанный под впечатлением пахоты на опытном поле СХИ, был стихотворением, географически нелегальным!

Осип Эмильевич, возможно, даже не оценил того, что перемена Чердыни на Воронеж оказалась еще и заменой ссылки на высылку. Это избавляло его от «прикрепления», то есть от необходимости отмечаться здесь с какой-то заданной частотой.⁶

Следующие воронежские дела оказались связаны с медициной. Сразу же по приезде поэта, по настоянию жены, осмотрел психиатр — Сергей Семенович Сергеевский,⁷ в начале 1930-х гг. заведовавший кафедрой психиатрии в Воронежском мединституте. Осмотрел — и травматического психоза не обнаружил. Скорее всего, это имел в виду брат Мандельштама Шура, когда 6 июля писал отцу: «От Нади — два письма. Осипо здоровье лучше. <...> Возможно, будут переизданы Осипы переводы Майн-Рида, и он будет обеспечен на лето».⁸

Зато вскоре в больницу, причем в инфекционную,⁹ загремела сама Надежда Яковлевна: ее свалил сыпняк, подхваченный, возможно, в поезде или в гостинице. В палате она познакомилась с Леонидом Ивановичем Богомоловым, пожилым врачом-ленинградцем из ссыльных, вскоре ставшим фактически «семейным доктором» четы Мандельштамов.

⁶ В случае Чердыни — с пятидневной, что было, однако, совершенно лишь единожды: там от бремени регистрации поэта «избавил» прыжок из окна.

⁷ По другим версиям, это мог быть преемник Сергеевского по кафедре С. Г. Жислин или М. Ю. Раппопорт — в 1935–1937 гг. наиболее известный в Воронеже невропатолог.

⁸ Осип Мандельштам в переписке семьи (Из архивов А. Э. и Е. Э. Мандельштамов) / Публ., предисл. и примеч. Е. П. Зенкевич, А. А. Мандельштама и П. М. Нерлера // Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. М., 1991. С. 93.

⁹ Бывшая Красного Креста. Находилась на ул. Ф. Энгельса, 72.

На терраске у повара

Пространство, сжатое до точки...

О. Мандельштам

Пока жена болела и выздоравливала, Осип Эмильевич всю жизнь действовал. В Привокзальном поселке, — в июле и ничуть не загадывая о зиме, — он снял у старика-повара летнюю застекленную терраску на Федеративной улице,¹⁰ очень близко от Бринкмановского сада.¹¹

Хотя точный адрес документально не установлен, можно предполагать, что это был дом на пересечении Федеративной с Исполкомовским переулком — на месте современного дома № 18. До войны на этом месте стояло два отдельных дома — № 18 и № 16: № 18 принадлежал инженеру Владиславу Антоновичу Рогинскому, начальнику Юго-Восточной железной дороги (в доме одно время была детская музыкальная школа), а № 16 — некоему Птицыну (в этом доме одно время размещались ясли), и именно в нем была терраса. Правда, никто из старожилов (а я расспрашивал их еще в конце 1970-х гг.) не помнил никакого знаменитого повара в этом месте; один знаменитый не то повар, не то кондитер из ресторана «Воронеж» жил поблизости, но всё же не здесь, а на Земледельческой,¹² почти напротив Педагогического института.¹³

...Платоновские, между прочим, места. И сугубо деревенские, в сущности: дома с палисадниками, садами и огородами, немощеные улицы, заросшие травой и бурьяном и почти непроходимые после дождя. По улицам вышагивали, поводя гребешками, буколические петухи и куры, а за заборами — звонкий лай и каторжный лязг цепных псов.

...Ветер служит даром на заводах,
И далеко убегает гать.
Чернопахотная ночь степных окраин
В мелкобисерных иззябла огоньках...

¹⁰ Первоначально Бринкмановской, а позднее Урицкого.

¹¹ Александр Германович фон Бринкман (1815–1899) — саратовский, а затем астраханский вице-губернатор. В Воронеже жила его дочь — Вера Александровна Кричевская (во втором замужестве Парфенович), основательница Реального училища Кричевской в Воронеже, эмигрировавшая в 1919 г. В Привокзальном районе Воронежа Бринкманам принадлежали незастроенные земли, названия строившихся на них улиц и переулков давались по именам новорожденных отпрысков династии Бринкманов (см.: *Полов П.* Воронеж: история города в названиях улиц. Воронеж, 2003. С. 20).

¹² Современной улице Г. С. Вавилова.

¹³ Ныне — Педагогический университет.

Гать здесь совсем не абстрактная. Перекинутая через заливной луг, Придаченская гать через Чернавский мост соединяла город с Придачей, тогда еще пригородом.

...В середине июля 1934 года Мандельштам всё еще кантовался на терраске один. Здесь он принимал и своего первого гостя из Москвы — Илью Эренбурга. Направляясь на строительство железнодорожной магистрали Москва-Донбасс, тот специально заехал в Воронеж, чтобы повидать Мандельштама, и нашел его, хотя и одного (Надя была в больнице), но более или менее в порядке.¹⁴ Не исключено, что свои встречи с писателями и журналистами в редакции «Коммуны»¹⁵ он использовал и для того, чтобы донести до их сознания весть о сталинском «чуде о Мандельштаме».¹⁶

¹⁴ См. запись в дневнике М. Талова: «22 августа 1934 г. Был у Эренбурга, недавно вернувшегося из Парижа. Заговорили об Осипе Мандельштаме, недавно высланном из Москвы. Эренбург его видел в Воронеже в удовлетворительном состоянии. “За стихи против Иосифа Виссарионовича”, — на мой вопрос о причинах ссылки ответил Эренбург» (*Талов М. В. Воспоминания. Стихи. Переводы / Предисл. Ренэ Герра; Сост. и коммент. М. А. Таловой, Т. М. Таловой, А. Д. Чулковой. М.; Париж, 2005. С. 72*). С подачи Н. Я. Мандельштам считается, что, проведя в Воронеже три дня (с 16 по 18 июля), Эренбург, якобы, не повидал Мандельштама из-за того, что, встречаясь с местными писателями и журналистами в редакции «Коммуны», не решился спросить у них его адрес. Да они и не знали тогда адрес: откуда? Узнать же адрес самому Эренбургу было совсем не сложно — у кого-то из его братьев или у брата его жены. Более того: судя по отправленной 16 июля отцу и теще телеграмме, подтверждающей получение денег, Эренбург, возможно, и привез Мандельштаму некоторую сумму денег от родных.

¹⁵ Известна фотография «Встреча воронежских писателей с тов. Эренбургом», на которой запечатлены М. Подобедов, А. Швер, Н. Романовский, М. Булавин, Б. Песков, Е. Ашурков и П. Прудковский (Подъем. 1934. № 7/8. С. 127; фото Х. Капелиовича). Воспроизведена в изд.: Осип Мандельштам в Воронеже: Воспоминания. Фотоальбом. Стихи: К 70-летию со дня смерти О. Э. Мандельштама / Сост., послесл. и примеч. П. М. Нерлера; Подгот. текста С. В. Василенко и П. М. Нерлера; Науч. ред. С. В. Василенко; Худ. А. П. Гуцин. М., 2008. С. 94–95.

¹⁶ Присутствовавший на этой встрече М. Я. Булавин отрицал, что речь заходила о Мандельштаме: «О Мандельштаме разговора не было. Если бы здесь был Мандельштам, то Эренбург оказал бы помощь, реальную помощь. Если бы он встречался с высланным, то того бы, конечно, взяли на карандаш. Квартира ему была бы предоставлена» (*Гыдов В. Н. О. Мандельштам и воронежские писатели (по воспоминаниям М. Я. Булавина) // «Сохрани мою речь...». М., 1993. Вып. 2. С. 39*).

В Москве же, в Нащокинском, гостил в это время отец Мандельштама. 16 июля сын телеграфировал ему и теще: «Деньги получены = Здоровье Нади мое самочувствие хорошее = Ося» (4, 157).

Но Надю выписали только в конце июля, и почти сразу она уехала на месяц в Москву по разным делам, в частности, по квартирным (возможно, на предмет сдачи одной комнаты) и переводческим.¹⁷ А к Осипу Эмильевичу на это время приезжала теща. После этого приезда, правда, она зареклась делать это — настолько раздраженно, вспыльчиво, а иногда и грубо повел себя с нею зять. Вера Яковлевна понимала, что это болезнь, но и с собой поделаться ничего не могла: покойный Яков Аркадьевич такого себе не позволял.

Отсутствие жены и, вероятно, после встречи с Эренбургом Мандельштам заглянул в редакции областных органов печати — журнала «Подъем» и газеты «Коммуна», где почти сразу свел знакомство со Стефеном и Калецким, а чуть позже и с Айчем — товарищами по перу, ссылке и травле.¹⁸

С местными, воронежскими, писателями отношения стали выстраиваться много позже, в октябре-ноябре — после того как Мандельштам обратился к Александру Владимировичу Шверу (1898—1938), председателю правления областного отделения ССП и редактору «Коммуны», с просьбой дать ему возможность участвовать в местной литературной жизни. Швер устроил ему тогда встречу с активом ССП, на которой поэт, по воспоминаниям Стойчева (шверовского преемника), рассказывал о «своей огромной жажде принять и осмыслить советскую действительность, просил помочь ему бывать на заводах и в колхозах, вести работу с молодыми писателями».¹⁹

Весь август прошел под знаком Первого съезда советских писателей, так что Надежда Яковлевна знала если не из первых, то из вторых уст о том, что Юстас Балтрушайтис, литовский консул и русский поэт, метался между делегатами и умолял всех и каждого спасти Мандельштама — с неотразимой для делегатов аргументацией: ну хотя бы в память об уже погибшем Гумилеве! (НМ, 1, 102—103)

В запротоколированных же на съезде речах Мандельштам всплывал лишь несколько раз: дважды — анонимно, в качестве «одного старого поэта» из речи Н. Тихонова 29 августа 1934 года, в которой он полемизи-

¹⁷ Возможно, речь тогда зашла о переиздании Майн Рида.

¹⁸ Со временем все три этих имени — как неблагонадежных попутчиков-«троцкистов» — еще не раз поставят рядом с мандельштамовским!

¹⁹ Из записки О. К. Кретовой для работника обкома ВКП(б) М. Генкина от 29 ноября 1934 г.

ровал со статьей «Слово и культура», а в третий раз — 27 августа — в докладе А. Н. Толстого (sic!) «О драматургии»: «Ложью была и попытка “акмеистов” (Гумилева, Городецкого, Осипа Мандельштама) пересадить ледяные цветочки французского Парнаса в русские дебри. Сложным эпитетом, накладыванием образа на образ акмеисты подменяли огонь подлинного поэтического чувства. Усложненный эпитет, накладывание образа на образ — очень широко распространенное явление в советской литературе».²⁰

Своего рода эхом этого тезиса была цитата из обзора А. Селивановского «Очерки русской поэзии XX века», опубликованного аккуратно в августовской книжке «Литературной учебы». В главе с выразительным названием «Распад акмеизма» о Мандельштаме можно было прочесть: «Он любит только то, что не связано с социальными страстями. Эта внутренняя незащищенность Мандельштама, прикрытая внешним холодком классической неподвижности, была выражением старческого загнивания буржуазной культуры. <...> В последних стихах Мандельштама порою звучит страстная тоска, страстное желание вырваться из круга старых дум и привычек и сблизиться с советской действительностью, но это желание перешибается старинными воспоминаниями об ушедшем прошлом (он поднимает кубок “за музыку сосен Савойских, полей Елисейских бензин, за розу в кабине Рольс-ройса, за масло парижских картин”), и социалистическая конкретность обволакивается пеленой всё тех же старинных книжных условностей. Так, в недавнем цикле стихов об Армении исчезла живая Армения и сохранился условный пейзаж Армении как повод для отвлеченных размышлений поэта. Мандельштам, независимо от его субъективных намерений, *остался тужим* для социализма поэтом с начала до конца».²¹

Уж не отсюда ли и тот подчеркнутый и оттого провокативный интерес к акмеизму, который отразился в повестке дня единственного за все воронежские годы вечера Осипа Мандельштама?..

Признавая за поэтом право на мастерство и оставляя для него лишь узкую щелочку в литературной истории («акмеист!»), критики дружно

²⁰ 8 сентября доклад был повторен на Ленинградской конференции писателей и в том же году опубликован отдельным изданием (см.: *Толстой А. Н. О драматургии: Доклад на Первом Всесоюзном съезде писателей*. М.: ГИХЛ, 1934. С. 161).

²¹ Литературная учеба. 1934. № 8. С. 32–33. Примечательно, что здесь процитировано не опубликованное (sic!) еще тогда стихотворение Мандельштама «Я пью за военное время...», прочитанное 10 ноября 1932 г. на мандельштамовском вечере в редакции «Литературки», редактором которой — и, стало быть, организатором вечера — был как раз Селивановский.

отказывали ему в причастности к современности и, уж тем более, — к будущему.

...Первого сентября, когда писательский съезд закрылся, Надя уже была в Воронеже. Но, едва приехав, она почти сразу слегла, снова попав в ту же инфекционную больницу — на этот раз с колитом-дизентерией. Пробыла она в ней недолго и вышла не позднее 8 сентября — поправлялась уже дома, на легкомысленной терраске, с каждым днем и с каждой ночью всё более и более прохладной.

И снова ей пришлось съездить в Москву, и снова на месяц, если не больше. На время своего отсутствия она попросила приехать к Осипу Эмильевичу Эмму Герштейн. Та не смогла, зато нашла себе замену — Диночку Бутман, Надину приятельницу еще по Киеву, трогательную актрису и бывшую жену В. Яхонтова, а в это время подругу другого киевского знакомого — Льва Длигача.²²

В Москве Надежда Яковлевна выбивала в ГИХЛе переводы. Заглянула и на Кузнецкий мост — к старым знакомым из «Помполита» («Политического Красного Креста»), Михаилу Львовичу Винаверу и Екатерине Павловне Пешковой, с которыми поневоле познакомилась в мае. Приложил справки о здоровье — Осипа Эмильевича и своем, она начала хлопоты о переводе из Воронежа в Крым, особенно налегая при этом — после двух пребываний в инфекционной больнице — и на интересы своего выздоровления.²³

Пообщалась она — и, видимо, весьма доверительно — с Мариэттой Шагинян. Из письма к ней узнаем о подлинном состоянии поэта: «Я знаю, я буду метаться между Москвой и Воронежем. Оставлять Осю одного нельзя, а между тем оставлять его придется. После психоза — наступила общая подавленность, депрессия. Нужны очень ровные, очень благоприятные условия жизни, чтобы всё восстановить. Но это невозможно».²⁴

...Когда же в 10-х числах октября Надя вернулась в Воронеж, лужи перед домом и вода в ведре на терраске каждое утро покрывались всё более прочной шерешью — утренним ледком. Муж встретил ее, закутанный во всю теплую одежду, какая только была в доме. Просто диву даешься: как

²² Настолько, кстати, возражавшего против этой поездки, что из-за этого с нею расставшегося!

²³ Горчева А. Ю. Пресса ГУЛАГа: Списки Е. П. Пешковой. М., 2009. С. 198.

²⁴ Два письма О. Э. и Н. Я. Мандельштам М. С. Шагинян / Публ. П. Нерлера // Жизнь и творчество Осипа Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 71—77.

это ни он, ни она, ни оба-вместе не угодили тогда в больницу с законным воспалением легких, например?

Но на один только холод не спишешь всю ту подавленность и тревогу, которые Надя застала у Осипа по возвращении. 31 октября она писала Шагинян: «Мы говорили с вами, и у меня такое чувство, что главного я не сказала. Во-первых, о делах: ни работы, ни договоров, ни денег. Да и надеяться на всё это было глупо. Так всегда было в нашей жизни, кроме коротких периодов. Почему же теперь, когда Мандельштам выслан, те редактора, которые никогда не знали, что с ним делать, вдруг бы изменили свою политику? Да, честно говоря, если бы я была редактором и деятелем литературной политики, я сама бы не знала, что с ним делать. Он сам не знает, что собой делать. / Сейчас, после всего, что было, после пережитого Мандельштамом психоза, всё это приобретает особый трагический смысл. Но разве сейчас время для пересмотра литературного положения? / <...> Вы не знаете, Мариэтта, какая у нас была дикая жизнь. Мне кажется, и литературные организации, и Мандельштам действовали заодно. Словно у них была общая цель. Они глухо и слепо толкали Мандельштама на путь ужаса и пустоты, а сам он, словно выполняя какую-то историческую функцию, невольно навлекал на себя все беды и все удары. / Я не знаю, как у других, но у Мандельштама стихи — это разряд несчастья, неразрешенности, страха смерти. Они шли от предчувствия катастрофы и зазывали ее. Жизнь помогала этому. (Была и другая, более сильная струя в стихах, но я думаю сейчас именно о той, которая делала “судьбу”) / <...> Что же сейчас? Все говорят, чтобы я писала Сталину. О чем! Поэт отвечает за свои стихи. В государственном плане всё логично. Ужасно было, что во время психоза его отправили в ссылку под конвоем. Этих недель я никогда не забуду. Но это исправлено. Наконец, помимо стихов у нас изолируют людей, выпадающих из социальной среды и мешающих общему движению. Мандельштам выпадал, он мешал. / <...> Мариэтта, я сама ничего не знаю и не понимаю. В таких случаях призывают “судьбу”. Мне кажется, что судьба — перестать бороться и захлебываться, как мы это делали всю жизнь. Больше сил нет, Мариэтта. Я всегда удивлялась живучести Мандельштама. Сейчас у меня этого чувства нет. По-моему, пора кончать. Я верю, что уже конец. Быть может, это последствие тифа и дизентерии, но у меня больше нет сил, и я не верю, что мы вытянем».²⁵

²⁵ Два письма О. Э. и Н. Я. Мандельштам М. С. Шагинян. С. 75–77.

В яме имени Мандельштама

За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах...

О. Мандельштам

...В середине октября с идиллической, но уж больно легкомысленной терраской у Бринкманова сада удалось проститься. «Маклером» стал дед Митрофан, живший у того же повара: стал он им поневоле — тезка популярнейшего святого, в чью честь был поставлен самый знаменитый в городе монастырь, он решительно никуда не мог устроиться, даже ночным сторожем!

Благодаря старику Мандельштамы остались в ближнем «Завокзале». Заплатив за полгода вперед (спасибо Виктору Маргериту!),²⁶ они переехали в Троицкую слободу — в дом 4-б по 2-й Линейной.²⁷

Написанное спустя полгода стихотворение «Это какая улица...» — смесь трагического автошаржа и визитной карточки. В нем — топографически точное описание местоположения и даже адрес новой прописки:

Мало в нем было линейного.
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

Геоморфологически «яма» — это пазуха-тупичок между швейной фабрикой и откосом железнодорожного полотна. В нее вела довольно крутая полудорожка-полутропинка, крепко перехваченная корнями деревьев. Слегка разогнавшись, надо было притормозить перед воротами одноэтажного дома с правой стороны тупика, в который вела дорожка, войти в них и, огибая дом по правую руку и не переставая спускаться, пересечь двор.

Сразу за углом дома начиналась неширокая деревянная лестница (в сущности, приступок в несколько ступеней), ведущая наверх, на незастекленную террасу (в сущности, на балкон). Осип Эмильевич любил выходить на балкон сам или со своими гостями. Оттуда открывался роскошный вид на степной оком Заречья — вид, особенно впечатляющий

²⁶ См. ниже.

²⁷ Теперь это переулок Швейников, д. 4-б. Дом сохранился, но перестроен.

весной, когда вся пойма была под водой. Этот вечно меняющийся пейзаж сам Мандельштам сравнивал с «ненаписанной картиной Рафаэля — готов фон» (СР, 34). Если же пробросить взгляд не вдаль, а наискосок вниз, то за бровкой открывались и обе бликующие колеи железной дороги, и прославленный поэтом «светофор со сломанной рукой».

Пол в комнате покосившегося дома был немного кривым, половицы скрипучими, и всё это напоминало накренившуюся палубу. У дальней стены стоял самодельный диван, а возле двери — кухонный квадратный стол с примусом, поразившим Рудакова тем, как легко он зажигался. Было в этом жилье нечто такое, что заставляло его писать жене: «Жаль, что ты не увидишь этой комнаты, в новой будет не то» (СР, 42).

В одном стихотворении Мандельштам так описывает своего хозяина:

За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах...

Это Евгений Петрович Вдовин — по профессии агроном, откуда и сапоги. Хороший, кстати, сосед: до сих пор в окрестных дворах замечательные сады — это Вдовин снабжал своих ближних качественными саженцами яблонь и груш (его дом уцелел во время войны, и он пускал к себе тех, кто остался без крова). Жену его, Неонилу Михайловну,²⁸ добрейшую душу, соседи даже называли святой — впрочем, может быть, из-за известной и заурадной слабости самого Вдовина: пристрастия к вину...

Второй слабостью Вдовина была тяга к «прекрасному» — общению в высшем свете: Мандельштама он пустил отчасти потому, что рассчитывал через него завести интересные знакомства («вместе румбу танцевать») с местными писателями — Задонским, Кретовой и другими, в его представлении, виртуозами пера. Но те к нему не приходили, и тогда Вдовин, разочарованный и обиженный, стал врываться к постояльцам, когда кто-то всё же приходил к ним, и даже требовал для проверки паспорта («У вас тут собрания, а я, как хозяин, отвечаю!»).

²⁸ Родная сестра Марии Михайловны Кораблиновой, жены воронежского писателя Владимира Александровича Кораблинова (1906–1989), доброго знакомого Н. Е. Штемпель. Мандельштама Кораблинов запомнил сугубо внешне: был странен — ходил, бормотал, закидывал голову. Литературно-политически поэт-акмеист ему, ориентированному на ЛЕФ поэта, был совершенно чужд: «герой не моего романа», — оправдывался он потом. Но, оказавшись на месте Мандельштама хоть сам Маяковский или Пушкин, Кораблинов точно так же чурался бы и их, ибо после трех лет лагеря (за анекдоты и недонесение того, что видел у своего друга, художника А. В. Брюна, карикатуру на Сталина) откровенно боялся и избегал новых рисков.

²⁹ Гордин В. Л. Мандельштамовский Воронеж // Жизнь и творчество Осипа Мандельштама. С. 56.

Было у Вдовиных трое сыновей: один из них — 13-летний тогда Костя (он же «Кот») — запомнил, что Надежда Яковлевна, получив гонорар за перевод «Вавилона» В. Маргерита, купила братьям конструктор и угощала их шоколадками, а отца — шампанским.²⁹

Неонила Михайловна ежедневно кипятила квартирантам небольшой самовар, а иногда и сама чаевничала с ними. Стояло у Вдовиных и пианино, впрочем, расстроенное настолько, что Мария Вениаминовна Юдина, приезжавшая в Воронеж 12—13 ноября с концертами и посетившая Мандельштама в «яме», раскрыв крышку, так и не смогла извлечь из него хотя бы один чистый аккорд. В этот приезд она брала поэта на свои репетиции в пустом зале Дома Красной Армии, где вечерами шли ее концерты.³⁰ Вернувшись в Москву, она отправила в «яму» только что вышедший прекрасный альбом живописи импрессионистов, чем крайне порадовала Осипа Эмилевича, тосковавшего по «своим французам».

Побывал здесь и Владимир Яхонтов, гастролировавший в Воронеже 22—23 марта 1935 года. Постоянным посетителем «ямы» был Калецкий, эпизодическими — Стефен и Айч. И именно сюда — 1 апреля 1935 года, буквально на третий день своего пребывания в Воронеже, — к поэту впервые пришел еще один ссыльный — Сергей Борисович Рудаков.

Рудаков знал, любил и держал в памяти едва ли не всю русскую поэзию. У него была одна из лучших домашних поэтических библиотек в Ленинграде. Над его письменным столом висел портрет Блока.³¹ Часами, захлебываясь, он мог говорить о любимых и нелюбимых поэтах и композиторах.

Однажды Рудаков уже встречался с Мандельштамом — в начале марта 1933 года в Ленинграде, в гостинице «Европейская», где остановился поэт, приехавший ради двух своих вечеров. Уже тогда Рудаков, вероятно, пытался очаровать Осипа Эмилевича своими поэтическими опусами, но явно не преуспел. Поэтому само слово «Европейская» не раз всплывает в его переписке, став, в контексте общения со старшим поэтом, нарицательным: мерою фиаско.

Вот описание новой встречи в самом первом — от 2 апреля 1935 года — письме Рудакова из Воронежа жене: «Лика, если я вчера не вернулся бы домой в 10 мин. второго (а в половине второго гасится свет), вчера было бы написано замечательное письмо. // Но так даже лучше. Всё расскажу дома, когда приеду. Всё: это вид на степь за железную дорогу

³⁰ М. В. Юдина выступала в Воронеже вместе с симфоническим оркестром под управлением А. В. Дементьева. Исполнялись «Аппассионата» Бетховена, концерт № 23 Моцарта и др. (см. рец.: *Сад[ковой] Н.* Пианистка М. Юдина // Коммуна. 1934. 15 ноября).

³¹ Сообщено С. Петровым.

и непомерно разлившуюся в половодье Ворону,³² это очень быстро наступивший вечер, наступивший и тянувшийся в полусумраке долго. Потом ночь.

Шницель и какао в кафе, а потом сиденье на самодельном диване в покосившейся комнате, примус, необыкновенно легко разжигавшийся, хождение вдоль покосившегося пола. // В крошечную черную ночь уход домой через заднюю балконную дверь домика, стоящего на окраине железнодорожного поселка. <...> Я не знал, что он в Воронеже. Они (он и она, которая сейчас в Москве) приглашают нас и Анну Андреевну на дачу (они будут под самым Воронежем с 20—25/IV). А А. А. придет 6—7/IV. Может быть, придет Яхонтов. // Вот тебе и Воронеж!» (СР, 32).

Всё здесь дышит ощущением фантастической удачи, почтительной переполненностью ею и даже благодарностью судьбе за такой неслыханный подарок, как живой гений поэзии в собеседники и соседи.

В «меблирашке» у «мышебойца»

«Разрешите поджарить?..»

*Адриан Федорович,
хозяин «меблирашки»*

Как бы то ни было, всё учащавшиеся ссоры Мандельштама со Вдовиным, хозяином в сапогах, только усиливали тягу расстаться с «ямой» и ее обитателями. Но полугодичный задаток, который Вдовин получил при съеме, жестко привязывал к нему Мандельштамов до середины апреля 1935 года.

12 апреля, когда Надя была снова в Москве, Осип Эмильевич снял новую комнату у некоего Адриана Федоровича, точнее — у Наташи, его молодой жены из раскулаченных. А 21 апреля Мандельштам без сожаления съехал от Вдовиных. Сожаление испытывал, как ни странно, Рудаков, находивший скрипучую каюту на Линейной весьма романтичной: «Я простился с комнатой, с балконом и неповторимым видом за реку через полотно железной дороги» (СР, 45).

...Новая, третья по счету, квартира Мандельштамов находилась в двухэтажном доме на углу проспекта Революции и улицы 25 Октября.³³ На

³² Имеется в виду река Воронеж. «Вороной», по собственному предположению, назвал ее сам Рудаков. Воронежцы так ее никогда не называли.

³³ Сам дом не сохранился, на этом месте выстроено большое шестиэтажное здание (дом 45 по улице 25-го Октября), на первом этаже которого в 1980-е гг. находился магазин детских игрушек «Буратино», а сейчас одесский бутик.

первом этаже была булочная: вход прямо с угла, и тут же рядом бочка с ледяным поутру квасом. На втором — «меблирашки», то есть длинный коридор с меблированными «номера» гостиничного типа, в которых жили разнообразные люмпены. В один из таких «номеров» — в дальнюю смежную комнатку в крошечной двухкомнатной квартирке — и переехали Мандельштамы. Сама по себе комната была ощутимо меньше той, что была у них в «яме». Когда в начале октября 1935 года — в квартире или на этаже — был ремонт, Мандельштамам пришлось перебраться на одну неделю в гостиницу «Бристоль» (СР, 89, 93).

О хозяевах мы знаем немного: комнату сдала «она» (Наташа), поскольку ей позарез нужны были деньги для помощи матери в деревне, «он» — Адриан Федорович. Жена держала его в черном теле и звала «Иродом», а Мандельштамы — «агентом» или «мышебойцем». С первой же секунды он невзлюбил не нужных ему жильцов, невзлюбил горячо, от всего сердца — и даже не лично и не национально, а социально. Совершенно неважно, был ли он, например, антисемитом: названный брат своего современника Йозефа Геббельса, хватающегося при слове «интеллигенция» за пистолет, он люто ненавидел эту паразитическую прослойку — городской аналог кулачья, которое он всласть погромил в начале 30-х. Эту классовую ненависть он испытывал не только к лысому поэту с женой, но и переносил ее, например, на их электроплитку («интеллигентская штучка», в его понимании).

Без этой маргинальной социальности не уловить и не понять то творческое начало, что просматривалось в череде постоянных пакостей Адриана Федоровича. Вот, например, *зем* заслужил он у Мандельштама кличку «мышебойца»: «Он заходил к нам в комнату, держа за хвост живую мышь — дом просто кишел всякой нечистью. Вежливый, по-военному подтянутый, он приветствовал нас с порога, а затем говорил: “Разрешите поджарить?” — и шел прямо к электрической плитке с открытой спиралью. <...> Из соседней комнаты доносились его шуточки об интеллигентских нервах: а я их еще не так припугну — кота зажарю... Замечательно, что он не пил и все свои трюки выполнял в абсолютно трезвом виде. Мышь была его коронным номером» (НМ, 1, 212).

В середине мая «мышебоец» не выдержал и настучал на Мандельштама в органы. Поэта вызвали в НКВД, взяли у него письменные объяснения и даже показали донос — своеобразный знак своеобразного доверия. В доносе же сообщалось, что к Мандельштаму приходил и засиделся у него до утра «подозрительный тип» и что из комнаты доносилась стрельба (!). «Типом» же оказался не кто иной, как Владимир Яхонтов, гастролировавший в Воронеже 15 мая 1935 года, — афиши о его выступлении были расклеены по всему городу. Артист подтвердил: да, посетил друга, да, просидел у него до утра, но нет, не стреляли.

...Завсегдатаями этой квартиры с первого дня были Рудаков и Калецкий, по-видимому, помогавшие и с переездом. Начиная с мая 1935 года завсегдатаем стал и антрополог Яков Рогинский. А однажды — видимо, в августе или сентябре 1935 года — сюда к Мандельштамам зашла не знакомая им Анна Андреевна Русанова, врач по профессии. Она принесла вафельное полотенце, которое Мандельштам незадолго до этого оставил в Воробьевке у неких Михайловых. Представляясь, Русанова перепутала названия и сказала, что дело было в Боброве, где Мандельштамы никогда не были: деталь эта насторожила и даже испугала их, но полотенце они всё же оставили.³⁴

В день переезда в «меблирашки» Надежда Яковлевна была еще в Москве. Она приехала только назавтра, 22 апреля, — одна, без многократно «анонсированной» Ахматовой, — и сразу же попала в новое жилье по новому адресу.

24 апреля в «меблирашке» на семейном обеде с телятиной, молодой картошкой и столовым вином сошлись Мандельштамы и Калецкий с Рудаковым: импровизированное новоселье! Первый тост провозгласил Мандельштам: «За наших жен!» Рудаков же в этот вечер нарисовал тушью портрет поэта (СР, 46),³⁵ а в Надежде Яковлевне, которую заочно недолюбливал, сумел увидеть прелестную женщину, понимающую стихи, причем не только мужнины, но и вообще — стихи.

Воробьевский район

Воробьевского райкома
Не забуду никогда.

О. Мандельштам

В Воробьевском районе Воронежской области Мандельштам побывал дважды — в конце ноября 1934-го и в конце июля 1935 года.

Еще в 1933 году по инициативе начальника политсектора воробьевского зерносовхоза т. Дворкина и директора совхоза т. Бондаря в Воробьевке был основан первый в области сельский театр: к концу ноября

³⁴ «А жаль, что испугались, я могла бы им чем-то помочь», — сокрушалась потом А. А. Русанова, врач по профессии, впоследствии профессор (ее отец — профессор А. Г. Русанов, известный в городе хирург — лечил в свое время Н. Е. Штемпель).

³⁵ Опубликовано Т. Лангераком: *Лангерак Т.* Два рисунка С. Б. Рудакова // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж, 2001. Вып. 16. С. 163.

1934 года здесь было построено театральное здание с вращающейся сценой (!) и зрительным залом на 320 мест. С самого начала над совхозным театром взял шефство воронежский Большой Советский театр, а один из его артистов — П. К. Трапезников — стал директором и режиссером театра. Здание было торжественно открыто 25 ноября и отмечено постановкой «Гибели эскадры» Корнейчука. «Коммуна» несколько раз откликнулась на это событие.³⁶

Воронежская театрально-писательская бригада выехала в Воробьевку 24 ноября. В нее входили директор, главреж и ведущие артисты театра, а также три писателя — Лев Плоткин, Ольга Кретьова и Осип Мандельштам, которого, похоже, включили в писательскую бригаду в последний момент, но, тем не менее, его имя даже попало в газету — 26 ноября.³⁷

Спустя восемь месяцев, в ночь с 22 на 23 июля 1935 года, корреспондент «Коммуны» Осип Мандельштам с женой сели в поезд, направлявшийся в Калач, где их ждала пересадка на Таловую. От станции назначения — Воробьевки — до самого райцентра еще километров пять, а оттуда еще путь до Никольского, куда, впечатленный первой поездкой, устремился поэт. Вся дорога — километров 200 с лишним — занимала около 11 часов.

Вместе с Мандельштамами ехали еще три командированных журналиста, и сама эта «тройка», возможно, живо напомнила им тройку конвоиров по пути на Урал! Одним из них был очеркист «Коммуны» Михаил Евгеньевич Аметистов (1909—1985; печатался под псевдонимом Михаил Чужой), а имена остальных оставались неизвестны до тех пор, пока я не наткнулся в «Коммуне» на статьи о Воробьевке за двумя подписями: «М. Морев, Т. Мурдасова».

Идентифицировать Т. Мурдасову (возможно, это псевдоним) не удалось, а вот Михаил Морев — лицо известное: его стихи входили в сборник 18-ти воронежских авторов, опубликованный накануне Первого съезда писателей с целью создания ячейки в Центрально-Черноземной области.³⁸ Морев публиковался и в «Подъеме», но вся его трудовая карьер-

³⁶ В частности, в материалах, опубликованных 17 сентября («Театр в Воробьевке»), 6 октября («Скоро будет театр в Воробьевке», с фотографией), 17 («Воробьевский театр»), 25 («Театр в Воробьевке»), 26 («Театр в степи», автор — Н. Садковой) и 29 ноября.

³⁷ Первое и последнее нейтральное упоминание поэта в «Коммуне»!

³⁸ См., например: «Я вижу мечту, воплощенную в быль, / И планы страны, превращенные в факты, — / С конвейера сходит автомобиль / И тысяча первый трактор. // И гордое сердце пылает в огне, / Теряя свое равновесие, / И запросто ночью приходит ко мне / Хорошая звучная песня...» (Альманах молодых писателей / Под ред. П. И. Калецкого. М., 1934. С. 140).

ера была связана с «Коммуной»: до войны — корреспондент, во время войны — ответсекретарь, после войны — зам. главного редактора.³⁹

Спустя десятилетия Аметистов охотно рассказывал об этой поездке (О. Кретовой, Н. Штемпель и даже пишущему эти строки), и в центре каждого из этих рассказов была ночная живность Воробьевки, в частности, домашние насекомые.

Штемпель: «В избе, где они расположились ночевать, Осип Эмильевич всю ночь просидел на чемодане с зажженной свечкой в руке и тростью отгонял тараканов».⁴⁰

Кретова: «Бригадир совхоза отвел писателям для ночлега самое благодатное, по мнению каждого сельчанина, место — на сеновале. Михаил и два его сотоварища блаженно бросились в душистое сено, зарылись в нем, спали богатырским сеном. Каково же было их изумление, когда наутро они увидели сжавшегося в комок Мандельштама, сидящего на единственном, чудом здесь оказавшемся стуле. Оказывается, Осип Эмильевич так и просидел всю ночь напролет, поджимая ноги, прислушиваясь к шорохам, боясь полевков, сверчков, кузнечиков, летучих мышей, всего чуждого ему, незнакомого, непривычного его уху».⁴¹

Есть и еще один рассказ — самого Мандельштама (в передаче Рудакова), датированный 31 июля — днем возвращения из поездки: «Утром (в 9) разбудили Мандельштамы. Записываю тебе первое и главное. Они бодры. О. весел. Там было так. Жили они в Доме крестьянина. О. пленил партийное руководство и имел лошадей и автомобиль и разъезжал по округе верст за 60—100 с партийцами знакомиться с делом. Надин говорит, что он их очаровал, но чем — не признается, т. к. это было не в ее присутствии. Говорит, что произошло это потому, что под боком не было любящей жены, которая при его взлете сказала бы: “Молчи, дуралей”. Оська мне говорит: “2 1/2 часа чувствовал себя Рябининим (секретарь Обкома), который инспектирует область. Они думали, что приехал писатель расшатанный, с провалами, а я им... я им... дал по 12 важных указа-

³⁹ Сообщено Д. Дьяковым.

⁴⁰ Осип Мандельштам в Воронеже: Воспоминания. Фотоальбом. Стихи: К 70-летию со дня смерти О. Э. Мандельштама. С. 119. То же самое М. Аметистов рассказывал 8 июня 1984 г. и мне.

⁴¹ Кретова О. К. Страницы памяти: Документальное повествование. [Мандельштам] // Подъем. 2003. № 11. С. 105. И далее она рассуждала: «— Урбанист он, не примет нашего деревенского, нет, не примет, — сокрушался Михаил. А этот урбанист Мандельштам, прикоснувшись к земле, создал вдохновенные строки о воронежском черноземе, о наших среднерусских синеглазых первоцветах, о кленах и дубках».

ний и без числа мелких...”. На вопрос мой — каких же, он лукаво смеется и говорит, что не может пересказать, что это было вдохновенье. По сути, он распустил перед ними хвост и действительно пленил личным обаяньем, которое, при подобающей настроенности, излучается им здорово. Покрутит и напишет очерк. Это внешнее. А фактически это может быть материал для новых “Черноземов”. Говорит: “Это комбинация колхозов и совхоза, единый район (Воробьевский) — целый Техас с очень сложной картой чересполосиц. Люди слабые, а дело делают большое — настоящее искусство, как мое со стихами, там все так работают”. // О яслях рассказывает, о колхозниках. Их там (Мандельштамов) заели клопы и блохи. Он говорит, что эти звери для клопов мелки, для блох велики, назвал он их комбинационно: блохохотам. Говорит — это новая разновидность. Факт тот, что он, не зная деревни, — видел колхоз и его воспринял. Но сам добавляет: “Вот всё ошибаюсь, скажу про какого-нибудь председателя, что он молодец, что ему дивизией бы командовать, а секретарь райкома мне скажет, что тот отменно плохой работник; то же с отдельной колхозницей. Видите, как обманчиво!” // Как ребенок мечтает поехать еще туда. Глупость, т. к. газета туда же не пошлет, а если сам приедет, не будет той короны, что венчала его сейчас» (СР, 78—79).

Но самое глубокое свидетельство о поездке — и одновременно ее осмысление — оставила сопровождавшая мужа Надежда Яковлевна: «Летом 35 года Мандельштаму удалось поехать по Воронежской области: газета отправила его в командировку и получила разрешение на выезд в органы. Мы провели около двух недель в Воробьевском районе, переезжая из деревни в деревню на попутных машинах. Под конец чуть ли не в один день нам довелось встретиться с человеком недавнего прошлого, мелким своевольцем, отеческой рукой управлявшим колхозом, и с одним из граждан нового стиля — директором совхоза, настоящим роботом, равнодушным исполнителем повелений, которые сыпались на него в бесчисленном количестве в виде инструкций на папиросной бумаге. Они, наверно, все загубили себе зрение, расшифровывая эти неудобочитаемые инструкции» (НМ, 2, 301).

И далее — описание и характеристика обоих типажей, словно сошедших (особенно первый!) со страниц Андрея Платонова.

«Своевольца» звали Прокофий Меркулович Дорохов. Он ровесник Мандельштама: родился в 1891 году в селе Никольском Россошанского округа ЦЧО. Вот его послужной список: в 1906—1914 гг. — в сельском хозяйстве; в 1914—1921 гг. — служба в армии, сначала царской, потом Красной; в 1921—1929 гг. — председатель волостного земельного комитета, земельный уполномоченный, председатель сельсовета в родном Никольском, с 1929 года — председатель кредитного товарищества и зам.

председателя сельскохозяйственной артели «Новый путь», с 8 января 1930 года — в рядах ВКП(б).⁴²

«История Дорохова проста и типична. Он вернулся домой с фронтов Мировой и Гражданской войн и по типу своему принадлежал не к тем, кто бился в припадках падучей, а к тем, кто держал припадочного. В деревне он сразу начал строить новую и счастливую жизнь. Стартовал он с комбеда и рыскал по кулацким амбарам, отбирая зерно для города, потом оказался в волостном совете и организовал первую коммуну. Она была распущена, как все подобного рода “товарищества по совместной обработке земли” и добровольные коммуны. Они всё же представляли собой некое “мы”, целью которого было не только служить государству, но и прокормить детей.

Подшло время коллективизации, и Дорохов стал председателем маленького, а затем укрупненного колхоза. Он жаждал власти, потому что точно знал, как идти к счастью. Очувтившись первым в своей деревне, он развил неслыханную активность. Незадолго до нашего приезда его сняли с председательского поста за самоуправство — он что-то передернул с поставками и нанес ущерб государству. В самой деревне с ее жителями он мог творить что угодно — это самоуправством не считалось. Лишенный власти, Дорохов не растерялся и сохранил престиж — он взял мешок и пошел добираться. Подавали ему охотно, потому что в каждой избе он повествовал о своем величии и падении. К нашему приезду его вернули на председательский пост по настоянию односельчан. Тогда им еще разрешалось слегка бузить. Взывая к начальству, они перечислили все заслуги Дорохова. Из них главная — он провел самое глубокое раскулачивание в самый короткий срок, не затребовав помощников из города.

Дорохов имел в деревне собственную каталажку, куда сажал слушников, не считаясь с их происхождением, то есть бедняков наравне с кулаками. Это не оттолкнуло от него односельчан. Его ценили за то, что он расправлялся собственноручно и в Сибирь никого, кроме “настоящих кулаков”, не загнал. Дома “настоящих кулаков” он решил использовать под ясли, клуб, избу-читальню и прочие социалистические учреждения, а пока в маленькой деревне стоял с десятком пустых и заколоченных хат в ожидании книг, библиотекарей и другого оборудования. Дорохов жаждал просвещения.

<...> У него была выразительная речь — он бурно “рванулся к культуре” и вывез из армии много замечательных выражений. “Не выходите вечером, — сказал он мне, — здесь малярийные испарения климатуры...”.

⁴² Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области, ф. 48, оп. 1, д. 21, л. 144; ф. 2, оп. 1, д. 1344, л. 126 об.; д. 1224, л. 32, 34.

<...> Дорохов для тридцатых годов был осколком прошлого. Его уничтожили, как и всех участников народного бунта, вернувшихся в деревни и городки, чтобы воспитывать народ и приобщать его к культуре. Дорохова использовали вовсю: он воевал, бунтовал, раскулачивал, а потом раскулачили и его. Во второй половине тридцатых годов его дом стоял заколоченный, как дома тех, кого он сам угрохал в Сибирь. <...>

Мандельштам распил с Дороховым бутылку водки и сочувственно слушал его речи, зная, что он обречен. Он подсчитал, сколько человек Дорохов вымел из родной деревни, но цифры я не запомнила. Она была не малой и не большой, обычной, то есть невероятной» (НМ, 2, 301—303).

Нарочитым контрастом к Дорохову — директор другого совхоза, руководитель другого типа и представитель нового стиля управления. Он возил воронежских гостей «на полугрузовичке по полевым станам. Приезжая на стан, он требовал, чтобы ему дали попробовать квасу и щей. “Забота о людях”, — объяснил он Мандельштаму, представителю прессы, и иногда разносил стряпуху за качество щей, то есть воды, в которой плавала капуста. Следующий вопрос директора был, согласно последней инструкции, относительно газет: организовано ли чтение газет — разумеется, вслух, глазами можно скользить по газете, не читая — во время перерывов. Кто читает? Рекомендовалось читать грамотно и выразительно. Изредка директор выражал свой хозяйственный восторг тем, что бросался на кучу зерна — шла уборка, готовились к молотье — и со стоном разгребал ее ручками и ножками, словно плавая в море зернового крестьянского богатства. Мандельштам глядел, проезжая, на необрунные поля и сказал мне, что на месте директора он бы перестал надуваться квасом и слегка побеспокоился — поля желтели от сорняков, которые стояли выше, чем чахлая пшеница. Директор этого не замечал, потому что еще не спустили приказа о борьбе с сорняками. Он боролся с тем, что было названо в инструкциях. Предметов для борьбы хватало» (НМ, 2, 304).

Высшей точкой исполнительского рвения этого службиста стал другой — страшный — эпизод, невольными свидетелями которого стали Мандельштамы:

«Под вечер мы выехали на поляну, где торчала еле заметная землянка. Впервые за день директор проявил прыть: вместе с шофером и тремя рабочими, ехавшими с нами в кузове, он выскочил из машины, бросился к землянке, залез на крышу и поднял пляс. Рабочие в шесть рук принялись разносить землянку ломами, а директор с шофером долбили крышу ногами. Иерархия соблюдалась и в таком черном деле: начальник и его подхалим-шофер не могли разносить землянку наравне с простыми рабочими. Им полагался отдельный участок работы, на этот раз — крыша. <...>

Убогую землянку разносили дюжие мужики, строго соблюдавшие табель о рангах. Первой поддалась крыша, что-то грохнуло, и из землянки

начали гуськом выползать люди с вещами. Одна из женщин вынесла прялку, другая — швейную машину. Мандельштам поразился, сколько народу помещалось в крохотной землянке, — уж не вырыты ли там подземные ходы? Мы еще не прочли Кафку, но знали, что у крота всегда есть запасной выход, а людям приходилось выходить прямо на своих обидчиков. “Какие они все чистые”, — сказал Мандельштам. Последней из землянки вышла женщина — там ютились старики, женщины и дети — в таком же ослепительно-белом сарафане, как другие, а на руках у нее сидел заморыш, живой трупик, безволосый, морщинистый, с зеленоватыми отростками вместо рук. (Он всегда стоит у меня в глазах как символ — чего? Жизни, действительности, реальности и всеобщей, в том числе и моей, жестокости.)

Женщинам нечего было терять, и они крыли директора густым южнорусским матом (я люблю мат, в нем проявление жизни, как и в анекдотах), но он не успокоился, пока не сровнял с землей и не засыпал их жалкое логово.

Вот судьба тех, кто по совету Зоценко вырыл в земле логово и завыл зверем. Вся земля — поле, лес, луг — принадлежит кому-то, она не бесхозна. Закончив работу, директор сел в кузов рядом с нами и пустился в объяснения: мужья либо сосланы, либо разбрелись по городам в поисках работы, а бабы “отсиживаются” на совхозной земле. Совхоз — государственное предприятие, а он, директор, ответственное лицо, не может терпеть на вверенном ему участке классового врага, кулацкое зелье... Любая комиссия, а они вечно ездят и всё проверяют, может напороться на кулацкое гнездо и обвинить его, директора, в укрывательстве. Он, директор, считает, что раскулачивание еще недоделано. Надо прямо сказать, что у нас мало прислушиваются еще к периферийным работникам. Они бы в один голос сказали, что надо было “пристроить в Сибирь” всех баб, как “пристроили” мужиков, а то с ними нет сладу. Можно и не в лагерь — есть же спецпоселения. Нечистая работа — недочистили. Закон есть закон. Приказ есть приказ. Он, директор, действует по закону и по приказу — иначе с него спросится.

Мы молчали — возражать было бесполезно: он знал, что делает. В бесполезный спор мы бы, пожалуй, ввязались, но спор с директором, исполнителем и законником, был не только бесполезен, но и опасен. <...>

Директор пригласил нас к обеду, но мы собрали вещи и с попутной машиной укатили в райцентр» (НМ, 2, 304—307).

В Воробьевке Мандельштамы зашли в райком попрощаться с А. Долгушевским,⁴³ секретарем райкома («Воробьевского райкома / Не забуду

⁴³ Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области, ф. 48, оп. 1, д. 90, л. 30. В 1934 г. он был начальником политотдела Воробьевской МТС, а секретарем райкома в это время был А. Га-

никогда»). «По его лицу было видно, что он скатился в захолустный городок откуда-то сверху. Ему мы решились рассказать про землянку и спросили, нельзя ли что сделать. Он развел руками... Не отвечая на вопрос, он спросил, много ли бродит нищих по Воронежу. Их было уже меньше, чем в тридцать четвертом, когда мы туда приехали. Обозы же с раскулаченными как будто исчезли к тридцать третьему. “Значит, идет на убыль”, — сказал секретарь и прибавил, что нищие, бродячие и те, что в землянках, еще легко отделались (“Лес рубят — щепки летят”). // С его стороны такие слова были неслыханной смелостью. При незнакомых людях он произнес крамольную фразу, за которую можно было угодить на десять лет. Секретарь, конечно, приложил руку к “великой аграрной революции сверху”, но нам показалось, что он делал это без энтузиазма. Допускаю, что мы приписывали ему свои чувства, потому что у него было интеллигентное лицо. У директора морда была хамская — животное, пляшущее на крыше. Мы простились и укатили на грузовике, с которым нас сосватал секретарь» (НМ, 2, 307).

Итак, уже назавтра, 1 августа, переполненный впечатлениями поэт засел за очерк: «Оська пишет очерк — и, вроде рецензий, — по секрету. Я и рад, т. к. цену в нем только стихи, остальное интересно только как материал к ним или пути от них вовне» (СР, 80).

Но уже через день — 2 августа — от журналистского энтузиазма и писательского подъема не осталось и следа: Мандельштам написал очерк, отнес его в «Коммуну», — и... очерк забраковали!

Но разве не он, Мандельштам, написал эти слова: «Партийная мысль должна быть не изложена, а продолжена в поэтическом порыве»? Он!

Но выясняется, что поэт, даже если захочет, даже если «пофигуряет Мандельштамом», то *не может* написать «как надо»! Не может выполнить добровольно принятый и морально предоплаченный заказ!

Вот сначала, в передаче Рудакова, слова, сказанные ему Надеждой Яковлевной: «Это медленное выживание человека — давать ему работу, ему чуждую, но, по сравнению с Москвой, и рецензии, и радио, и статья в газету — невероятная свобода. Всё это рано или поздно приведет к тупику. Но каков он? Опять бросаться в окно? Те годы разлада кончились стихами и... Воронежем... Ося цепляется за всё, чтобы жить, я думала, что выйдет проза, но приспособляться он не умеет. Я за то, чтобы помирить...» (СР, 80).

А вот слова самого Мандельштама: «Я опять стою у этого распутия. Меня не принимает советская действительность. Еще хорошо, что не го-

белев (см. их совместную статью об успехах района: Перед новым туром соревнования // Коммуна. 1934. 22 ноября. С. 2).

нят сейчас. Но делать то, что мне тут дают — не могу. Я не могу так: “посмотрел и увидел”. Нельзя, как бык на корову, уставиться и писать. Я всю жизнь с этим боролся. Я не могу описывать, описывать Господь Бог может или судебный пристав. Я не писатель. Я не могу так. Зачем это ездить в Воробьевку, чтобы описывать, почему это радиус зрения начинается за одиннадцать часов ползучки от Воронежа. Из Москвы наши бытовые писатели ездят за материалом в Самарканд, а Москвы не могут увидеть. Эти “понятники” меня с ума сведут, сделают себе же непонятным. Я трижды наблудил: написал подхалимские стихи (это о летчиках), которые бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому. “Ах! Ах!” — и только; написал рецензии — под давлением и на нелепые темы, и написал (это о вариантной рецензии) очерк. Я гадок себе. Во мне поднимается всё мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортьюнистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало опять большой пустоты. Я думал, что при доброжелательности — жизнь придет, подхватит “фактами” и понесет. Но это была бы не литература. А пробиться сквозь эту толщу в завтрашний или еще какой день не могу, нет сил. О нашей жизни говорить еще рано, надо действовать. Можно уже стихами, и то потому, что они свое знание вкладывают, привносят. А давать черновики, заготовки прозы я не умею. У меня полуфабрикат ужасен, я или ничего не даю, или уже нечто энергетическое. Я хотел очерком подслужиться. А сам оскандалился. Стихами — кончил стихи; рецензиями наплел глупости и отсебятины; очерком — публично показал свое неумение (он его показывал в редакции, и там сказали, что плохо). Это губит всё. И морально, и материально. И бросает тень сомнения на всю мою деятельность и на стихи» (СР, 80—81).

И далее — комментарий самого Рудакова как академика-таксидермиста: «Киса — это запись почти дословная, только очень сокращенная. В жизни это причитания, почти слезы. Но не психование. Всё трезво, и есть вывод за целый период. Надеюсь, что оно минет. Что ни нового безумия, ни самоубийств не будет. Но по тому, как подтянулась Надин, и по ее словам о сходстве состояния с первым случаем, да и по собственному наблюдению — вижу, что скверно. Вся его “деятельность” — не выход. Положение скверное и упирается в тупик материальный. Но беда не так близка, дело не в ней, а в том, что Мандельштам взвыл от халтуры. Не тот Осип Эмильевич (или Ося), что с нами обедал, а гениальный, равный Овидиям и чувствующий, что стихи трещат. Здесь даже ирония не напрашивается, и Оськой зову его только по привычке. <...> Если б не было неловко (немыслимо), записывал бы всё при нем. Много блестящего, но это было бы кощунство — человек чуть ли не вены вскрывать

себе (в 3-й раз) хочет, а я с карандашиком каждое словечко уловляю. Может быть, он хвалил свою “Скрипачку”. О всем воронежском периоде говорил как о сломленном и недостроенном. Корректуры рецензий отнесены в “Подъем”⁴⁴ после мучений: “Может быть, их снять?” Мы с Н. уговорили не снимать. Через несколько часов я нашел на полу четвертушку бумаги: конец рецензии о метро. // Оська — к Н.: “Надюша, убери этот селедкин хвост — он воняет и перетух”. Это совсем не смешно. Теоретически сложность какая! Все, он (и я) об этой самой жизни, а вот прямо описывать ее нельзя. // Кит, всё это утомительно и на такой высоте, как сегодня, держаться не может. Но бежать от этого и беречь себя не хотел» (СР, 81).

Спустя еще один день, 3 августа, Мандельштам начал приходить в себя и успокаиваться: «Китуся, у Оси пожар сердца почти кончился. Т. е. начинается залгание действительного положения вещей (это от слов “зализывание” и “лгать”). Деталь ко вчерашнему, к вопросу об “описании”. Он: “Почему это санкция, поощрение должны быть двигателями литературы? Меня в рай пусти — я его не опишу, хоть меня и будут просить это”. А сегодня — “Отобраны, заложены жизнь и смерть — выданы ломбардные квитанции. То же у других людей. И идет разговор с помощью квитанций, а настоящее всё спрятано — концы в воду. Действительность надвинулась. Мы ощущаем ее корку, ее отвердение. Жизнь — это же движение, действие, событие — его нельзя описать. Я должен писать белые стихи, но не обычные — без рифм пятистопные ямбы, а мои — вроде «Нашедшего подкову», где всё держится на прозаическом дыхании, кусками, члененно, за пунктами. Чтобы эпитеты стояли, как в оде, на своих местах: бум, бум, бум и БУМ!..”. Я: “А отчего нельзя это в обыкновенных стихах?” (Я-то ведь ненавижу “Нашедшего подкову” etc.) Он: “Всё от обмеления словаря, а это — от воронежского оскудения интеллекта. Не читаю книг, не спорю, и вы-то (т. е. я) со мной не говорите, не спорите”. // Далее опять о том, что всё обмелело, есть только квитанции, а не смысловые слова. Киса, всё это параллельно попыткам писать большую прозу, где “очерк”, может быть, будет как эпизодический момент» (СР, 82).

Что касается самого очерка, то 3 августа, призвав на помощь жену, Мандельштам снова сел за него. С горем пополам они его закончили (СР, 83), но реакция редакции осталась такой же: «Фу!»

⁴⁴ Речь явно идет о рецензиях на книги М. Тарловского (Рождение Родины. М., 1935) и А. Адалис (Власть. М., 1935), опубликованных в № 6 «Подъема» за 1935 год (сдан в производство 16 августа 1935 г.). Этот номер оказался последним в 1930-е гг.: выпуск журнала был прекращен до 1956 г.

Зато реакция Мандельштама на это «фу» была уже спокойной, а очерк так и не был опубликован.⁴⁵

И все-таки хочется понять, каким он был, этот очерк, вызвавший такую фрустрацию и у автора («блуд», «блуд труда»), и у газеты. Ведь антисоветским он точно не был!

До нас этот очерк, увы, не дошел, но немалочисленные наброски к нему сохранились (3, 423—439). Изучая их, видишь, с каким интересом Мандельштам — вчерашний писатель-попутчик и одиноличник, а сегодня и сам кандидат в литературные колхозники и беспартийные большевики — присматривается к реальной коллективной жизни на земле, да еще в двух ее трудноразличимых ипостасях — колхозной и совхозной.

Смотрит он явно не через розовые очки: так, от него не укрылся закат Воробьевского сельского театра, на открытие которого он приезжал за полгода до этого, — нет в нем ни зрителей, ни артистов, — да и неоткуда им братья. «Театр без продолжающей культурной работы — культурстрахота» (3, 426), — говорит он секретарю райкома, и тот согласно кивает.

И, тем не менее, Мандельштам смотрит на всё с явным желанием укрепиться в мысли о правильности избранного страной пути, увидеть в нем встречное творческое, низовое, горизонтальное начало, в том числе и в сфере культуры. Но для этого пришлось бы радикально переформатировать само содержание культуры, сведя его чуть ли не к быту и гигиене.

«Мы стояли ночью на улице воробьевского зернохоза и говорили о том, что у нас называют культурой, т. е. о глубине деятельной социалистической жизни. Начполит дал этому ночному разговору неожиданный оборот: “Вот и мы ведем борьбу, даже объявляем кампанию: «За культурную тряпку для тракториста»: она вся промаслена, пыль на нее садится”. // Звезды, культура и эта тряпка. // Мне кажется, такого умения, такой потребности обобщать детали мир еще не знал. Этой тряпкой будет стерто всякое общее место, всякая фраза: т. е. всё гиблое, проваливающееся, притворяющееся, пустое. // Звездам чуточку стыдно: достаточно ли они конкретны? // <...> Культура не есть мертвый инвентарь. Ее нельзя выписать из склада. Нельзя развозить на автомобиле, как думает рабочком совхоза <...>, мечтая об авт<омобиле> для эст<етики> обл<асти>» (3, 427).

⁴⁵ Кстати, в «Коммуне» в эти дни дважды — 29 июля и 3 августа — публиковались материалы из Воробьевского района, подписанные именами собкоргов газеты М. Морева и Т. Мурдасовой. Если бы поэт и его жена находились в командировке вдвоем, а не в составе журналистской бригады, то могло бы возникнуть подозрение: а не этой ли парочки, спрятанной за столь странными псевдонимами, это рук дело? Но — Морев лицо историческое, так что гипотеза эта несостоятельна.

Мир без культуры (а, стало быть, и колхоз без культуры) неприемлем. Но как соединить и как примирить культуру акмеистическую, культуру-тоску — и культуру социалистическую, культуру ветошную, культуру-«тряпку»?

Где-то здесь и произошло «падение» Мандельштама, за которое он потом клеймил себя: в очерке он прошел свою, как ему казалось, часть этого постыдного пути навстречу «тряпке», но власть — в лице «Коммуны» (Плоткина? или самого Елозы?) — не оценила этого и даже, наоборот, возмутилась тем, что он не пошел дальше.

Что-то похожее в свое время испытал Клычков, написавший в 1933 году для «Известий» очерк «Зажиток» — о колхозной сытости! Очерк был отвергнут редакцией, а Осип Эмильевич еще иронизировал: «Сергей Антонович истратил всё свое масло из закрытого распределителя в Златоустинском переулке на колхозные блины».⁴⁶

Теперь уже сам шутник оказался в аналогичном положении. Между поэтом и властью вновь случилось стилистическое несоответствие, как это было и с «Шумом времени», и с «Путешествием в Армению». Власть исподволь вручала поэту пакет с неявным заказом и явным шансом повести себя правильно, а тот уклонялся и всё норовил сказать что-то свое и по-своему.

И не потому что не хотел, а потому что так и не научился, потому что не мог!

Тамбовский нервный санаторий

Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов...

О. Мандельштам

19 ноября 1935 года Мандельштам осмотрел психотерапевт обкомовской поликлиники: диагноз — «истощение нервной системы», рекомендация — месячный отдых в санатории. Заключение огорчило поэта, чье тайное упование было иным — с помощью болезни и врачей вырваться из Воронежа и переехать в восточный Крым.

Тем не менее, идею санатория он не отверг. Обсуждались два варианта — то ли Липецк (общий), то ли Тамбов (нервный). При этом Надя поехала бы не с ним, а в Москву, надеясь на подстраховку со стороны Рудаква.

⁴⁶ Сергей Клычков: Переписка, сочинения, материалы к биографии / Публ. и сост. Н. В. Клыковой, вступ. статья, подгот. текста, коммент. С. И. Субботина // Новый мир. 1989. № 9. С. 213.

После очередного приступа «столбняка», застигнувшего Мандельштама прямо в театре, в дело вмешался С. О. Вольф, директор БСТ (Большого Советского театра), твердо решивший отправить своего главлита на лечение. Статуса персонального пенсионера у Мандельштама уже не было, и, по настоянию Вольфа, его оформили на месяц как «старого работника» театра.

22 декабря попечением театра за полчаса до поезда к «меблирашкам» была подана машина. Мандельштама привезли на вокзал, поднесли ему чемодан, усадили в вагон. Вагон был общий: царство грязи, портяночного зловонья и полифонического храпа. Зато повезло с проводником: тот сжалился и взял поэта в свое купе.

В Мичуринске была пересадка, и вот, наконец, в два часа ночи — Тамбов. На вокзале — «трескучий мороз» и дровни, присланные из санатория. Долгая езда через погруженный в сон губернский город — лошадиное фырканье и извозчицкое «тпру...» перед «палаццо, напоминающим особняк Кшесинской, увеличенный в 10 раз и охраняемый стариком с ружьем и в тулупе» (4, 163).

Встретили здесь Мандельштама по-царски — усадили в теплую ванну, забрали в стирку белье, напоили чаем и уложили до утра в огромном кабинете. Разве плохо?

Санаторий хотя и назывался «нервным» (неврологическим), но оказался скорее кардиологическим: бригадиры и трактористы, летчики и учителя везли сюда свои преданные партии, но потрепанные и изношенные сердца, словно обувь в починку.

Утром Осипа Эмильевича осмотрел врач и назначил ежедневные соновые ванны и, поочередно, два вида электризации «франклин»⁴⁷ — общую и позвоночника (главное их достоинство — безвредность).

На что, собственно, жаловался ему Мандельштам? — На повышенную возбудимость сердца, проявляющуюся в скачках температуры и пульса: «При этом я вполне бодр, хочется гулять. Но встречи с людьми волнуют. Разговоры утомляют. Чтение — тоже. Надо ставить вопрос серьезно, — плоть до особого заявления в НКВД о необходимости лечения в полноценной обстановке» (4, 165).

Через пару дней пара врачей, осмотрев Мандельштама и сославшись на скромность своих возможностей, послала его в город на рентген сердца и легких. Поглядев на снимки, они же сказали: «Сердце — возрастная норма. Никаких, говорят, аномалий. В легких — уплотнение желез. // <...> Внимательны очень. Самое серьезное наблюдение. Слушают, стучают каждый день. Диету дали особую» (4, 166).

⁴⁷ Электризация при помощи статического электричества (по имени физика Б. Франклина).

Сам поэт тоже поставил себе «диагноз» — глубоко философический: «Надо терпеть. Главное — это остановка невероятного движения, в котором я находился. Переход к “статике”» (4, 164–165).

С ходу принял Мандельштама и директор санатория, поначалу позволивший гостю попривередничать с помещением: палаты-де здесь на десять человек, самые роскошные — на пять, да вот окна открываются не в каждой — заклеены на зиму; постельное белье («комплекты») и там, и здесь одинаково ужасно. Директор выслушал поэта и, подивившись его капризам и капризности (а он и сам писал тогда жене: «Я капризник. И всё» — 4, 166), поместил его поначалу вдвоем в пустой палате на десятилетиях, но предупредил, что это временно.

Осип Эмильевич, привыкший бывать в домах отдыха если и вдвоем, то с Надеждой Яковлевной, уже заранее пугался и чурался любого иного общества. После завтрака он вышел из корпуса и, пройдя буквально пару шагов, снял чудесную комнату с зачехленным диваном, граммофонной трубой и кактусами.⁴⁸ Поступок, сильно напоминающий съём первого жилья в Воронеже — неотопливаемой поварской терраски возле Бринкманова сада. Когда выяснилось, что в снятой комнате невыносимо холодно, а за дрова надо платить отдельно, восторг поубавился: «В нанятую комнату не решаюсь переехать: холод там. Дал десятку задатку и отбираю молоком. Хожу туда, когда невтерпеж. Все-таки что-то свое — на час-другой» (4, 166).

Санаторное «палаццо»⁴⁹ и новая «вилла» Мандельштама стояли рядышком на высоком берегу заснеженной Цны, показавшейся широкою, словно Волга.⁵⁰ Глаз не оторвать от открывающегося вида! Окоем за рекой «переходит в чернильные синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслажденье. Очень настоящие места» (4, 164).

Ровно через год — 24 декабря 1936 года — это отзовется и в стихах:

Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый-белый бел-покров.

Тамбов Мандельштаму очень понравился. Вот как поэт описывал его Рудакову: «Чудный губернский город. Река. Снег далеко-далеко. На нем

⁴⁸ Дело, видимо, в том, что срок санаторной *путевки* начинался у Мандельштама только 5 января, а до этого времени у него на руках была только *курсовка*, связывавшая постояльца с заведением только по линии лечения и вполне допускавшая проживание и даже питание в частном секторе.

⁴⁹ Бывший дом купца Асеева с мраморным внутренним убранством.

⁵⁰ Волгу с ее ширями О. Э. видел до этого разве что в книгах и из окна ленинградского дневного поезда.

точечки гужей. Лес. Перелески под снегом. Движенья никакого. Только баба в платке пройдет. Сугробы. Чудные дворянские особняки, какие могут быть и в германском старом городе, и в Тамбове; деревянная — по Щедрину — каланча. Один автомобиль на весь город. Лавок не мог обнаружить — мне нужно было пуговицу купить. Воронеж столица просто» (4, 164).

26 декабря, на третий день пребывания, Мандельштам покатил на городском автобусике в центр города, в музыкальный техникум. Навстречу ему попадались каланчи, «одичавшие (его выражение!) монастыри» и всё больше — «толстые женщины с усами».

Собираясь в Тамбов, Мандельштам запасся рекомендациями: так, начальник радиокомитета Горячев написал записку местным музыкальным знаменитостям — заслуженному артисту и директору музтехникума Реентовичу и композитору Григорию Сметанину.⁵¹

В музтехникуме местные скрипач и пианист сыграли ему сонату Сметанина — совершенно ужасную, но уже назначенную к исполнению в Воронеже. Объявился и сам композитор, тут же пригласивший поэта к себе домой на ужин.

27 декабря Мандельштам писал жене, что, с одной стороны, место «неуклюжее» и без нее ему здесь скучно, что это «полумера» и что он едва не «решил возвращаться в Воронеж», а с другой — что объективно («невзирая на всё нытьё») ему здесь всё же лучше, чем в Воронеже в ее отсутствие (4, 165).

А по жене он скучал страшно! Уже в первом письме из Тамбова взывал: «Надик, скучаю по тебе безумно. Сделай какую-нибудь глупость и приезжай ко мне. / Надик, я так тебя люблю, что нельзя сказать. У меня нет твоей карточки. Где ты, родная? Скорей ко мне. Ау, детка? / Надик, люблю тебя. Отвечай. / Няня твоя». И спрашивает: «Скажи, можно ли тебе звонить утром в 8.30?» (4, 164).

Но настроение было переменчивым.

28 декабря — радость, встреча с Пушкиным (гость нечастый): «Дни идут хорошо. Привыкаю. Сегодня был голубой мороз. Я достал Пушкина. Это у меня редкость. За него, знаешь, никогда почти не хватаюсь» (4, 166).

А 29 декабря — совсем другой настрой: «Ох, и нудно же здесь! Спать не дают. Деликатные молодые люди, на цыпочках, в русских сапогах с 3 часов ночи ходят через палату» (4, 166—167).

⁵¹ Григорий Александрович Сметанин (1894—1952) — композитор и музыкальный функционер, в описываемое время — председатель Воронежского отделения Союза композиторов СССР и заведующий композиторским отделением музыкального техникума.

Но с одним отдыхающим поэт все-таки подружился: «Я тут брожу с одним пареньком. Он тракторист. Способный, открытый, но думает, что во Франции Советы и что Францию переименовали в Париж. Я его крбю, а он ко мне привязался, большевиком меня зовет» (4, 167).

Об этом же пареньке писал своей жене и Рудаков: в Тамбове, мол, Мандельштам «...психовал. Сдружился с одним трактористом, который ему говорил: “Ты уезжай — они (больные) тебя не любят, они тебя избить хотят”. А эпизоды были такие. О. Э. всё искал покоя и кочевал из палаты в палату (изводя персонал). Нашел пустую. Лег. Человек восемь больных стали в нее барабанить. Он выскочил и стал орать, зовя их сволочами etc.; вызвал глав. врача; пять убежали, три остались. Один из трех обиделся за ругань на О. Э., а тот — “Назвал сволочами, и правильно сделал...”. Тогда, как О. Э. рассказывает, тот устроил красно-партизанский припадок. О. Э. в полубелье бежал в кабинет врача, а под сводами санаторского особняка громыхала партизанская брань. Утром — мир» (СР, 123—125).

Новый Год поэт встречал в санаторном, на людях, одиночестве, о чем писал 1 января: «У нас вчера ночью гремел военный оркестр и были разные игры: Чехов в больничном халате, удочки с кольцами» (4, 167).

1 января: «Здесь так плохо, что очень многие уезжают до срока. Неизбалованные работники районов. Все за счет организаций. Чай без сахара. Шум. Врачи — вроде почтовых чиновников» (4, 167).

Еще в самые первые дни своей «курсовки» Мандельштам договорился с директором о следующей «сделке»: «Если захочу уехать до 5 января — он “покупает” у меня путевку (месячную), удерживает за прожитые дни и выплачивает разницу. Эта воображаемая сделка сразу меня освободила» (4, 166).

1 января: «Завтра я должен оформить с директором продажу путевки. Выезжаю 5-го или даже раньше. С блаженством! Эти дни вроде дурного сна. Какой-то штрафной батальон... Денег мне в В<оронеже> до 20-го хватит. 15-го жалованье в театре. 15-го же вернусь на работу» (4, 168).

2 января: «Если будет билет, уезжаю завтра (3-го). Деньги возвращают. Попутчики есть до Воронежа. Я очень доволен. Радуюсь Воронежу, как родному» (4, 169).

«Могу уехать в *любой* день и *после 5-го* с возвратом денег (заверение главврача, сегодня). / Я всё же думаю выехать пятого. В Воронеже как-то ближе к тебе. И перемена будет полезна» (4, 169).

А что же здоровье, поправить которое намеревался Осип Эмильевич?

1 января: «Главный мне вчера сказал: вам нужно заведение закрытого типа, где лечат средние формы легких психопатий (там-де комнаты на одного и двух). Честное слово, он так сказал! — послушав меня две минуты. За 10 первых дней я прибавил 600 гр веса (для младенца недурно).

За месяц здесь многие теряют в весе. Похоже на школу-пансион из Диккенса. Другой врач говорит: “Вес для невротиков неважен”. Да, еще: гл. врач меня спросил: в каких клиниках я был до Тамбова.

<...> Физически я здоров (думаю, что *не только физически*). Надо лишь окрепнуть. Я лишь *могу* заболеть, если *придавленность* не будет устранена» (4, 168).

2 января: «Врачи меня отказываются здесь держать. Говорят: вас по ошибке к нам, формально, загнали. Со мной ничего худого нет, но мне не лучше. Буду объективен. То же самое, а обстановка здесь просто вредна (мнение врачей)» (4, 168–169).

И — в тот же день: «Вес — 66 кило, и ни с места. Слабостью я называю “комнатную легкость в теле” — и только. Внешний вид — довольно дрянной» (4, 169).

3 января (внимательно вслушиваясь в себя): «Что со мной? Что бо<лит>? Ничего не болит. Кишечник здоров, как никогда. Катар горла прошел. Как настроенье? Неровное. Санаторий вызвал депрессию. Ожиданье обострено. Обстановка не переваривается. Ассоциации протекают болезненно (как и обычно без тебя). Физическое самочувствие? От ходьбы сердцебиение (не сразу; иногда приступ ускорения пульса, с которым справляюсь, сознательно борюсь и побеждаю). Вчера съездил на вокзал с письмом — освежился, купил “Кр. Новь” с дрянными стихами доброго Зенкевича и Талмудом Зощенки. Температуру мерил 2 раза наугад: 37,2 как вылитые. Очевидно — это норма. Сон — хороший, когда не мешают. Ночью самовольно перебрался в пустую комнату на пятерых. Закрепил ее за собой. Гораздо лучше. Днем подремываю» (4, 169).

А вот интегральное впечатление Мандельштама от пребывания в Тамбове — в передаче Рудакова: «Врачи казенные, только ухудшают в больных веру в болезни, больные серые: 15% нервных, 20% утомленных, остальные — премированы путевками. Один учитель, начальник отделения милиции уже высшая интеллигенция. <...> [Его собственный] психоз прогрессировал, что создалось чувство, будто он не может сам уехать оттуда etc., etc. Похудел, подхватил гриппок, а тут еще Панов» (СР, 124).

Девять дней без адреса

«Циклическое реактивное состояние...»

Из диагноза

«Панов» — это сюрприз, который поджидал Мандельштама в «меблирашках»: их комната — с радостного согласия, если не по инициативе,

«мышебойца» — была в их отсутствие занята! Семей литератора Панова, кстати, никак не засвеченного в документах Воронежского ССП.⁵²

Девять дней и ночей Мандельштам кантовался у воронежских коллег и друзей. Как минимум две ночи — где-то в Троицкой слободе у Пескова (ему Осип Эмильевич даже читал стихи!) (СР, 122—125), еще по одной — у Вольфа и у писателей Сергеенко и Булавина. Писатели приняли участие в мытарствах Мандельштама — не только приютили, но и возили на машине к прокурору, распорядившемуся: срочно освободить комнату!

Но Панов игнорировал и прокурора. Избавиться от него удалось только через девять дней — с помощью сердитого окрика из НКВД, куда с просьбой о вмешательстве обратился уже не Союз, а более авторитетная «Коммуна», — видимо, как в организацию, ответственную за ссыльных.

Воронежские писатели, один моложе другого, радушно угощали гостя скверным пойлом (самогонкой или портвейном) и, не считаясь с его состоянием, держали в своих прокуренных кухнях до самого утра. Один из гостеприимцев — Булавин — вспоминал, как в своей небольшой двухкомнатной квартире на пятом этаже⁵³ проговорил с поэтом до трех ночи — немного о войне (испанской?), немного о литературе, но больше — о бытовых вопросах и невзгодах.⁵⁴

Однако: до трех часов ночи!.. А ведь перед ним сидел валяющийся с ног, еле-еле взобравшийся на пятый этаж человек, с натянутыми после Тамбова, словно струны, нервами, отрешенный от своего законного жилья, словно Парнок от визитки, и к тому же недоумевающий: почему же при таком отчаянном положении всё никак не приедет Надя?!..

Последнюю свою изгнанническую ночь или две Мандельштам провел в более близком и успокоительном окружении — у Феди (Федора Яковлевича) Маранца (1887—1943), доброго знакомого Нади Хазиной еще по Киеву. Став Надеждой Мандельштам, она так написала о Феде: «В последний воронежский период (стихи из Второй и Третьей тетрадей) мы шли к Наташе Штемпель или зазывали к себе Федю Маранца, обезьяно-

⁵² Возможно, Осип Эмильевич и сам пустил Панова на время своего отсутствия, как возможно и то, что у него просто накопился долг перед «мышебойцем». К сожалению, ничего, кроме фамилии, о Панове мы не знаем: его нет даже в широком (из 142 фамилий) списке делегатов пленума Правления ССП Воронежской области, где числится только т. Панова из Обкома ВКП(б) (ГАВО, ф. 2829, оп. 1, д. 1, л. 6—11).

⁵³ По адресу: ул. 11 Мая (ныне Театральная), д. 11, кв. 39.

⁵⁴ *Гыдов В. Н. О. Мандельштам и воронежские писатели (по воспоминаниям М. Я. Булавина). С. 35.*

подобного агронома, прелестнейшего и чистейшего человека, готовившегося в скрипачи, но случайно в юности испортившего себе руку. В Феде была та внутренняя гармония, которой отличаются люди, слышащие музыку. Со стихами он столкнулся впервые, но его музыкальное чутье делало его лучшим слушателем, чем многих специалистов» (НМ, 1, 147—148).

Сам Федор родился в Вене, в купеческой семье, до 1914 года жил в Австрии и Германии. В ранней молодости он учился на скрипача, но повредил руку и в итоге, закончив Аграрную академию в Бонне, стал агрономом. В 1914 году переехал в Россию — в Киев, а затем в Крым и Воронеж. В самом начале 1930-х гг. заведовал отделом в Крымской конторе американской концессии «Агро-джойнт», а с апреля 1932 года — агроном-плановик воронежского Сортсемтреста. Его жена — Елена Яковлевна (урожденная Эпштейн), вместе с сестрой Норой, проживавшей в том же доме для инженерно-технических работников (ИТР) по Итээровской улице, что и позднее Мандельштам, попала в шуточное стихотворение «О, эта Лена, эта Нора...» (ЯН, 51).

В Воронеже Федя с семьей жил в отдельной квартире в большом доме напротив Петровского сквера (Поднабережная улица,⁵⁵ д. 59, кв. 29). Здесь у него позднее остановится Ахматова. Здесь-то и застал Мандельштама Рудаков в вечер накануне водворения в «меблирашки».

Как и когда Мандельштамы впервые столкнулись на воронежских улицах с Маранцем, мы не знаем, но произошло это не позже осени 1935 года. В записях Рудакова его имя впервые всплывает 20 и 23 октября в связи с попыткой помочь устроить последнего на работу в управление железных дорог (куда ссыльных не брали) или хотя бы раздобыть для него «халтуру», то есть домашние заказы (СР, 95—96).

10 августа 1938 года — на излете ежовщины — был арестован и сам Маранц. Он не подписал ничего, и 28 сентября 1939 года — уже при Берии — дело его производством было прекращено. Но из тюрьмы он вышел «больным и растерзанным человеком» (НМ, 1, 148). Дальше судьба Маранца, увы, не прослеживается: скорее всего, он снова попал в лагерь и погиб.

11 января, наконец, выписался из больницы и Рудаков. Богомоллов назначил ему добровольный двухдневный карантин — чтобы не «обангинить» Осипа Эмильевича. Но чтобы Рудаков о таких пустяках, касающихся не его лично, помнил! Он тут же бросился искать Мандельштама в меблирашки, а там никого!

Сосед по комнате Троша рассказал ему о Панове и сообщил, где, скорее всего, ночует Мандельштам. И назавтра — в обществе Троши — Ру-

⁵⁵ С весны 1938 г. и по сей день — улица 20-летия ВЛКСМ.

даков отправился к Пескову на поиски пропавшего «Оськи», где, кажется, и застал его, но в удручающем и не предполагающем разговора состоянии. А на следующий день, 13 января, состоялись еще две встречи — днем, в «Коммуне» и Союзе Писателей, минут на 15, и вечером — у Маранца.

Вот рудаковское описание первой из этих встреч: «Вхожу в комнату Союза писателей. О. Э. небритый, энергичнейше кричит в телефон (логически) по тому поводу, что милиция завольнивает решение прокурора вернуть комнату, отогнав Панова. Мне — глубочайший кивок и улыбка. Сажусь на диван. Он подходит — на шаг — боится здороваться. Идем в коридор. Он возбужден и развинчен, он совершенно сбит с толку: моей болезнью и страхом инфекции, поездкой в Тамбов, комнатой. Первые три минуты разговор не находит тона. Решаем встретиться у Маранцев в 6—7 часов. Впечатление полного разложения психики, глаза блестят» (СР, 124).

Вечером же, у Маранцев, — пили чай и просто радовались встрече: «Все-таки такого другого человека не знаю. Пусть бы только стихов побольше писал. О том, чтобы они были хорошими, видно, черти заботятся» (НМ, 1, 125). В этой атмосфере поэт почти пришел в норму: «Боже, как дивно Мандельштам говорит. Вот это язык и мысль. Хотя общее нервное беспокойство. Квалифицируют это как циклическое реактивное состояние. Интересно, что эта тамбовская нервно-санаторная формула терминологически совпадает с моими тетрадными записями» (СР, 124).

В тот же день, 13 января, прибежал в Союз с раскаяньем и Панов: «Дяденьки, больше не буду!..» В НКВД, видимо, посмеялись, но «мышебойцу» позвонили.

И вот, 14 января, Мандельштам водворился опять в «меблирашке», и даже рудаковские галоши дождались своего хозяина! А «водворившись», успокоился еще больше, и вечером даже пошел с Рудаковым в театр — на пьесу своего бывшего соседа по Дому Герцена Афиногенова «Далекое». Спектакль не понравился обоим, но Рудаков заскучал и убежал с него, оставив поэта наедине с его проблемами (СР, 126).⁵⁶

А назавтра — и снова на следующий день после водворения в жилье! — вернулась и Надежда Яковлевна. Аккурат ко дню рожденья мужа, к 45-летию!

По ее рассказам (опять-таки в записи Рудакова) — «всё московское до гибели неутешительно. <...> “Новь” — миф утешающий. Нервно О. очень плох, а о Москве всего не знает. <...> Вечером же с Н. ссора с криками

⁵⁶ И еще через три дня: «У Осек волнения и всякие тревоги, планы и их крушения. Всё на тупик похоже и, кажется, всё правда плоховато у них» (СР, 126).

и обоюдной бранью. Потом Н. мне потихоньку о радостях московских» (СР, 126).

Но физическое и душевное состояние Мандельштама — аховое: «У О. Э. ужасные минуты почти безумия сменяются ясностью. Циклы, циклы! И сердце — реально плохое минутами. За два часа до вокзала — скис. Побледнел: “С. Б., а я, часом, не умираю? Со мной этого не было, так что я не знаю, как это бывает...” Короткое отлеживание, пауза — и улучшение» (СР, 126). Так что день 45-летия поэта не задался (СР, 127).

Выдворение Панова и водворение в «меблирашку» Мандельштамов не ослабило напряжения с «мышебойцем». Еще в декабре Наташа, хозяйка, уговаривала Мандельштамов «переехать в какую-нибудь дешевую и хорошую комнату». Дело было только за комнатой.⁵⁷

Как и Вдовин, Адриан Федорович выпивал, но, опьянев, буянил. Прикладывалась к чарке и главная хозяйка — Наташа.⁵⁸ Такая жизнь под вольтовой дугой полу-скандалов и полу-мира не устраивала, в общем-то, никого.

Конфликт, судя по отчетам Рудакова, достиг своего апогея на стыке февраля-марта 1936 года. 27 февраля он писал: «Сейчас масса мерзких деталей с квартирохозяевами у О. Сюда относятся: крики, вопли, выключение света, снова крики, на них ответные психованья — всё очень подробно» (СР, 152).

Так что как только представилась возможность переменить крышу, Мандельштамы ею воспользовались.

В итэровской многоэтажке

Карлик-юноша, карлик-мимоза...

О. Мандельштам и С. Рудаков

Это произошло 14 марта 1936 года — спустя месяц после отъезда Ахматовой. Они снова сняли дальнюю комнату в квартире из двух смежных.⁵⁹

Четвертая квартира Мандельштамов находилась тоже в самом центре — в большом пятиэтажном кирпичном доме (так называемом «Итэровском») на углу улиц Фридриха Энгельса (бывшей Малой Дворян-

⁵⁷ Из письма Н. Я. Мандельштам С. Б. Рудакову от 9 декабря 1935 г. (СР, 117).

⁵⁸ См., например, запись от 6 марта 1936 г. (СР, 155).

⁵⁹ Хозяйкой квартиры была женщина, имя которой осталось неизвестным.

ской) и Итээровской.⁶⁰ Растянувшись углом на шесть подъездов, он занимал чуть ли не полквартила. В то время нумерация квартир начиналась с улицы Энгельса.⁶¹

Это один из первых в Воронеже кооперативов, причем взносы были как денежные, так и трудовые. Дом был сдан совсем недавно, в конце 1935 года, и считалось, что — со всеми мыслимыми удобствами. Увы, это было не так. Канализация не работала, и на первое время во дворе была устроена одна — на весь огромный дом — крошечная и до предела загрязненная уборная.⁶² Ванна у Мандельштамов также была покрыта простыней — из-за каких-то затянувшихся водопроводных недоделок вода текла только по кухонному стояку.

Комната была неуютной и выглядела пусто, хотя и была основательно меблирована: шкаф и стол впритирку, две кровати у разных стен, тахта посередине, а у порога — три чемодана один на другом.⁶³

В проходной комнате жил молодой журналист и завзятый бильярдист Дунаевский, он же — «карлик» из шуточного четверостишья: «Карлик-юноша, карлик-мимоза / С тонкой бровью — надменный и злой... / Он питается только Елозой / И яичною скорлупой».

Почему «карлик»?

Рудаков объяснял это специфически: мол, провинциальный журналистшка — на фоне столичных «гигантов» (СР, 165). Но скорее объяснение куда проще: обыгрывалось имя хозяйки, а звали ее Клара Васильевна (СР, 180). «Карлик» Дунаевский, вероятней всего, приходился ей не съемщиком, а сыном.

Мандельштамы называли его еще и «артистом» и, как водится, подозревали в том, что он приставлен за ними наблюдать. Приехавшей на

⁶⁰ Ныне ул. Чайковского.

⁶¹ В частности, сообщивший это А. С. Глауберман жил в квартире № 2 в самом дальнем от угла подъезде по ул. Ф. Энгельса. Стало быть, номер квартиры справа на 2-м этаже следующего подъезда, комнату в которой снимал Мандельштам, мог быть только 13. В войну дом был разрушен; его отреставрировали, оштукатурили и перепланировали квартиры. Сегодняшний номер интересующей нас квартиры — 39 (еще одна загадка: в письме Мандельштама Е. Я. Хазину от 10 апреля 1936 г. указан такой адрес: ул. Ф. Энгельса, 13б, кв. 5).

⁶² РГАЛИ, ф. 1893, оп. 3, д. 340, л. 39—40.

⁶³ Из рассказа Н. Е. Штемпель В. Борисову 27 июля 1967 г. (см.: *Лето 1967 года в Верее*: Н. Я. Мандельштам в дневниковых записях Вадима Борисова / Публ. и подгот. текста С. Василенко, А. Карельской и Г. Суперфина; Вступ. заметка Т. Борисовой // «Посмотрим, кто кого переупрямит...»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах. М., 2015. С. 500).

майские праздники Эмме Герштейн он запомнился ярко, но лишь тем, что 2 мая напился — да так, что Н. Я. пришлось снимать с него башмаки и укладывать в постель. Но это, видимо, его товарищи катали Мандельштамов 2 мая по Первомайскому Воронежу, завершив день вечерним застольем, на котором благодарный Осип Эмильевич читал свои стихи (ЭГ, 63).

Знаем мы и нескольких соседей по дому, например, архитектора Миროнова (автора проекта этого дома!) и сотрудника Горкомхоза Константинова, у которого, приезжая, останавливался Яхонтов и постоянно снимал комнату тромбонист симфонического оркестра Михайлов.⁶⁴ В трехкомнатной квартире № 2 в 1-м подъезде жил молодой отоларинголог Семен Борисович Глауберман (1897—1971) с семьей, у которого лечился и Мандельштам, а в квартире № 20 — Елена Стародубцева, частная ученица Наташи Штемпель.⁶⁵

Но главной знакомой Мандельштамов среди жильцов этого дома была Нора (Элеонора) Яковлевна Эпштейн, жена Стефана Яковлевича Маранца, главврача областной больницы. Ее сестра, Елена Яковлевна, была замужем... за его братом — Федором Маранцем! Обе они работали в том же Институте гигиены и санитарии, где одно время служила и Наташа Штемпель. Так что весьма возможно, что именно протекции Норы Мандельштамы были обязаны проживанием в столь престижном месте.

Это, однако, не помешало Мандельштаму взять на юмористический прицел обеих сестер — Нору и Лену:

О, эта Лена, эта Нора,
О, эта Этна — И. Т. Р.
Эфир, Эсфирь, Элеонора —
Дух кисло-сладкий двух мегер.

⁶⁴ Из воспоминаний бывшей жилички Г. Н. Константиновой (1928—1996); хранятся в архиве автора.

⁶⁵ Ей Осип Эмильевич запомнился таким: «Неожиданно кто-то позвонил у входной двери, послышался мужской голос. Когда дверь отворилась, в комнату вошел мужчина — сама элегантность и непринужденность, большой высокий лоб, немного ироничный взгляд умных и печальных глаз. Это был поэт Осип Эмильевич Мандельштам. Он подошел к Наталье Евгеньевне с букетиком подснежников, поцеловал руку, поздоровался со мной и сел в сторонке, чтобы не мешать нашим занятиям. Потом мы вместе пили чай. <...> Очаровательная внешность, чуть прихрамывающая походка, богатство души и человеческой доброты» (*Стародубцева Е.* Воронежские страницы // ЯН, 222).

Задонск

Деревья-бражники шумели...

О. Мандельштам

31 мая к Мандельштамам зашла Елизавета Павловна Гердт, ленинградка и бывшая жена дирижера Гаука.⁶⁶ Узнав о планах отправиться летом на дачу, она искренне удивилась: «Как — такая комната, такие условия жизни, а вы еще дачу хотите?!» На что ей Осип Эмильевич ответил: «На траве валяться, по тропинкам ходить — это полезно». Тогда гостья сказала: «А там вы чего захотите? У золотой рыбки чего начнете просить?»

Сказано было не в бровь, а в глаз. Все это оценили и необычайно развеселились, а поэт еще и немного смутился. Но 10 июня планы начали обретать очертания. Сначала хотели поехать в городишко Павловск, от деревни не отличимый, а потом перерешили в пользу Задонска. Рудаков интерпретировал это по-своему — «выход в люди и сферы»: мол, в Задонске гостят крупные знаменитости из Москвы (писатель Юрий Слезкин и др.). Для облегчения задачи редактор «Коммуны» Елозо дал Надежде Яковлевне газетную командировку на месяц, а вся последующая жизнь должна была оплачиваться театром и переводами из Москвы.

Ехать собирались с домработницей Нюрой⁶⁷ (раньше она только стирала у них белье) и ее дочкой. Когда выяснилось, что театр может лопнуть, поездку отложили, но не отменили. Потом отменили Нюру, зато купили за 90 рублей электробак, способный за четыре часа нагреть аж три литра.

А 17 июня в Воронеж примчался из Ленинграда неожиданный гость — Женя, младший брат Осипа: только на один день, всё очень сухо и деловито.⁶⁸

Его приезд был, возможно, связан с тревожным письмом, полученным им от Евгения Яковлевича Хазина в начале июня: «Ехать в Воронеж совершенно необходимо. Болезнь превращается в форменный бред. Вместо лечения — писание бредовых бумажек во все стороны. О. Э. в крайне психически возбужденном состоянии. В последнем присланном сюда ме-

⁶⁶ Елизавета Павловна Гердт (1891–1975) — балерина; в 1927–1934 гг. преподавала в Ленинградском хореографическом училище.

⁶⁷ Ее появление в домохозяйстве Мандельштама Рудаков связывал с собой — с тем, что он, Рудаков, перестал ходить на базар за продуктами.

⁶⁸ Ср. в письме Рудакова жене от 17 июня 1936 г.: «Бомбой на один день принесся младший псиший брат. Всё сугубо деловое. И псих размяк...» (СР, 182).

дицин<ском> свидетельстве к сердечным болезням присоединились “остаточные явления реактивного состояния, шизоидная психопатия”. Если это будет так продолжаться, дело кончится или разрывом сердца, или сумасшедшим домом.

Хуже всего то, что Надя полностью заражена бредом. // Боюсь, что она и является теперь активным двигателем. Т. е. двое людей на грани помешательства, причем О. Э. действительно серьезно болен, предоставлены всецело самим себе. // Совершенно необходимо проконсультировать на месте с врачами, установить характер и размеры заболевания. Тогда будет ясно, что делать. // Мне думается, что сейчас нужен будет санаторий, даже воронежский. Самая обыкновенная больница была бы теперь спасительна, лишь бы вырвать О. Э. из обстановки домашнего бреда».⁶⁹

18 июня 1936 года, спустя 14 месяцев после гибели (во время демонстрационного полета) тяжелого самолета «Максим Горький», умер и сам Горький. За час до этого известия Мандельштам позвонил Стойчеву и попросил его не звонить в Москву насчет устройства его дел: «В дни тревоги за Горького прошу обо мне снять вопрос» (СР, 182).

А ранним утром следующего дня — словно по заказу — затмение Солнца. Смотреть его Мандельштамы собирались вместе с Рудаковым, но тот уклонился, опасаясь, что они проспят. Сам же не проспал — пошел и смотрел в одиночку: сквозь черную киноленту, чтобы не обжечь сетчатку. Что ж, в коллекцию эгоцентричных «трофеев» Сергея Рудакова добавилось и светило!

Но, если надо, то вставать рано умели и Мандельштамы. 20 июня они поднялись ни свет ни заря, подхватились и уже через несколько часов сняли дачу в Задонске — тихом, живописном и славном своим монастырем и старцем Тихоном городке в 90 километрах к северу от Воронежа, на левом берегу неширокого здесь Дона.

Оплатить дачу помогла та дружеская коллекта, в которой на этот раз участвовали Ахматова, Пастернак и Е. Я. Хазин и которую, видимо, и привез Евгений Эмильевич. «Мы почувствовали себя богачами и провели в Задонске шесть недель», — писала Надя (НМ, 1, 223).

В это время в Задонске и в самом деле отдыхал Юрий Слезкин, приехавший сюда еще в мае. Его-то и разыскал Мандельштам сразу же по приезде, породив в его полном самолюбования дневнике следующую запись: «20 июня. Неожиданно утром во время моей работы вваливается Осип Мандельштам с женой. Он совсем седой, страдает сердцем, выслан в Воронеж и решил провести лето в Задонске. Я повел его смотреть ком-

⁶⁹ Осип Мандельштам в переписке семьи (Из архивов А. Э. и Е. Э. Мандельштамов). С. 95.

наты. Но он ходить не может — боится припадка, не отпускает от себя ни на шаг жену, говорит сбивчиво... Предоставили их себе самим, зайдя в два-три места и не найдя ничего». ⁷⁰

Предоставление Мандельштамов себе самим означало, в сущности, только одно — нежелание общаться с ними. В результате в слезкинском дневнике этого лета они появляются еще лишь дважды: «На вечерней прогулке с Архиповым и Триггером вспоминал Мандельштама» (21 июня) и «Издали на прогулке видели Мандельштама. Не желая встречаться с ними, повернули обратно» (24 июня).

Но и будучи предоставлены сами себе, Мандельштамы прожили в Задонске около шести волшебных недель — «радуясь и ни о чем не думая» (НМ, 1, 284).

7 июля в Задонск приезжал Рудаков — попрощаться перед возвращением в Ленинград. Он провел с Мандельштамами два дня — и оба, по-видимому, в интенсивных разговорах и расспросах о мандельштамовских стихах. С приездом Рудакова было связано и возобновление 7 июля работы над «Летчиками» («Не мучнистой бабочкою белой...») — стихотворением, начатым еще весной 1935 года и завершенным только 30 мая 1936 года.

Само прощание с Рудаковым было трогательным (СР, 184—185). Мандельштам надписал ему «Разговор о Данте» — ту самую копию, которую Рудаков снял еще в январе 1936 года, а Надежда Яковлевна написала своей матери в Москву письмо с просьбой дать ему старые фотографии зятя (СР, 185).

Чудом сохранился задонский адрес: улица Карла Маркса, 8 (ныне 10) — это недалеко от Богородицкого мужского монастыря. Но вот еще большее чудо: сохранился и сам дом! Мало того — В. Л. Гордин успел застать по этому адресу... хозяйку дачи — К. Ф. Тарасову, и та рассказала, что тех двух дачников хорошо помнит. Больше мужа ей запомнилась жена — тем, что часто загорала нагишом в вишняке, завесившись простынями, и тем, что много рисовала. И действительно: из Задонска Надежда Яковлевна привезла чудные акварели, вобравшие в себя синеву Дона и золото осени.

Но и Мандельштам вернулся оттуда не с пустыми руками. Его стихотворными «акварелями» об этом счастливом времени стали написанные в декабре два стихотворения — «Сосновой рощицы закон...» и «Пластинкой тоненькой жиллета...» (домашнее название — «Задонск»):

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять:

⁷⁰ Выписки из дневника Ю. Л. Слезкина любезно предоставлены С. С. Никоненко и внуком писателя, его полным тезкой, Ю. Л. Слезкиным.

Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.
<...>
А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа, —

Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели...

8 июля 1936 года Рудаков пишет жене последнее письмо из ссылки — о «более чем трогательном» прощании с Мандельштамами в Задонске. Но одновременно и дистанцируется: «Как-то лучше будет на расстоянии» (СР, 185).

У театральной портнихи

Мой щегол, я голову закину...

О. Мандельштам

Первые несколько недель после Задонска Мандельштамы прожили на улице Энгельса. Именно туда к ним впервые, принарядившись, приходила Наташа Штемпель.

Но посреди осени, предположительно в октябре, хозяйка им отказала, и они переехали на свою последнюю воронежскую квартиру, пятую по счету. Ее точный адрес: ул. 27 Февраля, д. 50, кв. 1.⁷¹ То был маленький, приземистый одиноко стоящий домик безо всяких удобств и с печным отоплением, каменный и одноэтажный. Небольшие окна в глубоких нишах на полметра от земли, а до крыши рукой можно достать.

Зато как необыкновенно удобно и живописно он был расположен!

Снова в двух шагах от проспекта Революции, и в то же время — в тишайшем месте и транспортном тупике. Визави — здание бывшей женской гимназии, в котором разместился первый в Воронеже междугородный телефонный узел (что само по себе было для Мандельштамов очень

⁷¹ Адрес указан самим Мандельштамом в письме к Н. С. Тихонову от 31 декабря 1936 г. (4, 174). Дом не сохранился. На его месте стоит большой четырехэтажный дом сотрудников обкома партии (ул. Пятницкого, 52).

важно). Внутри — окошки телефонисток, деревянный ряд стульев и пронумерованные кабинки, на стене — карта Воронежской области,⁷² чей абрис так «на Африку похож»! Сколько же раз Осипу Эмильевичу приходилось высидывать здесь долгие часы, чаще всего поздно вечером, в ожидании соединения с Москвой!

Перед входом в телефонный узел — городской автомат, большая редкость по тем временам. Надежда Евгеньевна Штемпель вспоминала, как однажды, сочинив стихи, Мандельштам кинулся через дорогу к этому автомату, набрал какой-то номер и начал громко читать их вслух, затем кому-то гневно закричал: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!» Оказывается, он читал стихи начальнику УНКВД, к которому был прикреплен!

Перед домом — большая площадка с огромным тополем, а за домом кубарем катился вниз по Нееловской крутой склон. Куда ни переверни взгляд — всюду чудесный вид на заречные дали.

Комнату в этом домике Мандельштамы сняли у театральной портнихи, Пелагеи Герасимовны, — доброй, сердечной женщины, которая жила тут же со старушкой-матерью и сынишкой Вадиком, учеником второго класса. «У портнихи мы жили тихо, спокойно, по-человечески и совсем забыли, что у нас нет жилплощади», — вспоминала Надежда Яковлевна.

Именно об этом домике поэт написал: «...и дом мой без крыльца».

Крыльца действительно не было: прямо с улицы вы попадали в маленькую покосившуюся переднюю. Из передней налево дверь вела к Мандельштамам, а если прямо — то к хозяевам. Комната была темноватая, освещали ее два небольших и низко посаженных (всего на полметра от земли!) окна в глубоких нишах — одно на площадку (его еще затенял огромный тополь), а другое во двор.

По утрам Мандельштама изводил петух, начинавший кукарекать с ранней зари и, как казалось, прямо в окно. Петух этот явно раздражал Осипа Эмильевича, и он даже жаловался на него жене, уехавшей по делам в Москву, но как-то ласково жаловался: «Я тебе петуха-красавца покажу, который восклицает триста раз от четырех до шести утра. И котенок Пушок всюду бегает. И вербочки зеленые...» (4, 189).

И во втором письме, написанном через несколько дней, — всё тот же петух: «Дней десять назад я поссорился с хозяйкой (я кричал о петухе в пространство: — она приняла на свой счет... Очень деликатно, но всё же говорила кислые слова) из-за петуха. Всё это забыто. Деликатность удивительная. Денег не брали. Терпенье сверх меры. По поводу же нападе-

⁷² Центрально-Черноземная область существовала в 1928–1934 гг. 13 июня 1934 г., т. е. еще до приезда поэта в Воронеж, она была разделена на две области — Воронежскую и Курскую, однако старое название еще некоторое время оставалось на слуху.

ния курицы на маму. Никакой царапины серьезной нет. Шрам заживает. Черт знает, какой вздор пишу! Гоголь такого не выдумает!..» (4, 195).

Убранство комнаты — классическое «мандельштамовское», то есть почти никакое. У противоположной дверям стены — длинный книжный полушкаф-полусервант черного цвета, на котором красовалась птица. В нише за ним, в дальнем левом углу, — одна кровать, перед ней, у окна, — квадратный стол и пара гнутых стульев. Еще одна кровать — перед столом, перпендикулярно стене (если приходили гости, то ее легко придвигали к столу). И еще посередине — как-то по-американски — старая, обитая дерматином кушетка: дерматин холодил, и сидеть на ней было холодно и неуютно.

Системообразующими предметами обстановки были кровати. Постояльцы проводили на них большую часть времени: на них не только спали или, днем, полеживали — на них постоянно сидели и, каждый на своей и по-своему, работали! Надя читала, писала или что-то переводила почти исключительно полулежа, а Осип обычно сидел по-турецки (любимая поза!) у спинки кровати, с книгой и почти всегда — с дымящейся или потухшей папиросой.

Стол же был почти исключительно обеденный: за ним ели, но не работали, за исключением одного случая. А именно — случая с «Одой», когда стол очистили от всего и придвинули к окну, чтобы удобнее было предаться одописанию. Всё остальное время стол служил большой и важной плоскостью, на которой отлеживались черновики и громоздились, стопкой или поодиночке, нужные для чего-то книги, соседствуя с посудой и дымковскими игрушками, которые обожала Надя.

Вообще, книг было немного — наверное, лишь те, с которыми расставаться было непосильно: в памяти Н. Штемпель остались «Божественная комедия» Данте в кожаном переплете с застежками, сонеты Петрарки, стихи Христиана Клейста и Новалиса (все в подлинниках), альбомы по живописи и архитектуре. Из рассматривания французских готических соборов в одном из таких альбомов соткались однажды эти, например, стихи:

Я видел озеро, стоявшее отвесно, —
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке...

Другую современницу, посещавшую здесь Мандельштамов, не покидало щемящее «ощущение неустроенности, временности, отчужденности обитателей этой комнаты от жизни, шумящей за ее окнами».⁷³

⁷³ Ярцева М. Мои встречи с О. Э. и Н. Я. Мандельштам // ЯН, 119–220.

————— «У ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ МНЕ ПЛОХО СПИТСЯ...»

Но не забудем: здесь, в этом доме и в этой комнате, Мандельштам писал и вторую, и третью свои «Воронежские тетради»!

Кстати, и воронежский щегол Мандельштама — отсюда же: он такой же обитатель дома, такой же квартирант, как и Осип Эмильевич. Клетка с щеглом висела над столом Вадика, хозяйкиного сына.

Мой щегол, я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем.
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоём?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли — до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?..

Мандельштам как бы примерял на себя планиду певчей птицы, запертой за прутьями решетки и не допущенной в Саламанку, в самый вольный на свете университет...

...И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

Вывод, к которому он пришел, банален, но упрям: поэта в клетке содержать не надо, а удержать нельзя!..

Иосиф Бродский. Родственный взгляд

Биографическое собирательство и литературоведческая охота за фактами жизни и творчества Иосифа Бродского, как и любого поэта такого масштаба, образуют со временем особенный сложносочиненный мир. Мир и одновременно — войну между исследователями и мемуаристами, фанатами и снобами, официальной точкой зрения и андеграундом, любящими и ненавидящими. В центре всего этого фигура мастера обретает очертания монумента. Почему так получается? Бог знает. Воспоминания, факты личной истории нужны нам для другого. Поэт ушел, а голос его остался, и то, что он говорит, больше никто сказать не может. Оттого есть внутренняя необходимость сохранить или даже уменьшить дистанцию. Чтобы он не отдалился настолько, что перестал бы восприниматься человеком. Чтобы не стал памятником или черной точкой на горизонте, уроком литературы в школьной программе и т. п. Надеюсь, мои заметки послужат этой цели.

При всём обилии бродсковедческих публикаций, остается почти неизвестной та часть жизни поэта, которая протекала рядом с родителями и близкими родственниками. Это одна из причин, по которой мне хочется поделиться впечатлениями от встреч с Иосифом Бродским в юности, воссоздать атмосферу нашей (его и моей) семьи.

Об отце, Александре Ивановиче Бродском, и матери, Марии Моисеевне Вольперт, Иосиф написал в эссе «Полторы комнаты». В дальнейшем почти никто о них не вспоминал. Мало кому известно, в частности, что у Марии были три сестры и брат — очень близкие люди. Вместе со своими семьями они образовывали большой семейный круг, общее пространство, внутри которого мы все, включая Иосифа, жили. Мир семьи казался совершенно особенным — и остался в памяти

как внутренняя родина и абсолютная точка отсчета. Для Иосифа не могло быть иначе. Детство и юность он провел рядом с этими людьми: сидел с ними за одним столом, слушал их рассуждения о Манделъштаме и сетования на недостаток денег. От них зависела его судьба в блокаду и в эвакуации. Сюда он взрослым возвращался из экспедиций, ссылки, после принудительного лечения. Здесь о нем помнили всегда, и здесь стояли на полках первые прочитанные им книги.

Всякий раз стараюсь подчеркнуть: его родители и старшего поколения родня интересны не только близостью к великому человеку, но и особенным устройством своего внутреннего мира и судьбы. Поколение, детство и юность которого прошло в Российской империи, а жизнь вобрала в себя две революции, сталинизм и две мировые войны. Следует ли что-нибудь к этому добавить? Только то, что в результате они были людьми такой внутренней силы, обаяния и естественной, в крови растворенной интеллигентности, какой я больше не встречал никогда.

Патриархами семьи были Моисей и Фанни Вольперт. Они, как известно, до Первой мировой войны жили в Двинске и с началом боевых действий перебрались в Санкт-Петербург. Дед Иосифа был агентом по продаже швейных машин «Зингер» на Северо-Западе — в Прибалтике и Петербурге. Фанни занималась домом и детьми.

Основу семьи составляли дети Моисея и Фанни — сестры и брат Вольперты. Мне кажется, что особое пространство сложилось из их дружбы. Для нас они, вместе с их мужьями и женами, были старшим поколением: Мария Моисеевна Вольперт, мать Иосифа Бродского, и его отец — Александр Иванович Бродский; три сестры Марии: Роза Моисеевна Кельмович, Раиса Моисеевна Руткис и Дора Михайловна Вольперт с ее мужем Михаилом Савельевичем Гавронским; брат Марии — Борис Моисеевич Вольперт и его жена Тамара Израилевна Зингер. Следующее поколение — Иосиф Бродский и его двоюродные братья: Яков Захарович Кельмович (мой отец), Михаил Викторович Руткис и Александр Борисович Вольперт. О родственниках Александра Ивановича я, к сожалению, ничего не знаю.

Марию и Александра Ивановича — я пытаюсь не вспомнить, а скорее увидеть в глубине длинного голого коридора. Массивность стен и высота дверей. Кухня, откровенно неприглядная, со вторым выходом на черную лестницу и во двор. Темная, закопченная, с довоенными кухонными столами и шкафчиками, щеколды которых рождали ассоциации с дачным туалетом. Выщербленная и грязная виниловая плитка на полу. «...именно тут, — писал впоследствии Иосиф, — моя мать провела четверть жизни» (*Иосиф Бродский*. «Полторы комнаты»).

Приходя к Марии и Александру Ивановичу, гости попадали в большую квадратную часть полутора комнат. Входящего в нее впечатляла

высота дверей и толщина стен в проеме. Они соответствовали росту и сложению Бродского-старшего, когда он встречал гостей у вешалки. Все остальные казались несоразмерны дверному проему и внутреннему пространству. С другими вещами было то же самое. Кровать и буфеты выбивались из обычного человеческого масштаба. Обычное коммунальное настроение этой дверью отсекалось: внутри был совершенно другой мир.

Комната должна была производить очень странное впечатление даже на людей, привыкших к старым питерским квартирам, я же знал ее с детства. Приходил поиграть с японскими куклами и краем уха послушать истории взрослых о гонениях на гениальных поэтов, военных приключениях и дефиците индийского чая в магазинах. Необычности не замечал, но остро чувствовал нечто трудноопределимое — будто запах острой приправы щекотал ноздри.

Пространство «полтора комнат» на две неравные части разделяла фантастическая арочная стена. Две ее высокие арки были увиты лепниной. Они не были заколочены, только закрыты мебелью и задрапированы. Зато каждая часть имела свою дверь в коммунальный коридор. В большей, квадратной, части жили родители. Вторая, узкая, разделялась надвое. В ней, ближе к входу, располагалась похожая на темный чулан фотолаборатория Бродского-старшего. К Осе надо было пройти через нее. Далее узкую часть «полтора комнат» перегораживали три разномастных старинных шкафа. Один из них как будто даже имел барочные, выгнутые формы. У центрального шкафа была выбита задняя стенка, и через его дверцу можно было проникнуть в келью Иосифа, высоко задирая ногу над порогом-цоколем, нагибаясь и спасая голову от низкого «дверного косяка». Вход этот неизменно вызывал у меня тихий восторг и приступы веселья, бесповоротно утверждая представление о том, что это особенный, ни на что не похожий дом. За дверью-шкафом пространство раскрывалось, казалось особенно светлым, одновременно простым и причудливым. Такое впечатление возникало из-за большого арочного окна в маленьком квадратном помещении. Его усиливали вторая задрапированная арка, ниша и книжные полки.

Почти аскетичная обстановка: обычный полуторный матрас на ножках у окна, стол со стульями и полками над ними, небольшое кресло. Простота парадоксально сочеталась со множеством удивительных вещей. Бронзовый кораблик — китайская джонка с квадратным металлическим парусом и проволоочной снастью, небольшие старинные канделябры. Полки с плотными рядами книг, а сверху на полках — коллекция пустых бутылок из-под виски, мартини, вина с яркими этикетками, неизвестными в СССР. Бутылки указывали на связь хозяев с заграницей.

В «полтора комнатах» парил дух вечно отсутствующего опального и — уже понятно было — великого поэта. На голых обшарпанных стенах

жили свидетельства дальних странствий. Неспешно расхаживал по комнате в мягком пиджаке и шапочке булгаковского Мастера гигантского роста отставной военный моряк. Капитан, прошедший три войны, исколесивший всю Евразию от Румынии до Китая и Японии, фотохудожник, журналист и, как оказалось потом, писатель, настоящий герой романа Жюль Верна, все приключения которого не поместились бы ни в какое собрание сочинений.

В жизни он вынужден был изображать мелкого писаку, фотографа и неудачника, хотя по большому счету это было совсем не так. Александр Иванович был грандиозным человеком, для которого не нашлось в этой стране подходящего места. Очередной герой войны, выброшенный из флота и оскорбленный до глубины души тем, что должен был непрерывно барахтаться в трясине бытовых неурядиц и безденежья. Мы (младшее поколение) относились к нему приблизительно как к линкору в доке и обращались всегда уважительно, а между собой в семье называли — Саня-Ваня.

Над кухонной плитой хлопотала Мария (сестры звали ее Маней) — невысокая, полная, даже грузная женщина, с виду — типичный бухгалтер жилконторы со строгим взглядом из-за очков. Настороженность советского обывателя могла вызвать только скульптурная лепка ее лица, и еще — взгляд был не только строг, но и философичен. Нет, обывателю и соседу по коммуналке лучше было не смотреть в эти глаза. Они выдерживали человека из бессознательности бытовой жизни, как гвоздь из доски (со скрипом, но деваться некуда). Столько-то стоицизма и столько-то тайной, хорошо спрятанной душевной и физической боли — рецепт этих глаз.

Что-то было в них такое, что заставляло хипповых и лопающихся от сомнений питерских поэтов приходить порой к ней на кухню, спрашивать совета, говорить о жизни, а, может, — и плакаться в жилетку. То, что она кроме немецкого в совершенстве знала французский, я узнал лишь впоследствии: Мария умела хранить тайны. Но отлично помню, как на кухне, помешивая суп в кастрюле, она читала наизусть «Евгения Онегина». Из любой главы и с любого места.

Что составляло их жизнь после его отъезда? Быт, безденежье, болезни, встречи с сестрами. Бесконечное ожидание звонка из-за океана: Иосиф звонил раз в две недели. Письма с просьбой о выезде из СССР, тихие гости, «курьеры» из-за границы с гостинцами, переправка в Америку нужных Иосифу вещей и книг.

Он очень просил переслать ему словарь Брокгауза и Ефрона, 82 тома дореволюционного издания. У этой энциклопедии есть своя семейная история. Последние годы она была в распоряжении Иосифа, он очень ее ценил и постоянно пользовался ею. Для Марии стало постоянным делом

раз в две недели ездить на Главпочтамт и отправлять энциклопедию посылками по одному тому — месяц за месяцем, пока не отправила всё. Ей было тяжело добираться до места: сначала автобусом, затем довольно далеко пешком по Почтамтской улице. Тяжелое тело, нездоровье. Она шла с палкой.

Мария никогда не искала сочувствия и поддержки, всё несла на своих плечах, несмотря ни на что. После отъезда Оси она каждый год отмечала его день рождения. Устраивала большой праздник, собирала его друзей. Готовила свои знаменитые кулебяки, накрывала роскошный стол (чего ей это стоило!). Гости собирались под вечер, пили, вспоминали минувшее, обсуждали происходящее — так, будто их общая с Осей жизнь продолжалась.

В то же время, пресс КГБ делал свое дело. Мария боялась хранить дома изданную в Америке книгу Осиных стихов и отдала ее старшей сестре Розе. Телефонный аппарат всё время накрывала подушкой, боясь прослушки. Предвидя разговор на «сомнительную» тему, предпочитала увести собеседника на кухню. Открывала там дверь на черную лестницу и курила около нее.

О том, что в 1978 году после тяжелого сердечного приступа Осе сделали срочную операцию на сердце, Мария узнала по радио. Сразу же подала прошение на поездку в Америку. Ей вежливо ответили очередным отказом на основании того, что в Америке Иосифа быть не должно, так как страна, в которую он эмигрировал, — Израиль. Последовали дополнительные разъяснения: советская страна заботится о своих гражданах и не допустит, чтобы они совершали неправильные поступки. Таким поступком им виделась поездка Марии. В 1983 году, когда она умерла, разрешения прилететь на похороны матери Иосифу не дали. Он позвонил в Питер родственникам и спросил, не стоит ли ему все-таки попытаться приехать. После продолжительного молчания ему ответили, что не стоит.

Саня-Ваня многим запомнился как рассказчик увлекательных историй из своей жизни. Он начинал длинное повествование, сидя или стоя у буфета. Рассказывал долго, с убийственными паузами, перемещаясь по комнате: принести заварной чайник, чашки по очереди — приходилось быть где-то рядом. Закончить он мог нескоро, у большого стола, под оранжевым абажуром. Я обнаружил в последнее время, что все вспоминают увлекательность его многочисленных историй, но при этом мало кто сохранил в памяти их конкретное содержание.

Хотя военная судьба Александра Ивановича была уникальна, мне он всегда рассказывал о чем-то другом. О том, как брал интервью у Маяковского, о своих любовных приключениях и разборках с басмачами в Баку в 30-х, о знакомстве с рабочим, который прятал Ленина в Разливе, о том, как до войны самолет, в котором он летел за Урал, сорвался в штопор

и чудом вышел из пике у самой земли. Или о самурайском мече: Александр Иванович привез из Японии, среди прочего, настоящую катану. После сталинского запрета хранить дома оружие меч он сдал, а ножны оставил, и мы обсуждали, почему он так сделал. Одна общая знакомая, наслушавшись его рассказов о довоенных временах, в ужасе делилась с подругой: «Послушай, он же белый (имелось в виду белогвардеец): он о революции говорит — либо *захват власти*, либо *военный переворот*...».

Несомненно, он был оскорблен властью, несправедливостью своей послевоенной судьбы. Его, морского офицера, ветерана трех войн, одного из лучших фотографов страны, уволили из флота по сталинскому указу, запрещающему евреям носить высокое воинское звание. Оскорбляли преследования сына, нищета, невозможность путешествовать и пренебрежительное отношение тех, кто связывал жизненный успех с достатком и удачной карьерой. Но своих настроений он никогда не показывал. Мы видели только военную выправку, общительность, улыбку на лице — иногда, казалось, слегка презрительную.

В письмах сыну стремился дать понять, что всё в порядке. Рассказывал о том, как в город пришла весна, о премьерах в театре, немного о политике. Ни слова о болезнях или трудностях. Пара фраз о Масе (Марии), о выставке фотографии. О родственниках — только что-то деловое или необычное, забавное. К примеру, о том, как я поступил в мединститут и одновременно занялся карате, как на солидном семейном празднике устроил каратистскую шурум-бурум-тренировку для мальчишек рядом со столом. «Врач-педиатр и каратэ — неплохое сочетание», — заметил он с иронией.

«Он был гордым человеком. Когда что-либо постыдное или отвратительное подбиралось к нему, его лицо принимало кислое и в то же время вызывающее выражение. Словно он говорил “испытай меня” чему-то, о чем уже знал, что оно сильнее его. “Чего еще можно ждать от этой сволочи”, — была его присказка в таких случаях, присказка, с которой он покорялся судьбе» (*Иосиф Бродский*. «Полторы комнаты»). Я нахожу, что это выражение последние годы жизни присутствовало у него почти всегда. И тогда, когда он сидел за столом между гостями, и тогда, когда его спрашивали об Осиных делах, об участии в фотовыставках или о здоровье. Он держался, сохранял лицо.

Когда Лиля Руткис, жена Михаила Руткиса, бывшая с Марией в больнице до самого конца, в слезах приехала к Бродским домой, Александр Иванович встретил ее на пороге и, криво улыбаясь, спросил: «Ну, что: финита ля комедия?» Сам он через год, как бы игнорируя смерть, бездыханным остался сидеть на стуле возле обеденного стола. Рядом чашка кофе и записка Лиле, в которой только первая фраза о себе: «Мне очень плохо...», и далее — пара строк деловых указаний.

Так получилось, что, когда все жильцы этой комнаты либо умерли, либо оказались в изгнании, в доме осталась только кошка. Она была последним членом семьи, последним жильцом этого странного места, именуемого нынче «полторы комнаты». Она прожила одна какое-то время. К ней приходили, продолжали ее кормить и за ней ухаживать. Но судьбу кошки надо было решать. Лиля забрать ее не могла: в семье не переносили кошачьей шерсти. Выручил Володя Уфлянд. Он предложил взять ее к себе. Таким образом круг замкнулся: кошка начала свою жизнь в доме одного поэта и завершила ее в доме другого.

О родителях Иосиф написал пронзительные «Полторы комнаты». О других родственниках едва ли наберется страница текста. Это ни в коем случае не соответствует их месту в его жизни. Оттого сильно искушение расшифровать то немногое, что есть.

Начнем с отрывка из эссе «Меньше единицы»:

У меня был дядя, член партии и, как я теперь понимаю, прекрасный инженер. В войну он строил бомбоубежища для Parteigenossen; до и после нее строил мосты. И те и другие еще целы. Отец постоянно высмеивал его, когда спорил с матерью из-за денег; мать же ставила своего брата-инженера в пример, как человека основательного и уравновешенного, и я, более или менее автоматически, стал смотреть на него свысока.

Зато у него была замечательная библиотека. Читал он, по моему, немного; но в советских средних слоях считалось — и по сей день считается — признаком хорошего тона подписка на новые издания энциклопедий, классиков и пр. Я завидовал ему безумно. Помню, как однажды, стоя у него за креслом, смотрел ему в затылок и думал, что если убить его, все книги достанутся мне — он был тогда холост и бездетен. Я таскал книги у него с полок и даже подобрал ключ к высокому шкафу, где стояли за стеклом четыре громадных тома дореволюционного издания «Мужчины и женщины».

Это была богато иллюстрированная энциклопедия, которой я до сих пор обязан начатками знания о том, каков запретный плод на вкус.

В десяти минутах ходьбы от дома Мурузи, на ул. Чайковского, в доме, где незабвенный «Колобок» на углу, жил Борис Моисеевич Вольперт, брат Марии — «дядя-инженер». Квартира на Чайковского. Напольные часы с боем. Мигающий желтый светофор за окном. Оранжевый абажур на массивной бронзовой люстре с фигуркой орла. Картины в старинных рамах. Длинный и темный, как ствол нарезного ружья, коридор. В анти-

кварном книжном полумраке — большой квадратный стол, накрытый гобеленовой скатертью. Вечером он как будто выплывал из сумрака в ярком пятне желтого света висящей над ним лампы, в обрамлении двух старинных буфетов, гарнитурных стульев, трехметрового зеркала, горок с фарфором и потемневших от времени картин. Свет был теплым, необычайно притягательным. Ничего так не хотелось тогда, как сесть за этот стол и вступить в беседу, которая, как правило, уже шла.

Здесь был центр нашего мира — так ощущалось это пространство, без всякого рационального объяснения. Объяснение, впрочем, было, и вполне очевидное: на Чайковского жили Борис с семьей и Роза — двое из пятерых Geschwister. Здесь было удобно и близко собираться, в самой большой отдельной квартире.

Борис был старшим во всём: авторитет, успешность, потребность помогать и опекать. В отличие от двух «линкоров» — Михаила Гавронского и Александра Бродского — Борис Вольперт был среднего роста, не попал на фронт, войну прошел в качестве главного инженера крупного оборонного завода в Череповце. Он имел технический склад ума и был немногословен. Его манера держаться вызывала уважение. Сестры, да и все члены семьи прислушивались к его мнению и всегда находили в нем опору. Я думаю, он был добрым человеком, но старательно скрывал свои чувства. Он искренне заботился о близких. Считал своим долгом опекать родню, за Осю беспокоился очень. Долг — подходящее ему слово. В нем больше, чем в сестрах, были заметны сдержанность и некоторая сухость внешних проявлений. Он полностью отдавал себя работе. Другим фундаментальным его качеством была лояльность властям. Думаю, он не видел смысла в социальном протесте и явном диссидентстве, был сдержан и разумен, всегда контролировал себя и пытался уберечь от необдуманных шагов своих близких.

Влияние Бориса, этого дома и его обитателей на Иосифа в детстве и юности было значительным. В военные годы Борис помогал всем, кого смог найти. Устраивал рядом с собой в Череповце. Он фактически спас моего отца, вывезенного полуживым из блокадного Ленинграда. Мария с маленьким Осей в эвакуации тоже были рядом с ним.

После войны, вернувшись в Ленинград, семья собралась вокруг Бориса. На старых фото 1948 года они вместе, еще опаленные войной. Среди них Ося, мальчишка с хулиганской улыбкой. Я подсказал сотрудникам Фонтанного дома: многие известные детские фотографии Иосифа сделаны в квартире «дяди-инженера». Вот Ося читает книгу за столом Бориса, вот (ему уже 15 лет) он в комнате Розы с Михаилом Руткисом и т. д.

По себе знаю, как много мог дать этот дом. Особенная его магия открывалась, когда читали в этих стенах книги. Мне кажется, имеет значение, что здесь была первая Осина библиотека. По крайней мере, когда

в 17 лет мне дали запретную, изданную в Нью-Йорке Осину книгу «Стихотворения и поэмы», я открыл «Шествие» — и мир для меня перевернулся.

Была у квартиры на Чайковского и другая сторона. Как известно, в каждой бочке меда есть ложка дегтя. В нашей семье она, естественно, тоже присутствовала и носила характер снобизма, порой — жалящего высокомерия или даже интеллектуальной спеси. В семье существовала негласная, никогда не высказываемая вслух иерархия. Ее никак не обозначали, но, тем не менее, она незримо постоянно присутствовала, как будто висела в воздухе. В соответствии с ней одни родственники занимали более высокое и значительное место, другие были как бы не очень существенны. Положение определялось не уровнем благополучия или успехами, а некой абстрактной значимостью, не имеющей точного критерия.

Борис был на самом верху этой иерархии, но не имел к ее созданию отношения — он был занят делом. Таким образом, источник этого явления остается неизвестен. Несмотря на то что «дегтя» действительно была только ложка, она порой перевешивала остальное — и отравляла жизнь многим. Вкупе с обидой на власть, бедностью и неустроенностью, снобистские обертоны в жизни семьи рождали у Александра Ивановича сложное, пусть и хорошо спрятанное, чувство. Иосиф унаследовал его от отца. В дальнейшем, мне кажется, он через всю свою жизнь пронес это отношение — как к снобам, так и к правителям изгнавшей его страны. «Отец постоянно высмеивал его, <...> и я, более или менее автоматически, стал смотреть на него свысока», — вспоминал он о Борисе. Но недавно в нескольких поздних фото и видео я вдруг увидел у Иосифа черты не Александра Ивановича, и даже не Марии, а «дяди-инженера».

В поведении Оси на Чайковского чувствовался оттенок демонстративности. Один раз он пришел на семейный праздник с опозданием, в домашнем свитере крупной вязки, похожем на кольчугу. Без особых разговоров завалился на тахту напротив телевизора и молча смотрел на мелькание картинок на экране. У стола толпились гости, периодически кто-то заслонял телевизор. Видно было, что ничто происходящее вокруг ему не интересно. На вопросы он отвечал механически и вскоре ушел — кажется, не попрощавшись. Типичное для него появление.

В другой раз я помню его с большой рыжей бородой после экспедиции, и тоже — очень просто одетым. Бородатым он выглядел очень забавно. Иосиф совершенно не желал участвовать в умствованиях и интеллектуальных спорах о литературе, искусстве и политике. Затасив небольшую кучку гостей помоложе из гостиной в спальню, он показал там упражнение, которое можно было бы назвать «борьба ногами», и устроил соревнование — у кого ноги сильнее. Двое соревнующихся садились на стулья друг против друга: один плотно сдвигал колени, другой обхватывал их

своими. Задача первого была раздвинуть ноги, второго — удержать их сомкнутыми.

Это физкультурное развлечение совершенно противоречило духу домашнего торжества. И мне опять-таки кажется, что это было сделано намеренно, из чувства противоречия. После борьбы он рассказывал о своих экспедиционных приключениях, и разговор сбился на характерные мужские истории о суровых ситуациях и испытаниях в полевых условиях.

Самое большое собрание гостей на Чайковского, которое я помню, было в день свадьбы Миши и Лили Руткис. Кроме всей нашей родни, друзей семьи, приятелей и подруг жениха и невесты, приехала целая толпа Лилиных родственников из Измаила. Они привезли гору подарков и деревянный бочонок молодого бессарабского вина. Свадьба получилась шумной, прогрохотала, как горная река на порогах. Накрыла своей волной питерских слегка замороженных интеллигентов. И тогда они тоже «дали». Гости были веселы и пьяны. Северная водка смешалась с домашним южным вином. Пели всё громче, тосты и речи перебивали друг друга. Дора произносила театральные монологи. Иосиф говорил что-то непонятное и не слышное гостям. Между песен он вскакивал и кричал: «Тише, евреи! Тише, евреи!» При этом всем казалось, что на самом деле он хочет, чтобы пели громче. Когда застолье начало рассыпаться на группки собеседников и собутыльников, Лилины подружки-студентки распознали Бродского. В восхищении, прихватив пару бутылок водки, они увлекли его в соседнюю с гостиной комнату, заперлись там, и он долго читал им свои стихи.

«...масса воды отделяет меня от двух оставшихся теток и двоюродных братьев...» — вот буквально всё, что сказано о других членах семьи. Две тетки? Одна из «теток» Иосифа, Дора Михайловна Вольперт, была актрисой. До войны играла первые роли в БДТ, в эвакуации в Алма-Ате жила и работала вместе с Фаиной Раневской. После войны почему-то оказалась в театре Комиссаржевской, и там ей давали роли второго плана.

Ее муж, Михаил Савельевич Гавронский, — кинорежиссер, после войны работал в основном в документальном кино. До войны играл на сцене и снял известные художественные фильмы: «Концерт Бетховена», «Приятели». Ездил на пробы фильма о Полине Виардо в Париж. У него была внешность немолодого лондонского денди, щегольские усики и благородные артистические манеры. Дома он ходил в длинной бархатной куртке со шнуром. У них с «Доренькой» была блестящая богемная семья и роскошная квартира в доме театральных работников на Бородинской улице, изящно обставленная антикварной мебелью.

Кроме внешнего блеска и великолепных манер Михаила Савельевича отличали фантастическая щепетильность и чувство собственного досто-

инства. С 1941 года он воевал — сначала солдатом, потом сержантом — и завершил войну в Венгрии в 1945-м. При форсировании Днепра был тяжело ранен. По семейной легенде, должен был быть представлен к званию Героя Советского Союза, но из-за ранения награда его не нашла. После войны у него были все возможности ее получить, но он отказывался собирать справки и подавать прошения. Более того — яростно отвергал все уговоры «восстановить справедливость». Так же он относился к ветеранским льготам и юбилейным наградам. Ничего никогда не просил, не искал привилегий. Это было ниже его достоинства.

Вспоминается такой случай, связанный с Бродским. В пространстве семьи, будничном или праздничном, Иосиф чаще всего был «где-то не здесь» (в экспедиции, ссылке, эмиграции), но практически постоянно присутствовал в разговорах и мыслях, создавая на фоне обыденности семейную легенду. Его фактические появления сейчас мне напоминают открытые освещенные окна на темном фасаде здания. В них можно увидеть яркие случайные сцены незнакомой жизни, между которыми совершенно нет сюжетной связи. Не ясен их точный смысл, и они отделены друг от друга протяженными темными плоскостями неизвестного. Одно из таких окон в заброшенном каталоге воспоминаний именуется *ленд-лиз*. Это тоже детское воспоминание. Его отчетливость объясняется совершенно необычным содержанием. Это была ссора: яростная, настоящая. Нечто совершенно в нашей семье невысказанное.

Мы были в гостях у Доры. Камерные семейные посиделки включали самых близких, и присутствие Иосифа было редкостью. Семейные собрания всегда были насыщены разговорами об искусстве или политике. Диапазон был широк: от последних театральных сплетен до сравнительного анализа концепций авангардного искусства или непосредственных воспоминаний из жизни богемы начала века. Присутствовали также водка и коньяк с хорошей закуской в стиле булгаковского «Грибоедова».

Разговоры во время таких вечеров иногда перерастали в споры, порой горячие, но всегда корректные. Бродский же обыкновенно имел обо всем оригинальное мнение. В этот раз Иосиф и Михаил Савельевич сначала рассуждали, а потом заспорили о причинах победы в Великой Отечественной войне. Иосиф высказал совершенно крамольную по тем временам мысль: выиграть войну в решающей степени помог американский ленд-лиз. Тут они с Гавронским заговорили особенно горячо. В какой-то момент перешли на крик, затем Михаил Савельевич вскочил, выкинул в указующем жесте руку в сторону двери и заорал: «Вон из моего дома!» Иосиф оделся и быстро вышел. Михаил Савельевич долго не мог успокоиться, чувствуя себя оскорбленным. Дора утихомиривала его гнев, а остальные испытывали неловкость и были несколько растерянны. Впрочем, их ссора была недолгой.

Никогда не видел, чтобы Иосиф читал свои стихи на семейных вечерах родственникам. Но попытка, когда он только начинал писать, была — как раз у Доры. Возможно, ему казалось, что она и Михаил Савельевич, люди искусства, примут его стихи. Кажется, здесь он не нашел полного понимания. Дора искренне и прямо, даже когда Бродский был уже знаменит, говорила, что его стихов не понимает, что для нее они слишком сложны. Она же — единственный человек, который не побоялся на суде над Осей кричать о произволе. Милиционеры вывели ее из зала.

Вторая «тетка» — Рая Руткис. Двоюродные братья: мой отец, Яков, в это время болел, сын Бориса, Саша, собирался перебраться в Америку, Михаил Руткис... Рая растила сына одна и жила в жуткой коммуналке на Литейном в узкой, убогой комнате — трамвае. Ее сын, как и Ося, ушел из школы на завод.

Иосиф любил семью Руткисов. Ценил искренность и прямоту Раи, да и с Михаилом, несмотря на разницу интересов, у них были теплые, почти дружеские отношения. К примеру: Михаил был яхтсменом и, когда ходил под парусами по Финскому заливу, брал Иосифа пару раз с собой. Одна из лучших сохранившихся фотографий середины 50-х: Ося — крепкий подросток — держит на руках хрупкого пионера Мишу в трогательной панамке.

В начале девяностых Иосиф позвонил из Америки Руткису с предложением стать директором благотворительного фонда. Разговор происходил приблизительно такой:

— Михаил, хочешь стать директором *моего* (с нажимом и оттенком самоиронии) благотворительного фонда?

— А что надо будет делать?

— Ничего. У тебя будут деньги, и ты будешь их тратить. («Тхрратить» — прозвучало сочно и картаво, с той же ироничной интонацией.)

— Да нет, спасибо. Не хочу. — Михаил, как обычно, был немногословен.

Я знаю, что Бродский предлагал ему авторские права на некоторые свои произведения. Но Руткис также отказался. Как объяснил потом, — не хотел «МАССОЛИТовской» суеты вокруг денег.

Когда Михаил собрался жениться, свою невесту он познакомил с Иосифом раньше, чем со своей мамой. Через год, когда в семье Руткисов родился сын Андрей, Ося прибежал к ним домой раньше всех, и его фото первым запечатлело младенца. Это было незадолго до его отъезда в США. Своего сына, тоже Андрея, Бродский впервые увидит почти через 20 лет.

Жена Михаила, Лиля, была знакома с Иосифом недолго, года полтора. Но так случилось, что именно она более всех опекала стариков-родителей после отъезда Иосифа, приняла их смерть, постоянно поддержива-

ла с Иосифом связь и, в конце концов, сохранила архивы и бóльшую часть обстановки «полутора комнат», чтобы впоследствии передать в музей.

Лиля: «Несколько лет каждое утро, вставая, я спотыкалась о пишущую машинку Иосифа Бродского. Она лежала у меня под кроватью. Ее больше некуда было деть. В доме оставалось множество вещей из “полутора комнат”. А с музеем всё было еще непонятно. Когда умер Александр Иванович, многие из друзей и приятелей Оси хотели что-то взять на память или на хранение, но мы не дали. Александр Иванович просил совершенно определенно: рукописи и письма Иосифа отдать Якову Гордину, а его (Сани-Вани) фотоархив сдать в музей кино- и фотодокументов. Я так и сделала».

Десять лет большинство вещей из «полутора комнат» хранилось в семье Руткисов, в максимально возможном для имевшейся жилплощади порядке. Когда — усилиями, в основном, Михаила Мильчика — музей стал воплощаться в реальность, Руткисы отдали всё в Фонтанный дом.

С конца 70-х Лиля занимала высокую должность в Ленгорисполкоме, что естественно предполагало внимание со стороны соответствующих органов. Она сильно рисковала, проявляя столь бурную «антисоветскую активность». Лиля: «Следующий вопрос был — судьба комнаты. Многие из друзей и знакомых Иосифа буквально требовали от меня комнату сохранить, используя связи в облисполкоме. Из-за дремлющего ока спецслужб сделать это было невозможно. Зато удался трюк с архивом Сани-Вани. Под предлогом его паковки удалось договориться о том, чтобы сдать комнату в жилфонд через полгода. Именно это позволило сохранить почти всю обстановку комнаты, переписку Иосифа, подготовить материалы для будущего музея».

Через полгода помещение надо было освободить. Из вещей и документов всё, что можно было, — забрали и сохранили. Но в «полутора комнатах» оставалось еще множество крупных, громоздких предметов, которые представлялись не столь значимыми, — их никто не взял, и деть их было некуда. Всё это нужно было убрать. Кроме меня и Михаила Руткиса никто из родственников и друзей за эту работу не взялся — может быть, не решились прийти.

Оказалось, что в основном надо было ломать старые шкафы и выносить через черную лестницу обломки во двор — довольно тяжелый труд для двоих, отнюдь не богатырей. Когда мы пришли в последний раз в пустые «полторы комнаты», без буфетов и перегородки в арке, ощущение было опустошающее. Ничто так доходчиво не предъявляет окончательность смерти и безвозвратность потери, как уничтожение собственными руками пространства, в котором жили близкие тебе люди. То, что это протяженный во времени последовательный процесс, для осознания факта имеет особое значение.

Вытаскивая во двор первый обломок, я подумал... Отчетливо помню мысль, очень отстраненную, с будничной и, если так можно сказать о мысли, ворчливой интонацией. Я подумал, что потом здесь сделают музей и будут всё восстанавливать. В этой мысли совершенно не было пафоса — только горечь и ощущение бессмысленности: «Сейчас мы всё это ломаем, а потом...».

Я совершенно точно знал в тот момент, что так произойдет. Здесь будет музей, думал я, и придется тратить значительные усилия для того, чтобы всё восстановить. Но сделать это будет уже невозможно, потому что часть вещей мы сейчас ломаем — и они исчезнут навсегда.

Говоря о родственниках Иосифа, скажу два слова и о себе. В детстве я жил в большой коммунальной квартире на Исаакиевской площади, в знаменитом доме со львами постройки Монферрана. По сути — обитал во дворце. Соседом по квартире, и не просто соседом, а жильцом, движения которого слышались порой прямо за стенкой, был известный ленинградский поэт Володя Уфлянд. С Бродским они дружили, и Иосиф заходил к нему в гости.

Я хорошо помню 1966 год. Как раз в те дни, когда Иосиф писал: «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь...», Володя Уфлянд с моим дядей Соликом (мы жили с ним вместе) лазали по развалинам Греческой церкви. Скалывали и снимали со стен керамический декор: византийские капители и геральдические щиты. Из капителей потом сделали кашпо, а щиты просто повесили на стену.

К Уфлянду я ходил в гости потому, что у него жила ворона. Он подобрал раненого птенца и выходил. Ворона свободно расхаживала по комнате, поэтому весь пол был застелен газетами — и всё равно загажен. В этом ощущался дух свободы. В его комнате этот дух чувствовался во всём. И что-то еще витало в пространстве, отличное от привычной стихии быта, которая присутствовала везде: дома и у соседей. У Володи было иначе, и поэтому мне у него нравилось.

Хотя комната Уфлянда выглядела небольшой и узкой, в ней было много света и, как ни странно, ощущался простор. Я думаю теперь, что дух свободы поселился в ней в большей степени оттого, что Володя не ходил каждый день на работу, чем оттого, что писал стихи. Свободу выражало всё: светлая ткань портьер, то, что он жил с Галей, которая не была его женой (она тоже мне нравилась), а также то, что они курили оба в комнате и спали на полу в верхнем этаже. К нему в гости ходили литераторы. На стенах висели изразцы, снятые со стен взорванной Греческой церкви.

Тогда мне казалось, что Володя во многом проигрывает Бродскому. Иосиф был в Архангельской ссылке, лежал на Пряжке, преследовался

КГБ, и его печатали в Америке. А Володя — всего лишь постоянно сидел без работы либо был каким-нибудь рабочим сцены, и его стихи печатали здесь в детских журналах.

Одно из воспоминаний середины 60-х. Я выхожу из комнаты в коридор и вдруг вижу Иосифа Бродского. (Все родственники за глаза звали его Оська, иногда более уважительно — Иосиф, Ося; при этом, когда говорили о политике и серьезной литературе, он именовался Иосифом, когда же обсуждались дела семейные — был Оськой.) Он стоит на перекрестке кухонного коридора и нашего и вычисляет, судя по всему, Володину дверь. Для меня это совершенно неожиданно. В моем детском понимании Иосифа можно встретить у него дома, на каком-нибудь семейном обеде или дне рождения. А как он попал сюда, совершенно непонятно.

Потом из своей комнаты выходит Володя, и оказывается, что Бродский пришел к нему, что они знакомы. Они шутят, улыбаются и начинают о чем-то говорить. Затем уходят к Володе. То, что он заходит в комнату к Уфлянду, а не к нам, для меня также удивительно. А вот родителям еще и обидно, и они долго потом обсуждают, что он «всегда такой»: «Всё время с приятелями, а к родственникам не заходит вообще. Даже когда пришел в нашу квартиру, не зашел».

В 1968 году наш дом на Исаакиевской площади расселили. Его забрал проектный институт, и жильцам коммуналок давали квартиры в новостройках. Все квартиросъемщики уже разъехались. Последними в доме остались Солик и Володя Уфлянд. Это было необычное время и странное ощущение: жить вдвоем в огромном пустом брошенном дворце. Дом уже начали ремонтировать и периодически отключали воду и электричество. Солик вечерами подпирал бревном парадный дворцовый подъезд, чтобы бомжи не забрались на лестницу. В заброшенных пустующих коммуналках он находил забытые антикварные вещицы.

В эти дни к ним чаще, чем всегда, приходил в гости Иосиф. Они пили чай и болтали о разном. Один раз он рассказывал, как его клали в «психушку». Другой — как устроился на завод на один день. Спасаясь, кажется, от повторной статьи за тунеядство, он попробовал вернуться в цех, но более чем на сутки его не хватило.

Иосиф все спрашивал Солю, как он может постоянно работать на заводе. А тот пожимал плечами — странный вопрос: что умею делать, то и делаю, у меня с металлом хорошо получается. И в этом весь он — никакого подтекста. Главная черта Солика — он человек без злых мыслей.

Однажды я спросил его, как они лазали по развалинам Греческой церкви. Он вспомнил только, что сделал на заводе специальное длинное зубило и потом забирался по лестницам.

— Уфлянд стоял снизу, а я наверх забирался, — Солик лукаво улыбнулся. — Срубили, сняли несколько изразцов: гербы какие-то, капители...

Вспомнил икону Богородицы, которую они не смогли вырубить из стены, и ее потом вместе с храмом взорвали.

В 60-х я встречал Иосифа на семейных праздниках — чаще всего в квартире «дяди-инженера», порой — когда я с родителями приходил в «полторы комнаты» (в большей степени в гости к его родителям). В этот период мои воспоминания сводятся в основном к двум темам.

Первая: Александр Иванович и Иосиф меня фотографируют. Бродский-старший был профессиональным фотографом, и Иосиф у него учился — иногда на мне. Меня почему-то любили снимать, и некоторые снимки сделаны Осиной рукой. Александр Иванович и Ося устраивали настоящую фотосессию: долго устанавливали свет прожектора, сооружали задник из простыни. Потом по-разному меня усаживали, выбирая ракурс и композицию. Когда снимал Ося, отец ему ассистировал и подсказывал, как лучше действовать. Огромный Александр Иванович расхаживал с профессиональным фотоаппаратом и вспышкой. Передавал фотоаппарат Иосифу. Потом Ося прятался за камеру, снимая меня, а Бродский-старший выполнял роль штатива с дополнительной лампой, регулируя свет.

Вторая тема (в детстве очень важная) — самураи. Из Японии и Китая в 1948 году Александр Иванович привез множество удивительных вещей. Они превращали необычное даже для того времени пространство «полутора комнат» в нечто совершенно фантастическое. Среди прочего, здесь жили японские куклы самураев и гейши, сделанные необычайно искусно. В детстве меня в этом доме больше ничего не интересовало, и мне, конечно же, давали с ними играть. Любовь к этим куклам была так велика, что даже взрослым, приходя в гости, я всегда на них оглядывался. Вместе с гибелью «полутора комнат» самураи канули во тьму прошлого — казалось, навсегда. Это был один из осязательных фрагментов потерянного мира.

Они обнаружили недавно в хранилище Фонтанного дома, сломанные и разобранные на части. Сотрудники музея не знали, что с ними делать, и попросили меня собрать их. Я помог — и, составляя из частей самурая, вдруг понял, что снова играю с игрушками, которые видел 50 лет назад и которые я тогда любил больше всего на свете.

В 16 лет я ходил к Иосифу со своими юношескими стихами. Мы начали с их анализа и постепенно перешли к мировой, прежде всего русской и американской, поэзии. Получилось так, что до самого его отъезда основной темой наших встреч стало поэтическое ремесло.

Желание показать Иосифу свои творения возникло у меня года за полтора до его отъезда. Я позвонил. Он пригласил меня сразу. Я принес

тетрадку и листы — рукописные и отпечатанные на машинке «Ундервуд» 1913 года выпуска. Иосиф внимательно отнесся к моим каракулям. В первую встречу он просмотрел их выборочно и предложил встретиться еще. К следующему разу прочел всё и разбирал почти каждую строчку. Было непривычно, что он беседовал со мной как со взрослым. Остальные родственники так меня еще не воспринимали. Он обращался ко мне так, будто я уже состоявшийся литератор и мы обсуждаем достойные публикации произведения. Внимательно, без того покровительственно-го тона, с которым обращаются обычно к юным дарованиям.

Иосиф отметил несколько строк в разных стихотворениях. Ему понравилось одно место, где тень от скамейки я сравниваю с детскими страхами. Он отнесся к моему поэтическому увлечению не только серьезно, но и заинтересованно, как будто сразу увидел во мне товарища по цеху. Видимо, для него это была другая мерка и другие отношения в сравнении с бытовыми, родственными, приятельскими. В какой-то момент, как бы подытоживая, он предположил, что у меня, вероятно, хорошо получилось бы писать стихи для детей.

Было ли наше общение предложением учиться? В определенном смысле, да. Ситуация походила на то, как юный родственник попадает в мастерскую дяди, где, например, чинят двигатели. И после того как подросток спрашивает, как они работают, ему начинают показывать. Не вообще и в теории, а — мастер берёт в руки детали и на глазах начинает собирать из них мотор, попутно объясняя, как части соединяются друг с другом и за что каждая из них отвечает. Что-то подобное Иосиф делал со стихами. Называл имена неизвестных мне поэтов и сразу доставал их сборники. Из некоторых читал целые стихотворения или отрывки. Он не проводил разбор текста в обычном понимании, а как бы пытался подчеркнуть его общее настроение. Он читал, практически не останавливаясь. Но паузами, короткими ремарками, не теряя дыхания и ритма стиха, он прекрасно показывал его суть. Так мы читали с ним Роберта Фроста.

Как-то раз Иосиф достал с полки потрепанный толстый том антологии русской поэзии и начал читать Державина — «На смерть князя Мещерского». Он декламировал, как обычно, с «подвыванием», обращая внимание на отдельные строки, их силу или смысл. Его волновала тема смерти, особенно строчки:

Здесь персть твоя, а духа нет.

— Где ж он? — Он там.

— Где там? — Не знаем.

Он почти сыграл — как в театре. Сказал, что это одно из лучших и первых стихотворений в русской поэзии. Комментарий в несколько фраз,

а в памяти осталось что-то вроде: человек перед ужасающей, грандиозной неизвестностью смерти. Для подростка, покалеченного школьной программой по литературе, Державин был совершенно неожиданным. Я с некоторой долей юношеского снобизма тогда не находил достойным внимания ничего из написанного ранее Серебряного века, даже Пушкина считая официальным фаворитом.

Когда речь зашла о современной советской литературе, Иосиф предложил томик Арсения Тарковского: «Возьми, это один из лучших современных поэтов, отчего-то не оцененный по достоинству». Он дал мне для чтения любимые и редкие в то время книги. В том числе — антологию русской поэзии, где в оглавлении стихотворение Державина помечено крестиком.

Во время разговора он несколько раз забирался коленями на свою постель, стоявшую у окна, и смотрел через улицу на фасад дома напротив и тревожно мигающий желтым светофор. На столе стоял компактный проигрыватель с большой черной пластинкой. В процессе разговора Иосиф периодически к нему подходил и трогал лапку с иглой.

Перед моим уходом он начал говорить о том, что его любимая музыка — марш «Прощание славянки». «Под этот марш, — сказал он, — русские солдаты в Болгарии уходили на смерть». Он поставил пластинку, и мы вместе слушали марш; он как будто смотрел вдаль сквозь стену, и глаза его, мне показалось, были застеклены слезами. Потом он поставил пластинку снова.

Этот эпизод почти повторился, когда в другой раз Иосиф предложил послушать «Лили Марлен». Перед тем как зазвучала мелодия, он рассказал о том, как миллионы молодых немецких солдат в 40-е годы шли умирать, слушая или напевая эту песню. «Ты понимаешь, — характерная интонация, затягивающая последнее слово, — они обычные мальчишки, им было по 18 лет. “Нет ничего круглей твоих колен, моя Лили Марлен”». Он пробовал это спеть — не очень точно, дребезжащим негромким голосом. Затем поставил песню на проигрывателе — она его, несомненно, волновала. Иосиф еще раз проговорил, почти пропел куплет в своем переводе:

Есть ли что круглей твоих колен,
Колен твоих?
Ich liebe dich,
моя Лили Марлен,
моя Лили Марлен.

Переключка двух мелодий. Он говорил о них в сходных словах. В них есть что-то простое, бесконечно далекое от смерти, и в то же время — со-

единившееся с ней. Может, еще — предощущение похожего на смерть расставания со всем, что он любил, расставания, которое поджидало его за ближайшем поворотом. Недавно в разговоре со мной Михаил Руткис вспомнил, как они с Бродским слушали «Лили Марлен». «Он обычно ставил “Лили Марлен”, — сказал Руткис. — Он сам любил петь “Лили Марлен”, когда напивался». Я сказал ему, что мне он тоже ее проигрывал. В ответ Михаил многозначительно закивал: «Знакомым он ставил классическую музыку. А для своих — “Лили Марлен”».

Иосиф договорился о встрече с Виктором Соснорой — специально, чтобы меня с ним познакомить. Мы собрались вскоре еще раз, втроем. Эту встречу я почему-то запомнил плохо — только лицо Сосноры, длинные черные волосы. Они о чем-то оживленно говорили. Виктор Соснора вел в то время литературный поэтический клуб для подростков. Это была прямая дорога в поэтический цех, но я тогда чего-то испугался и к нему не пошел.

Вскоре Иосиф уехал. Вначале я не осознал смысла произошедшего, мне казалось, что ничего страшного не произошло. Я не успел вернуть книги из его библиотеки. Он оставил мне удивительные вещи — Роберта Фроста, Юлиана Тувима, Роберта Грейвза... Некоторые из книг всё еще стоят у меня на полке, а некоторые потерялись. Пропал томик стихов Арсения Тарковского с дарственной надписью: «Иосифу, с любовью и верой!» Зато среди тех, что остались, — та самая антология русской поэзии в твердом потрепанном переплете, со стихотворением Державина, помеченным крестиком.

Осталась «Бхагавадгита». Знаменитое некогда академическое издание, в переводе Смирнова. На полях потрепанного синего тома — его пометки. Помимо подчеркиваний и кратких замечаний есть и довольно пространственные записи: последняя страница пятой главы (ее поле наполовину свободно) вся исписана его неровным почерком. Не имею права дословно цитировать неизвестную рукопись поэта, но получается приблизительно так. Как будто продолжая текст «Гиты» (главы «Йога отречения от действия»), он спрашивает (у кого?): желание отречения — тоже желание? Следующая запись — о том, что отрешенный всё равно в чем-то нуждается. Например, в свободе. Есть ли противоречие в том, что он отрешен от свободы, но его свобода от чего-то зависит? И как быть с тем, от чего она зависит? И так далее...

Почти сразу после отъезда Иосиф прислал из Америки три джинсовых костюма: для двоюродных братьев, Михаила Руткиса и Алекса Вольперта, а также для меня. Это был прощальный привет и одновременно жест, означающий сохранение связи с семьей. Надежда на сохранение связи не оправдалась по не зависящим от нас причинам. Но на-

стоящие американские джинсы были вершиной мечтаний. Он ведь прислал не просто джинсы, а настоящие костюмы *Levi Strauss*. Штаны из очень толстой мягкой ткани темно-синего цвета и куртки — твердые, будто жестяные. Куртку можно было поставить на пол, и она стояла! Иосиф знал, что делал. Надевая этот костюм, каждый из нас чувствовал себя почти королевской особой. Куртка просуществовала у меня более двадцати пяти лет и пережила человека, который ее подарил.

По-настоящему я понял, что Иосиф уехал, когда увидел изменения в «полуптора комнатах». Перегородка, отделявшая его келью от остальной жилплощади, была разобрана, а скрывавший ее буфет частично отодвинут. В узкий проход видны были светлое пространство, стеллаж с книгами и бутылками и письменный стол. Проход воспринимался как пустота. Пустота вливалась в комнату вместе с дополнительным световым потоком. В какой-то момент она превратилась в ощущение, сходное с тем, которое возникает через месяц или два после похорон близкого человека, когда приходит окончательное понимание, что его больше нет и ты его никогда уже не увидишь.

Нехорошо останавливаться на такой ноте. Да и жизнь, в отличие от текста, не ставит точку и подсказывает продолжение. После выхода моей книги о Бродском¹ надо было выступать с творческими вечерами. По окончании выступлений задавали вопросы, но — не только. Подходили люди и рассказывали свои истории. Оказалось, что в Петербурге среди ценителей поэзии на 40—50 человек обязательно находится один, а то и двое, лично или по рассказам близких знавшие Иосифа Бродского.

Как отнестись к тому, что сама реальность продолжает повествовать о прошлом независимо от твоего желания? Понимаю, что Петербург — город маленький, но порой возникает ощущение воронки, которая закручивает события и людей, притягивая их к Иосифу даже сейчас, через 20 лет после его смерти. Или, наоборот, именно сейчас. Чужие воспоминания, может быть, потому для меня интересны, что воспринимаются как настоящее, то, что узнал только сейчас.

Первая история — доктора физико-математических наук Евгения Григорьевича Друкарева. Его дед, Евгений Сергеевич Гернет, — офицер флота, прошедший Первую мировую и Гражданскую войны, впоследствии замечательный исследователь Арктики, — был репрессирован в 1937 году. В 1958 году его дочь, Галина Евгеньевна Гернет, получила уведомление о реабилитации отца. Вскоре Военно-морской музей запросил для новой экспозиции о Гражданской войне фотографию Гернета. Старую фотографию нашли, но ее надо было восстанавливать. За эту работу взялся фотограф музея Александр Иванович Бродский.

¹ Кельмовиг М. Иосиф Бродский и его семья. М., 2015.

Галина Евгеньевна приходила в Военно-морской музей несколько раз. Фотография требовала серьезной реставрации и ретуши. Александр Иванович оказался общительным человеком. Они говорили о войне и сталинских репрессиях. А. И. Бродский, прошедший фотокорреспондентом множество фронтов, как-то сказал ей: «Если бы я снимал все сюжеты, которые того стоили, то меня, может быть, и не расстреляли бы, но уж точно бы посадили».

Однажды во время их разговора в фотолабораторию вошел юноша лет семнадцати.

— Мама просила передать, — протянул он Александру Ивановичу какой-то сверток.

— Вот еще одно имя возвращается, — показал тот на фотографию Гернета.

— Человек или только имя? — спросил юноша.

— Только имя, — ответила Галина Ивановна.

Молодой человек понимающе кивнул и через несколько минут распрощался.

— Мой сын уже вполне взрослый, — заметил Александр Иванович.

Я почти ничего не знаю о прадеде — Моисее Борисовиче, агенте фирмы «Зингер» в Двинске. Даже о прабабушке, Фанни Яковлевне, что-то знал, а о нем — ничего. Одним из первых откликов на мою книгу было письмо. Аспирант, историк литературы готовил оригинальную выставку. Ему нужны были фотографии. Экспозиция посвящалась отрывку неизвестного стихотворения Иосифа Бродского, посвященного деду. Иосиф написал это стихотворение в Риге, во дворе перед Домским собором. Я его не знал:

Дорогой дед, дорогой дед
Потому что ты умер и тебя нет
Потому что в Вильне идет всю ночь
Сильный дождь. Потому что дочь
Твоя родила меня. Потому
Что разве могу объяснить кому
Как мальчик, ходивший в четвертый класс
Поехал на кладбище в первый раз...

Притяжение людей происходит само собой без малейшего моего участия. Со мной связался представитель библиотеки Большой хоральной синагоги — и предложил выступить. Он оказался молодым, рыжим и несколько похожим на Иосифа Бродского в молодости. Слегка смущаясь, он пытался разъяснить мне ситуацию:

— Вообще-то, раввины нашей синагоги на Иосифа Бродского до сих пор в обиде. Но он настолько значимая величина, что они согласились устроить вечер.

В этот момент я понял, что организатор сам любит стихи Бродского. А он продолжал рассказывать историю обиды.

— Иосиф как-то в конце 60-х зашел в синагогу с девушкой. Он хотел пройти с ней в молельный зал, но его остановил раввин и сказал, что по закону девушка должна подняться наверх, на галерею. Иосиф «послал» его, и они ушли.

— Вы понимаете, Михаил, — с трепетом в голосе говорил рыжий, — фокус в том, что в те годы люди не только боялись заходить в синагогу, опасаясь слежки. Проходя мимо ворот, не решались даже посмотреть в сторону входа. А он зашел, не задумываясь, и... так вышло... Наши раввины всё равно на него немного обижаются... Но вы же понимаете... Это Бродский!

В «Парке культуры и чтения» на Невском, 46 встреча проходила перед самым юбилеем — 75-летием Иосифа Бродского. После выступления ко мне подошел человек. Он рассказал, что ходил с Иосифом в одну школу, и, когда получал двойки или хулиганил, родителей вызывали к директору. Они возвращались и часто говорили ему: «Если не исправишься, будешь таким, как Бродский!»

В одно из последних выступлений, в литературном клубе на Гагаринской, в зале была в основном молодежь. Единственный пожилой мужчина перед началом встречи затеял со мной разговор. Он держался, казалось, слегка развязно. После завершения вечера подошел. Он оказался русским, проживающим нынче в Америке, работает авиаконструктором. В 60-х тусовался в Сайгоне и был фарцовщиком на Невском.

— Я встречался с Бродским один раз, — сказал бывший фарцовщик. — Он пришел ко мне покупать джинсы. Это был необычный человек. Он вынес мне мозг буквально за три минуты. Он что-то тогда сделал со мной. Я никогда не забывал этой встречи. Вы понимаете, тогда еще никто не знал, кто он такой.

«Американец» всё никак не мог уйти. Неожиданно стал читать наизусть из Уистена Одена, лучшее переведенное на русский.

Сила притяжения. Голос прошлого. Что же в ответ говорит настоящее?

24 мая 2015 года. 75-летний юбилей Иосифа Бродского. Прямо у двери нового здания Александринки перед началом торжеств я столкнулся с Михаилом Мильчиком. Мой вопрос — «Как там, в доме Мурузи?» — его остановил.

— Очередь как в мавзолей, — ответил он, — до Литейного, и уходит за угол. Люди стоят по 4—5 часов.

Он был в приподнятом настроении и произносил фразы, пафосно взмахивая рукой, будто со сцены. Это должен был быть и его день. Пятнадцать лет борьбы и упорного труда. И вот — музей открыли. На один день, правда, и что дальше — неизвестно.

6 июня 2015 года. Концертный зал музея на Мойке, 12. Во время церемонии вручения премии «Петрополь», в паузе между выступлениями, ведущий зачитывает прямо со смартфона поздравление в день рождения Иосифа Бродского, опубликованное в фейсбуке на странице одного из московских учреждений культуры: «Сегодня свой юбилей празднует любимый многими поэт, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Александрович Бродский. Мы от всего сердца поздравляем легендарного поэта с праздником и желаем ему крепкого здоровья и долгих творческих лет».

Это бессмертие, Иосиф.

Слово об интимной прозе

Вместо эпиграфа

Наиболее интимными текстами — так исторически сложилось — стали у нас дневники или произведения, написанные в виде дневников.

Это рассуждение хорошо начать с большого эпиграфа, но размеры превращают его в пространную цитату:

Наше блистательное увлечение письменным словом началось в середине екатерининского царствования. Некто вездесущий смог вдруг уразуметь, что посредством этого инструмента можно не только отдавать распоряжения, или сообщать сведения о своем здоровье, или признаваться в любви, но и с лихвой тешить свое тщеславие, всласть высказываясь перед себе подобными. Боль, страдания, радости, неосуществимые надежды, мнимые подвиги и многое другое — всё это хлынуло нескончаемым потоком на бумагу и полетело во все стороны в разноцветных конвертах. Наши деды и бабки научились так пространно и изысканно самоутверждаться посредством слова, а наши матери и отцы в александровскую пору довели это умение до таких совершенств, что писание писем перестало быть просто бытовым подспорьем, а превратилось в целое литературное направление, имеющее свои законы, своих Моцартов и Сальери. И вот, когда бушующее это море достигло крайней своей высоты и мощи, опять некто вездесущий зачерпнул из этого моря небольшую толику и выпустил ее в свет в виде книги в бо-

гатом переплете телячьей кожи с золотым обрезом. Семейная тайна выплеснулась наружу, наделав много шума, причинив много горя, озолотив вездесущего ловкача. Затем, так как во всяком цивилизованном обществе дурной пример заразителен, появились уже целые толпы ловкачей, пустивших по рукам множество подобных книг, сделав общественным достоянием множество ароматных интимных листков бумаги, где души вывернуты наизнанку. С одной стороны, это не было смертельно, ибо огонек тщеславия терзает всех, кто хотя бы раз исповедался в письме, но, с другой стороны, конечно, письма предназначались узкому кругу завистников или доброжелателей, а не всей читающей публике, любящей, как известно, высмеивать чужие слабости тем яростнее, чем больше их у нее самой... Но этого мало. Высокопарная болтливость человечества была приманкой для любителей чужих секретов, для любителей, состоящих на государственной службе. Они тут же научились процеживать суть из эпистолярных мук сограждан, поставив дело на широкую ногу и придав ему научный характер. Из этого нового многообещающего искусства родились Черные кабинеты, в которых тайные служители читали мысли наших отцов, радуясь их наивным откровениям. Перлюстраторов было мало, но они успевали читать целые горы писем, аккуратно и добропорядочно заклеивая конверты и не оставляя на них следов своих изысканных щупалец. Однако как всякая тайна, так и эта постепенно выползла на свет божий, повергнув человечество в возмущение и трепет. Шокированные авторы приуныли, литературное направление погасло, исчезла божья искра, и эпистолярный жанр теперь существовал лишь в узкопрактическом смысле.

Однако мысль уже была разбужена. Сердца бились гулко, потребность в выворачивании себя наизнанку клокотала и мучила. Куда бы ее обратиться? Тут снова нашелся некто, который надоумил своих собратьев заполнять чистые листы исповедями без боязни, что эти листы предстанут перед судом современников или будут осквернены щупальцами деятелей Черных кабинетов. И началась вакханалия! Так родились дневники. Конечно, это вовсе не значит, что в былые времена пренебрегали этой возможностью: и в былые времена провинциальные барышни или Вертеры доверяли бумаге свои сердечные волнения, а напомаженные дипломаты описывали впрок повадки королей или собственное ловкачество. Но в подлинное искусство дневники превратились совсем недавно, и боюсь, что лет эдак через пятьдесят, когда действующие лица современных записей будут мер-

твы, издателям не отбиться от нагловатых внуков нынешних скромных исповедников.

Они писали для себя, сгорая на медленном огне своих страстей или антипатий, они тщательно оберегали свои детища от посторонних взоров в сундуках и укладках, в секретных ящиках столов и в стенных тайниках, на сеновалах и в земле, но при этом, как бы они ни старались уверить самих себя, что это всё должно умереть вместе с ними, они, не признаваясь в этом себе, исподволь кокетничали с будущим, представляя, как опять некто вездесущий много лет спустя обнаружит в густой чердачной пыли эти скромные листки, изъеденные ржавчиной, и прочтет, и разрыдается, восхищаясь страстной откровенностью своего прашура. Ведь не сжигали они листки, исписав их и выговорившись, и не развеивали пепел по ветру, а покупали толстые альбомы в сафьяне и приспособливали медные дощечки, на которых искусный мастер гравировал их имена, и звания, и даты рождения, за которыми следовала некая черточка — маленькая, скромная, но уверенная надежда, что кто-то позаботится и поставит печальную дату расставания с этим миром. Вот что такое дневники и их авторы в нынешний век.¹

Интуитивно понятно, что дневник — особый жанр, и что-то отличает его от прочих произведений.

Конечно, речь не идет о дневниках, сознательно написанных как литературные произведения, — подобно гоголевским «Запискам сумасшедшего».

Технологии и социальные перемены трансформируют все жанры, и в первую очередь — жанры демократичные.

А демократичнее дневника — в смысле его создания — ничего не было и нет.

Но ранее дневник был как раз символом интимной письменной культуры, а ныне, с развитием социальных сетей, превратился и в самый демократический жанр — в смысле доступности.

Еще Юрий Тынянов в статье «Литературный факт» писал о переходе нелитературных жанров в литературные,² но он же отмечал и двойную функцию писем и дневников. Тынянов говорил о том, как письмо, ставшее путевым письмом, превращается в жанр, о том, как жанры не главные, периферийные вдруг перемещаются в фокус общественного внимания.

¹ Окуджава Б. Путешествие дилетантов. М., 1999. С. 33–34.

² Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 255–269.

С одной стороны, дневники — некий документ, а с другой — собственно литература и предмет чтения именно в качестве художественного произведения.

Особый жанр

Я достала из ящика его дневник — он был похож на книгу, и, вместе с тем, не похож.

Симона де Бовуар. «Два дня»

История с дневниками тем интересна, что это особый жанр, выделяемый не по внутренним свойствам, а по внешним — наличию или отсутствию читателя.

Конечно, идеальный дневник должен уничтожаться — наподобие буддийской песочной мандалы, — ветер должен разносить листы, или, по опробованному русской литературой описанию, всякий сакральный письменный труд должен исчезать, будучи употреблен для обертки, раскурки или для какого другого утепления.

Но большинство дневников не идеальны и отличаются как раз этой двойственностью — автор ведет их как бы для себя, но исподволь надеется на читателя.

Некоторые писатели дневников, впрочем, завещают уничтожить свои бумаги или никому не показывать их лет двадцать, тридцать или сто.

Но тут усматривается особая гордыня — нужно быть слишком уверенным в своей значимости, чтобы думать, что через сто лет будешь интересен людям, да и то — нужно быть уверенным, что все эти сто лет твои тайны будут достойны сберегания. Ясно, что смерть часто приходит внезапно, и дело уничтожения дневников не нужно откладывать на последние часы, если, конечно, относиться к этому серьезно.

Свежие тайны — да, бывают опасными.

Вот, к примеру, поэт Михаил Кузмин. Михаил вел дневник и пристроил его в архив за немалую сумму.

Потом этот дневник стали читать государевы люди, читали шесть лет и вернули не весь, и это чтение у некоторых пострадавших в те годы вызвало естественный ужас.

Доподлинно никто не знает этих обстоятельств, но, возможно, не читая эти государевы люди откровений поэта, — и не было бы печальной судьбы у его знакомых. Оно, конечно, его конфиденцы таким образом прославились, но не дорогая ли это цена — и проч., и проч.

Одним словом, я встречал людей, что не давали поэту Кузмину шансов на доброе посмертие — и действительно: его однажды выкопали

и закопали в другом месте, потому как нужно было поставить памятник родственникам Ленина.

А вот знаменитый литературный человек Корней Чуковский, хоть и продолжал вести свой дневник, но многое из него повывергивал, и одному Богу известно, что там было написано. Это весьма предусмотрительно. Ну, а кабы он не успел вымарать опасные места?

Во всяком случае, у писателя дневников за плечами стоят бес опаски и ангел откровения.

Ведь ужас девочки, мать которой прочитала в дневнике с розочками на обложке о летних приключениях дочери, ничуть не меньший, чем ужас литератора, к которому постучали на рассвете.

Итак, в отличие от остальной прозы, в дневниках непонятно не то, интимен ли он, а то, насколько он публичен.

Даже если уничтожить дневник к вечеру — вовсе непонятно, не вынут ли свежие дневные листы из портфеля, если автор литературно скончается сердечным приступом в трамвае.

В одном из своих эссе Ролан Барт пишет: «Не могу решить, чего “стоит” мой Дневник, потому что его литературный статус выскальзывает у меня из рук: с одной стороны, я переживаю его лишь как дешевое и устарелое преддверие Текста, как его несложившуюся, неразвитую и незрелую форму; а с другой стороны, он всё же настоящий клочок этого Текста, так как в нем есть свойственная Тексту мучительность. Думается, эта мучительность оттого, что литература бездоказательна».³

Дневник и записная книжка

Записная книжка писателя — только черновик, чем бы она ни притворялась.

Валентин Катаев. «Алмазный мой венец»

Есть разительная разница между дневниками и записными книжками, хотя эти названия ставятся издателями в произвольном порядке.

«Дневник писателя» Федора Михайловича Достоевского — никакой не дневник, а публицистический текст, близкий к тому, что ныне называют неловким словом «колонка», только распространяется он вовсе не на одну колонку, ну, и мыслей в нем больше, чем во всех колонках, вместе взятых.

Очень часто дневник оказывается записной книжкой, и наоборот. И отличают его вовсе не даты.

³ Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте. М., 2002. С. 261.

Опасно думать, что, если поставить дату около каждого фрагмента сочиненного тобой, ты превратишь записную книжку в дневник.

Хороший в этом смысле пример произошел с записными книжками писателя Ильфа.

Писатель Ильф много претерпел в посмертной судьбе от властей, его долго не издавали.

Причем, это было именно посмертное наказание.

Впрочем, до этого, в 1939 году, издали его записные книжки — они, разумеется, были изданы с купюрами, а кое-где были произведены смешные замены: например, Германию, с которой, несмотря на фашизм, тогда ненадолго подружились, заменили на Италию.

Все увидели, что перед ними не записные книжки, а цельное произведение из стихотворений в прозе — особый жанр, предвосхитивший писателя Довлатова и многих из тех, кто был с ним.

Но в более поздние времена эти записные книжки были изданы вновь — вчетверо толще, и тут все увидели, что это именно записные книжки: ворох не всегда понятных фраз, раздолье для филолога и некоторая скука для читателя.

У писателя записные книжки и дневник представляют одно целое — текст переключивается оттуда — сюда и обратно.

Если обычный гражданин серьезно думает о публикации, то для профессионала тут вопросов нет.

Публиковать — вопрос только, в каком виде: вынуть из записной книжки сюжет и развить, сделать из этой записи эссе, статью или рассказ, а то и опубликовать дневник просто так.

На худой конец, оставить потомкам — вдруг это поможет их прокорму.

Ценность чужого почерка

Она приходила на кладбище и здоровалась со всеми своими любовниками: «Привет, месье Огюст, здравствуйте, месье Поль!» и, дойдя до могилы господина Пуасси, она поджимала губы: эта старуха совсем за ним не приглядывает.

Ги де Мопассан. «Совесть»

Ролан Барт начинает свое эссе о дневниках такими словами: «Я никогда не вел дневника — вернее, никогда не знал, нужно ли мне его вести. <...> Пожалуй, такой “болезни” можно и поставить диагноз: неразрешимое сомнение в ценности того, что пишется в дневнике».⁴

⁴ Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте. С. 246.

Ценность современного дневника определяется массовостью его читателя.

Разница между сплетней и анекдотом в изначальном смысле в том, что при исчезновении имен драматургия литературного анекдота не исчезает.

Еще Тынянов с сожалением отмечал: «Любопытно убедиться в том, как историки и теоретики литературы, строящие твердое определение литературы, просмотрели огромного значения литературный факт, то всплывающий из быта, то опять в него ныряющий. Пушкинские письма покамест используются только для справок, да разве еще для альковных разысканий».⁵

С дневниками дело обстоит точно так же — есть специфический интерес к чужому пороку, который движет мифологическим строительством, а есть прагматическое использование частных свидетельств.

Альковные разыскания в дневниках так же естественны, как и в письмах.

И часто этот интерес продлевает общественное внимание к историческим персонажам, к которым, в других обстоятельствах, интерес бы иссяк.

Призраки прошлого, рожденные строчками дневников, поддерживают огонь интереса.

Любовницы умерших предьявляют датированные списки событий.

Для того чтобы внести разнообразие в это рассуждение, я расскажу семейную историю.

Моя двоюродная бабушка окончила Смольный институт с *шифром* — золотым вензелем в виде инициала императрицы Екатерины II, который носили на белом банте с золотыми полосками. Это очень длинная история, и достаточно того, что из этой броши-шифра она сделала себе искусственные зубы, и вензель императрицы еще некоторое время пережевывал гречневую кашу времен развитого социализма. Но, сохраняя старые привычки, бабушка вела дневник, и для того чтобы родственники, подсмотрев, не узнали лишнего, вела его на французском.

Это было время, когда иностранных языков почти не знали, а французский был более редким, к примеру, чем английский.

После смерти бабушки ее толстая тетрадь досталась мне, и я решил специально выучить французский язык, чтобы прочитать тайны прошлого и настоящего (в настоящем у нее тайн тоже хватало).

Надо представить мое разочарование, когда я, с трудом разбирая слова, обнаружил, что весь дневник состоит из заметок типа: «20.IV/1974. Прекрасное солнечное утро. Звонила своему врачу. Его искали два часа, и всё это время я звонила. Пришла Женечка и принесла продукты».

⁵ Тынянов Ю. Н. Литературный факт. С. 260.

Я, конечно, не особенно переживал, потому что помнил, как ругали последнего русского Государя императора за бессодержательность его дневников и постоянные рассказы в них о том, как он стрелял по воронам.

Но кроме орнитологических хроник дневник Николая Александровича, меж тем, одарил нас фразой «Кругом измена, и трусость, и обман» (запись от 2 (15) марта 1917 г.), да и вообще — много говорит об укладе жизни императорского дома.

К тому же, известна фраза, приписываемая разным французским историкам школы «Анналов», о готовности отдать все декреты Конвента за одну приходно-расходную книгу парижской домохозяйки.

Смысл этого обмена состоял в том, что все эти декреты давно известны, а мелкая моторика частной жизни остается для нас неразъясненной.

Ощущения быта теряются уже в следующем поколении.

В свое время на российском телевидении было такое шоу, на котором участники пытались угадать цену предметов, показанных в студии, в прежние времена. Ошибались все — несмотря на то, что цена товаров менялась в СССР мало, а эти самые участники большую часть жизни прожили именно там.

Даже личная память ничего не держит, а если держит, то мифологизирует бытовые обстоятельства донельзя.

Причем это искреннее переписывание личного прошлого идет в обе стороны — как усиливая пережитой ужас, так и возвеличивая былую радость.

Дневники при перечитывании вызывают смятение: «Не может быть, это не я!»

При этом в моей жизни был как-то удивительный дневник, что писался мной лично.

Он представлял собой пухлый ежедневник, в котором страница была поделена надвое — верхнюю часть предполагалось заполнять в текущем году, а нижнюю — в следующем.

Потом можно было сравнить прошлогодние заботы с нынешними.

Страшнее памятника упущенному времени я с тех пор не видал.

Подделка

Он вынул фальшивый купон, спрятанный между страниц дневника, и пошел затем, чтобы сбыть его.

Лев Толстой. «Фальшивый купон»

Фальсификация дневника — феномен чрезвычайно интересный.

Есть знаменитые фальсифицированные дневники: тот тип книг, что паразитирует на интересе и уважении к историческим источникам вооб-

ще — «Дневник Вырубовой», «Вербовочные беседы Мюллера», «Дневник Муссолини», «Дневник Берии» и, конечно, знаменитые «Дневники Гитлера».

Скандал 1983 года с этими дневниками широко известен, но показательно, что творение штутгартского антиквара Конрада Куяу проверялось, кажется, в первую очередь на чернила, бумагу и физические свойства артефакта, но в меньшей степени — литературно и стилистически.

С этой историей до сих пор много неясного — и, кажется, не все сочинители выявлены, в отличие от исполнителей.

Среди дневников писателей более известны всякого рода «Тайные записки Пушкина», но, во многом, благодаря настойчивости их автора, чем качеству текста, не допускающего возможности обмануться.

Но сразу нужно оговориться, что есть два вида фальсифицированных дневников — написанные за какую-нибудь персону, пусть даже неизвестную, и дневники некоей реальной персоны, в которых она повествует о вымышленных событиях.

Или — переписывает свою и чужую историю.

К примеру, логично предположить, что гипотетический советский писатель (наподобие Паустовского) сперва ненавидел Советскую власть, потом шел с ней на компромисс, и потом уже воспевал.

Так сделана вся его биографическая трилогия — и только внимательный читатель может понять подробности его жизни.

Можно выдумать фантастичный пример — как если бы Бунин был эсером и членом военно-революционного комитета, а потом написал «Окаянные дни» с теми же датами.

Прочие жанры литературы переписывались часто.

Маяковский меняет «какой-то год» на «шестнадцатый», усиливая свою позицию пророка.⁶

Многие советские романы, подобно «Молодой гвардии» Фадеева, существовали в разных редакциях.

Но с романами это более естественно (хотя не всегда авторы гнались за конъюнктурой, а часто исполняли прямое указание партии).

Разница в том, что в одном случае это личная тактика, в другом — публичный социальный заказ, а потом (почти) публичная корректировка его исполнения.

⁶ Маяковский в первом издании «Облака в штанах» пишет:

Где глаз людей обрывается куцый,
<...>
в терновом венце революций
грядет какой-то год.

А слова: «Грядет шестнадцатый год» появляются при публикации в марте 1917 г. (Новый сатирикон. № 11).

А вот дневник — дело интимное.

И переписывание его — переписывание самой жизни.

Эту конструкцию нужно отличать от обычного прореживания текста в силу политических или семейных обстоятельств.

По этому поводу есть широко разошедшаяся фраза Мариэтты Чудаковой: «В общественном сознании современников-соотечественников документы уже не были реальными памятниками культуры — они воспринимались по большей части как потенциальные вещественные доказательства, свидетельствовавшие не в пользу их владельцев».⁷

Дневник Чуковского действительно прорежен, но наверняка был какой-нибудь писательский дневник, в котором просто переписывались события задним числом, но при этом важная функция дневника — документальная — как бы оставалась.

Сохранялась структура с датировкой записей и тому подобное, но в тексте появлялись невероятные мысли и никогда не случавшиеся в действительности разговоры с вождем или участие в битвах.

Николай Богомолов продолжает эту мысль так: «Особенно это касалось дневников, что приводило к нередкой их фальсификации (показательно в этом смысле распространившееся в тридцатые годы переписывание дневников прежних лет)»⁸ — и сам же комментирует: «См., напр., ныне опубликованный дневник Н. С. Ашукина (*Ашукин Николай*. Заметки о виденном и слышанном / Публ. Е. А. Муравьевой; пред. Н. А. Богомолова // НЛО. 1998. № 31–33). Аналогично переписывал свои дневники С. П. Бобров».

Или, в другой обстановке: «Того же порядка история с призывом на военную службу Н. Асеева: в различных воспоминаниях он решительно утверждал, что война была ему всегда ненавистна и пришлось лишь покориться мобилизации, тогда как истинной причиной его отправки на фронт было “патриотическое желание”, высказанное после того, как он предстал перед судом за опубликование в книге “Леторей” стихотворения, признанного кошунственным».

То есть, в глазах стороннего читателя, дневник — это свидетельство, снабженное датой и видимой подписью автора, то, чего мы не можем требовать от художественного произведения.

Но редактирование событий задним числом началось с того же момента, когда появились сами дневники.

⁷ Чудакова М. Архивы в современной культуре // Наше наследие. 1988. № 3. С. 143–144.

⁸ Богомолов Н. А. Дневники в русской культуре начала XX века // Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 211.

Вывод прост — сам жанр, не будучи сертифицирован наблюдением, всё равно становится литературой, какие бы надежды ни питал читатель-современник или потомок.

Может показаться, что идеальный дневник существует сейчас в социальных сетях, где текст хранится удаленно от автора, автоматически снабжен хронологическими метками и публичен.

Однако в большинстве социальных сетей есть возможность редактирования текста задним числом, но, что самое главное, читателю приходится полагаться на точность работы поисковой машины, поскольку то, что ею не найдено, не существует вовсе.

Российская поисковая система «Яндекс» в сентябре 2015 года сообщила, что не будет производить поиск по социальным сетям глубже, чем на две недели. Неизвестно, станет ли это общей практикой, но исполнение этой идеи создает идеально исчезающие наблюдения, которые уже ничем не отличаются от обычных дневников, которые становятся публичными по желанию автора в том виде, в каком их хочет выпустить в свет автор.

Кстати, именно поисковая машина организует пространство публичного дневника, а не внутренняя хронология текста (и автора).

Чем важен для нас этот феномен подделки?

Тем, что никакого «дневника для себя» нет — он изначально рассчитан на чтение другими людьми.

И человек не может противостоять искушению редактирования своей (и чужой) жизни — не обязательно ее приукрашивая. Иногда, для того чтобы запомниться современникам и потомкам, маленький человек, не видя других средств, открывает свои злодеяния или приписывает себе мнимые.

Подлинность событий вовсе не следует из авторских дневников, а становится результатом расследования, сопоставления улик и мотивов.

Подлинность

К чему, собственно, стремится любитель искусства, готовый всё отдать за подлинного Ван Гога, отличить которого от мастерски выполненной копии он может, лишь прибегнув к услугам целой армии экспертов? К «подлинности».

Станислав Лем. «Сумма технологий»

Не так давно обнаружилось, что «вербатим» — это не только название компьютерных дискет Verbatim, но и эксперименты с формой театрального действия (игра без пьесы), новая документалистика.

Сперва были, конечно, «пятидюймовые», но компания Verbatim (часть Mitsubishi Chemical Holdings Group) до сих пор производит «трехдюймовые» дискеты по 1,44 Mb.

В этом есть что-то от вечности — падут царства, реки изменят свое течение, писателей снова начнут кормить — но трехдюймовые дискеты будут вечны.

История про «вербатим» и есть отзвук античного спора в искусстве о мимесисе.

Говоря о подлинности «человеческого документа», нужно сделать исторический экскурс, но для краткости сведем его к XX веку. Споры о миметичности вспыхнули с новой силой во времена художников, которые вдруг открыли, что появилась фотография.

Сначала фотография была магией, но, когда она пришла в мир, выяснилось, что она спорит с прочими изобразительными искусствами за место под солнцем.

В фотографии до сих пор происходят очень интересные процессы, но нам важно помнить, что этот спор об отражении жизни в искусстве — вечный.

Есть периоды, когда выдумка маскируется под документ, а есть время, когда она гордо предъявляет свои свойства напоказ.

Понятно, к примеру, что множество произведений, которые определялись понятием «соцреализм», вовсе не были ни социалистическими, ни, что для нас важнее, реалистическими.

С самим явлением документа, внедряемого в литературу (в общем виде — жизни, внедряемой в искусство), пытались разобраться многие — начиная с Аристотеля.

Довольно об этом говорили формалисты — и упомянутая статья Юрия Тынянова «Литературный факт» до сих пор не потеряла актуальности.

Правда, Тынянов писал больше о письмах, но из его суждений можно многое понять и о дневниках, и о других литературных субпродуктах.

В двадцатые годы прошлого века в литературе было много экспериментов — в тексты лезли ресторанные меню, приказы по фронту, товарные чеки, постановления, решения исполкомов — и, разумеется, дневники, подлинные и сочиненные.

Потом пора экспериментов прошла, и возник канон произведения в классическом смысле — оно было типическим с точки зрения общественного настроения и немного отличающимся от общего тона, чтобы совсем уж не потерять читателя.

Сборники статей и интервью проходили по другому ведомству.

То, что автор собственноручно написал толстую книгу, было изначально предметом уважения.

Примерно такого же уважения, какое испытывал зритель классической живописи, — было понятно, что художник умеет нарисовать лошадь, правые и левые руки персонажей на полотне не разнятся по длине, никто не вываливается за раму.

Такое же уважение вызывала книга «Повесть о настоящем человеке» — было видно, что, хоть автор и не придумал своего героя, но старался, описывал его жизнь своими словами, понятными всякому читателю, и даже изменил в фамилии персонажа одну букву.

Это была литература, вне всякого сомнения.

А вот интервью предметом литературы не являлось.

Дело не только в том, что в условиях четкой сертификации специальностей эта сфера была отдана журналистике, но и в том, что фотографирование жизни было как бы более легким, чем ее живописание.

Нельзя сказать, что желание подлинности было в опале: у многих людей высшей похвалой тексту оставалось — «Это как в жизни!» А в кинематографе «Кубанские казаки» с их бутафорскими яблоками и грушами были «как в жизни» — только не в этой, а в будущей.

Но пришли иные времена, и калейдоскоп повернулся, показав новый узор.

Появилась настоящая документальная литература.

Но тут нужно сделать отступление — я довольно давно заметил, что мне удивительно тяжело читать современную прозу.

Сначала я думал, что это оттого, что я много лет служил в разных газетах и написал сотни, если не тысячи разных рецензий. И вот у меня случилось заболевание — сродни тому, которое случается у поваров: бридость, или асперация, то есть потеря вкуса к книжной пище.

Но нет, русскую литературу XIX века я читал с тем же интересом, мемуары и биографии были мной так же любимы, а вот романы о трагической судьбе советского интеллигента (или там о том, как женщину бросил муж) мне стали отвратительны.

Не сказать, что все они были дурно написаны, нет.

Некоторые из них были заслуженно удостоены похвал моими коллегами.

Но меня не оставляло ощущение, что меня рвутся посвятить в чужую скучную жизнь, а она не нужна мне.

Будто привязался сосед по купе и бормочет, пытаюсь рассказать свою молодость, и вот не знаешь, как от него спастись.

Потом я решил, что всё дело в массовости занятия литературой — человеческие жизни схожи, и человеку, который прожил достаточно долго, легко угадать все идеи молодого писателя.

Нужно быть гением, чтобы удивить.

А на конвейере гениев не бывает.

Оказалось, что многие люди старшего возраста, как и я, охладели к художественной литературе.

Но не-художественная, разумеется, была типологически разнообразнее, чем царство насекомых.

Среди не-художественной литературы были всё те же мемуары, дневники, исторические книги (они отличались от книг, популяризирующих иные науки; собственно, споры о том, наука ли история, идут до сих пор).

Но самое интересное в восприятии этого удивительного по разнообразию пласта печатных текстов — в том, что читатель интересуется документом.

Он имеет заочное уважение к документу, потому что документ рассказывает ему, «как там на самом деле», «как устроен мир», «что от него скрывали», — неважно, идет ли речь о репрессиях или об изготовлении молока.

И если с научно-популярными книгами в этом смысле всё было понятно (в СССР была сравнительно сильная научно-популярная школа, и она выработала целый ряд приемов, очень хорошо работавших, — занимательность, ясность, сравнения и юмор, наконец).

А вот публицистические документальные произведения у нас росли в прямой связи с властью — борясь с ней или обслуживая оную.

С документом произошло то самое, о чем обывателя предупреждали историки — сам по себе документ ничего не обозначает. Более того: Тынянов, автор фразы «когда кончается документ, я начинаю», написал совершенно фантастический и фантастичный роман «Смерть Вазир-Мухтара».⁹

История там выгнута удивительным образом, будто человек, бегом бегущий через комнату кривых зеркал, — при том, что это прекрасный роман.

То есть, в той части документальной литературы, которая начинает работать с общественными эмоциями, и кроется некоторая двойственность.

Я старательно избегаю разговоров о нынешней Нобелевской истории и личности самого нобелиата, но то, что в 2015 году главная, как ни крути, литературная премия мира была присуждена Светлане Алексиевич, известной своими книгами, представляющими мозаику из интервью с авторскими связками, — факт.

Я, как человек, много раз бравший интервью и иногда дававший их, понимаю, что всякая фраза в них искажается. Мало того, что публикатор

⁹ Березин В. Шкловский. М., 2014. С. 250–263. (Серия «Жизнь замечательных людей»).

обрезает эканье и меканье, свойственное обычной человеческой речи, — он еще и трансформирует сам ее строй. В совокупный текст еще привносятся эмоции и оценки.

Поэтому и интересно, как устроено произведение, существующее в той зоне, где на одном конце шкалы — чистый вымысел, на другом — чистая научная документальность. И вот, двигая бегунок по этой шкале, мы получаем тексты разного типа.

Конечно, предельной фантазии мы можем достичь, лишь описывая инопланетян, а предельная точность существует только в таблицах Брадиса, да и то — до известного знака.

Вот перед нами воображаемый автор не-художественной прозы.

Если в авторе преобладает историк, то он подтверждает или опровергает какую-то концепцию, проверяет факты по иным источникам, объясняет и комментирует происходящее. Его можно оспорить, потому что его инструментарий понятен и открыт.

А есть вариант, в котором в авторе преобладает сочинитель или художник-мозаист.

В последнем случае он собирает мозаику из неких текстов, которые зачерпывает из хтонического моря народных воспоминаний и рассказов.

А из этого моря, как из белого шума, можно выделить любую картину.

И вот перед нами некий текст, который имеет внешние признаки документальности, меж тем, документом не является.

То есть, среди документов этот текст — художественное произведение, и потому неподсуден, а среди художественных текстов он получает дополнительную силу — силу документа.

Этот вопрос уже много раз вставал, когда обсуждалась книга другого нобелевского лауреата — Александра Солженицына.

Солженицын ведь прямо указывал — да, всё не точно, потому что нам не дают настоящих источников, и вот вам то, что мне рассказали, а остальное я буду придумывать, потому что сама Советская власть санкционирует это придумывание — тем, что не идет на диалог с исследователем. И тут начинается самое интересное — текст срабатывает в общественном сознании как обличительный документ, но он — не документ и несет внутри родовые вкрапления вымысла.

И за преувеличение приходится расплачиваться недоверием уже после победы.

Скажут, что никакая мозаика или публицистика документом не является, на что я отвечу: для ученых не является, а вот для широких народных масс — является. Для этого достаточно почитать издательские аннотации и читательские отзывы на не-художественную литературу. Им несть числа — «документальные исследования», «правдивая картина», «подлинные голоса», «правда без прикрас» и тому подобное.

Общее желание довериться (а это естественное желание человека) стимулирует увеличение материала, которому предлагается довериться. То есть, без кумиров ручной выделки можно существовать только праведникам.

Сейчас спорщики пребывают в политических безумствах, а это, увы, всё дальше уводит нас от вопроса художественного метода.

Между тем, кроме Алексиевич в этой нише «мозаики публичного дневника» есть довольно много авторов. К примеру, Антон Понизовский с романом «Обращение в слух», в котором (цитирую критика) «несколько наших соотечественников волею случая сошлись вместе в маленьком горном отеле в Швейцарии. В их распоряжении оказалось множество аудиозаписей, где простые русские (а иногда и нерусские) люди рассказывают истории своей жизни, и внешний сюжет строится на обсуждении таких историй.

Сразу скажу — истории эти совершенно реальные, Понизовский их не выдумал. Он рассказал мне, что примерно три четверти интервью взял сам, а четверть историй записала психолог Татьяна Орлова. Технически это было организовано так. Сначала, зимой 2010 года, сняли так называемый “торговый павильон” (пластмассовая комната) на втором этаже одного из крытых рынков: повесили занавески, поставили кресло, стол, торшер — и в эту комнатку приходили рыночные продавцы и покупатели, а Антон и Татьяна записывали интервью. Всех предупреждали, что рассказ записывается и будет использован — но буквально через две-три минуты скованность исчезала. Обычное интервью продолжалось час-полтора. Полчаса считались неудачей. Бывали интервью в несколько заходов, общей продолжительностью до трех часов. Собеседникам предлагали немного денег за потраченное время — но большинство (и это на рынке!) от денег отказывались: важно было выговориться. С рассказчиками обычно расставались друзьями — что само по себе было для интервьюеров очень важным человеческим опытом.

Следующая “сессия” была организована весной в областной больнице. Вообще, “по условиям задачи”, отдавалось предпочтение рассказчикам без высшего образования; без высоких доходов; не москвичам; желательно, живущим (или, по крайней мере, родившимся) в деревне или в небольшом городке — то есть не тем людям, чей голос мы обычно слышим в литературе — как бумажной, так и сетевой». ¹⁰

Отсюда возникает масса вопросов — от правовых до эстетических, от проблем восприятия до создания новых канонов.

¹⁰ Каплан В. Антон Понизовский и тайна русской души // Фома. 2013. 17 января.

То есть, вопросы функционирования текста в единстве и борьбе двух его противоположностей — точности и публицистичности (или же беспристрастности и общественной пользы).

А тяга к подлинности уже давно стала общественной ценностью и финансовым ресурсом.

Подлинность — давно товар в туристической индустрии, где высоко ценится именно «подлинное» — «подлинная жизнь в глуши», «подлинная пища экзотической страны» и «подлинные впечатления от подлинной природы».

Понятие «подлинная (естественная, настоящая, природная) пища» в комментариях не нуждается.

«Подлинная жизнь» давно стала частью литературы — это не событие в дихотомии «хорошо» и «плохо».

Но это процесс, не понятый пока, и не очень понятный, хоть и интересный.

Вечность

Всем нам придется держать ответ на Страшном суде согласно кэшу «Яндекса».

Сетевой фольклор

Главным достоинством современного публичного дневника является его надежда на вечность.

Мнимая легкость его уничтожения — в два-три клика компьютерной мышью — искупается тем, что он сохраняется на серверах поисковых машин, в копиях, сделанных его случайными и неслучайными читателями, в бесчисленных цитатах, которые делают программы-роботы для набивания фальшивых сайтов и рекламных ресурсов.

Раньше нужно было долго и утомительно жечь бумагу в камине, но это приносило уверенность в исчезновении фрагмента жизни.

Или же частное сочинение уничтожалось потомками — по ведению или неведению.

Это очень распространенный мотив мировой литературы, и особенно русской — тщетность человеческого описания жизни. Вот, Николай Лесков пишет в «Однодуме»: «Что было написано во всей этой громадной рукописи полицейского философа — осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его “Однодум” пропал, да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего “Однодума” были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь при-

ближаемся. Остальные же листы “Одnodума”, о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на оклейку стен или, может быть, и сожжены, во избежание неприятностей».¹¹

Заместителем этих событий теперь может быть компьютерный вирус, исчезнувший сайт и ошибка сервера — но сетевой дневник не исчезает совсем, как было сказано выше.

Итак, современный сетевой дневник, безусловно, стал жанром народной литературы.

Если говорить с точки зрения коммуникации, то отрывистый стиль повседневного сетевого автора может оказаться конкурентом не только массивного романа, но и газеты.

Народность публичного дневника привела к тому, что прямо изнутри огромного пласта населения началось вещание о частных жизнях. Разумеется, значительная часть этих жизней не так интересна, но большие числа, в которых выражается количество участников этого процесса, приводят к тому, что в фокусе поисковых машин оказываются и экзотические профессии, и уникальный жизненный опыт, и природный стилистический талант.

Ученые, политологи, подводники, пилоты — все они проходят не традиционную журнально-издательскую селекцию, а жестокий естественный отбор.

Истории, рассказанные победителями этого соревнования, либо уникальны, либо переданы уникальным языком.

И тут возникает интересный вопрос, который часто задавался литературными критиками — отчего успешен тот или иной текст: из-за своего литературного совершенства или из-за внелитературных особенностей — конъюнктуры, личности автора или обстоятельств публикации. Ровно то же происходит и с сетевыми дневниками, но критерий литературного совершенства снимается.

Не может быть единого критерия в демократическом способе описания.

Но в сетевом дневнике есть еще одна особенность: из интимного он превратился в публичный, и отклик потомков и современников стал прямым и мгновенным.

Комментатор находится вблизи, а не на дистанции, которая традиционно существует между писателем и читателем.

Современный дневник перестал быть уязвимым, но приобрел вероятностные свойства: его прочтение зависит от совпадений слов — в нем и в поисковых запросах.

¹¹ Лесков Н. С. Одnodум // Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 11 т. М., 1957. Т. 6. С. 226.

Дневник стал если не самым главным, то самым массовым жанром литературы.

Сентиментальность

Во время наводнения питьевая вода оказывается самым большим дефицитом.

Ален Бомбар. Интервью газете «Монд»

Личная, интимная проза отличается повышенным уровнем сентиментальности.

Когда наступил вал новой сентиментальности, когда всякий буржуа обладает тонкой и чувствительной натурой, когда искусство поставляет на рынок слезы, фасованные в самую разную тару, самый редкий предмет — настоящая эмоция.

В те времена, когда часты социальные эксперименты, писк маленького человека не слышен. Это то, о чем пишет Мандельштам: «Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством».¹²

Есть такой пласт литературы — бесконечный роман «Пьяненькие»,¹³ который писался разными людьми — Венедиктом Ерофеевым, Сергеем Довлатовым, Дмитрием Горчевым и многими другими писателями.

¹² Мандельштам О. Гуманизм и современность // Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 286.

¹³ Как известно, это название возникает в письме Достоевского к издателю журнала «Отечественные записки» А. А. Краевскому от 8 июня 1865 г. Прося три тысячи аванса за не написанный еще роман, Достоевский в примечании сообщает: «Роман мой называется “Пьяненькие” и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и проч. и проч.». В ответном письме Краевский писателю отказал, сославшись на нехватку денег и большое количество других рукописей, ждущих печати. Не помогло даже кабальное условие, которое Достоевский предложил сам: «На случай моей смерти или на случай не доставления в срок рукописи романа в редакцию “Отечественных” записок” представляю в заклад полное и всегдашнее право на издание всех моих сочинений, равномерно право их продать, заложить, одним словом, поступить с ними как с полною собственностью».

Тема эта оттого еще живуча, что близка к человеческой эмоции.

А мужчина средних лет ужасно сентиментален.

В нем клокочут чувства, когда он успешен, и вдвойне они бурлят, когда жизнь ему кажется неудачной.

Алкоголь — самый легкий анестетик, и оттого, чуть выпив, множество литературных героев начинают говорить.

Их невозможно остановить, как невозможно остановить пересказывающего свою жизнь Мармеладова.

Писателю нового времени нужно пройти между двух огней — песней во славу маленького человека в эпоху кирпича и цемента и одой новому либертарианству.

Атлант, расправляющий плечи, нехорош, но и вечно пьяненький маленький человек — тоже не идеальный герой.

Более того: сострадание к нему имеет человеческие границы.

Христианину надобно возлюбить всех, а писателю положено призывать милость к падшим.

Да только — распространяется ли милость к падшим на их жертв, непонятно.

Всё усугубляется тем, что нет эмоции более захватывающей и более успешно продающейся, чем жалость человека к самому себе.

И у нас нет никакого инструмента, что позволял бы отделить несчастного пьяненького от алкоголика-паразита.

Итак, Мармеладов в нашей литературе — из самых важных.

Бедные люди

В бедности нет ничего героического. Сдавшиеся в плен на поле боя заслуживают снисхождения, потому что они, может быть, испытали минутную слабость. Но жизнь предоставляет нам годы для исполнения наших желаний, и тут уж можно взять своё.

Стендаль. «В Москве»

Вот он бормочет о том, что бедность не порок, что и пьянство не добродетель. Мармеладов бормочет, что в бедности люди еще сохраняют благородство врожденных чувств, в нищете же — никогда и никто. Он

От этого замысла до нас дошел набросок-диалог: «Оттого мы пьем, что дела нет». — «Врешь ты, — оттого, что нравственности нет». — «Да и нравственности нет оттого — дела долго (150 лет) не было»» (*Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1973. Т. 7. С. 5*).

говорит, что за нищету даже не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете всякий сам готов оскорблять себя. И вот тут начинается полет русского пьянства — когда ночуют на Неве, на сенных барках.

А у Мармеладова в волосах былинки, он пятый день не мыт и не чесан.

Над ним уже смеются случайные свидетели.

А он, не замечая ничего, говорит со случайным человеком, потому что люди знакомые говорить с ним не хотят. Знакомые упрекают его тем, что он не служит. «А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне?» — отвечает им Мармеладов заочно — и продолжает рассказывать, как тяжело просить деньги. И вот уже появляется в этих речах «единородна дочь его», что по желтому билету живет: «Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем всё известно и всё тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! Пусть! “Се человек!” Позвольте, молодой человек: можете ли вы... Но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее: не можете ли вы, а осмелитесь ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?»¹⁴

Мармеладов говорит витиевато, так же, как человек, едущий в электричке «Москва-Петушки», потому что если не играть голосом и словами, то никто тебя, пьяного, и слушать не будет — просто отвернутся к окну.

Но это обратная перспектива — именно из шинели титулярного советника Семена Захаровича Мармеладова вышли многочисленные авторы огромного романа «Пьяненькие», в котором были удачные главы, а бывали не очень.

Более того: его потомки в электричке научились играть речью — то ускоряя ее, то замедляя, и душа то летит в омут, то рвется к небесам, особенно после известного рюмочного присловья «И понеслась душа в рай».

Русская литература эволюционировала очень сильно: видно, что Мармеладов — это вовсе не бывший сиделец и стоялец на Семеновском плацу, в электричке уже едет Ерофеев, Довлатов пьет среди пушкинских елок, а в короткой прозе Горчева рассказчик и вовсе слился с трагедией.

А внутренний Мармеладов всё продолжает бить на жалость и повторяет:

«— И бывало желаемое, и не один уже раз жалели меня, но... такова уже черта моя, а я прирожденный скот! И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищущу. Не веселья, а единой скорби ищущу... Пью, ибо сугубо страдать хочу!» При-

¹⁴ *Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 14.*

плывають в этой речи, на манер Симоны де Бовуар в электрическом поезде, разные романы, жизнеописание Кира, царя Персидского, и «Физиология» Льюиса, а потом всё снова возвращается к проповеди: «Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть! Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и слез!.. Думаешь ли ты, продавец, что этот полштоф твой мне в сласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел; а пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единый, он и судия. Придет в тот день и спросит: “А где дочь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дочь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?” И скажет: “Прииди! Я уже простил тебя раз... Простил тебя раз... Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила много...” И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит... Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал!.. И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смиренных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: “Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!” И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: “Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!” И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: “Господи! почто сих приемлеш?” И скажет: “Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...” И прострет к нам руке свои, и мы припадем... и заплачем... и всё поймем! Тогда всё поймем!.. и все поймут... <...> Господи, да приидет царствие твое!»

Герой Ерофеева — это тот самый человек, «которому некуда пойти», — дома он не достигает, как и Кремля, дом его — электричка или привокзальный буфет. И вот, на перегоне «Карачарово — Чухлинка», он сообщает: «А выпив — сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность — так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня. <...>

Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? И ожесточился сердцем? Тоже — не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал... <...> Мой Бог не мог расслышать мою мольбу <...> И я страдал и молился». ¹⁵

А на 65-м километре своего путешествия думает: «А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто всё и всех было жалко: жалко председателя за то, что ему дали такую позорную кличку,

¹⁵ Ерофеев В. Москва — Петушки. М., 2000. С. 27.

и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи — всё жалко. Первая любовь или последняя жалость — какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальство он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость».¹⁶

И под конец своего путешествия обнаруживает: «Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал...».¹⁷

Медеянская собака с черным ухом

Сию минуту отец воротился и ему щенка медеянского принес, тоже достал откуда-то, думал этим утешить, только хуже еще, кажется, вышло...

Федор Достоевский. «Братья Карамазовы»

Если человека отказываются слушать другие люди, то он обращается к животным.

Домашние животные — блестящее решение задачи поиска собеседника.

Не говоря уже о том, что это прекрасная точка приложения сентиментальности и предмет, эту сентиментальность вызывающий.

Я воспользуюсь случаем, чтобы поговорить о романе писателя Троепольского про белую собаку с черным ухом, потому что его то и дело упоминают — когда речь пойдет о брошенных собаках, брошенных людях, золотой осени, жестокости, стареющих мужчинах.

Пациент приходит ко мне, как клоун на прием к психоаналитику, и тот отвечает: «Сходите в цирк, там есть клоун Бим». «Белый Бим — это я», — отвечает герой романа Троепольского.

Дело в том, что этот роман 1971 года — не феномен литературы, особенно после экранизации 1977 года.

Это такой общественный феномен спроса на сентиментальность. Недаром, когда о нем заговаривают, где-то рядом сразу начинает выть Хатико.

Это феномен общественной сентиментальности, без которого общество жить не может — общество так устроено. Нужно коллективное сопереживание чему-то, и собака, потерявшая хозяина, по целому ряду причин — идеальный объект.

¹⁶ Там же. С. 74.

¹⁷ Там же. С. 118.

С точки зрения хрупкого вещества литературы — приемов, всего того, на что формалисты положили жизнь, — я бы вовсе не стал говорить об этой книге.

Предметом разговора могло бы быть то, отчего она не могла появиться в 1950-м.

В дневниках Пантелеева есть готовый рассказ. Вот он:

Артистка Х ехала с собакой в поезде, возвращалась с Юга в Ленинград.

Поленилась, не вывела утром собаку, забыла о ее естественных надобностях. А воспитанная собака не могла позволить себе сделать что-нибудь дурное в помещении. Терпела, терпела и — не вытерпев — на полном ходу выскочила из окна вагона.

Муж, вырвавший собаку, узнав о случившемся, пришел в ужас, в бешенство, в отчаяние. Он выяснил, где именно, на каком перегоне это произошло, и на следующий же день отправился на розыски собаки. Долго блуждал вдоль полотна железной дороги, заходил в соседние деревни. Местные жители рассказали ему, что да, действительно, шныряла тут в лесу какая-то странная собака. Несколько дней подряд она выходила навстречу дневному поезду. Заметив ее, мальчишки принялись охотиться за ней. Тогда она переменила тактику — стала выходить к вечернему поезду. А потом и вообще скрылась.

Хозяин искал ее две недели! Обошел все окрестные деревни. И, наконец, наткнулся на нее в лесу. Собака одичала, увидев человека, она кинулась на него, укусила за палец и только тут, почуввав кровь, очухалась, узнала Николая Павловича, принялась визжать, кидаться на него, ласкаться, лизать его щеки и руки. Тут же она проделала все фокусы и кунштюки, которые знала: стала за задние лапы, «умерла», сорвала с головы хозяина шляпу...

Возвращение собаки и хозяина превратилось в триумфальное шествие.

Он обошел в обратном порядке все деревни, где был раньше. И все радовались, поздравляли его, щедро угощали его и собаку, потому что знали о горе этого человека и не считали это блажью.¹⁸

Последние слова легко представить в конце какого-нибудь рассказа Андрея Платонова.

 ¹⁸ *Пантелеев Л.* Приоткрытая дверь. Л., 1980. С. 314.

У Пантелеева эта дневниковая запись помечена 1939 годом.

В этой истории — дух того довоенного времени: так и виден черно-белый фильм, вагон, где лысый командир курит в коридоре, едут люди в опрятной одежде с широкими добрыми лицами (среди них два орденосца — седобородый старик-токарь и девушка-депутат), справедливость жизни пробивает ее правила, как форель — лед.

После войны такой сюжет невозможен — то есть, он возможен в жизни, но вот горя в жизни стало столько, что сочувствия к собачьей потере нет.

Однако, тут тонкость. Это в послевоенном кино и литературе нет, а так — пожалуйста, народ любит чудное.

Отчего не представить старика (впрочем, почему старика — просто немолодого человека со скромной орденской планкой на линиях кителя), что ищет свою собаку среди лесов, где лежат непохороненные солдаты обеих армий. Он умело минует минные поля и находит общий язык с теми, у кого сожгли родную хату.

«Ишь, собака», — недоверчиво говорят они, а в избе нет четвертой стены и в огороде — остов танка. И не им делиться едой, это он — городской и делится скудным хлебом с крестьянами где-нибудь у Мясного Бора.

Собаку герой находит, но она... Но это уже другой рассказ.

Так же предметом обсуждений романа Троепольского могло быть то, как манипулирует этот текст читателем в 2016-м.

Но он вообще лежит вне зоны литературы.

Будто отставной титулярный советник Мармеладов, каким-то недобрый волшебником превращенный в собаку, начинает скулить, вкупе с тысячами других, и образует тот белый шум, который называется *сентиментальность*.

В этом и заключен вопрос времени и циничного спроса общества на сентиментальность — именно общества, а не издателей, и именно циничного.

Да, но всякое навязанное переживание порождает откат — причем больший, чем первое поступательное движение.

Точно так же происходит и с политическим пафосом.

В этом заключен механизм реакций: есть типовые реакции — такие, как эмпатия к плачущему ребенку, но если она не осмыслена, то она просто откатывает назад, как волна; а если размышляющий человек при обдумывании обнаруживает здесь манипуляцию, то сразу зачеркивается всё позитивное начало (за компанию с манипуляционной конструкцией).

В любом случае, манипуляция — вольная или невольная — на больших сроках не выгодна.

Дело в том, что есть условно-самостоятельный путь к переживанию, и абсолютно манипулятивный: «На жалость бьет».

Именно оттого фотографы пытались корпоративно запретить съемки плачущих детей на войне (не очень вышло, но пытались).

Потому что это эмоции физиологические.

Нельзя не реагировать на смерть ребенка, на страдания ребенка, на плачущего ребенка — но, освободившись от навязанной эмоции, сознание отрицает всё позитивное, ради чего, казалось бы, эта манипуляция производилась.

Слезы сопричастности высыхают — и неукоренившееся сострадание сменяется жестокостью и равнодушием.

Писателю Горчеву в каком-то смысле повезло больше, чем Венедикту Ерофееву, потому что сам строй его прозы не так прост и логичнее призывает читателя выпить.

Это обременение не мешает тексту.

А выпитое мгновенно производит в человеке сентиментальность, это вроде очевидного результата распада алкоголя.

Прозу это может улучшить, а человеку от этого плохо.

Но у него всегда есть еще один адресат, кроме равных.

Это — маленькие.

Мальчики

Маленький плачущий мальчик — то, что убивает фотографическое искусство, потому что он подобен напалму.

Хорст Фаас, фотограф

Итак, стареющий мужчина сентиментален.

Особенно он сентиментален, когда у него есть маленький ребенок.

Или когда рядом с ним чужой маленький ребенок — потому что любой ребенок сперва пребывает в ангельском чине, а уж потом превращается в человека.

Именно поэтому детей запрещают использовать в рекламе. Мир вообще любит торговать сентиментальностью, а оттого похож на половодье.

Много лет назад Виктор Шкловский скорбно писал о том, что приемка в современном искусстве идет по весу: одни сдают кровь, другие сперму, третьи — и вовсе мочу.¹⁹

¹⁹ Шкловский В. Третья фабрика // Шкловский В. «Еще ничего не кончилось...». М., 2002. С. 377.

Горчев сдавал кровь.

И когда он захлебнулся ею на пороге своего деревенского дома, это означало, что приемка состоялась. Человек платил кровью, и результат был соответствующий.

Налицо, так сказать.

За полгода до смерти он писал:

Как только чуть-чуть светлеет за окном, маленький мальчик немедленно садится в кровати и кричит с восторгом: «Папа! Утро!»

Ох-хо-хо. Вылезаю с закрытыми глазами из-под одеяла, шаркая войлочными тапками, бреду на кухню, ставлю вариться кашу и два яйца в ковшике. Тут прибегает мальчик и с гордостью показывает горшок. «Отлично получилось! — говорю. — Можно выкидывать. Подожди, сейчас кашу засыплю и вытру попу». «Митя сам!» «В полнолуние, — говорю я назидательно, — попу не столько вытрешь, сколько размажешь». «А?» — озадачивается мальчик. Молодой еще, классиков пока еще не всех знает.

Мы вот уже вторую неделю ведем в городе тихую холостяцкую жизнь: мама уехала на прославленную писателем Битовым Куршскую косу, чтобы кольцевать птиц, а мы тут поливаем растения, кормим черепах и пытаемся обнаружить недавно заведенного кота Сёму. Он точно где-то есть, потому что насыпанная в его миску пища исчезает бесследно. Сколько насыплешь — столько и исчезнет. А самого кота обнаружить невозможно. Точно — еврей.

Потом мы идем шуршать листьями в парк Сосновка, который прямо через дорогу. То есть, это я шуршу, а мальчик с воплями носится между берез, которых в парке Сосновка куда больше, чем сосен. Приносит иногда гриб: «Папа, хороший гриб?» «Плохой гриб, выброси». Бросает и яростно топчет. Убегает. «Папа! Малина!» «Митя! — говорю я опять назидательно. — В октябре малины не бывает».

Приносит на ладошке, показывает: действительно две ягоды малины. Он же не знает, что в октябре малины не бывает.

Что-то я сентиментальный совсем стал.²⁰

И вот писатель Горчев умер, захлебнувшись собственной кровью, и ничего с этим не поделаешь.

²⁰ Горчев Д. Я не люблю Пушкина: (Из Живого Журнала). М., 2013. С. 23.

Две малиновые ягоды — это многократный дар: дар мироздания мальчику и дар свидетелю чуда, дар мертвого писателя своему читателю. Именно поэтому мертвые писатели не вполне мертвы. С ними можно разговаривать, их голос еще слышен.

Меж тем, этот текст очень похож на рассказ другого писателя, что тоже пил крепко.

И этот писатель тоже был мастером сентиментального рассказа — автором лучших его образцов.

Это Юрий Казаков.

Текст Горчева очень похож на рассказ Казакова «Свечечка» (1973)²¹ — рассказ, действующий на каждого мужчину старше сорока будто удушающий, вызывающий слезы газ.

Это очень редкий в русской прозе рассказ, написанный во втором лице.

Первое лицо в нашей прозе частый гость, третье — и подавно.

На «ты» у нас говорят на улице, а не в книгах.

Так вот, Казаков рассказывает историю о немолодом мужчине, что остается наедине с сыном. Мальчик еще толком не умеет говорить.

Вот они бродят по лесу, и взрослый повествует мальчику о жизни. Но вдруг взрослый мертвеет: он понимает, что пока говорил на воздух возвышенные и сентиментальные слова, его маленький собеседник не откликнулся.

И он мертвеет, представляя, как, заигравшись со своей машинкой, мальчик уходит всё дальше и дальше в лес. И нет большего ужаса для стареющего мужчины, чем потерять своего мальчика, и он выкрикивает в пространство фальшивые обещания. Но мир милостив — и мальчик выходит из-за деревьев. На него кричат зло, чтобы выместить свой страх, а он потрясен обманом. Но детские обиды по нашим астрономическим часам коротки, это внутри детской головы они длятся вечность.

И вот, наглядевшись на горящую в фарфоровом подсвечнике свечку, мальчик засыпает. А взрослый человек успокаивает свою тоску, глядя на спящего.

Казаков поступает с читателем очень жестоко. Он топит его в сентиментальности, а позже, когда читатель выплывает, оказывается, что он привит от излишних эмоций.

Это целый канон — мальчик и взрослый, немота и речь; он давно проник и в кинематограф, чему свидетельство — последний фильм Тарковского и ностальгический фильм «Последний дюйм», снятый по рассказу Олдриджа.

²¹ Казаков Ю. Свечечка // Казаков Ю. Легкая жизнь. СПб., 2003. С. 359–372.

Вот она, сентиментальность, и с ней всё время ходишь по грани. Шаг в одну сторону — и ты превращаешься в унылого плаксу, шаг в другую — и ты становишься омерзительным спекулянтом на детях и котятках.

Был в свое время такой бизнес — продавали перед похоронами платки с вшитой половинкой луковицы, чтобы сподручнее было плакать, — и у всякого писателя есть опасность наладить такое производство.

К этому вынуждает жизнь, где идет приемка по весу.

Где множество мужчин средних и преклонных лет готовы платить за сентиментальность *prêt-à-porter*.

И на этом даже можно составить состояние, разъезжая с концертами.

Современный писатель в царстве сентиментальности обнаруживает перед собой непростую задачу — выбрать, с каким материалом работать: с кровью или клюквенным соком.

При этом он часто обнаруживает, что кровь при неумелом обращении превращается в клюквенный сок — и трагическое полотно оказывается на поверку смешным.

И всякий мужчина того возраста, что нельзя уже назвать молодым, молится мирозданию — вслух или письменно — о том, чтобы детям повезло больше, чем ему.

Чтобы жизнь продолжилась в этих существах с двумя ягодами на ладони, разглядывающими свечечку.

Традиция, заложенная в монологе отставного титулярного советника Мармеладова, в русской литературе жива, потому что живы маленькие люди, пьяненькие и несчастные, надеющиеся при этом на прощение и спасение.

Для людей нерелигиозных этот монолог обращен не к Богу, а к детям — последней надежде.

**ИСТОРИЯ КНИГИ.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА**

Достоевский как центр литературного притяжения

Более всего мне не хотелось бы, чтобы это эссе походило на отчет о моих двадцати — за двадцать пять лет — написанных и напечатанных книгах. Скорее это рассказ о приключениях, которые были связаны с некоторыми из них. Ибо если работа над книгой не сопровождается ничем чрезвычайным, внезапным, неожиданным — есть опасность, что она не сможет задышать, вырваться наружу из тесной неволи черновиков и обрести печатный вид. Если на ловца (автора) не бежит зверь (счастливый случай), значит, ничто книге не помогает, неведомые силы не благоволят, чуткие стихии не ждут ее появления на свет.

Мой скромный опыт книжного авторства — это истории о том, как вдруг, неведомо откуда, появилось везение, начал дуть попутный ветер, иначе называемый фартом: что-то, чего не ждешь и о чем даже не мечтаешь, внезапно дается в руки, твоя утлая весельная лодка обретает парус, который ловит этот ветер, и ты ощущаешь, что вот теперь можно смело пускаться в плавание. Главное, как сказал поэт, нужно знать, «куда ж нам плыть».

Мое плавание и началось тогда, когда я смогла ответить себе на этот вопрос.

1

Теперь уже понятно, что главная, пожизненная тема многих моих книг — Достоевский — появилась в студенческие годы по воле случая и полностью зависела от литературного вкуса руководителя курса, Олега Николаевича Осмоловского. Стыдно признаться, но даже имени великого русского писателя я, живя в украинском областном городе, к своим два-

дцати годам толком не слышала: в школе его не изучали, на уроках не называли, дома о нем не говорили. Однако на втором курсе филфака русского отделения студентам полагалось писать курсовую работу сравнительно-типологического свойства: нужно было сопоставить сходные — по сюжету, коллизиям, героям — произведения двух разных писателей. Я имела слабость к тургеневским девушкам — чистым, безответным, почти всегда несчастным, и мой преподаватель, уважая это обстоятельство, предложил мне сравнить тургеневскую «Асю» с «Неточкой Незвановой» Достоевского. С «Асей» (как и с «русским человеком на randevу») мне в общих чертах всё было ясно, но Достоевского надо было осваивать с нуля — ограничиться одной только повестью было бы просто неприлично. Удалось купить у букинистов десятитомник 1956 года и начать с «Бедных людей».

Когда через несколько месяцев я вынырнула из десятого тома, едва оторвавшись от «Братьев Карамазовых», моя судьба была решена — и мой мир обрел точные литературные и человеческие координаты. Это было незабываемое впечатление: я встретила *своих*. Мужчины и женщины из десятитомника вызывали жгучий интерес и казались намного более горячими и живыми, чем те реальные люди, которых я до тех пор знала. Мне захотелось, если повезет, стать не чужой в этой книжной компании.

Желание наивное и самонадеянное, но игра стоила свеч...

В следующие четверть века, защитив две диссертации по Достоевскому, я внезапно осмелела, вышла за рамки академического стандарта и вырвалась на волю свободного книгописательства. Пришлось осознать, что единица литературы — это книга, которую никто от тебя не ждет и уж точно никто тебе не заказывает: она не присутствует в планах издательств и ученых советов, и я не должна ни перед кем за нее отчитываться.

Я рискнула. В жизни Достоевского была женщина, которой он писал: «Друг вечный, Поленька». Женщина, которая одарила писателя мучительным опытом любви-ненависти и которая не пожелала стать его женой. Публикатор ее дневника «Годы близости с Достоевским» (М., 1928), А. С. Долинин, писал: «Два больших человека — Достоевский и в известном отношении ему конгениальный В. В. Розанов, — так близко к ней подошедшие, имели, должно быть, свои основания, чтобы оставить под густым покровом тайны ту роль, которую она играла в их жизни, и даже отраженно она до сих пор еще никого не интересовала, и никто не собирал сведений о ней».¹

Достоевский, уже расставшись с Сусловой, писал о своей непреходящей, мучительной любви к ней; Розанов говорил о мистической к ней при-

¹ См.: Долинин А. С. Достоевский и Суслова // Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1925. Сб. 2. С. 170.

вязанности. Авторитетнейшие его друзья и знакомые, среди которых были Зинаида Гиппиус и Любовь Достоевская, дочь писателя, оклеветали ее, поставили на ней, уже пожилой женщине, несмываемое клеймо, назвав ее исчадием ада, развалиной со злыми глазами, сумасшедшей старухой.

Хотелось понять мотивы ее поступков, характер ее страстей, защитить ее.

— Кем она ему была? — напрямик спросил меня издатель, имея в виду Достоевского, когда в порыве откровенности я выдала ему свою литературную мечту.

Мне не хотелось обозначать «друга вечного» ни конкретным термином «любовница», ни приблизительным словом «подруга». На всякий случай, боясь спугнуть хозяина положения и смягчая ситуацию, я употребила романтически неопределенное понятие «возлюбленная».

— Идет. Так и назовем книгу: «Возлюбленная Достоевского». Пусть каждый вкладывает в название тот смысл, который ему более близок.

Еле-еле я выпросила разрешение на некоммерческий подзаголовок: «Аполлинария Сулова: биография в документах, письмах, материалах». Оставалось раздобыть всё это богатство — в противном случае имеющихся материалов хватило бы лишь на небольшой очерк.

Я знала, где надо искать необходимое: ЦГАЛИ, Центральный государственный архив литературы и искусства (теперь РГАЛИ), хранил сокровища: переписку Аполлинарии Суловой с ее старшей многолетней подругой графиней Е. В. Салиас де Турнемир (литературный псевдоним — Евгения Тур), письма В. В. Розанова и многое другое. Однако все попытки получить необходимые материалы были тщетны: раз за разом мне отвечали, что бумаги в работе, или на копировании, или микрофильмировании, или находятся в пользовании у других читателей. Шли дни и недели, а дело стояло на месте. Я пробавлялась второстепенной мелочью, которая, конечно, могла пригодиться, но только в том случае, если охота на крупную дичь даст результат.

Не знаю, что было бы с моей затеей, если бы не случай из совсем другой оперы.

Меня пригласили на прямой эфир телепередачи, в которой обсуждались книга Ст. С. Говорухина «Великая криминальная революция» и его фильм с тем же названием. Собралось человек сорок журналистов, которых автор, в ответ на их тяжелые высказывания, позднее назовет «псами демократии». Эфир был жарким, если не сказать скандальным. Автор утверждал, что криминальная революция завершилась полной победой жуликов, а великая духовная страна на глазах превратилась в страну воров и негодяев. Участники обсуждения в один голос опровергали пафос книги и изложенные в фильме факты: «Нет никакой криминальной революции. Бесстыдная клевета. Хула на правление президента Ельцина».

Говорухина закричали, затопали, заулюлюкали, но он не сдавался, горячо и страстно отстаивая свое восприятие «прекрасной эпохи». Эфир превращался в поругание режиссера, его открыто шельмовали и оскорбляли. Это было некрасиво и несправедливо. Я дерзнула подать голос в его защиту, а также в поддержку книги и фильма, поперек журналистского хора: «Разве в стране нет криминала? Нет разгула бандитов и воров, которые тащат всё, что плохо и даже что хорошо лежит? Короче, Сатана там правит бал, люди гибнут за металл...».

Что-то в этом роде. Хор посмотрел на меня не то с досадой, не то с презрительным недоумением, да я и сама никакого значения своему одинокому голосу не придавала, просто стало очень противно.

Прошло всего два дня, когда я вновь попыталась получить в архиве ускользающие от меня бумаги. Ждала отказов. Готовилась выслушать новую порцию объяснений по их поводу. Но меня ожидал сюрприз.

С видом самым загадочным, за которым мелькнула улыбка, меня зазвала в служебную комнату сотрудница архива.

— Подождите здесь.

Вскоре она вернулась, держа в руках круглый алюминиевый поднос, на котором высилась стопка папок с надписью «Дело» и пирамидка из коробочек с микрофильмами.

— Это вам за Говорухина. Спасибо, что защитили его. Не оставили в полном одиночестве.

Я совсем не считала, что моя защита была хоть сколько-нибудь значимой, но, видимо, прямой эфир представил мой незатейливый монолог как нечто смелое и вызывающее.

На алюминиевом подносе лежало то, чего я безуспешно добивалась несколько недель, получая неизменные отказы.

— У Вас есть месяц. Потом придет из Колумбийского университета дама, которая собирается писать книгу о русских суфражистках 1860-х годов. Этот архив она заказала на свое имя, с просьбой держать его до тех пор, пока не освоит. Не выдавайте меня. В конце концов, Вы ведь могли познакомиться с материалами по Сусловой прежде, чем американка их заказала.

Месяца мне хватило. Связь между моим телевизионным выступлением о книге Говорухина и архивом Сусловой можно было объяснить только общим воспаленным состоянием умов: шел 1994 год, разброд и шатание в обществе достигли, кажется, своего максимума. «Сподвижники Ельцина, ругавшие Говорухина, конечно, будут против критики его режима», — взволнованно говорила сотрудница архива.

С девяти утра (когда открывался архив) до пяти вечера (когда он закрывался) я просиживала за переписыванием бумаг, разбирая непростые почерки, соблюдая орфографию и пунктуацию оригиналов. Вечером дома перепечатывала письма на машинке, назавтра приносила их в ар-

хив для сверки и переписывала следующие. Если и были в те поры у кого-нибудь ноутбуки, то в архив с ними всё равно не пускали.

Трудность почерков моих подопечных (графиня Елизавета Васильевна забывала об интервалах между словами и могла написать, например, так: «вчтобытони сталоонъхотельзнять») оказалась мне как раз на руку — когда моя книга уже печаталась в типографии, я встретила с той самой американской исследовательницей, которая получила архив в пользование после меня; она пожаловалась, что так и не смогла прочесть письма «этих женщин».

А моя «Аполлинария Сулова...» (два цвета, разные шрифты, большой формат, 456 страниц, твердый переплет, суперобложка с фотографией красавицы Аполлинарии Прокофьевны под кружевным зонтиком) была сделана от начала до конца за 142 дня. Около ста писем, опубликованных впервые, шестьдесят фотоиллюстраций (в том числе полученных от московских коллекционеров и предоставленных специально для этой книги), а главное — история страстных романов Суловой с Достоевским и Розановым (а с Розановым — еще и драматическое замужество, закончившееся скандальным разрывом) привлекли многих читателей. Книга побывала на книжных ярмарках Москвы, Франкфурта и Иерусалима, режиссер С. Л. Шумаков снял о ней телевизионный фильм, в котором я была автором и ведущей (эфир Первого канала прошел сразу после программы «Время»), было сделано несколько радиопередач, проведено множество встреч в библиотеках и клубах.

Тираж 5000 экземпляров (немаленький для 1994 года) был распродан мгновенно, то есть в течение месяца. Фразу, услышанную в ЦГАЛИ: «Это вам за Говорухина», — я запомнила на всю жизнь и более чем когда-либо оценила классическое: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...».

2

В 1996 году вышла моя книга «Федор Достоевский. Одоление демонов». В центре сюжета была история отношений Достоевского с Николаем Александровичем Спешневым, которые начались в конце 1848 года в кружке петрашевцев, развивались чрезвычайно бурно, так что молодой писатель, автор «Бедных людей» и «Двойника», имел все основания назвать своего нового знакомого «мой Мефистофель», сказать о нем: «Я с ним и его», а двадцать лет спустя использовать черты этого выдающегося петрашевца (демонического красавца, богача, аристократа, «коммуниста») для образа Николая Ставрогина в романе «Бесы».

Хорошо известно, насколько вообще бесправен прототип. Нет таких законов, по которым воспрещалось бы для литературных целей брать

напрокат чужую душу, плоть и кровь. Нет и таких охранных грамот, которые уберегали бы частного человека от сомнительной участи явиться прототипом какого-либо литературного героя — то есть жалким рабом чужой игры без правил. А жизнь, в отличие от художественной литературы, — это индивидуальное приключение. Здесь каждый смеет претендовать на центральную роль, а, значит, и на собственную версию своей судьбы. С другой стороны, художник, создавая литературный образ, никому не подотчетен; романый вымысел — это не мемуары, где намеренное искажение реальной личности есть очернительство и клевета. Так что, публикуя в начале 1870-х годов роман «Бесы», Достоевский менее всего должен был опасаться, что его старый знакомый прочтет роман, всё поймет и оскорбится — как оскорбился, скажем, Тургенев, опознав себя в Кармазинове.

Позже я поняла, что версия о прототипе Ставрогина, связанная с именем Спешнева, и не могла появиться, пока были живы участники политической драмы 1849 года. Прочитав роман о бесах революционного подполья, они не могли увидеть сходства именно потому, что хорошо знали Спешнева. Реальная судьба Николая Александровича, при более близком с ней знакомстве, никак не укладывалась в рамки того человеческого типа, который был создан Достоевским для «Бесов». Пережив автора этого романа на год и два месяца, Спешнев ушел из жизни, не подозревая, что стал объектом специального внимания писателя, которого знал в молодости. И повторю: никто из современников Достоевского, читавших «Бесы», не опознал в Спешневе Ставрогина — интригующая версия появилась поколение спустя.

Неотвратимое желание отделить Спешнева (реальную личность) от Ставрогина, «великого грешника», inferнального героя «безмерной высоты», побудило меня написать о нем независимую книгу — не зависимую от личных впечатлений и творческих замыслов Достоевского; книгу, центром которой был он, помещик, красавец, западник, приговоренный к смертной казни как враг российского государства и всемогущего монарха.

Началась погоня за подлинностью, в обход гениального вымысла. Опять надо было собирать письма, материалы, документы. Вполне ожидаемо — благодаря коллегам из Иркутска — был получен огромный эпистолярный архив: письма Спешнева к его родителям, родственникам, прошения по начальству, — всего 90 единиц хранения, сохраненные его матерью, Анной Сергеевной Спешневой, и переданные его внучкой, оперной певицей Юлией Алексеевной Спешневой, в Литературный музей в 1933 году, откуда в 1962 году они переехали в Иркутск. Архивисты Иркутска повели себя в высшей степени благородно и профессионально: скопировали для меня письма, сохранив формат бумаги и расположение текста — так, как это было в оригиналах.

Однако, получив объемную бандероль на почте и раскрыв ее дома, я с ужасом обнаружила, что добрая половина корреспонденции была написана на французском языке, которого я не знала.

«Mon adorable papa et mon adorable maman» («Мой обожаемый папенька и моя обожаемая маменька»), — писал на хорошем французском Nicolas, принятый в Царскосельский лицей. Я набирала на компьютере одно рукописное послание за другим, параллельно изучая французскую грамматику и орфографию. Между 1835 годом, которым датировалось первое письмо четырнадцатилетнего подростка, и 1882 годом, датой последнего известного письма шестидесятилетнего мужчины, пролегло почти полвека — по сути, вся взрослая жизнь моего героя. За год, пока я обрабатывала иркутский архив и изучала французский язык, я научилась замечать неверные написания не только в своих записях, но и в письмах моего героя — ошибки всё же встречались, особенно в его ранние годы.

После того как все 90 документов были прочитаны, переписаны, переведены на русский язык и прокомментированы, а также после того, как были освоены документы из ГАРФа (Государственного архива Российской Федерации) — рукописи Спешнева, переписка канцелярий в отношении этого осужденного в каторгу петрашевца, — я полагала, что всех добытых материалов мне хватит для книги.

Но как только я сказала себе «стоп» — пора, дескать, начинать писать (в книге будет десять глав, а также предисловие, эпилог и три приложения — публикация архивных материалов), — случилось неожиданное и непредвиденное.

Спустившись как-то утром на лифте за почтой, я вынула из ящика продолговатый конверт «авиа» со штампом Филадельфии (США): мой адрес по-английски, на месте обратного — белая полоска с набранным на компьютере именем отправителя: Гали Николаевна Спешнева-Бодде.

К тому времени я уже поняла, что роковое обаяние Ставрогина выглядит неуместным в свете подлинной биографии его возможного прообраза, а магия сходства героя и прототипа совершенно утрачивает свое волшебство, как только соприкасаешься с реальной жизненной драмой загадочного и обаятельного петрашевца. Когда же осенью 1997 года я получила письмо из Филадельфии, вскрыла его и ознакомилась с его содержанием, проблема Спешнев — Ставрогин отошла на задний план. Получалось, что Достоевский (сколь бы гениальным ни был образ Ставрогина) художественно «оклеветал» его реального прототипа. Но, повторяю, кто же и когда заботится о бесправном солдате из армии прототипов?

...Мне писала девяностосемилетняя правнучка Спешнева, жившая в США, которая сумела найти мой домашний адрес через своих петербургских знакомых: они и переслали ей в Филадельфию мое крохотное

интервью в одной из московских газет — о том, что готовится биографическая книга о Спешневе, государственном преступнике царских времен. «Мои друзья сообщили мне, что писательница из Москвы пишет книгу о некоем Спешневе. Скажите, пожалуйста, не о моем ли прадеде идет речь — петрашевце, каторжанине? Если о нем, то у меня хранится семейный архив на русском и на английском языках. Я уже очень старая и хочу передать наши семейные бумаги в верные руки для пользы дела».

Я ощутила ту самую, уже не однажды испытанную, тревожную радость — удача неожиданно-негаданно сама плыла ко мне в руки.

Завязалась переписка. Семейный архив из Филадельфии, который я вскоре благополучно получила, дал мне ценнейшие сведения об истории рода, о личности отца Спешнева, Александра Николаевича, который, как оказалось, куда больше, чем его сын, был похож — и буйным нравом, и взрывным поведением — на Николая Ставрогина. Быть может, Достоевский, сблизившись со «своим Мефистофелем», смог поделиться с ним своей бедой (их отцы погибли в своих имениях при сходных загадочных обстоятельствах) и узнать про беду, случившуюся со Спешневым-старшим. Всё это были волнующие догадки, предположения, даже фантазии...

Филадельфийские записки расширили горизонты книги, дали ей новое дыхание, наполнили воздухом ушедшей эпохи. Гали Николаевна благословила меня на книгу о своем прадеде, имела терпение и время письменно и без промедления отвечать на мои многочисленные вопросы и снабдила меня уникальными материалами. Она в свои почти сто лет уже не могла читать и писать самостоятельно, совсем плохо видела, так что наша переписка осуществлялась при посредничестве ее супруга, американского востоковеда-китаиста Дерка Бодде. Гали Николаевна успела получить мою книгу, на обложке которой красовался старинный овальный портрет ее прадеда; и, насколько мне известно, все 536 страниц ей, уже совсем слепой, прочитал вслух взрослый внук, который вскоре сообщил мне о смерти своей бабушки.

Эту историю можно было бы считать законченной, если бы не случай, произошедший три года спустя после выхода книги. Она, как я убедилась позже, жила отдельной от меня жизнью, ее читали не только обычные читатели, но и люди, носившие фамилию, стоявшую на обложке: «Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба». Потомки двух сыновей Николая Александровича проживали в разных городах страны, многие из них не знали о существовании друг друга, иные полагали, что родственников им Спешневых уже нет на свете. За три года они списались, выяснили, кто кому кем приходится, и приняли решение.

И вот однажды в мою дверь позвонил молодой человек, назвавшийся Всеволодом Спешневым, — книжный дизайнер, живущий в Москве. Он был так похож на знакомые мне портреты своего знаменитого предка,

что я только ахнула. А он, широко улыбаясь, сообщил, что все Спешневые, которые имеются в наличии — московские, петербургские, пятигорские, курганские и другие, — собрались вместе в Москве и хотят со мной встретиться. Моя книга их соединила.

Радостное и благодарное общение вышло незабываемым. Потомки моего героя (их в одной из московских квартир собралось человек двадцать) подарили мне редчайшую фотографию женского портрета из частной коллекции, который я долго искала в каталогах, справочниках и энциклопедиях, но так и не смогла найти. Это было воспроизведение портрета красавицы-польки Анны Феликсовны Савельевой-Цехановецкой: восемнадцатилетний Спешнев полюбил ее, замужнюю даму, отчаянно и самозабвенно, а она ради него оставила свой дом, мужа, двоих детей, сбежала с любимым, скиталась с ним по Европе (Гельсингфорс, Вена, Неаполь) и через четыре года покончила с собой в припадке ревности, сойдя с ума от роковой страсти. Спешнев считал, что эта женщина послана ему небом, боготворил ее, многим пожертвовал ради нее, но саму ее не уберег. Остались два маленьких сына, которых после ареста и во время десятилетней каторги отца воспитывала бабушка, Анна Сергеевна Спешнева.

Трагическая история любви на фоне процесса петрашевцев и реалий сибирской каторги, благородный герой, совсем не похожий на Мефистофеля, прекрасная полька, погибшая из-за любовной горячки, волшебный портрет героини, подаренный мне ее потомками. Всё это — материал для второго издания книги, если оно вдруг когда-нибудь состоится: и я отдаю себе отчет в том, что *вдруг* здесь — ключевое слово.

3

Окружение Достоевского — его «вечная» возлюбленная и его «демон-Мефистофель» — придали мне дерзости прикоснуться вольным пером к личности и биографии создателя «Бесов».

Но случилось это странным, обходным путем и далеко не сразу после книг о Сусловой и Спешневе. «Моего» Достоевского чудесным образом привел ко мне не кто иной, как А. И. Солженицын.

В начале 1995 года вернувшийся из изгнания Александр Исаевич, с которым мы прежде не были знакомы, позвонил мне домой, сказав: «Мы там Вас читали». К тому моменту успела выйти в свет только одна моя книга: «“Бесы” — роман-предупреждение» — размышления о романе Достоевского, тиражом 25 000 экземпляров. (Не могу не вспомнить о том, что книга собрала по подписке 50 000, но столько бумаги в издательстве «Советский писатель» для меня не нашлось, и мне предложили выбирать: или половину тиража сейчас, или весь тираж через год. «По-

ловину, но сегодня», — сказала я, не став жадничать. И была права: книга вышла в начале 1990 года, а через два месяца работа издательства остановилась, как тогда останавливалось многое.)

Я стала часто общаться с Солженицыным, была приглашена участвовать в делах премии его имени. И лет пять просто присматривалась к тому, что происходит вокруг него, спрашивала у его жены, пишет ли кто-нибудь о нем что-нибудь большое. Сама писать ничего не собиралась: ведь мой предмет — XIX век, Достоевский, пожизненно, навсегда. А потом как-то раз невзначай завела в компьютере файл, который назвала: «А. И. Солженицын. Летопись жизни и творчества». Сначала думала, что для себя — просто потому, что далеко не всё знала о нем и не всё понимала в его жизни. В таблице следовало совместить даты, события и документы, подтверждающие, что данное событие имело место именно в это время.

Когда, года через два, весь доступный мне материал был освоен и зафиксирован, а летопись выстроилась на шестистах компьютерных страницах, обнаружилось огромное число нестыковок, несуразниц и просто нелепиц. Сошлись вместе документы о военном пути писателя, наградные справки Наркомата обороны СССР, письма с фронта его и к нему — и показания «свидетелей» о том, что он вообще не воевал: то отсиживался в тылу, то находился на оккупированной территории, то служил в гестапо, то попал в плен к немцам и сотрудничал с ними. Я располагала медицинскими данными о его онкологическом заболевании, показаниями рентгенотерапии, воспоминаниями его лечащих врачей из Ташкентского онкологического центра — и тут же пестрели «разоблачения» доброхотов, сообщавших, будто его болезнь — не что иное, как литературный прием, выдумка, необходимая романисту для создания привлекательной биографии, такое себе украшение, что-то вроде бантика.

Передо мной был многосерийный детектив, и надо было распутать, кто и зачем дает противоречивые показания, почему столько несовпадений, где здесь простые недоразумения, а где напраслина и клевета.

И только тогда, когда я перестала справляться с расследованием, я призналась Александру Исаевичу, что занялась сбором материалов о нем и что эти материалы полны противоречий и нестыковок. Поразительно прозвучал его ответ: «На меня врут как на мертвого».

Эта фраза выстрелила во мне: «Как это так? Ведь Вы живы, а значит, обязаны опровергнуть ложь!» Я поняла, что необходимо разгрести это кошмарное вранье. Люди за малейшую чепуху в суды подают, эстрадные певицы бесконечно судятся с продюсерами. А тут на человека столько налгано — и он всё это терпит.

В течение трех лет время от времени я приезжала к нему в Троице-Лыково с диктофоном, задавала вопросы, записывала ответы, дома их переводила с пленки в компьютер. Однажды мы целый день просидели

за картами военного времени — и маленькими цветными флажками разместили весь его путь в Великой Отечественной, с октября 1941-го, когда его, с большими ограничениями по здоровью, призвали наконец на фронт, по февраль 1945-го, когда его арестовали и доставили из Восточной Пруссии в Москву, на Лубянку, в следственную тюрьму.

У меня в руках сосредоточились все необходимые документы, неопровержимые доказательства, неотразимые аргументы, но было не очень понятно, как и когда я смогу пустить их в ход. Ведь при каждой встрече Александр Исаевич говорил мне, что ни в коем случае не хочет прижизненной биографии: «Это не в русской традиции... Только лет через пятьдесят после моей смерти, если меня еще будут читать и я не буду забыт читателями».

На это я отвечала, что на пятьдесят лет не рассчитываю, но всё равно работу продолжу — пусть для неизвестного будущего.

Судьба, однако, не согласилась с моей готовностью работать впрок.

Внезапно, вне зависимости от желаний Солженицына и от моих собственных планов, в самом конце 2005 года писателю позвонили из издательства «Молодая гвардия» и сообщили, что у них стартовала дочерняя серия «Жизни замечательных людей» — «Биография продолжается» — и книга о нем стоит в планах на одной из первых позиций. Поначалу он категорически возражал. Тут ему объяснили, что книга в любом случае выйдет, и, если он отказывается от сотрудничества с издательством, оно само будет искать автора. «Но, может быть, у Вас есть человек, кому Вы доверяете?» — прозвучал вопрос.

И тогда Солженицын назвал меня. Издательство дало на написание книги полтора года, и я ни за что бы не справилась, если бы не «Летопись» и вся предварительная, многолетняя работа впрок. Неизвестное будущее оказалось рядом и потребовало ему соответствовать.

Когда книга «Александр Солженицын» (935 страниц, 120 фотоиллюстраций) вышла, меня призвал генеральный директор издательства В. Ф. Юркин, поздравил с успешным завершением работы и произнес слова, которых можно было ждать всю жизнь, но так и не дожидаться: «Вот теперь мы, наконец, нашли автора для нового Достоевского».

Я едва устояла на ногах. Достоевский и моя давняя книга о его романе «Бесы» привели ко мне Солженицына, а теперь книга о Солженицыне привела ко мне — вернула мне! — Достоевского, дала уникальную возможность написать книгу о нем для «ЖЗЛ». И это несмотря на то, что уже дважды «Достоевский» выходил в этой серии. И мне придется конкурировать не только с ушедшими авторами, но и с теми нынешними, кто охотно и азартно взялся бы за такую работу.

Наверное, я страшно рисковала, когда ответила издателю: «Сейчас не могу. Мой герой жив, и я должна сохранять преданность делу. Ему 89, и я буду в орбите его биографии до самого конца».

«Мы будем ждать», — обещал издатель.

Мой герой, прижизненная книга о нем и я, ее автор, были вместе еще пять месяцев: Александр Исаевич, его семья, люди из его близкого окружения успели ее внимательно прочитать, изучить и, к моему счастью, — принять мою версию. Когда его не стало, издательство попросило меня подготовить новое издание, для классической «ЖЗЛ». С «Достоевским» меня всё еще продолжали ждать.

Готовя переиздание, я убедилась, что внутри книги, если судить по откликам о ней, ничего не надо переделывать, переписывать, исправлять. Надо только дополнить — событиями последних месяцев его жизни, которые были поразительно насыщенными, исполненными глубинного смысла.

Едва посмертное издание «Солженицын» появилось в печати, меня снова вызвал издатель: «Мы Вас ждали. Теперь настала очередь “Достоевского”».

Так случились два года счастья, когда я писала биографическую книгу о Достоевском, и казалось, что мне как литератору нечего больше желать. Круг замкнулся. О ком — после таких гигантов — я могу еще писать? Кто, после них, может заставить работать воображение, ради кого еще стоит уходить в чужие жизни настолько, что почти не замечаешь своей?

Но жизнь причудливее, чем любые наши фантазии на ее счет.

4

Ни одна работа, ни одно занятие не проходят бесследно, а если занимаешься чем-то долго и упорно, тебя начинают с этим чем-то рифмовать: так, уже довольно давно меня стали называть «писателем о Достоевском». И когда в 1997 году французский издатель книг Солженицына Н. А. Струве привез из Парижа бледную машинописную копию под названием «С. И. Фудель. Наследство Достоевского», меня призвали на консультацию. Имя Фуделя мне ничего не говорило, но меня попросили посмотреть работу — к тому моменту она уже три десятилетия циркулировала сначала в самиздате, а потом — в тамиздате. Мне сказали, что автор книги — бывший зэк сталинских лагерей, уже двадцать лет как покойный, не филолог и не литератор; так что вначале я отнеслась к тексту несколько скептически: очередной дилетант повторяет общеизвестные вещи, да еще не владея слогом, не обладая необходимым кругозором.

Но когда всё же прочитала рукопись, то отчетливо поняла, что писал ее человек глубокой и светлой души, проникновенной мысли и искренней веры. Конечно, с точки зрения книгоиздательской культуры, книга была совершенно не готова к печати: нужно было исправить датировки, сверить с оригиналами цитаты и оформить их по принятым стандартам,

создать библиографический аппарат. Ушло на это месяцев десять — еще не было интернетовских поисковых систем, которые могли бы ускорить дело. Тем временем я узнала, что автор в последние годы своей жизни обитал в городе Покров Владимирской области, в Москве бывал только наездами, домашней библиотеки не имел, пользовался случайными источниками, многое цитировал по памяти, так что поздний Фет, например, жил в его сознании как ранний Блок. Пришлось много поработать, чтобы довести текст до нужной кондиции. Книга вышла в свет в издательстве «Русский путь» в 1998 году тиражом 1000 экземпляров, была мгновенно распродана, и это стало началом более длинной истории.

После выхода книги ко мне обратился сын Сергея Иосифовича Николай Сергеевич Фудель и предложил познакомиться с эпистолярным наследием отца. Слова: «Отдам письма только в Ваши руки» — не давали мне шанса отказаться от валяющейся на меня огромной работы. Так ко мне попали послания из мест заключения и ссылок, и началась новая эпопея моего вхождения в мир Фуделя — скорбный, печальный и одновременно исполненный света. Только этот свет, шедший с пожелтевших тетрадных листков, давал силы для работы над грудой рукописного материала.

Стали приходиться и другие документы, которые много лет хранились у разных людей. Так, известный скульптор и доверенный друг семьи Фуделя Д. М. Шаховской на презентации «Наследства Достоевского» в Доме русского зарубежья сказал, что уже четверть века хранит чемодан с бумагами, который Сергей Иосифович отдал ему на хранение. Вскоре этот чемодан был в моих руках, я и составила первую архивную опись того, что в нем было; а там хранились черновые наброски, документы, школьные тетради с написанными от руки главами книг, фотографии. В общем, клад.

Начиная с 2000 года мы вместе со священником Николаем Балашовым приступили к подготовке Собрания сочинений С. И. Фуделя в 3-х томах — оно было завершено к 2005 году. И только после этого началась работа над его биографией — сначала по предложению итальянского издательства (по-итальянски книга вышла в Милане в 2007 году). Позже, в 2010 году, дополненная и расширенная биография Фуделя вышла в Москве. Подготовлено и должно выйти в свет третье издание книги «Наследство Достоевского».

Это был драгоценный опыт. Я своими глазами увидела, что такое письма зэка, отбывающего срок. Им движет осторожность — он думает даже не столько о себе, сколько о тех, кому адресует свои послания. Ведь у членов его семьи, друзей и знакомых компетентные органы могут произвести обыск, найти письма с неволи и сделать оргвыводы. Главные враги автора писем — это даты на них и почтовые штампы на конвертах. С. И. тщательно избегал датировок — ведь при желании можно

было сопоставить даты разрешенных корреспонденций и даты неразрешенных. Письма посылались и официально, и «по левой», с оказиями — так было всегда, во всех местах отбывания наказаний. Задача ээка — не дать ключ к датировке писем. Поэтому большинство писем, которые мне вручил сын Сергея Иосифовича, были без конвертов, ибо конверты — самые опасные свидетели.

Но задача публикатора и комментатора таких писем ровно обратная — по возможности точно установить дату. Я находила ценные подсказки в текстах писем — в ссылках на церковные праздники и дни рождения родных, в упоминаниях газетных статей или радиопередач, в сообщениях о юбилеях известных персон. Есть много зацепок, которые дают верный ключ, — их надо уметь видеть.

Была и еще одна сложность: многие имена обозначались только инициалами. Так, в числе родных и знакомых постоянно упоминалось около восьми женщин, и все обозначались инициалом «М». Мария? Матрена? Марфа? Магдалина? Матильда? Оказалось, что все они — Марии, но все разные. Удалось идентифицировать почти всех и в комментариях указать, кто есть кто.

И, пожалуй, самое трудное: тетрадные листки (иногда это могло быть по 6—8 листов в одном письме) были сложены не вдвое и не вчетверо, а ввосемь, так что получался пухлый комок, который был скреплен большой металлической скрепкой. В таком виде эти комки хранились многие годы, скрепки постепенно ржавели, вокруг них на бумаге появлялись ржавые пятна. Выцветали чернила, не говоря уже про карандаш. Дело казалось почти безнадежным. Но мне был дан чудный совет: если намочить марлю в миске с водой и уксусом в пропорции два к одному, а потом прогладить каждый листок через эту марлю не очень горячим утюгом с двух сторон, просушить на весу, то, во-первых, проявится карандаш, во-вторых, уйдет ржавчина. Я принялась за дело. Как только видела, что листок достиг нужной кондиции, я его ксерокопировала в двух экземплярах, чтобы потом работать именно с ксероксом. Оригиналы же сдала в архив Дома русского зарубежья, где теперь собрано всё наследие С. И. Фуделя. Работа с марлей, утюгом и ксероксом отняла у меня почти два месяца ежедневных многочасовых усилий. В результате были опубликованы и прокомментированы 194 письма.

Что могло вдохновить на такую кропотливую работу? Конечно, прежде всего, сама личность Фуделя, его дар слова, возможность окунуться в одну из тех биографий, о которых в СССР много лет молчали. Я столкнулась с судьбой страдальца, подвижника, который, отбыв 35 лет в ГУЛАГе, взялся за Достоевского — в попытке его изучить и осмыслить.

Кроме того, подстегивало упрямство: начатое дело надо было довести до профессионального уровня. И понимание того, что раз никто до сих

пор этого не сделал, значит, уже и не сделает. А меня преследовали глаза и те самые слова Николая Сергеевича, сына моего героя, которые он сказал, отдавая мне письма отца: «В Ваши руки...».

Не возможность окунуться в катакомбы запретной церковной мысли манила меня. Мною двигало как раз обратное стремление: хотелось вывести выстраданную мысль Фуделя, его взволнованный писательский дар из подполья, сделать его книги достоянием большого культурного сообщества. Ведь когда в конце девяностых я впервые выступила перед моими коллегами-филологами с рассказом о Фуделе и его судьбе, это имя им ничего не говорило, никто не слышал о нем и не читал его книг. Теперь, по прошествии пятнадцати лет, его работы широко цитируются и обсуждаются. Книга «Наследство Достоевского», законченная в 1963 году, которую он писал без всякой надежды на публикацию, стала неотъемлемой частью исследовательской литературы о Достоевском.

Процитирую здесь то из наследия Фуделя, что при первом же знакомстве меня особенно «зацепило». Вот фрагмент его письма от 5 февраля 1956 года из Усмани: «“Идиота” я перечитываю с великой благодарностью автору. Был он несомненно учитель христианства... Читаю, ухожу на работу на весь день и среди дня часто ловлю себя на том, что стараюсь быть лучше, чище, терпеливей, любовней, великодушней, проще, стараюсь подражать бедному Идиоту! Вот она, проповедь христианства, и я вновь услышал ее».²

Или вот отрывок из письма от февраля-марта 1963 года, после завершения книги «Наследство Достоевского»: «Жить становится всё труднее: та смертельная усталость, которая разлита в мире, иногда заливает душу. Очевидно, теперь в этом и есть главный подвиг — сохранять бодрость души, мужество сердца, верность своей вере... У меня такое чувство, что я отдал какой-то душевный долг, совершив и эти поминки любви».³

Работа с текстами С. И. Фуделя и над его биографией оказалась не в стороне от моего магистрального интереса; напротив, она вернула меня в самую сердцевину «достоевских» тем и смыслов.

Известно, что Древний Рим был центром всех торговых путей Средиземноморья. Дороги из столицы расходились по империи как спицы колеса, и, значит, каждая из них должна была привести путника обратно.

Так и Достоевский: в моем представлении все литературные дороги, как бы причудливо и ухабисто они ни выглядели, ведут к нему. Отечественная литература отчетливо достоевскоцентрична, порой даже помимо своей воли и желания.

² Фудель С. И. Собрание сочинений: В 3 т. / Сост. и комм. прот. Н. В. Балашова и Л. И. Сараскиной. М., 2001. Т. 1. С. 441.

³ Там же. С. 473.

Сергей Носов

На правах персонажа (о романе «Дайте мне обезьяну»)

Тему нижеследующих заметок в развернутом виде можно сформулировать так: об одном причудливом опыте активного существования реального человека в художественном тексте другого автора. «Другой автор» — это я; текст, о котором идет речь, — мой роман «Дайте мне обезьяну», а кто этот «реальный человек» и почему его существование в тексте «активное», сейчас объясню.

«Дайте мне обезьяну» — мой третий по счету роман. Написанный в конце минувшего тысячелетия, он вышел в свет осенью 2001-го; критика тогда следила за литературным процессом, — на ее внимание автору грех жаловаться. Второе издание (2003) отличалось от первого небольшими добавлениями. Роман теперь начинался с благодарности, напечатанной на отдельной странице:

*Геннадию Анатольевичу Григорьеву
за добровольное согласие
на правах персонажа
войти в роман
выражает свою признательность
благодарный автор.*

Итак, Геннадий Григорьев (1949—2007). Поэт. И не просто поэт, а, по словам Виктора Топорова, «лучший поэт своего поколения». Не уверен, что надо здесь представлять Григорьева. Фигура известная. И то, что репутация у него была противоречивая, тоже ни для кого не секрет: многих Григорьев пугал, раздражал, а то и бесил вызывающе независимым стилем общения, часто граничившим с эпатажем и отвергав-

шим любые условности. Григорьев натурально выламывался из писательской среды, но никогда не переставал бытовать в ней как фольклорный герой — живой легендой и живым анекдотом. Он любил клоунаду и был способен на романтический жест, а если что — мог и дать в морду (хотя и сам получал, бывало). Обычное его состояние — навеселе; и вообще, по части «зашибить муху» мог дать фору любому. При этом был всегда на мели. Его безбытность была притчей во языцех. Вот парадокс: он в иные времена и за три года не получал столько, сколько составляет премиальный фонд ныне действующей международной поэтической премии его имени. Иначе ее называют «Григорьевкой». Сам Григорьев премиями отмечен не был — кроме одной: в 1999-м дали нам с ним на двоих журналистскую премию «Золотое перо» за цикл наших радиопередач «Литературные фанты».

Мы познакомились в 1978-м. Сначала приятельствовали, потом подружились. В середине девяностых мы виделись, наверное, через день, — одно время он почти поселился в нашей квартире — мы сочиняли детские передачи у меня на кухне, печатали одновременно на двух машинках, пили пиво, резались в шахматы. Мои дети практически росли у него на глазах, так и выросли с ним на «ты». У нас было много пересечений в жизни, иногда удивительных. На пятом году знакомства, например, мы, не сговариваясь, умудрились поступить на заочное в Литинститут, в один поэтический семинар (правда, я скоро перешел на прозу, а Григорьев вообще бросил институт после второго курса). В 92-м меня пригласили работать на «Радио России», вот тогда я и приманил Григорьева к детской редакции. Вместе (в соавторстве) и каждый по отдельности мы сочинили множество художественных передач, по сути, коротких пьес — многие из них до сих пор повторяют на радио.

Григорьев всегда увлекался игрою слов, а в девяностые с этим увлечением временами впадал в неистовство — то безудержно шарады сочинял, то изобретал палиндромы, то составлял анаграммы. Про себя говорил не без гордости, что у него «лингвистическая шизофрения». Особенно ему удавались анаграммы. Предмет его интересов составляли Ф. И. О. известных людей, а также его знакомых. Манипулируя буквами с легкостью заправского престижжигитатора, Григорьев преобразовывал полные имена в словесные формулы, часто напоминающие пророчества и лозунги. Брал он, например, сочетание из трех слов ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ ЧЕРНОМЫРДИН и, переставив все буквы — ни одной не убрав, ни одной не добавив, — получал выражение опять же из трех слов: ПРОСМЕРДИТ ВЕТЧИНА РЫНОЧНИКОВ. Думаю, даже сегодня никакой суперкомпьютер на такое не способен. Определенно, мозги Григорьева были какие-то особенные. А это? ЕГОР ТИМУРОВИЧ ГАЙДАР — ГРАМОТЕЙ И РОДИЧУ ВРАГ. Каково?

Свои опыты он называл «анаграммическими вскрытиями», сам удивлялся их результатам и ликовал, когда получалось красиво. Он воспринял как должное, когда в ноябре 1998 года его дар анаграммиста оказался востребованным. Случилось вот что.

На нашего общего друга, детского писателя Николая Федорова вышли какие-то люди, представлявшие интересы одного из кандидатов на выборах. Надвигались выборы в Законодательное собрание, и кому-то из шести сотен кандидатов, разбросанных по пятидесяти округам города, потребовалась газета. Наверное, газета нужна была многим, но на Федорова вышли люди именно этого кандидата. Федоров тут же обратился к нам: не сообразить ли нам на троих?

Надо сказать, что я к этому времени уже ушел с радио, и Григорьев тоже потерял связь с детской редакцией, — мы были как бы безработные, то есть «на вольных хлебах» (так тогда говорили), и были рады любому заработку, но предложение нас привлекло не только и не столько обещанием денег (даже по тем временам смешных), сколько возможностью творческого приключения, ведь от нас ждали «чего-нибудь оригинального». Мы были рады почудить — и за три-четыре дня эту газету сварганили, благо нам был предоставлен карт-бланш. О, какая получилась газета! Чудо, а не газета! Мы отлично порезвились и отвели душу. Что ни материал — эксклюзивность! Была и статья про «магию анаграмм». Посредством «анаграммического вскрытия» Григорьев демонстрировал мрак и пустоту в «истинной сущности» отдельных политиков, тогда как внутри нашего клиента был обнаружен свет, а это многое значит. (Вот только что прочитал в новостях, что лидеру праймериз республиканцу Трампу помогает собственное имя, означающее «козырь», ибо, пишут, «имя — это судьба»!..)

И другие были находки...

Вообще-то, политический пиар — дело, прямо скажем, не очень благородное, с признаками неизбежного извращения. Но тут моя совесть чиста. И чиста она по двум причинам.

Во-первых, наш кандидат не только не претендовал на победу, но даже не надеялся попасть во второй тур. Не знаю, зачем он вообще участвовал в этой изнурительной борьбе, но задача его была получить место не ниже четвертого-пятого (и с этим он справился).

И во-вторых. Как оказалось, наша газета вообще не предназначалась для чтения, во всяком случае, чтения избирателей. За день до выборов весь ее тираж, упакованный в пачки, лежал еще в дальней каморке подвала, занятого штабом нашего кандидата. Надо полагать, кто-то в штабе просто решил сэкономить на распространении — газету не разносили по домам. После выборов ее просто сдали в макулатуру, если не свезли на

свалку. Достаточно и того, что ее своевременно показали главному ее герою. Он посмотрел и одобрил.

Финт с газетой — не самое абсурдное, что было на этих выборах. Когда я заходил в штаб, мне казалось, что я становлюсь героем пьесы Ионеско.

Да и на всей кампании лежала тень драмы абсурда. Придурковатый цинизм, господствовавший на этих выборах, усугублялся какими-то инфантильными расчетами и придавал всему карнавалу вид трагикомической фантазмагии. Именно тогда обкатывались грязные технологии вроде использования кандидатов-двойников, то есть однофамильцев конкурентов (так, в одном округе — не нашем — в числе семерых зарегистрированных толкались сразу три Мироновых, тогда как «настоящим» мог считать себя только один!). Практиковались и другие фокусы.

Очень ценный опыт для любознательного литератора.

Каждому из нас, посмотревшему на всё это — и Федорову, и Григорьеву, и мне, — мнилось уже, что мы способны сами возглавить любой предвыборный штаб, где бы ни состоялись выборы.

Мне очень захотелось порулить предвыборным процессом, но не где-нибудь, а у себя в голове — иначе сказать, на бумаге.

Нахожу в дневнике запись от 23 ноября (до первого тура еще две недели): «Хорошо бы сварганить роман “Имиджмейкеры”».

И через пять дней — 28 ноября 1998: «Вот как надо: “Дайте мне обезьяну, и вы изберете ее президентом”. — Так и назвать: “Дайте мне обезьяну”».

Тот случай, когда весь роман будет расти из названия. А что до изречения, давшего это название, то его скоро припишут Б. А. Березовскому, только не говорил этого Березовский и не претендовал он на авторство афоризма про обезьяну и президента. Я сам виноват — не нужно было щеголять эффектной фразой и повсеместно рассказывать о своих замыслах. Ладно, не это главное.

С «Обезьяной» я не очень спешил, отвлекали другие дела — надо было доделать «Член общества, или Голодное время».

Как бы то ни было, к лету будущего года сюжет «Обезьяны» в целом сложился. Придумался образ главного героя Виктора Тетюрина, молодого незадачливого литератора, вдруг обернувшегося политтехнологом (время у нас динамичное).

Запись от 14 июля 1999:

«“Дайте мне обезьяну”, первые наброски. Позвонил Федоров: “Что делаешь?” — “Пишу”. — “Жарко писать”. — “И не писать жарко”».

+ 32°, безветрие, за окном долбят асфальт — плохо пишется, грех скрывать. В конце июля мы с Григорьевым поехали в Псковскую область к моим родителям — они жили в деревне. Я донимал Григорьеву своими

идеями, он развлекался сочинением шарад и по любому случаю раздражался экспромтами.

Один из таких экспромтов оказался записанным. Но это уже через день по возвращении в город. Я иду с женой по Литейному, вдруг, откуда ни возьмись, — снова Григорьев! Подбежал и, сверкнув глазами, торжественно продекламировал:

Может, сдуру... А может быть, спьяну
он трясет лохматой бородой:
«Дайте мне, ребята, обезьяну!»
Но гуляет все-таки с женой.

«Запиши», — говорю; он записал. Прелесть григорьевских экспромтов — в сочетании их абсолютной бессмысленности с некоторой бытовой достоверностью. Что ему моя «Обезьяна»? Что «Обезьяне» — Григорьев? Сейчас мне кажется, они уже сами искали друг друга.

В августе моя голова была целиком занята романом, дело дошло до бессонницы. Город заволакивало дымом, горели торфяники.

Одиннадцатого числа новоявленные друиды в Англии разгоняли тучи; у нас тучи разгонять было некому, поэтому обещанное пятидесяти-четырёхпроцентное солнечное затмение мы не увидели. В этот день я совершил литературное преступление: заставил повеситься персонажа второго плана — кандидата Шумилина.

Запись от 13 августа 1999: «Григорьев-анаграммист как представитель “реального сектора” в “Обезьяне”».

Всё! Я поделился с ним новой концепцией.

Я позвал его в «Обезьяну».

В качестве «закадрового» сюжетобразующего героя.

Предложил ему осуществить «анаграммическое вскрытие» моих персонажей — причем «от себя», от своего имени, от своего доброго имени — Геннадий Анатольевич Григорьев.

Сюжетно присутствие Григорьева мотивировалось следующей ситуацией. В одном из городов нашей федерации проходят *элекции* (преимущественно так в романе именуется то, что в других случаях называется «выборами»). Есть персонаж — не главный, но важный — политтехнолог по фамилии Косолапов, серый кардинал блока «Сила и справедливость» (заметим, что в 99-м, когда писался роман, никакой «Справедливой России» еще и в помине не было, а упомянутый «настоящий» Миронов даже не думал, что ее возглавит). Этот Косолапов — сторонник нестандартных технологий. Отчего бы вымышленному Косолапову не посотрудничать с вполне реальным Геннадием Григорьевым, известным знатоком тайн имен? Если Григорьев действительно согласится войти в роман на

правах персонажа, Косолапов будет отсылать ему в Петербург имена, фамилии и отчества своих клиентов для последующего «анаграммического вскрытия» с учетом пожеланий заказчика. Готовый материал в этом случае поступал бы от Григорьева в предвыборный штаб, изучался бы на месте другими персонажами и в соответствии с темой «магия имени» интерпретировался бы в плане извлечения «истинной сущности» того или иного кандидата. Изучение григорьевских анаграмм позволит Косолапову разработать оригинальную предвыборную стратегию для своих клиентов.

Замечу, что место Григорьева в романе изначально полагалось «закадровым», — в явном виде Григорьев не должен был появиться ни разу. Читателям должен быть предложен лишь результат труда Григорьева — его авторские анаграммы. Допускаются информативные разговоры о нем других персонажей. Для них он миф (для всех кроме Косолапова), лицо загадочное и недоступное.

Именно так: для персонажей романа — он миф, тогда как на самом деле он и есть сама по себе реальность, а это они по отношению к нему — выдумка.

Проблема в том, что роман у меня был уже в значительной части написан, сюжет разработан, и я, в отличие от Косолапова, знал, чем всё кончится. Это только в романе должно казаться читателю, что Григорьев совершенно свободно производит свои «анаграммические вскрытия» — по наущению Косолапова, не сильно заботящегося о каких-либо ограничениях, — в действительности (причем буквально — в действительности) от реального Григорьева требовалось встроиться в уже готовый сюжет. Я — как автор романа — ждал анаграмм (хотя бы в первом приближении), отвечающих заданным романским событиям.

Он согласился. Причем с радостью. Он был легок на подъем, но его надо было зажечь.

И всё же одно условие он выдвинул. Я брал на себя обязательство привести в тексте «Обезьяны» номер его домашнего телефона. Зачем? Он был уверен, что читатели романа, восхитившись его необыкновенными способностями, будут звонить ему домой и делать реальные заказы на «анаграммическое вскрытие» своих знакомых (мобильных телефонов у нас тогда еще не было). Да сколько угодно, это же здорово! Публикация домашнего телефона невыдуманного человека вполне отвечала поэтике гиперреалистического творения, каким мне тогда мыслился разрабатываемый роман.

«Мы выпили и заключили сделку», — напишет Григорьев в поэме «Доска» по совершенно другому случаю.

Для начала от Григорьева требовалась анаграмма Ф. И. О. кандидата — лидера блока, причем текст анаграммы должен был содержать что-

то вроде пророчества с намеком на судьбу, счастье, надежду, спасение и — главное! — свадьбу. Дело в том, что по сюжету главный герой романа, молодой писатель Тетюрин, неофит-политтехнолог, следуя неумолимой логике обстоятельств, отчасти им самим созданных, должен был в финале романа — и совершенно неожиданно для себя — вынужденно жениться на этой женщине зрелых лет, своей клиентке (то есть в некотором смысле стать жертвой «рекламной свадьбы»). Моя задача — с максимально возможной убедительностью обосновать заведомо абсурдный сюжетный ход. Задача Григорьева — создать анаграмму с неявным (для читателя) предсказанием судьбы персонажа, отвечающую исходным требованиям. Идеально было бы наличие в анаграмме слова «невеста». Для облегчения задачи имя героини я предложил Григорьеву выбрать самому.

Геннадий Анатольевич активно взялся за дело. «К невесте лучше всего подойдет Анастасия», — сказал он. И исчез на несколько дней.

Запись от 18 августа:

«...Я говорю: “Ты не тяни, анаграммируй моих персонажей, пора тебе входить в роман на правах героя”. Ему эта идея нравится...

Эти дни что-то кружится голова время от времени, и вообще — ощущение какой-то “неправильности”.

Прошла эйфория от “Обезьяны” (очередная волна), и вот вижу: не то».

В моем архиве есть бумажка, подписанная Григорьевым и датированная 25 августа 1998. Заглавие — «Именное анаграммирование героини романа С. Носова». Далее следует предлагаемое имя МАРИЯ АНДРЕЕВНА ЖУКОВСКАЯ и две анаграммы: первая — МРАК УЖАСА! НЕВИННАЯ ДЕВА! РОК!!! и вторая — НЕВИННАЯ ДЕВА САМА... КУРАЖ! РОК!

Признаться, я рассчитывал на другое. С такими анаграммами никакие элекции не выиграть. И где же «невеста»? Не то, не то.

— Ты же Анастасию хотел!

На следующий день Григорьев принес бумажку с Анастасией. Анаграмма была что надо: А НОВАЯ НЕВЕСТА ОНА СПАСЕТ И НАС. Этому соответствовало АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА ОСЕНЕВА.

Другое дело!

Фамилия мне показалась несколько искусственной, и я ради нейтральности чуть изменил: была Осенева, стала Несоева (тоже казалась искусственной, но сейчас гуглю и вижу: люди с такой фамилией есть).

Доселе безымянная героиня, уже оделенная внешностью и биографией, наконец обрела имя, отчество и фамилию.

Теперь мой друг смело проникал в роман. Первое упоминание о нем я вложил в уста Косолапова, устроившего в пятой главе небольшой пикник в городском парке:

— У меня приятель один, — объяснял Косолапов, — большой оригинал, боюсь, у него лингвистическая шизофрения...

— Лингвистическая? Что такое лингвистическая шизофрения?

— Патологическое влечение к игре буквами — например, к поиску палиндромов. Есть такие, которые всё читают наоборот, слева направо. А у этого на анаграммах задвиг. Вот ты когда слышишь слово апельсин, о чем думаешь? Об апельсине. А он думает, что получится, если переставить буквы в апельсине. И получается спаниель. У него дар. Болезненный дар, но для нашего дела чрезвычайно полезный.

Косолапов достал мобильник.

— В Питер звоню. 246—46—77. Хорошо запоминается. Геннадий Григорьев, поэт. Не знаешь такого?

Тетюрин плохо знал современных поэтов.

— Алле! Геша? Узнал?.. Легче на тот свет дозвониться!.. Третий день звоню!.. <...> У меня к тебе заказ, дорогой... Да, да, и ты дорогой, и заказ дорогой, не придирайся к словам, вы все дорогие... — Косолапов показал глазами Тетюину: наливай.

Тетюрин определил по два булька на брата.

— Ну так что, проанаграммируешь?.. <...> Нет, комплиментарно, пожалуйста. Как ты умеешь. Без говна... Достойный человек, наш клиент, без говна анаграммируй!.. <...> Не-со-е-ва... Не-со-е-ва, — повторил Косолапов, — Анастасия Степановна... Так!.. За ночь справишься?.. А ты попробуй. Я жду.

Телефонограмма от Григорьева в предвыборный штаб пришла уже в конце этой главы: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА НЕСОЕВА — А НОВАЯ НЕВЕСТА ОНА И НАС СПАСЕТ. Получалось, в романе запускался технологический процесс в направлении, обратном тому, что было в реальности. Григорьевская анаграмма, воспринятая в штабе как продуктивный слоган, спровоцировала Косолапова, по сюжету романа, на изучение вопроса о возможности рекламной свадьбы его подопечной — А. С. Несоевой — с гипотетическим (еще не назначенным) женихом.

Я со своей стороны позволил переставить слова в анаграмме, но это для рифмы — григорьевский оборот счастливым образом укладывался в стихотворный размер, и мне не стоило труда сочинить несколько четверостиший, уступив авторство одному из персонажей второго плана. Транслируют стихи — по всем агитационным каналам «Силы и справедливости» — уже ближе к финалу романа, когда фантазмагория являет себя во всём своем торжестве:

Ворюги, найдите место!

Возмездие идет!

А новая невеста,
Она и нас спасет!

Великий гнев, как тесто,
Безудержно растет!
А новая невеста,
Она и нас спасет!

В одежде из асбеста
Любой в огонь войдет!
А новая невеста,
Она и нас спасет!

Пусть крепнет марш протеста!
Вперед! Вперед! Вперед!
А новая невеста,
Она и нас спасет!

Как строки манифеста,
Нам ветер принесет:
«А новая невеста,
Она и нас спасет!»

Но довольно. Пора и меру знать.

(Тут я должен заметить в скобках: если кому-то покажется, что григорьевская линия в романе главная, это не так; да и, по большому счету, не о выборах роман, как мне всегда представлялось, — о другом, но не место касаться здесь этих материй.)

Из записи от 5 сентября: «Гена проанаграммировал очередного героя. Будем работать».

На самом деле заказ на этого «очередного» поступил одновременно с заказом на «невесту», но этот мог и потерпеть. Я хотел, чтобы его фамилия была Богатырев, — его должны раскручивать как богатыря. Ранний вариант не был удачным: СТАНИСЛАВ ПРОКОФЬЕВИЧ БОГАТЫРЕВ давал ФАКТ В ПЕЧАТЬ: В РОССИИ ВЫБОР АНГЕЛОВ и СЧЕТ ГИЕН: СКАЛЬП ФАВОРИТА ВЫБОРОВ.

Григорьев сам видел, что это никуда не годится. Тогда он из имени сделал отчество, призвал из космоса «Леонида», и всё у него заиграло: ЛЕОНИД СТАНИСЛАВОВИЧ БОГАТЫРЕВ — это, представьте: И НИВА ВЕНЧАЕТ БЛАГОРОДСТВО СИЛЫ, — неплохо, неплохо. Вторая анаграмма еще лучше: СЛАВА ЛОГИЧНО ВЫБИРАЕТ ЕДИНСТВО!

Эта вторая, исполненная Григорьевым, застала моих «креативщиков» по дороге на очередной пикник, — анаграмма их потрясла.

«Не мистика ли? Этак действительно можно подумать о предопределении». Конец цитаты.

Но и после первой (про «благородство силы») — тоже:

— Знаете, Рита, я пробовал, — Тетюрин сказал, — но у меня не получилось, это дьявольски трудно. Когда сами попробуете, поймете, какой это феномен.

— Богатырев — феномен?

— Григорьев!

Спасибо Григорьеву: кандидат Богатырев наконец обрел имя и отчество, как будто у него они были такими с рождения.

Но тут что-то случилось с Григорьевым, мой друг уже не мог остановиться. Он сообщал мне анаграммы одну за другой. Он прислал мне странную, какую-то алкогольную анаграмму: ДОЛОГ БЫВАЕТ В ЧАС ОСЕНИ ЛИТР ВИНА, — он беспокоился за ее судьбу, боялся, что я забракую. Я обещал переправить ее в штаб, в роман — пусть там разбираются. Тогда Григорьев послал мне нечто совершенно упадническое, пораженческое — нечто такое, что должно было сильно испугать политтехнологов из «Силы и справедливости»: ГАДЫ! СВОЛОЧИ! НЕТ СИЛ В БИТВЕ... РАНА!

И это всё из одного исходного Ф. И. О.! Не знаю, чем так достал Григорьева этот Леонид Станиславович Богатырев, но скоро я получил еще две анаграммы — одна непристойней другой. Привести их здесь означало бы обречь данное печатное издание на продажу запаянным в полиэтилен, с грифом 18+. Сейчас так нельзя, а тогда было можно. Тогда и маркиза Де Сада издавали массовым тиражом.

А и хорошо! Пусть они в штабе забеспокоятся, пусть их охватит легкая паника. Пусть они начнут уничтожать списки компрометирующих анаграмм, стирать их из электронной памяти, пока не попал этот убийственный компромат в руки соперников. Пусть гадают, что происходит с маэстро. Не работает ли на конкурентов Григорьев? Не перекупили ли его враги «Силы и справедливости»?

Он еще придет на свадьбу Несоевой разнузданную анаграмму, касающуюся Ф. И. О. ее жениха, и этот свадебный подарок поставит в неловкое положение тамаду, вынужденного в позитивном духе интерпретировать сюрреалистический текст, но сейчас я боюсь впасть в пересказ «Обезьяны».

Скажу только, что Косолапов, желая прекратить отношения с Григорьевым, будет звонить ему в Петербург, но нарвется на автоответчик, произносящий голосом своего хозяина:

Наш поэт-антисоветчик
вышел выпить-погулять.
Я его автоответчик.
Что поэту передать?

У Григорьева действительно был такой автоответчик. Сейчас я жалею, что в романе ограничился только этим катреном. В реальности григорьевский автоответчик продолжал:

Он хороший человек.
На него управы нет.
Должен лишь автоответчик
за него держать ответ.

Ну а как же телефонные заказы? Много ли их было?
Ни одного.

Но однажды был один странный звонок.

Григорьев мне рассказывал, как ему позвонили ближе к ночи уже. «Нельзя ли попросить Геннадия Анатольевича Григорьева?» — «Это Григорьев», — ответил Григорьев. Последовала пауза. «Так вы действительно существуете?» А дальше — гудки.

Григорьев действительно существовал и действительно существует.
В действительности, а также за ее пределами.

Орфография

К сожалению, меня очень редко спрашивают, как я написал ту или иную книжку. Обычно мне задают другие вопросы, причем почему-то в третьем лице: «Как он посмел?» — или «Зачем он это сделал?». Потом всё постепенно становится на место, но в первый момент как-то грустно. Поэтому, хотя автор автокомментария всегда забавен, я не могу устоять, когда меня всерьез спрашивают про «Орфографию».

Этой «опере в трех действиях» повезло в читательском мнении больше, чем другим романам: наверное, дело в том, что она традиционней, и герои ее — те, у которых были прототипы, — узнаваемы. Читателю это льстит. Я придумал «Орфографию» году, кажется, в девяносто восьмом, когда прозы еще не писал и вообще не думал, что когда-нибудь возьмусь за эту историю. Дело было на питерском конгрессе фантастов «Странник», куда меня контрабандой провезли Успенский и Лазарчук. Я поучаствовал стихами («Черной тетрадь» Гумилева) в их культовом романе «Посмотри в глаза чудовищ». По странному совпадению, именно сейчас мне приходится по заказу питерского издательства писать мемуар о том, как я работал Гумилевым, в качестве предисловия к очередному, юбилейному переизданию этой книги, которую тоже почему-то сразу полюбили больше всех их прочих сочинений.

И вот они позвали меня на «Странник», и там я познакомился с давно любимыми Евгением Лукиным, Далией Трускиновской и Андреем Измайловым, повидался с Лукьяненко, Столяровым, Рыбаковым, которых знал давно, а главное, страшно сказать, разговаривал с Борисом Стругацким. Стругацкий никогда не казался мне человеком — всегда сверхчеловеком, люденем, как они это называли. Вообще концент-

рация интеллекта и творческой энергии на «Страннике» была такова, там кипели такие споры о действительно важных вещах и выдумывалось столько новых сюжетов, что я всегда уезжал оттуда с запасом свежих идей. И вот на какой-то дискуссии о ближайшем будущем — о чем еще спорить фантастам? — я подумал: что, если в рамках всеобщего упрощения (тогда оно уже было очевидным) будет полностью отменена такая лишняя, казалось бы, условность, как орфография? В газетах уже повсюду путали «тся» и «ться», и школьники были пугающе безграмотны (не то что нынешние, странным образом поумневшие). Я подумал: что мешало большевикам отменить не только ять и ер, но и правописание как таковое? Живет же Белоруссия (куда я как раз незадолго ездил в командировку брать интервью у Василя Быкова) с фонетическим принципом, и ничего! — а возможно, что очень даже чего, и многие ее последующие беды происходят как раз из-за этого, «как слышится, так и пишется»... Что получилось бы дальше? Огромное количество специалистов, «грамматиков и риториков», сразу оказалось бы ненужным. Советская власть предоставила бы им общежитие наподобие Дома искусств и взяла на гособеспечение. Ведь писатели тоже были не слишком нужны в 1919 году, и им благородно дали место, где они могли ночевать и питаться в относительно тепле, плюс паек за чтение никому не нужных лекций. А «Всемирная литература», про которую Замятин писал «Смешные в снарядах затеи»? Естественно, в этом грамматическом общежитии интеллигенция сразу бы раскололась — это ее главное занятие, — и начались бы интересные коллизии, которые тогда еще казались важными. А может, и были важными, — не навсегда же всё обесценилось.

Поскольку восемнадцатый год, в особенности первая его половина, был мне всегда интересней всех других периодов русской, а то и мировой истории, — сюжет мне очень понравился, но братья за него тогда я не рискнул. Вдобавок, когда я начал его пересказывать Успенскому, Лазарчуку и Кубатиеву, — мол, это будет экзерсис на тему «Кто не хочет соблюдать тонкие ритуалы, будет соблюдать грубые», — они по общему фантастовскому обыкновению немедленно назвали мне штук двадцать текстов, где имелись подобные ходы, а Кубатиев, профессиональный преподаватель западной литературы, помнится, сказал, что это в духе Клейста (имея в виду, вероятно, «Михаэля Кольхааса» с его темой закона). Я честно сказал, что у Клейста читал только пьесы, и то плохо их помню, на что Кубатиев железным любезным голосом сказал: «Это ничего не говорит нам о Клейсте, но многое о тебе». Потом он полночи пересказывал «Землетрясение в Чили», да так хорошо, что при чтении оно меня разочаровало.

Год спустя так получилось, что писать прозу я все-таки начал: у меня давно был придуман сюжет «Оправдания», я не решался за него братья,

но тут мы с женой и годовалым сыном поехали на дачу на новых «Жигулях» (я на них и до сих пор езжу), и уже на даче я обнаружил, что пропорол колесо. Это было ужасно обидно, я стал его менять, не умел пользоваться домкратом, расцарапал в результате дверь (хотя запаску поставил) — и, короче, проникся таким отвращением к себе, что должен был срочно поднять настроение. В результате я там же, в Чепелеве, стал писать первый роман и за первый день настрочил на почве ненависти к себе страниц двадцать. В голове у меня, в общем, эта книга была почти готова. Так я понял, что глаза боятся, а руки делают, и вскоре после публикации «Оправдания» в «Вагриусе» взялся за «Орфографию». Мой первый роман ругали так, что на него обратили внимание французские издатели, и это несколько добавило мне куражу.

Летом 2001 года я занялся, что называется, привязкой к местности — или, как это гордо называется в кино, освоением природы. Идея разместить коммуны ненужных профессоров в Елагином дворце пришла мне давно, поскольку сам Елагин дворец я любил страстно, и Масляный луг с его болотистым запустением мне ужасно нравился, и сам Елагин остров с уцелевшим по сию пору Парком культуры представлялся прекрасным заповедником, точкой вне времени. Впервые я попал в Елагин дворец с Нонной Слепаковой, своим любимым поэтом и литературным учителем. Слепакова была, вероятно, самым близким мне человеком после семьи. С ее смертью в августе 1998 года отвалилась огромная часть моей жизни, эту брешь до сих пор нечем заполнить, и только посильное участие в издании ее наследия да дружба с ее мужем Львом Мочаловым помогает мне кое-как справиться с этим зиянием.

Слепакова меня привела во дворец зимним мягким днем, на грани весны, когда уже подтаивало, и как-то вышло, что в музее никого не было, и, показывая мне угловую комнату, она сказала: «Разбогатеешь, выкупишь дворец и в этой комнате поселишь меня». Разумеется, она никогда всерьез не думала, что я разбогатею, и в одну из наших прогулок по Елагину острову, как раз в Парке культуры, на скамейке у воды сказала: «В лучшем случае из тебя получится такое же говно, как я». Я принял это за посвящение в настоящие ученики и даже где-то в собратья. «Хорошо, Мажесте, — сказал я тогда во дворце, — именно здесь вас и поселю». Слепакову в кругу учеников — весьма многочисленных и очень ей преданных — принято было называть *Majesté*, или Величество. Она никогда не королевилась, но ставила себя строго.

И в июне я поехал в Питер, на Большую Зеленину, к Слепаковой домой, где ее уже не было, но всё было как при ней. Мочалов — ему было семьдесят три — работал тогда над своей фундаментальной «Историей натюрморта», а я проводил время то в газетном зале Щедринской библиотеки, где незаменимый Никита Елисеев снабжал меня периодикой

1918 года, то на Елагином острове, где мысленно размещал профессорскую коммуны и подземный ход, связывавший ее, по замыслу, с Каменным островом. Первые куски «Орфографии» были написаны именно во время этого двухнедельного пребывания в летнем Петербурге, во время прозрачной нежной жары, и это время мне помнится как очень счастливое. Быта, правда, не было никакого: дочь Мочалова от первого брака, прекрасная Маша, была то на работе, то на даче, никто нас не кормил, и к вечеру начинались мечтания о том, как хорошо было бы хоть пообедать, но отрываться от работы не хотелось; в конце концов нас спасал кто-нибудь из мочаловских учениц, являвшихся проконсультироваться, приносился скромный ужин и белой ночью съедался, — или, устав пререкаться, кому идти в магазин, мы вместе спускались в ближайшее «мини-кафе», имевшее домашнее название Минетка. С Мочаловым обсуждались и проговаривались сюжетные ходы, и в благодарность ему главный профессор Елагинской коммуны был списан с него (по аналогии «Мочалов — Хмелев», два трагических актера, он был назван Хмелевым; Граф, каковая кличка преследовала Мочалова, — он в самом деле очень аристократичен, — себя, разумеется, не опознал).

Важной составляющей «Орфографии» был бурно развивавшийся тогда скандал вокруг НТВ, в котором, по моему тогдашнему и нынешнему убеждению, невозможно было занять честную позицию, поскольку все — включая сотрудников канала — были заложниками ситуации. Канал НТВ никогда не нравился мне. Большинство воспитанников той школы успешно нашли себя в телепропаганде путинских времен. Сейчас не время выяснять отношения, но я от своих тогдашних кусков не отрекаюсь, хотя и с противниками НТВ у меня не было ничего общего. Главная коллизия «Орфографии» была не только в отмене условности и упразднении сложности, но еще и в полном запрете на любую объективность: те, кто составлял Елагинскую коммуны, и отколовшиеся от нее обитатели Прилукинской дачи (якобы продавшиеся большевикам, а на деле просто не желавшие погрязнуть в ретроградстве) были одинаково обречены. Как всегда бывает, в противостоянии двоих — в сущности, неотличимых — победили третьи, те самые, кого в романе называли темными. Этим темным — которые «завелись в городе, как черви в трупе» — мы сейчас и наблюдаем почти повсеместно.

Крымская часть — «Второе действие» — нравилась мне особенно и сочинялась с наслаждением, поскольку Крым — теперь для меня закрытый и, в общем, потерявший всё свое очарование — я всегда любил даже больше, чем Петербург, и каждое лето до известных событий проводил там, ездя всё с тем же Успенским на тех же самых «Жигулях» в тогдашний полуразрушенный, но кое-как выживавший Артек. Старший вожакий, главный воспитатель и любимый режиссер Артека, Владимир Ваг-

нер, любимый мой друг, умер в двухтысячном году сорока трех лет от роду. Он был толст, как честертоновское Воскресенье, и так же великолепно щедр, и так же праздничен. И без него моя жизнь тоже страшно редуцировалась, сократилась, и с этим зиянием тоже ничего не поделаешь. Обоим — Слепаковой и Вагнеру, которые были главными людьми в моем Петербурге и в моем Артеке, — я попытался подобрать в «Орфографии» новые роли: Слепакова действительно была поселена в угловой комнате в образе красавицы Ашхарумовой, а Вагнер был описан под именем оперного певца, авантюриста, очаровательного толстяка Мари-нелли, оказывавшегося — впрочем, неважно.

Читая подшивки «Речи», я нашел себе и протагониста — петербургского прозаика-фантаста и весьма прозорливого публициста Виктора Ирецкого, умершего в эмиграции (часть его архива с двумя неопубликованными фантастическими романами лежит в Москве, я подумываю, как бы их издать, и со временем попытаюсь это сделать). Из Ирецкого был сделан Ять (внешность его и манеры я позаимствовал у другого любимого друга, критика и документалиста Андрея Шемякина, чья молодая — студенческая — фотография напоминала мне Ятя с самого начала). Прочие персонажи расшифровываются легко: тех, кто пользовался псевдонимом, я этим псевдонимом и обозначал (так Горький превратился в Хламиду), а остальные зашифрованы более чем прозрачно: Чернолуский, Мигулев, Несеин (простая перестановка слогов), Корабельников, Мельников (метонимия), Грэм (Грин — вместе получается английский писатель), Барцев (некое сходство с Бахтеревым), Фельдман (Горнфельд — хотя отчасти и Гершензон). Борисов внешне и интонационно напоминает другого моего учителя, Николая Богомолова, а эсер Свинецкий списан с моего друга и коллеги Владимира Воронова (хотя, когда в нем видят Савинкова, я не возражаю).

Сочинение этого романа было процессом весьма трудоемким, но неизменно радостным. Я написал его, как сейчас понимаю, довольно быстро — с августа 2001 года по май 2002; было запланировано вручить его в полном виде Графу на день рождения (24 мая, как у Бродского), но я не успел дописать три главы и вручил толстую стопку листов без них, с кратким пояснением, что там должно происходить. Дописаны эти главы были уже в Артеке, в местной типографии, с которой я дружил и в которую меня пускали поработать на компьютере. Типография размещалась в подвале дворца Суук-Су, и там-то в первых числах июня дописана была последняя глава. Происходило это так: я печатал, а мои артековские друзья — спортивный инструктор Танька Ястребова, сотрудники пресс-центра Андрюха Апалинский и Сергей по кличке Чиж — готовили скромное застолье по случаю окончания романа. Тут же, в типографии, предполагалось распечатать его полную версию, страниц шестьсот. В бла-

годарность за многолетнюю дружбу и содействие я вставил всех троих в ту самую главу, которую дописывал, и в романе появилась предводительница балаклавских анархистов Ястребова. Меня торопили, уже готовилась «Кровавая Мэри» по артековскому рецепту — то есть водка с острым соусом «Южный», — причем пился, по артековскому обычаю, еще существовавший тогда пятидесятиградусный «Первак».

В восемь вечера я наконец поставил последнюю точку (эта глава не в конце, а где-то в середине второй части), и мы уселись праздновать. Машина тем временем распечатывала роман. Напились мы довольно сильно, поскольку и закуски не было, кроме сыра и зеленых слив, и часов в одиннадцать я нетвердо направился наверх, в гостиницу «Адалары», неся в пакете тяжелую стопку бумаги. По дороге я громко разговаривал с опунциями, агавами и звездами. Как выяснилось потом, Ястребова с компанией, не доверяя моим шатким ногам, шли следом и издали за всем этим наблюдали. Это тоже помнится мне как абсолютное счастье.

Дальше я примерно неделю сидел с этой бумажной версией и правил ее в открытом кафе «Кристалл», которое потом снесли ради строительства вечно пустующей гурзуфской гостиницы на берегу, — «Кристалл» был прототипом кофейни Пастилаки, которую в романе тоже уничтожили. Хозяева «Кристалла» относились к моему труду уважительно и за счет заведения кормили окрошкой на кефире. После этого роман был отослан в «Новый мир» (куда не мог поместиться по определению, даже в виде избранных глав), в «Вагриус» и Борису Кузьминскому для ознакомления. Он издавал тогда серию избранной — по собственному вкусу — современной прозы. С Кузьминским у меня были отношения непростые, но роман ему вдруг понравился, и он собрался издавать его в двух томах, но тут решительно поссорился с издательством, в котором служил, и это издание не состоялось. В «Вагриусе» книжка сначала не понравилась, но постепенно Елена Шубина вчиталась и решила, что при некотором сокращении (улетела примерно четверть) «Орфографию» можно издавать. Вместе с давней подругой и коллегой Галиной Беляевой они виртуозно вычистили из романа всё лишнее, я для читательского удобства обозначил любимые места **болдом**, а необязательные для сюжета, но важные для смысла места — курсивом.

Из сокращений мне жаль только некоторые места про мальчика, которые несколько поясняют смысл этой линии, которая в результате стала не то чтобы загадочной, но недоговоренной. Мальчик для меня олицетворял... опять же неважно, впрочем, что он для меня олицетворял. Но однажды, когда я выгуливал собаку на стадионе около дома, — уже год спустя после выхода «Орфографии», — ко мне вдруг подошел серьезный молодой человек и спросил, что в «Орфографии» означает мальчик. Он был такой симпатичный, серьезный и уважительный, что я и теперь ду-

маю, будто он мне пригрезился. Я попытался ему путано объяснить, что мальчик — это как бы русское христианство, то есть... там, короче, было довольно много про отца и сына, и про отца Ятя в частности, но восстановить всё это в новом издании невозможно, поскольку старый компьютер, где хранился полный текст, безнадежно испортился. Да и кому всё это нужно теперь. Александр Агеев, с которым у меня тоже были непростые отношения, сказал общим знакомым, — а они передали мне, — что «Орфография» — роман хороший, но никому уже не нужный, потому что ничего спасти уже нельзя. Золотые слова.

В марте 2003 года «Орфография» вышла, получила наиболее престижную в моем понимании премию — семигранную гайку Стругацких — и отзыв Бориса Натановича: «Дима, вы наш». Больше мечтать не о чем. Признаваться в любви к своей книге, в общем, не такой уж дурной тон, потому что люблю я не свой труд и не свои мысли, а те места и тех людей, которые в этой книге остались и ради которых она сочинялась. Ни этих людей, ни той страны, в которой важна была проблематика этого романа, больше нет и никогда не будет, а вместе с ними ушло и почти всё, что я тогда умел. В нынешнем моем состоянии я, конечно, не написал бы эту книгу, а главное, что даже если бы написал, — ее никто не прочитал бы. Впрочем, никакой упадок не вечен. Вслед за упадком может наступить еще более полный распад, когда и текст вроде этого уже покажется мне чем-то недостижимым.

Танкист, или «Белый тигр»

Начну с детства: сколько себя помню, всегда увлекался историей войн. Привычке своей не изменил и в зрелости. Преподавая историю в Нахимовском училище, с целью хоть как-то увлечь нахимовцев прошлым России, предложил им собирать модели образцов военной техники. Предложение получило неожиданное одобрение со стороны подопечных. Кто-то взялся за самолеты, кто-то за корабли, но большинство почему-то заинтересовалось танками Второй мировой. Так что после занятий вечерами начиналась активная «клейка» танков, в которой и ваш покорный слуга принимал самое непосредственное участие. Подобное времяпрепровождение вскоре превратилось для меня в настоящую хобби. Тем более, что в 90-е годы в магазинах продавалось огромное количество моделей немецких и советских машин — в том числе «тигров» и «тридцатьчетверок» различных модификаций, — и стоило всё это достаточно дешево — как говорится: «клей, не хочу». Одновременно с покупкой моделей я не скупился на книги по танкостроению, использованию танков в боевых условиях и т. д., и т. п. И, надо сказать, за несколько лет собрал довольно обширную библиотеку. Так, постоянно читая и постоянно клея, вскоре довольно-таки поднаторел в специфических знаниях, касающихся танков Великой Отечественной, — что, думаю, неудивительно...

Однажды, собирая очередной «тигр», представил себе, как на Курской дуге из обуглившейся «тридцатьчетверки» достают чудом выжившего танкиста. Он начисто лишен памяти и забыл прошлое — но только имя чудовищного врага уже никогда не забудет. Этим врагом для него является проклятый «Белый тигр», неуловимый немецкий монстр, а вообще-

то — порождение самого ада. Я увидел своего героя обожженным, страшным на вид человеком, которого все считают безумцем, но который научился разговаривать с танками и чувствовать их. Ему я противопоставил механическое чудовище, супер-робота, inferнальное зло. Вспомнился «Моби Дик». Безумному капитану Ахаву противостоял чудо-юдо-кит. А моему безумному танкисту Ивану пусть противостояит не менее огромный и загадочный танк. И пусть, словно Ахав за китом, мой герой гоняется за тем танком по всем фронтам великой бойни. Так зародился замысел, и мне самому он понравился.

Кое-какой литературный опыт за плечами подсказывал: всё дело в символе. Удачный символ — девяносто девять процентов успеха. Есть еще одно условие, без которого нельзя писать книгу. Дело в том, что литература, какой бы сложной она ни была, должна оперировать категориальными парами понятий «добро — зло», «белое — черное»... И здесь всё оказалось в порядке. Есть сгоревший и восставший из мертвых герой-танкист, есть его антипод — тот самый пресловутый нацистский танк. И символ, и категориальная пара были найдены. Теперь оставалось решить второстепенные, но не менее важные задачи. Захотелось создать именно сагу о войне, легенду (наподобие легенды о Тиле или о Моби Дике) и обильно насытить ее мистикой. А сага и миф в истории всегда переплетаются с действительностью. Вот почему я, «не дрогнув ни единым мускулом», решил «вклеить» Ваньку и «тигра» в реальные события Второй мировой. Здесь пригодились и книги, и Интернет. Исторические знания всегда тем хороши, что ими можно щедро насытить любое повествование, а уж что касается «Белого тигра» — тут сам Бог велел: в ход пошли воспоминания ветеранов, которые я приспособлял к тексту, тактико-технические данные техники, нашей и немецкой, сведения о тактике и стратегии применения танковых масс и так далее, и тому подобное — благо, всё это было под рукой (исторической и мемуарной литературой сейчас наводнены прилавки всех книжных магазинов)... Что касается сверхъестественных способностей Ваньки и «танка», конечно же, мои главные герои на протяжении всей книги неустанно демонстрировали все качества сказочных персонажей — были неуязвимы для пуль и снарядов, перелетали по воздуху, эпически сражались (с утра до ночи) и вообще совершали массу вещей, неподвластных простым смертным (поэтому позднее забавно было выслушивать негодования некоторых критиков по поводу того, что «подобного быть не могло», что «автор всё наврал» и прочее).

Таким образом, что касается источников, окружавших меня в огромном количестве, — я не стеснялся компилировать — и брал, брал, брал — можно сказать, черпал горстями информацию, насыщая данными свое повествование о Безумном Ваньке и о его охоте. Вымысел я щедрым сло-

ем «намазывал» на правду, постоянно сталкивая Ваньку и «тигра» с такими историческими персонажами, как Жуков, Катюков и Рыбалко, неустанно помещая героев в центры реальных сражений на реальных фронтах Великой Отечественной, отдавая себе полный отчет в том, что пишу легенду, а не исторический очерк — следовательно, имею право на неостановимую выдумку, как имел на нее право любимый мной Николай Лесков, когда писал «Левшу», или Андрей Платонов, первым подошедший к теме Отечественной войны с точки зрения былины, легенды, мифа и попытавшийся создать *именно* былинного персонажа в своих военных рассказах (и, увы, многими тогда не понятый!).

Кроме Ваньки и «тигра», я постарался создать еще несколько символов. Так, экипаж героя состоял у меня из *духов* войны. Заряжающий Бердыев — *дух пьянства*, без которого ни одна война в истории человечества не обходится. А наводчик Крюк — *дух откровенного мародерства и насилия* — тоже постоянных спутников любой катастрофы. Таким образом, и Ванька, и его экипаж, ко всему прочему, виделись мне еще и этими всадниками Апокалипсиса.

Конец романа сделал открытым. Война завершилась, однако «тигр» остается. Ванька продолжает охоту, выходя уже за «исторические рамки» повествования и вслед за своим врагом перемещаясь в иные, мистические сферы вечного бытия (можно сказать, на небо), где до Второго пришествия будет идти непрекращающаяся битва добра со злом.

Лихорадочная работа с текстом продолжалась чуть более года. Не скрою — мне был крайне интересен опыт перенесения эпоса на события Великой Отечественной, опыт создания легенды о бессмертном танкисте и его бессмертном же (как, увы, и сама война) механическом противнике. В жертву этому замыслу и были принесены многочисленные исторические труды, которые я использовал для написания «Белого тигра», создав из них своеобразный микс, симбиоз правды и вымысла. Что получилось в итоге, конечно, судить не мне...

Идеология и поэтика (о романе «Люди в голом»)

Томас Стернз Элиот, рассуждая в своих программных эссе о сущности поэзии, использовал термин «sensibility»,¹ который на русский язык переводили как «чувствительность», «восприимчивость». На самом деле Элиот имел в виду «мировидение» или, скорее, «мирочувствование», которое подразумевало наличие у поэта не абстрактной религиозной, философской или эстетической схемы, а, скорее, инстинкта, формировавшего все уровни произведения, его логику. Наличие «sensibility», генерирующего поэтику и образную систему, придает произведению целостность, обеспечивает нерасторжимость его частей, делая формальный инстинкт интеллектуальным, религиозно-философским. Элиот полагал, что произведение строится эстетическими задачами, подобно своей логике, а не логике, например, философских идей. Чистая, неэстетизированная философия, по его мысли, ослабляла художественное произведение. За это от Элиота досталось не только П. Б. Шелли и Байрону, но даже Гете. «У Гете, например, — пишет Элиот, — я очень остро ощущаю следующее: “вот — то, в чем был убежден Гете-человек”, вместо того, чтобы погружаться в мир, созданный Гете...».²

Произведение искусства — самодостаточный мир, а не иллюстрация идеи. Именно с этой установкой следует приступать к созданию текста. Изначальный инстинкт должен быть эстетическим, однако его осуществление будет сильнее, если он сопряжен с некоей философской или религиозной

¹ *Eliot T. S. Selected Essays.* London, 1963. P. 488—491.

² *Ibid.* P. 258.

системой. И чем быстрее сложится эта система, тем скорее для автора наступит зрелость и этап подлинного, а не юношеского творчества. Подобными проблемами разрыва интеллектуального и формального терзался и такой известный автор как Генри Миллер. В 1920-е гг. он сложился как интеллектуал, но не находил адекватного языка для самовыражения. Его эстетический инстинкт еще не сложился. Размышляя, рассуждая, как ученик Бергсона, Ницше, Шпенглера, он как художник оставался заложником схем классической реалистической прозы. Только в возрасте 40 лет, познакомившись с текстами представителей авангарда, Миллер сумел соединить в единое целое интеллектуальные и формальные усилия и написать свой первый зрелый роман.³

Я приблизился к каким-то внятным соображениям относительно мира и человека ближе к середине нулевых, в относительно зрелом возрасте. Это были убеждения человека, когда-то любившего американский либерализм эпохи прогрессизма⁴ и разочаровавшегося в российских либеральных реформах 1990-х, построенных на идеологии «старого», классического, социал-дарвинистского либерализма. Я тяготел к левой мысли. Читал тексты Кропоткина, Эммы Гольдман, Маркузе, Боба Блэка, Сартра, Камю, Фуко. Человек виделся мне задавленным репрессивной культурой, отчужденным от своего бессознательного, от наслаждения, от своего «я». Общество — построенным на антисоциальных, неправильных и несправедливых законах, схемах, подчиняющих себе живую, полнокровную реальность. А сама реальность казалась мне абсурдной, увертливой, не собирающейся в систему и уклоняющейся от больших нарративов. Наверное, поэтому мои первые литературные опыты были связаны с сочинением коротких заметок, анекдотов, где присутствовал не фантастический абсурд, а своего рода абсурд повседневности. Мирозидение, связанное с абсурдом, удачно укладывалось в жанр анекдота. В анекдоте жизнь становилась единичной, странной, абсурдной, смешной, а вещи, явления и люди — вырванными из большого культурного контекста.

В 2004 г. я впервые попробовал шагнуть за рамки анекдота и сочинил первую часть романа, который, в моем представлении, должен был называться «Архипелаг Детства» и намекать читателю, знакомому с книгой Солженицына, что детство — далеко не нежный, благословенный райский возраст, как полагали романтики и американские трансценден-

³ *Ibargüen R. R. Narrative Detours: Henry Miller and The Rise of New Critical Modernism: A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Yale University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy. Yale University, 1989. P. 103.*

⁴ См. об этом: *Согрин В. В. США в XX и XXI веках: Либерализм. Демократия. Империя. М., 2015. С. 25–26.*

талисты,⁵ а самый тяжелый период человеческой жизни, когда ребенка загоняют в психологический лагерь, калечат, утрамбовывают. Именно этот момент я и пытался зафиксировать — момент, когда сознание вот-вот перестанет быть чистым, непосредственным, свободным. Эта часть книги имела общий сюжет, состоящий из анекдотических сцен и наблюдений. Реальность в ней выглядела абсурдной, смешной, настоящей, единичной, странной, увиденной наивными глазами клоуна-ребенка, не вписавшегося в культуру, в обстоятельства, не умеющего приспособиться под общечеловеческие смыслы. Я попытался слегка нарушить причинно-следственные связи, придумать новые, обнаружение которых принесло бы читателю удовольствие. Центральный мотив — предельная обнаженность человека, доведение его до состояния скелета. Человек захвачен в его изначальном, невинном состоянии и беззащитен перед репрессивной культурой. Отсюда и окончательное название книги — «Люди в голом».

Вторую часть книги я написал спустя год. Здесь герой сильно переменялся, испортился. Культура проникла в него, заразив своими неприятными свойствами. Эти свойства связаны с идеологией «дикого» капитализма, построенного на самой примитивной версии либерализма. Описываются 1990-е — эпоха свободы, в которой человек старается выжить за счет другого, эксплуатирует другого, паразитирует на другом. Богатые паразитируют на подчиненных, подчиненные паразитируют на тех, кто статусом ниже, а последние стараются приспособиться к богатым и исподтишка паразитировать на них. Именно в этот круговорот оказывается вовлечен главный герой, попавший в богемную кампанию, которая устраивает свои застолья за счет некоего богатея Толика.

Интонация этой части текста совсем не похожа на интонацию первой части. Если в первой части я ориентировался на традицию Ш. Андерсона, Дж. Сэлинджера, К. Воннегута, т. е. на слегка аскетичный, абсурдный стиль, и потому проза выглядела фрагментированной, то во второй части аскетизм уступил место нарочитому многословию, пространным эстетическим рассуждениям, афоризмам. Во второй части возникает литературная игра, построенная на работе с готовым словом, с цитатами из произведений, принадлежащих высокой и массовой культуре. Среди цитируемых авторов — Ж. М. Эредиа, Ш. Бодлер, О. Мандельштам, Ницше, Чехов, Бродский, Ахматова, Аркадий Бартов, А. Городницкий, И. Корнелюк и др. Цитаты мирно сосуществуют, перемешиваются, вырастают одна из другой, так что становится непонятно, где тут великое искусство, а где вторичное. Здесь, в этой части, предельно усилена рефлексия. Авто-

⁵ Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996. С. 64–66.

ра больше интересует, как, по каким схемам рождается текст, из чего, из каких источников и жанров он собирается. Сама история — хулиганская разборка в духе 90-х — автора интересует много меньше. Важнее — обстановка, обстоятельства, само письмо, вырывающееся на свободу и уже не подчиняющееся автору. Это рассказ не только о повзрослевшем неудачнике, но и том, как на свет появляется писатель. В духе идеи Ролана Барта — когда в произведении поставлена последняя точка.⁶

Однако, наверное, главной целью автора было представить читателю правдоподобный текст и вызвать у него ощущение достоверности, документальности происходящего. И в то же время — заставить его оглянуться окрест и осознать, что не только литература напоминает жизнь, но и сама жизнь похожа скорее на литературу, и найти границу между ними совершенно невозможно.

Список использованной литературы

Барт Р. Избранные работы. М.: «Прогресс», 1994. 616 с.

Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.: «Аxiома», 1996. 232 с.

Согрин В. В. США в XX и XXI веках: Либерализм. Демократия. Империя. М.: «Весь мир», 2015. 592 с.

Eliot T. S. Selected Essays. London, 1963. 516 p.

Ibargüen R. R. Narrative Detours: Henry Miller and The Rise of New Critical Modernism: A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Yale University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy. Yale University, 1989. 379 p.

⁶ *Барт Р.* Избранные работы. М., 1994. С. 384—391.

Зулейха открывает глаза

Роман этот начался с одной сцены. Женщина — уже не молодая, но еще и не старуха — стоит перед большой картой Советского Союза и медленно осознает, что всё это — ее страна. Что недельный путь в санном караване из родной деревни в столичную Казань на этой карте — короче ее пальца. А многомесячное путешествие по железной дороге из Казани в Красноярск — длиной с ее руку. Так, через соотнесение с собственным телом, она впервые в жизни задумывается о величине мира и о количестве людей, его населяющих... Тогда я еще не понимала, сколько этой женщине лет, куда ее везут и с кем. Знала лишь, что зовут ее Зулейха и что едет она не по своей воле, в ссылку. Я записала эту сцену — на кухне, в ночи, когда домашние уже спали.

Спустя пару недель перечитала. В коротком тексте было что-то живое, какое-то обещание. Так случается не всегда, к сожалению: иногда собственные тексты при возвращении к ним оказываются холодными, мертворожденными. А этот — жил. Более того, захотелось дописать несколько строк: Зулейха неожиданно дала понять, что ее разъедает страх — не за себя, а за маленького сына, которого она не то родила недавно, не то вот-вот родит... Мысль о том, чтобы написать о раскулаченной крестьянке — рассказ, повесть? — возникла и осталась висеть где-то в закоулках сознания, с большим вопросительным знаком.

Раскулачивание — часть истории моей семьи. Бабушку по материнской линии, Раису Шакировну Шакирову, в семилетнем возрасте выслали вместе с родителями в Сибирь, на Анггару. Там, в таежном трудовом поселке Пит-Городок, она провела шестнадцать лет — с тысяча девятьсот тридцатого по

сорок шестой. Вернулась в родные края уже самостоятельной женщиной, с педагогическим образованием. Родной язык подзабыла, лучше говорила по-русски, причем с крепким сибирским оканьем. Стала работать учительницей — преподавать в начальной школе русский язык. Скоро вышла замуж за директора школы, моего будущего дедушку. И пошла новая, спокойная жизнь: дети, внуки...

Я была ее первой внучкой — полигоном для педагогических экспериментов: отработки старых методик и испытания новых. Можно сказать, бабушка меня вылепила. Хорошо помню ее в те годы: крашенные рыжие кудри штопором, глазищи зеленые горят, губы — непременно ярко-красные... У нас были сложные отношения и при этом очень близкие. Она много рассказывала о своем прошлом. Конечно — и о Сибири.

О том, как переселенцев высадили на берегу притока Ангары, в глухой тайге — с приказом строить поселок. Как копали землянки и жили в них. Умирали. Боялись идти в лазарет и принимать прописанные лекарства — ходили упорные слухи, что медперсоналу дано указание уничтожить всех детей в поселке. Как зацветали весной цветы. Как собирали морошку в тайге — казалось, нет вкуснее ягоды. Мыли золото в притоке Ангары: целыми днями мокли в холодной воде, чтобы к вечеру сдать в комендатуру пару добытых крупинок. Как дети бегали в школу, пять километров по тайге, в соседний поселок — синим зимним утром, еще при свете луны, боясь волков. А обувь у всех была плохонькая, и бабушка то и дело снимала с головы шапку и натягивала на окоченевшие ноги, чтобы отогреться...

Бесконечно жаль, что многое ушло, не осталось в памяти. Корю себя, что позже, будучи уже взрослой, не записала ее рассказы на диктофон. Честно признаться, и роман мой написан как запоздалое извинение за эту свою небрежность и невнимательность.

Умерла бабушка пять лет назад. И когда чуть позже в голове возникла сцена с крестьянкой, стоящей у большой карты Советского Союза, я не очень удивилась.

С тех пор потянулось — неторопливо, в редкие свободные часы, как-то необязательно: мысли о Зулейхе появлялись время от времени, она обростала родственниками и знакомыми, совершала какие-то мелкие поступки — то ходила на кладбище, то убирала в доме, ухаживала за скотиной, молилась. (Жизнь в татарской деревне хорошо мне знакома — в детстве много времени провела в доме бабушки и дедушки, где уклад был совершенно крестьянский: вставали и ложились вместе с солнцем; сначала кормили птицу и скотину, только затем ели сами; на порог не наступали, хлеб брали правой рукой, старшим никогда не перечили; а над колодцем висели три черепа — лошадь, баран и корова — обычное дело, у соседей висели такие же...) Что-то я записывала, что-то отметала. Это

была, конечно, еще не история и даже не зачаток ее, а какой-то перво-родный хаос, рыхлый и пугающе объемный. Идея написать книгу про Зулейху и ее ссылку в Сибирь то казалась почти оформившимся решением, то растворялась в потоке ежедневных дел.

В таком вот пунктирном режиме мы с Зулейхой прожили два года. Всё это походило на затянувшийся роман двух слабых людей: ни у кого не хватало воли ни прервать отношения, ни сделать шаг к чему-то более серьезному — браку или рождению детей. И оба мучаются. Из нас двоих Зулейха была очевидно более решительной: приходила настойчиво, с завидной регулярностью. В итоге она победила — я поступила в Московскую Школу Кино, чтобы научиться из царящего в голове хаоса вытягивать, складывать историю.

В юности я очень серьезно готовилась к поступлению во ВГИК на сценарный факультет: за несколько лет перечитала все книги по киноискусству, что были в казанских библиотеках; знала чуть не наизусть раскадровки Эйзенштейна к «Ивану Грозному»; учебник по киномонтажу был настольным... И спустя пятнадцать лет вдруг оказалось, что записать историю в сценарной форме мне легче, чем в литературной. По крайней мере, это дает возможность почувствовать большую историю целиком, от начала и до конца; определить ее исходную и конечную точки; задать темп развития; простроить все нужные линии — персонажные, сюжетные, тематические — и отсечь ненужные.

Я расписала историю Зулейхи в виде сценария полнометражного фильма, довольно длинного, к слову, на сто восемьдесят минут. Это стало моей первой большой учебной работой в Школе (затем последовали еще две — про Туркестан 1919 года и про Поволжье 1930-х—1940-х годов). Вдохновлялась классиками — Эйзенштейном (особенно его «Бежиным лугом», утраченной картиной о коллективизации, от которой остались только некоторые кадры, но даже они дают представление о размахе и мощи режиссерского замысла), Довженко, Герасимовым, любимым Тарковским. Позже, опираясь на сценарную канву, написала текст романа «Зулейха открывает глаза».

На мой взгляд, самое трудное при создании исторического сюжета (не важно, романа или сценария) — нарисовать достоверный драматургический узор истории: это скелет произведения. Когда он найден, нащупан, слеплен — вокруг него без особых усилий нарастает «мясо», образуется и организуется окружающее пространство. При написании «Зулейхи» у меня ушло очень много времени на создание такого скелета. Для того чтобы не заблудиться в длинной истории, в самом начале я волюнтаристски кинула якорь в середину сюжета: решила, что центральной точкой изменения героини будут роды — именно рождение сына (а не тяготы переезда в Сибирь и ссылки, не знакомство с новыми людьми, не отно-

шения с женщиной) станет для нее рубежом между старой и новой жизнью, точкой отсчета. В остальном, слагая драматургию, я шла тем же путем, каким, верно, идут и другие авторы: длительное и глубокое погружение в исторический материал, с одной стороны, и постоянные размышления о героях — с другой.

Нарисовать психологически достоверный образ современника — сложно, а психологически достоверный образ исторического героя — сложно вдвойне: есть риск вытянуть характер в современность — и история обернется сюжетом в исторических декорациях; есть риск упасть в шаблон, нарисованный кинематографом или предыдущими поколениями авторов. Легче, когда при создании образа можно опереться на что-то реальное, настоящее — на старый фотоснимок или портрет, чьи-то воспоминания... К примеру, один из персонажей «Зулейхи» — свекровь главной героини, вредная старуха по прозвищу Упыриха — был вдохновлен образом моей прабабки. От нее остались только пожелтевшая фотография (сидит бабка, с прямой спиной, в платке, повязанном по самые лохматые брови) и рассказы родных. Конечно, она никого не морила голодом, как Упыриха в романе, но нрав имела крутой и сына своего обожала. Благодаря ей характер столетней свекрови в романе нарисовался сам собой. Остальные персонажи в книге — вымышленные, включая саму Зулейху (которую, к слову, я наделила всего двумя чертами бабушки, и то — внешними: зелеными глазами и хрупким телосложением).

Больше всего я опасалась за образ профессора Лейбе. Если молодую татарскую крестьянку Зулейху или идейного красноармейца Игнатова я как-то еще могла себе представить (спасибо детству, проведенному в татарской деревне, и пионерскому прошлому), то пожилого профессора Казанского университета, родившегося в позапрошлом веке, да еще с немецкими корнями, да еще полубезумного, — с большим трудом. Пришлось просить помощи у исторического материала, деталей: я долго бродила вдоль Черного Озера в Казани, по тем улицам, где жил профессор, ходила по коридорам первого здания Казанского университета, напросилась на экскурсию по закрытым университетским залам, проштудировала экспонаты в музее университета... Затем написала главы про Лейбе.

Исторические детали вообще обладают удивительным свойством — помогать, даже направлять. Отношусь к ним с трепетом. Продумав дорожные сцены в вагоне-теплушке, например, я поехала на Рижский вокзал, в музей железнодорожного транспорта; отыскала в экспозиции под открытым небом телячий вагон и долго стояла перед ним, смотрела внутрь — на пустые бурые нары, черную от копоти буржуйку, крошечные оконца под потолком — проигрывала сцены в уме, обкатывала в пространстве. Кое-что изменила в итоге.

А вот на бабушкино место ссылки, в таежный Пит-Городок, так и не съездила. Сам поселок исчез с карты еще в тысяча девятьсот девяносто четвертом; последние фото в интернете датированы две тысячи пятым годом: туристы проплывали мимо на байдарках, увидели развалины домов, наполовину заросшие молодыми деревцами, — и сфотографировали. Думаю, сейчас это место выглядит так же, как в тысяча девятьсот тридцатом году прошлого века, когда на берег высадили первых переселенцев, — тайга забрала обратно тот клочок берега, что люди с трудом отвоевали себе. Честно признаться, я побоялась туда ехать: триста километров по реке — на моторной лодке или байдарке — от ближайшего крупного населенного пункта, города Лесосибирск...

Сценарная версия «Зулейхи» заканчивалась большим эпизодом: возвращением сына Зулейхи Юзуфа, уже восьмидесятипятилетнего старика, в места детства — в заброшенный Семрук, от которого остались развалины, почти съеденные тайгой. По сути — кульминационный эпизод, и в киноверсии он получился. А в литературном тексте — нет, сколько ни старалась: написала, затем переписала, и еще раз... В результате — отрезала, оставив финал открытым. Как оказалось, иногда киноязык отказывается быть переложенным на прозу.

Это была уже вторая моя попытка привязать действие к современности. Первая также не увенчалась успехом: изначально задумала параллельно рассказать два сюжета — собственно Зулейхи и ее правнучки, молодой тридцатилетней женщины, которая по архивным документам расследовала бы жизнь прабабки. Прописала несколько довольно больших глав о правнучке — неплохих, как мне казалось, — но они категорически не желали органично монтироваться с историческим текстом. Пришлось смириться с тем, что Зулейха хочет остаться единственной главной героиней в романе.

Когда книга вышла, мне стали писать внуки и правнуки раскулаченных. Решила для себя: пусть это и будет привязка текста к сегодняшнему дню, эти письма. Они мне все дороги.

А иногда в переписке с читателями всплывают удивительные совпадения, обнаруживаются точные параллели — с книгой и с судьбой бабушки: у кого-то репрессированную бабушку звали Зулейха, у кого-то родные погибли в утонувшей на реке барже по пути в ссылку, у кого-то дедушку сослали в Пит-Городок, где он прожил до послевоенного времени, потом вернулся в родное Поволжье... Жизнь давно уже придумала и разыграла все сюжеты.

АРХИВ

«Лучший в архангелогородском посаде писец в прозе и стихах»:

А. И. Фомин и его сочинения

Судьба Александра Ивановича Фомина, архангелогородского купца, ставшего членом-корреспондентом Императорской Академии наук, — яркое свидетельство того, какие возможности открыло перед представителями самых разных сословий в России XVIII столетие. Столетие, за которое Россия, пережив множество потрясений, прошла путь, занявший у Западной Европы едва ли не в три раза больше времени.

Фомин, безусловно, сын своей эпохи, но, пожалуй, еще больше он — сын своей земли. Экономическая, политическая и культурная ситуация на Русском Севере располагала к появлению активных граждан, граждан в высоком смысле этого слова, стремившихся к получению образования и участию в общественной жизни. В Архангельской губернии в XVIII в. проживало очень мало дворян и почти не было крепостных крестьян, находившихся в частном владении. Зато здесь существовали большие иностранные общины и было очень сильное влияние старообрядчества. Казалось бы, немецкое или английское влияние должно было вступать в противоречие с купеческим укладом старого толка, особенно в отсутствие высшего сословия. Но подвижность посадской среды, ее коммерческие интересы привели к тому, что к середине XVIII в. в Архангельске сложилась весьма развитая система городского самоуправления и появились неплохие возможности для получения образования. Молодые купцы и мещане, вошедшие в период гражданской активности к началу царствования Екатерины II, имели много точек приложения сил. Более того, именно такие люди стали опорой центральной власти в ее административных реформах. Фомин не был единственным в своем роде: вместе с ним появилось целое поколение граждан нового типа. Так, его ближайший друг

и соратник, Василий Васильевич Крестинин, впоследствии трагически погибший в тюрьме по несправедливому обвинению, тоже был избран в члены-корреспонденты Академии наук. Находясь в постоянной конфронтации с местными властями, Фомин, Крестинин и их менее известные товарищи с энтузиазмом откликались на все инициативы, исходившие из центра, и стремились принять участие в их реализации. Оставаясь искренними патриотами своего края, они видели смысл в реформах, направленных на его процветание, и как могли, способствовали осуществлению этих реформ.

Жизнь Фомина и его творчество очень характерны для той эпохи и того места, в которых они развивались, и потому заслуживают внимания и изучения. Самостоятельную ценность представляют и его труды. Написанные тяжеловесным и несколько диковатым на современный слух и вкус языком (и, как кажется, не только на современный), они завораживают своеобразной «красотой архаизма» и, в то же время, содержат немало интереснейших свидетельств культуры, быта, повседневной жизни Двинского края, отражают картину мира жителя архангелогородского посада.

Александр Иванович Фомин родился в 1733 г. в архангелогородской купеческой семье. Его отец был довольно известным человеком в посаде и, в частности, в 1777–1778 гг. занимал должность бургомистра в губернском магистрате. Архангельск того времени предоставлял купеческим детям больше возможностей для получения образования, чем многие губернские города центральной России. В архиерейскую школу, основанную еще в 1723 г. в Холмогорах, а потом переведенную в Архангельск, принимали не только детей священников. Иностранные общины содержали в Архангельске две школы (при лютеранской и кальвинистской церквях), в которые принимали и местных детей. Иностранные купцы нуждались в переводчиках и охотно брали в обучение грамотных русских молодых людей. Многочисленные ссыльные, в том числе из духовного звания, обучали началам наук на дому. Автор подробного обзора образовательной ситуации в Архангельске XVIII столетия даже предполагает существование в это время частных школ.¹ Наконец, в пределах досягаемости находился Соловецкий монастырь, крупнейший образовательный и культурный центр региона.

Точных сведений о том, где именно и как учился Фомин, его биографы до сих пор не имеют. Но он неплохо владел латынью, немецким, французским, а возможно — и другими европейскими языками; несомненно, обучался истории, географии и естественным наукам. Позднее он

¹ Шперк Ф. Ф. Краткий очерк народного образования в г. Архангельске. Архангельск, 1905.

неоднократно писал о том, что в детстве и отрочестве много времени проводил на Соловках; скорее всего, это тоже были годы учения. В частности, сохранившийся в Библиотеке Академии наук (Санкт-Петербург) нотный учебник с владельческой надписью А. И. Фомина 1744 г. свидетельствует о том, что он обучался церковному пению.² Сам Фомин отзывался о своем образовании весьма критически: «То время и обитаемое мною местоположение отказывали вовсе в учительских наставлениях далее грамоты; но привлекало к оным малое количество на матернем языке книг, издаваемых от Академии наук, <...> и сии были первыми руководителями к щастливым тем заблуждениям. <...> Из них немецкая грамматика и Вейсманов “Словарь” доставили мне бедное пособие к вскарабкиванию чрез труднейшия стремнины на некоторое возвышение, с коего, при помощи умножающихся из того ж источника учености книжных изданий и немецких для юношества сочинений, показалась мглстая возможность ко усмотрению, различению и собранию понятий: но для соединения их в связи должно было изобретать самоучныя правила».³ Но в данном случае следует учитывать жанровые особенности текста, из которого приведена цитата. Это благодарственное письмо Фомина в Академию наук по поводу избрания его членом-корреспондентом, предполагающее изрядную долю самоуничижения и обращенное к людям, несомненно более образованным. В то же время, акцент на самообразовании сделан здесь вполне справедливо.

О занятиях Фомина коммерцией в ранние годы почти ничего неизвестно. При рождении он был записан в мещане, но к 1780 г. числился в обывательских книгах купцом второй, а потом и третьей гильдии, а также владельцем сахарной фабрики и капитала в пять тысяч рублей. Зато хорошо известна его общественная и просветительская деятельность.

В 1759 г., в возрасте 26 лет, Фомин, вместе с кругом единомышленников, основал в Архангельске историческое общество для изучения местных памятников старины. Общество это упоминается в источниках под разными названиями, при этом никаких уставных документов, если они и были, не сохранилось. Члены общества занимались археографическими разысканиями: ими, в частности, был обнаружен и впоследствии опубликован один из списков так называемого «Двинского летописца».⁴ Об-

² Федоровская Л. А. «Азбук мусикийского пения» из книг А. Фомина // Книга в России XVI — сер. XIX в.: Книгораспространение, библиотеки, читатель: Сб. науч. трудов. Л., 1987.

³ Огородников С. Ф. А. И. Фомин // Известия Архангельского Общества изучения русского Севера: (Журнал изучения жизни Северного края). 1910. Т. 2. № 3. С. 27.

⁴ Пештиг С. Л. Русская историография XVIII века. Л., 1965. Ч. 2. С. 296—332.

щество просуществовало почти 10 лет, безуспешно добиваясь доступа к городским архивам. В 1786 г. члены «клевретства» обратились за покровительством к губернатору, однако, не получив поддержки, вынуждены были прекратить свою деятельность.⁵

Незадолго до того как перестало существовать историческое общество, Фомин предпринял попытку наладить в Архангельске книжную торговлю изданиями, выпущенными типографией Академии наук. В Академической книжной лавке в Петербурге скопились излишки нераспроданных книг, и тогдашний директор Академии наук граф В. Г. Орлов обратился в городские магистраты с призывом заняться их распространением в провинции. Фомин с энтузиазмом взялся за дело. Во-первых, он составил список из 142 наименований изданий, которые просил прислать для распространения (некоторые до 20 экземпляров). Больше половины в этом списке — учебная и научная литература: учебники, словари, карты и атласы и т. д. Во-вторых, Фомин написал Орлову письмо, в котором вносил свои предложения по налаживанию постоянного снабжения книгами, в том числе на иностранных языках, и периодическими изданиями, причем не только из Академической типографии.⁶ Письмо и список затребованных книг свидетельствуют об осведомленности Фомина в области тогдашнего книгоиздания. Ответа на письмо и предложения Фомина не последовало, а через два года торговля академическими изданиями была свернута по инициативе Академии.

Тем временем у Фомина появились новые возможности для самореализации. Уже с 1760 г. он занимал должность публичного нотариуса, а в 1768 г. вошел в число авторов наказа архангелогородскому депутату Комиссии по составлению Нового уложения, созванной Екатериной II. На эту Комиссию в тот период возлагались большие надежды, во многом не оправдавшиеся. Но для Фомина участие в написании депутатского наказа стало еще одной ступенью в его общественной деятельности. Из последующих должностей Фомина достойно упоминания место заседателя совестного суда, которое он занимал с середины 1780-х гг. до конца жизни, и должность директора народных училищ Архангельской губернии (с 1786 по 1796 г.). В последние годы своей жизни (1799—1801) Фомин избирался гласным Городской думы.

В общественной деятельности Фомина просматриваются два направления. С одной стороны, он стремился участвовать во всех проектах,

⁵ См.: Краткая история о городе Архангельском, сочинена Архангелогородским гражданином Васильем Крестининым. СПб., 1792. С. 119 (письмо приводится полностью там же: С. 243—247).

⁶ Письмо и список книг опубликованы: *Огородников С. Ф. А. И. Фомин*. С. 20—24.

связанных с развитием городского самоуправления, и занимать те выборные должности, которые позволяли ему влиять на ситуацию в городе. С другой — предметом его постоянного попечения было просвещение и образование сограждан. Осознавая все недостатки своего собственного образования, он заботился о доступности обучения для всех слоев населения и создания образовательной среды. Начав с организации книжной торговли, Фомин в конце жизни десять лет провел в должности директора народных училищ и с гордостью писал об успехах своих учеников: «Открытое в 1788 г. в Онеге двоеклассное училище представляет тому опытное доказательство; ибо в оном рассаднике разverzание ростков разумных семян поморских приемлет скорое начало, и острота детских понятий не уступает ни одной полосе России; о чем я по должности свидетельствую и хвалюсь».⁷ Другим вкладом в дело развития образования стала статья Фомина об обучении купеческих детей, в которой ставится вопрос о необходимости специального образования для разных сословий.⁸

Отдельного упоминания требует тема масонства Фомина. Первая архангельская масонская ложа, возникшая в 1766 г., была иностранной. Она работала в рамках шведско-берлинской системы, на немецком языке, и носила название «Св. Екатерины» (1766—1787; с 1775 г. — «Св. Екатерины трех подпор»). Среди фамилий членов ложи (их в списках 31) только шесть русских, в их числе — имена Фомина, двух его товарищей по историческому обществу: Василия Нарышкина и Алексея Свешникова, а также младшего брата Свешникова, Андрея.⁹ В 1787 г. ложа «Св. Екатерины» распалась, так как часть ее членов предпочла перейти в союз Провинциальной ложи И. П. Елагина — первой российской масонской системы, претендовавшей на самостоятельность. Но Фомин остался со своими иностранными братьями и в 1787 г. стал основателем новой ложи «Северная звезда». Она была малочисленна, и среди 9 ее членов числились уже только две русские фамилии, одна из которых — Фомин.¹⁰

⁷ Фомин А. И. Описание Белого моря, с его берегами и островами вообще; также частное описание островной каменной гряды, к коей принадлежат Соловки, и топография Соловецкого монастыря, с его островами; с приобщением морского путешествия в 1789 году в оный монастырь, представленное в письмах. СПб., 1797. С. 188.

⁸ Фомин А. И. Письмо к приятелю с приложением описания о купеческом звании вообще и о принадлежащих купцам навыках // Новые ежесюжечные сочинения. 1788. Ч. XXIV. Июнь. С. 3—34. См. также публикацию в настоящем издании.

⁹ Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 838.

¹⁰ Там же. С. 943.

Это обстоятельство свидетельствует как минимум о тесных связях Фомина с иностранными общинами Архангельска, особенно немецкой. С другой стороны, в сочинениях Фомина не просматривается отчетливого влияния масонских идей, если не считать антиклерикализма, более свойственного другим течениям мысли эпохи Просвещения. Не прослеживается в них и какого бы то ни было мистицизма, характерного для масонской литературы, они скорее подчеркнуто рационалистичны.

После распада исторического общества Фомин не оставил попыток заняться научной деятельностью. Дополнительным толчком к ней, вероятно, послужил визит в Архангельск в 1771–1772 гг. академика И. И. Лепехина и сопровождавшего его студента, будущего академика, Н. Я. Озерецковского. Знакомство с ними открыло Фомину путь в научный мир и заставило обратиться к области естественных наук и исследованию природы своего края. При посредничестве, а возможно и по заказу Лепехина, тогдашнего редактора журнала «Новые ежемесячные сочинения», Фомин начал печатать в этом периодическом издании свои статьи, посвященные флоре и фауне Белого моря, а также местным промыслам.¹¹ В 1789 г. он стал членом Императорского Вольного экономического общества (ВЭО) и начал печататься в серии его «Трудов».¹² Вероятно, поводом для его избрания стал ответ на поставленную ВЭО задачу выяснить причины снижения цен на злаковые культуры, которые Фомин связывал с уровнем «распространения просвещения или гражданственности».¹³ Наконец, в 1795 г. Фомин был избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук и на основании этого по городовому положению получил статус именитого гражданина «по учености», дававший ему определенные привилегии.

¹¹ Фомин А. И. О производимых в Архангелогородском наместничестве промыслах, о промысле терпентинном, о курении смольном и дехтярном, также о терпентинном масле и пеке // Новые ежемесячные сочинения. 1786. Ч. V. Ноябрь. С. 73–112; Фомин А. И. Опыт исторический о морских зверях и рыбах, промышленяемых Архангелогородской губернии жителями в Белом море, Северном и Ледовитом океанах, с описанием образа тех промыслов // Новые ежемесячные сочинения. 1788. Ч. XXV. Июль. С. 24–61; 1790. Ч. XLVIII. Июнь. С. 3–35; Ч. XLIX. Июль. С. 57–62; 1791. Ч. LX. Июнь. С. 39–53; Ч. LXI. Июль. С. 3–16.

¹² Фомин А. И. Достоверное известие о худых успехах сельдяной Беломорской компании, составленное из несомнительных свидетельств и опытов // Труды Императорского Вольного экономического общества. 1793. Ч. XVII. С. 34–40. См. также публикацию в настоящем издании.

¹³ Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук (далее — СПФ АРАН), ф. 2, оп. 5, № 116/5.

Посмертным признанием научных заслуг Фомина стало включение некоторых его статей в четвертый том «Дневных записок путешествия <...> по разным провинциям Российского государства» И. И. Лепехина, для написания которых последний и приехал когда-то в экспедицию в Архангельск. Том этот вышел в 1805 г., после смерти и Лепехина, и Фомина. Его составление по материалам Лепехина было довершено Озерецковским. Включение статей Фомина и его друга и соратника В. В. Крестинина сопровождалось пространным примечанием от 7 августа 1773 г.: «С реки Индиги берегом ходил я на Святой Нос, с конца которого с неописанным удовольствием смотрел на пространство Ледовитого моря, обращая глаза мои в сторону Новой Земли, на которой побывать великое тогда имел я желание. Но <...> оставил мое намерение в надежде на моих истинных друзей, граждан города Архангельска, Александра Ивановича Фомина и Василья Васильевича Крестинина, бывших после того корреспондентами Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, что они соберут и доставят мне всевозможные сведения о Новой Земле, в чем и не обманулся».¹⁴ Из текста не ясно, принадлежит ли фраза об «истинных друзьях» Лепехину или Озерецковскому, но даже учитывая всю литературность этого высказывания, его несомненно стоит рассматривать как свидетельство высокой оценки исследований Двинского края, предпринятых Фоминым и Крестининым.

Первая опубликованная статья Фомина (1786 г.) была посвящена описанию терпентинного (скипидарного), смолокурного и дегтярного промыслов. Описание это очень технологично и довольно сухо, особенно на фоне более поздних работ исследователя. Вторая половина 1780-х гг. для Фомина — время интенсивного поиска стиля. Написанная и напечатанная через два года большая работа о фауне Белого моря и добыче морского зверя значительно более беллетризована. Образцом научной прозы для Фомина, вероятно, служили труды тех же Лепехина и Озерецковского, а также некоторых других академиков. Но в то же время очевидно, что он искал формы выражения своего восторга перед величием природы как Божественного творения. Так, в описании «сельдяного похода», то есть перемещения беломорской сельди на нерест, слышатся почти библейские ноты, отражающие одновременное переживание ужаса и восхищения, присущее, например, ломоносовским одам: «Поход сей представляет человеческому взору огромное, величественное и презурочное зрелище лицами тьмочисленных разнородных животных действующего Естества. Зрители с высочайших корабельных мачт не могут

¹⁴ Лепехин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства 1768 и 1769 года. СПб., 1805. Ч. IV. С. 122.

вооруженным оптическими пособиями оком достигнуть пределов пространства сребровидным сельдяным блеском покрытой поверхности моря. <...> Сей величественный сельдяной поход, каковым его вообразить возможно, представляет, напротив того, страшный театр поглощения, пожрения и мучения, на котором несметным множеством и более всех сельди истребляются».¹⁵

В то же время научные труды Фомина точны и подробны: он опирается на исследования предшественников, указывает источники информации (часто это свидетельства местных поморов-промысловиков), владеет специальной терминологией. Прекрасным примером короткой аналитической статьи, рассматривающей причины неудачи Беломорской сельдяной компании, является его публикация в «Трудах ВЭО», включающая описание и бытовой стороны коммерческого противостояния архангельских промысловиков-староверов и иностранцев.¹⁶

Итогом творческого сотрудничества Фомина с Академией наук стал главный и самый большой труд его жизни — географическое описание Белого моря с приложением рассказа о посещении Соловецких островов. В предисловии к этой книге Фомин, обращаясь к условному «любезному другу» (возможно, впрочем, что под «любезным другом» подразумевался Лепехин), пишет, что путевые заметки о посещении Соловков он составил еще в 1789 г., но не решался их публиковать из-за «сухости и недостаточества и неясности».¹⁷ К 1795 г. он доработал свои заметки, дополнил их общим описанием Белого моря и отправил в Академию наук для издания. Академическая конференция поручила рассмотрение вопроса о публикации Лепехину, который дал очень осторожный отзыв, указав, что «г. Фомин нередко вдавался в такие рассуждения, о коих он достаточного не имел познания, есть отважные выражения, кои духовное и светское правительство может быть сочтено озорчательными, самый слог индекстативной употребленной учености требует осмотрительного поправления...».¹⁸ Лепехин предложил напечатать «Описание Белого моря...» частями в журнале под его редакцией. Но предложение это не было принято,

¹⁵ Фомин А. И. Опыт исторический о морских зверях и рыбах... // Новые ежемесячные сочинения. 1788. Ч. XXV. Июль. С. 26. См. также публикацию в настоящем издании.

¹⁶ Фомин А. И. Достоверное известие о худых успехах сельдяной Беломорской компании...

¹⁷ Фомин А. И. Описание Белого моря... С. 1.

¹⁸ Лепехин И. И. Ученому собранию Императорской Академии наук от академика Ивана Лепехина донесение (СПФ АРАН, ф. 1, оп. 2 — 1795, № 7: Протокольные бумаги, с. 131—144, л. 4—4 об.).

и через два года книга вышла в Академической типографии отдельным изданием.

Книга Фомина состоит из двух частей. Первая представляет собой собственно географическое описание Белого моря, его береговой линии, флоры, фауны и т. д. Последней в этом описании идет характеристика Соловецких островов как природного явления. Здесь Фомин, как обычно, точен и подробен: он перечисляет все известные ему карты Белого моря, скрупулезно отмечает ошибки на них, тщательно описывает все природные особенности беломорского побережья. Вторая часть, представляющая наибольший интерес, посвящена посещению Соловецкого монастыря. Приведа краткую историю обители, Фомин переходит к личным впечатлениям, в которых сочетается восторг перед величием творения человеческих рук и ирония по отношению к монастырскому быту и традициям. Характеризуя повседневную жизнь монастыря, Фомин примеряет на себя маску «исследователя японского царства», то есть использует прием остранения. Он отмечает неопрятность монахов и их необразованность, подчеркивает, что приверженность ритуалу и отсутствие необходимости самостоятельно принимать решения лишает обитателей монастыря способности мыслить, «изошрять разум». Фомин в своем рассказе об одной из важнейших русских святынь подчеркнута антиклерикален. Он не только иронизирует над склонностью соловьян во всех явлениях природы и творениях человека видеть чудеса, но и прямо признает в конце книги, что его поездка на Соловки не была паломничеством, хотя он и вынужден был называть ее так, чтобы получить благословение на пребывание в монастыре.

В «Описании Белого моря...» довольно много авторских отступлений на самые разные темы. Вероятно, Фомин рассматривал эту книгу как возможность высказаться по целому ряду волнующих его вопросов. В то же время он ощущал все преимущества избранного им жанра: традиция сентиментальных путешествий, иногда целиком состоявших из одних отступлений, несомненно повлияла на произведение Фомина. Он рассуждает о «выродочном смраде чужеземных умовредностей», то есть пагубном французском влиянии на русскую культуру, о падении нравственности поморов в результате переселения в Двинский край многих выходцев из центральной России, о причинах неуспеха различных промышленных предприятий в Архангелогородской губернии, которые видит прежде всего в непросвещенности местного населения и т. д. По-видимому, именно эти выражения Лепехин в своем отзыве назвал «отважными» и требующими «поправления».

Стиль «Описания Белого моря...» представляет собой странный гибрид научной прозы с языком сентиментального путешествия, иногда включающим элементы церковного красноречия. Показательно при

этом, что Фомина-писателя высоко ценили его друзья и соратники, Крестинин назвал его «лучшим нынешнего времени в архангелогородском посаде писцом в прозе и стихах»,¹⁹ а сам Фомин считал, что ему свойственна «простота изъяснения».

С одной стороны, текст «Описания» отличают все приметы сентиментального стиля: постоянные обращения к читателю, апелляции к его чувствам, изложение собственных переживаний и т. д. Так, говоря о стоящих на берегу деревьях, Фомин призывает на помощь воображение читателя: «Я не могу ясно изобразить сего трогательного явления, и для сего прошу вас в помощь мне вообразить вид стоящего дерева во время сильного вихря, оборвавшего передние его ветви и согнувшего вершину в боковые отрасли вдоль своего напряжения».²⁰ Еще одной характерной чертой фоминского стиля является утомительная перифрастичность и метафоричность. Возможно, именно здесь следует усматривать следы влияния масонской литературы, в силу своей герметичности тяготевшей к развернутым перифразам и сложным метафорам и оказавшей большое влияние на язык русского сентиментализма. В то же время язык Фомина очень архаичен, особенно на уровне лексики, а синтаксис его тяжеловесен и очевидно восходит к немецкому и латинскому.

Вот, например, описание опасностей охоты на морского зверя: «Легко уже видеть, сколь тесно обычная смелость промышленников сближается с их смертию, и сколь ненадежна нить проворности к удержанию ея пресечения. Часто при самом вскакивании на шугу <...> ламба, за льдину концом задевшая, опровергает смельчака, а водное стремление и собственная его тяжесть вмиг предает его поглощению воде, и часто ветры относят с ним лед на пространство моря, где голод окончивает жизнь его и проворство».²¹ Здесь можно видеть элементы научного стиля, такие как нанизывание субстантивированных конструкций (*удержание ея пресечения*), художественные приемы, например метафоры (*нить проворности, предает поглощению воде, голод окончивает жизнь его*), архаично-возвышенные грамматические формы (*опровергает, окончивает*), диалектные или узкоспециальные слова (*шуга, ламба*), развернутый перифраз (например, первое предложение приведенной цитаты) и т. д.

Вряд ли стилистические особенности трудов Фомина следует объяснять недостаточной компетентностью их автора или какими-либо случайностями. Его позиция в области языка была сознательной и продуманной.

¹⁹ Краткая история о городе Архангельском... С. 23.

²⁰ Фомин А. И. Описание Белого моря... С. 163.

²¹ Там же. С. 61.

В «Письме к любителям российского языка» 1787 г. Фомин рассуждает «о приискании коренных или первообразных слов, породивших многочисленные нынешнего российского языка речения». ²² Он пишет о порче языка, вызванной иноземными влияниями и светским регистром, видя сохранившиеся пласты подлинной лексики в диалектах. По мнению Фомина, возвращение диалектной лексики в языковой корпус поможет восстановить исконный словарный запас: «На сем основании расширение его проистекало бы не из насильственных ему прихотей, но из естества самого языка: следовательно, с природными ему живностями, нежностями, тенями, остротами, важностию, величественностию и прочими свойственными природе его красотами». ²³ По окончании письма Фомин приводит список «двинских речений» с пояснениями, включающий и общераспространенные слова, которые, по мнению автора, утратили свое исконное значение. В этом ключ к еще одной особенности фоминского стиля — его любви к словотворчеству, образованию неологизмов и частому употреблению слов в окказиональных значениях, которые он, видимо, считал исконными. Так, Фомин полагает, что светский писатель должен касаться церковных вопросов лишь «неприкосновенным мимоходом», то есть не затрагивая их всерьез; географические названия, утратившие свою связь с родным языком, он называет «выродочными» (речь идет о повторно транскрибированных с иностранных карт изначально русских названиях).

Внутренние противоречия фоминского стиля выражают не только страстность его натуры, но и специфику его жизненного пути, невозможного для человека его положения еще полвека назад. Воспитанный в традициях своего сословия и своей среды, получив возможность выйти за ее пределы, он гордится Двинской землей и с горечью и болью признает все ее недостатки и даже пороки. Но, адресуясь к столичной аудитории, для которой эта земля остается *terra incognita*, он с трудом разделяет личный опыт и объективную реальность, а не имея полноценного, систематического образования, произвольно выбирает образцы, на которые равняется. Стремление к научному подходу вытесняется у Фомина любовью к красоте «изъяснения», а радикальный рационализм нередко наталкивается на восхищение неизъяснимым величием Творца и натуры. Но именно в этих противоречиях и отражаются приметы «безумного и мудрого» XVIII столетия.

²² Фомин А. И. Письмо к приятелю с приложением описания о купеческом звании вообще... С. 74.

²³ Там же. С. 75.

В Приложении публикуются четыре статьи из творческого наследия Фомина, отражающие диапазон его интересов и дающие представление о его стиле:

1) «Письмо к любителям русского языка» — языковой манифест Фомина, отражающий его лингвистические взгляды и дающий представление об истоках его литературного стиля.

2) «Письмо к приятелю с приложением описания о купеческом звании вообще и о принадлежащих купцам навыках» — полноценный образовательный проект, предлагающий программу специального обучения коммерции. Фомин, успешно занимавшийся торговлей, на личном опыте знал, какие навыки необходимы купцам для успешного осуществления торговли.

3) «Опыт исторический о морских зверях и рыбах...» — самая большая из статей Фомина, включенная впоследствии в «Путешествие...» Лепехина и представляющая собой до сих пор не утратившее своей значимости научное исследование на стыке двух наук: зоологии (описание и систематика фауны Белого моря) и этнографии (рассказ о морских промыслах, записанный со слов местных жителей — охотников). Научная литература, на которую опирается Фомин в данной статье, — это актуальные для своего времени исследования, вряд ли легко доступные в Архангельске, которые автор, скорее всего, получал через своих иностранных друзей. Здесь публикуется введение к «Опыту историческому...», поэтически характеризующее предмет исследования.

4) «Достоверное известие о худых успехах сельдяной Беломорской компании» — критический отзыв о неудачном предприятии, подчеркивающий специфику русского подхода к любым нововведениям и к коммерции в целом.

Тексты приводятся в современной орфографии и пунктуации, с сохранением некоторых особенностей авторского письма. Сноски под звездочкой принадлежат Фомину, под цифрами — публикатору.

Письмо к любителям русского языка²⁴

Государи мои!

Издавна размышлял я о приискании коренных или первообразных слов, породивших многочисленные нынешнего русского языка речения, но стремление любопытства моего оставлялось всегда на меже непроницаемой мрачности, в коей стези к дальнейшему течению познания вовсе исчезали. Вы, государи мои, удобно понимаете сего приискания надобность! Любовь ваша к своему матернему разговору доставляет вам о сей важной надобности доказательства не инде где, как в причине бытности всех языков, и в естестве и свойстве нашего собственного сокрываемые и вами извлекаемые. Вы согласитесь со мною в том, что чем более сих коренных слов приискание умножено и чем глубочае в исследование об них внимание устремлено будет, тем больший приобретается успех в познании употребляемого нами языка и тем пространнее разверзется дверь к расширению его из начал, ему свойственных.* На сем основании расширение оное проистекало бы не из насильственных** прихотей, но из естества самого языка: следовательно, с природными ему живностями, нежностями, тенями, остротами, важностию, величественностию и прочими свойственными природе его красотами. Из сих приисканных начал вы, государи мои, как любители русского языка, легко могли бы производить в нем новые имена, глаголы и другие части слова, коих умоначертание и вкус наш требуют и вкусы с умоначертаниями потомков наших требовать будут.

Естьли бы ранее, времен около Владимировых, вошло в русский народ общее познание и употребление букв и естьли бы познание сие и употребление введено было во все области и во все племена, составляющие ныне российский народ, то необходимо б мы имели многие, какого бы то

²⁴ Опубликовано: Новые ежемесячные сочинения. 1787. Ч. XI. Май. С. 74–88.

* Не можно уже теперь, кажется, выключить из сих начал тех иноязычных слов, которые вмешались из известных других языков, но древностию в нашем укоренились. Напр<имер>, из татарского: *кушак*, *кафтан*, *халат*, *тын*, *базар* и пр.

** На примере из немецкого: *Wiegen* — важно, уважать, важничая и пр. Ежели сии речения, в наш язык принятые, взять в толкование из их корня, то будет выходить — тяжеловесно, сделать тяжеловесным, кажусь тяжеловесным и тому подобное.

ни было рода, письменные разноплеменные остатки, следовательно, имели бы нарочитую удобность к познанию истории о происхождении и смешении нашего языка, но нравы и умоначертания предков наших не позволяли им нимало заботиться и помышлять о сем нашем наследственном достоянии. Итак, в недостатке сих твердых показателей едва мы находимся в состоянии, заключая из исторических истин, познавать вообще, что корень и основание нашего русского языка есть язык славенский. Он, смешавшись с руссо-варяжским, принимал в свое приращение в разные времена и в разных областях разнодиалектный чудский язык, состав его искаживший. Потом обладающие Русью татары, внесением повелительного своего разговора, свойство его обезобразили. Наконец же, завоеванные многие разноязычные народы привели его в дивное смешение. Превосходящее, однако ж, количество господствующего славенского языка произвело язык российский, придав ему из многих, в смешение сшедшихся, величественную обширность и могущественную силу к умножительному его распространению.

В таком приращении, продолжавшемся чрез многие веки, не могли ли родиться производные слова, коих корень с тем или другим языком исчез, оставя их нам за коренные?

Вероятно, что большее начало исчезновения древних сих языков с их диалектами надлежит приписать временам, свободившим российский народ от ига татарского, но скорости сего исчезновения, несомненно, способствовало благополучно утвержденное в России единоначалие. Многие разных российских областей жители, имея нужды, надобности и выгоды пребывать в Москве, приняли вкус принаравливаться к тамошним словам и наречию, а возвратясь в дома, возбуждали в своих соотчичах ревнование подражать разговору царственного города. Без сомнения, сие подражание до того распростерлось, что каждый городской житель за стыд долженствовал почитать пренебрежение непринаравления к сему новому, яко общему уже языку, и всяк возымел как будто некоторое право оговаривать и стыдить того, кто о том покажет нерадение или сделает в выговоре ошибку.

Кажется, могли бы остаться при своей старине живущие в отдалении от городов и больших дорог поселяне, как не имеющие в перемене разговора нужды, тем наипаче, что обстоятельства их жизни меньше других состояний подстрекаемые быть могли от щегольства, но я, не зная о других странах, привожу в пример нашу, прежде Двинскую именовавшуюся, а ныне Архангельскую, область. Из ней издавна уже многочисленными толпами ежегодно переходят крестьяне в Санкт-Петербург, где, работая, проживают по несколько лет, а возвратясь оттуда, приносят с собою вычищенный язык, коим старинный разговор и с ним древние сельские слова истребили.

Из всего вышеписаного последовала непроницаемость, представляющая бесчисленное множество слов российских в неведении, коренные ли они, или производные, из славенского ли они проистекают языка, или из другого, к оному примесившегося. В пример тому служат: *книга, бумага, сундук, ящик, шляпа* и другие многие.

Итак, должен я, повторяя вышесказанное, заключить, что когда мы с древними нашими прародителями посредством их письменосочинений разговаривать не можем, когда современные нам старики изъясняют свои мысли не тем языком, каковому от своих предков научились, и когда поселяне древний свой разговор внесением нового истребили, то не трудно ли найти нить, коя, выведши из лабиринфа, показала бы стезю к приискам простонародных славенских и старинных русских слов, которые, без сомнения, ознаменовали бы многие корни нынешних российских речений?

По щастию, за несколько лет начал я записывать для шуточного употребления приходящие на память слова, во время моей молодости в простонародии употреблявшиеся, ныне же в презрении оставленные, не обходя притом и ребяческих игрушечных речений, которые теперь кажутся техническими словами.²⁵ Сия роспись при размышлениях моих о коренных словах показала, к великому моему удовольствию, в детском игрушечном имени один корень производных нескольких славенских и российских слов, казавшихся мне прежде коренными, каковы суть: *искони, закон, конец* с их отродками.

Сим единым будучи наперво удовольствован и ободрен, советую я вам, государи мои, последовать моему примеру. Страны, в коих вы воспитаны и в коих пребываете, имеют каждая собственные свои простонародные слова, в других областях неупотребительные и незнакомые. Хлебопашество, скотоводство, домоводство, ремесла и рукоделия с их обстоятельствами много принимают таковых речений, кои людям, в других упражнениях обращающимся, а тем более в других странах живущим, вовсе неизвестны. Когда таковые слова собраны будут и обнародованы с объяснением прямого их знаменования, то вам же самим, государи мои, и другим глубокомысленным любителям российского языка подадут они легкий способ к возрождению, оживлению и расширению нашего языка, в естественных ему изображениях.

Собранную мною роспись слов, бывших в употреблении прежде в Двинской нашей стране, при сем издаю, с описанием каждого слова знаменования, в каком оное принималось и что означало, и при том с показанием успеха, сколько я мог в сих словах изобрести коренных слов нынешних российских речений.

²⁵ То есть терминами.

Не могу не признаться, государи мои, в моей робости и боязливости в рассуждении обнаружения сего письма, ибо неученому и не имеющему приличности, согласующей природному званию, писать о не принадлежащем до своего упражнения, особливо ж в нововводимом деле, весьма казалось отважно. Но меня подстрекнуло, так сказать, к сей смелости достойное внимания и последования о злоупотреблениях российского языка письмо, напечатанное в «Новых ежемесячных сочинениях» в IV части на октябрь месяц.²⁶ Неизвестный, но высокопочитаемый мною его сочинитель, как любитель российского языка ревнуя о чистоте на оном сочинения и наставляя о правильном его употреблении, возбудил меня ревновать, по мере моего понятия, о расширении того ж языка по основанным в естестве его средствам.

Я есмь и пр.

**Роспись слов и речений,
из остатков древнего русского языка
в Двинской стране собранных
и по нынешнему образословию изъясненных**

Божонный, бажонный: то же значило, что моленый. Ибо *божить* и *молить*, глаголы действительного залога неопределенного наклонения, прежде одно имели знаменование, то есть «умаливать Бога». Ныне первый глагол в страдательном залоге принимается «в разуме клясться». *Божонный* и *моленый* означали прежде вымоленного от Бога; пример: нежная мать, лелея свою дочку, говорит: *милая ты моя, божиная моя*.

Говеть: принималось в испорченном смысле: поститься. Оттуда произошло *говенье, пост, заговенье* — последний пред постом день, *разговенье* — первый после поста день. Прямый древний смысл сего глагола «быть почтительну». Оттуда *говейн* или *говейный* — почтительный, учтивый; *благоговеть* — высокопочитать, набожность соблюдать.

Ино: да, так; прим.: *ино божонный* — так, сударь.

Истый: подобный, точный; прим.: *Истый во отца* — точно подобен отцу.

Кон: ряд, порядок, заграждение, связь, цепь, место непременимое, постоянное. *Кон* по рабьяческому умоначертанию в играх означал: 1) место, где обыкновенно собирались они играть говьяжьими лодыгами или бабками; 2) *кон* означал ряд бабок, поставленных в прямую линию гнез-

²⁶ См.: Письмо к издателям сих сочинений // Новые ежемесячные сочинения. 1786. Ч. IV. Октябрь. С. 64–73. Это сатирическая анонимная статья, высмеивающая злоупотребление сравнениями и переносными значениями, якобы непонятными провинциалам (такими, например, как выражение «ужасно хороша»).

дами или четами, составляющий равночленную цепь. Сии гнезда выбивали таковыми ж бабками или каменными плитками, бросая оные из дали в попережник сея лодыжняны линии, из коей сколь скоро выбьют одно, два или более гнезд, то сей пролом застанавливали взятыми с конца кона гнездами.

Прилежнейшие охотники, обирающиеся завсегда для игры на сие коновое место или кон, назывались *коновыми*.

Из сего имени пристекли и в употреблении были следующие речения:

Након: раз; прим.: *я уже два накона был*.

Покон: обыкновение всегдашнее, оброк или сбор обыкновенным; прим.: *у них уже тот покон*, т. е. таковой обычай.

Покон вирный: сбор, оброк веревочный, на веревочную земляную меру располагаемый.

Конаться, поконаться: настоять в просьбе, повторить просьбу; прим.: *поконайся, брат, хорошенько*, т. е. подокучь, попроси, брат, прилежнее.

Одноконно: неотменно; прим.: *он мне еще лони конался, тобы я одноконно к нему приворотил*, т. е. он минувшего еще года меня убеждал, чтоб я к нему неотменно заехал, зашел.

Исконный: из веков бывший.

Закон: правило, порядок, учреждение. Имя сие введено в наш язык, кажется, после времен Владимировых и Ярославовых, которые законодательства свои называли правдою, наприм.: *правда Русская, правда Ярославля*. Мы не имеем начальных библейных русских переводов, которые были письменные, а первоначальная Острогжская (так! — А. В.) содержит уже «Второзаконие» и пр., но она напечатана в конце шестнадцатого столетия.

Конец: край кона.

Крошни: сума берестяная, носимая крестьянами за плечами для поклажи лесных приобретений; прим.: *доторговался из корабля в крошни*.

Лони: минувшего последнего года. Сие наречие в польском языке в том же смысле употребляется.

Миляш: любовник, украдкою любимый.

Наводить: в детских играх очередь или службу отправлять.

Навóлок: между окружающею рекою высунувшийся мыс, чрез который переход в прямую линию называется наволок.

Опригный: определенный, приставленный к какому-либо делу.

Опружить: опрокинуть, вывалить.

Пове́ть: большие над скотским двором сени, в кои кладется сено.

Пора: время, сила, мощь, могущество.

Порато: очень сильно.

Пóрен: силен, усилон (так! — А. В.)

- Порозно*: праздно; прим.: *порозной карман*.
Падера: мокрый снег.
Патрать: непорядочно, худо писать, марать.
Пахать: мести веником или метлою.
Прилук: вогнувшаяся кривизна речного берега, которому противный называется мыс или наволок.
Рада: лесистое, мокрое место.
Ровдуга: на замшаный вид выделанная кожа.
Розно: дировато.
Рынуться: броситься вдруг. Оттуда *риновение*, также рябьчи спросы: *рын или не рын*, т. е. бежать или нет.
Спожé: сокращенное имя звательного падежа: госпоже!
Туяс: берестяной, из береста сделанный цилиндрический сосуд с деревянным дном и крышкою, бурак.
Токб: ежели, буде.
Торгило: выдавшееся что-нибудь из широкого узкое и острое, наприм. у галеры нос, у кареты дышло.
Шáлга: глубокий, отдаленный от селения лес.

А. Фомин, купец архангелогородский

**Письмо к приятелю с приложением описания
о купеческом звании вообще
и о принадлежащих купцам навыках²⁷**

Государь мой!

Хотя я одному вам обещал сообщить мои мнения о купеческом звании, для того что положение ваше, при вступлении в сей класс гражданства, того требовало, но вспомя, что все молодые мои соотгизи, к сему ж состоянию приуготавлиющиеся, по самой справедливости, равное вам вразумление заслуживают, предприял я сие нагертание издать в «Новых ежемесячных сочинениях». Я надеюсь, что вы сим не менее будете довольны, рассматривая собранную здесь систему торгового звания вообще, с другими сочинениями.

Не надлежит мне скрывать, что сочинение сие собрано из разных иностранных писателей в один состав еще в 1765 году и было назнатоено введением или первою главою сочиняемой мною тогда книги о бухгалтерии купеческой, которую, привел уже почти к окончанию, намерен я был издать в печать; но несчастные тогдашних времен письмоводнигеские корыстолюбия, справедливое к оным омер-

²⁷ Опубликовано: Новые ежемесячные сочинения. 1788. Ч. XXIV. Июнь. С. 3—34.

зение и досада, а наконец переменившиеся мои обстоятельства унизили сие мое предприятие и отняли охоту и время к окончанию сего труда. Сие происходило в то время, когда я в цветущих своих летах служил бухгалтером в купеческой конторе; в нынешнем же возрасте не стыдно уже быть мне для нагинающих купечествовать в виде наставника, коего вразумления естли послужат сим молодым практикам в пользу, то за оные благодарить они вам должны.

*Я есмь вам покорный слуга,
Архангельск
В апреле 1788 года*

О купеческом звании вообще и о принадлежащих купцам навыках

Давно уже истинная политика, опытами многих веков уверяясь, доказала, что благораспоряженная и свободная торговля рождает в государствах силу и богатство, яко две подпоры, на коих почивает их благополучие и сияние. Умножение народа и втечение сокровищ суть те столпы, на неколебимость коих бдительно взирает око государственного правления. Оно, распоряжая вообще благоизобретения разных выгод и отраслей торговли, честно назирает членов, тело купечества составляющих. Оно смотрит на сведение, просвещение и опытность купцов, ведая, что сии их качества чем далее простираются к совершенству, тем удобнее приводят их в состояние изобретать частные отрасли для своих промыслов и умножать желаемую собственную, а следовательно, и общую государственную пользу. Ибо в сем обстоятельстве могут они уподоблены быть орудиям мастерским и машинам фабричным, которые чем исправнее и способнее составлены, тем искуснее и выгоднее для содержателей производят художества.

Для сего-то во многих государствах, на торговлю наиболее взирающих, в академиях и гимназиях учреждены особые классы, в коих профессоры преподают систематическим порядком учение о коммерции; также заведены купеческие публичные библиотеки и образцовые для всякого рода товаров магазейны, к тому из тамошних типографий, по ободрениям правительств, выходят часто о торговых делах и изобретениях книги. Таковых качеств желают от торгующих государства, а того ж требует и собственная купцов польза, которая состоит в прямом исправлении по званию и промысла и проистекает не из одного голого названия торгового человека или купца.

Звание прямое полным сие приобретается познанием и навыком всего того, что сему имени приличествует. Следовательно, прямой и порядочный купец должен быть в своем промысле совершенно обучен, сведущ и искусен. Сии дарования, составляя его собственный прибыток,

производят совокупно и ожидаемую от него общую пользу и доставляют ему, поелику он член общества исправный и старательный в своем промысле, имя патриота.

Но сколь важен предмет правительств в рассуждении коммерции, столь познания купцов должны быть ответственны в рассуждении их обширности. Оне составляются, во-первых, из необходимых, во-вторых, из нужных и, наконец, из полезных и красных навыков и наук, которые совершенный купец частию всемерно снискать, а частию в нарочитом познании иметь долженствует. Следующее начертание в сокращении покажет, что богатства, приобретаемые торгом, не одним слепым щастием получают, но извлечены бывают большею частию из источников разума осмотрительностию и навыком; и сим подтверждается общее правило, что разум управляет светом, а не фортуна. Ибо хотя вероятно, что искусство и щастие наилучшие ковачи богатства и что опытность чрез продолжение времени и множество разнообразных случаев более, нежели через науки и чтение, приобретается, так же, что щастие само от себя происходит, но и сие бесспорная есть истина, что обученный основательно своему званию купец способнее бывает споспешествовать своему промыслу и навыком своим направлять весы щастия, чтоб оные в его пользу склонялись.

Сии купеческие навыки и познания хотя в самом деле весьма обширны, однако ж о сей обширности как прочих званий люди, так не меньше и сами упражняющиеся в торговле не столь огромно воображают. Но возьмем в пример такого человека, которой бы, не имев ни малого понятия о купечестве, должен был приняться за распродажу разных товаров, за обращение денег, векселей и других торговых действий. Он, видя необходимость сих деятельности, без сумнения растерял бы капитал или, по крайней мере, ощутительное утратил оно количество, чему довольно видали мы примеров. Без сумнения сами купцы испугаются, увидя ниже толикую громаду понятий и сведений, которые оне в головы свои вместили или вместить необходимо должны. Сей страх, однако ж, никогда не беспокоит, ибо понятия и познания вкореняются сами собою из следующих источников.

Дети торговых людей, обыкновенно обращаясь при отеческих делах, неприметным образом понятиями о торговле напоятся, и когда назначены бывают к отеческому промыслу, то по впечатлению уже многих понятий принимаются за оный не такими руками, как бы принял непривыкший крестьянин. Упражнение их при отцах или хозяевах, коим поручены бывают, предлагает им первые навыки; рачение отцов или хозяев, подстрекаемое собственною их пользою, доставляет им к тому наставления; повседневные обращения в делах снабдевают их опытами, искусством и примерами. Все сие впечатлевает в них, во-первых, множе-

ство нужных и полезных, хотя и смешанных познаний, которые более еще сгромаждаются, ежели случай им даст читать книги о предметах и действиях торговых.

Сии начальные познания, с продолжением лет приходя в большее умножение, распространяются еще и просвещаются: первое, прилежным вниманием дел торговых, второе, путешествиями в другие места, третье, чтением ведомостей публичных и, четвертое, изучением иностранных языков, нужных для предприятото торга.

Чрез прилежное размышление, зрелое рассмотрение, исследование и примечание щастливых и неблагополучных торговых дел, также при многих одновидных случаях неравных последствий и окончаний, в состоянии приходит купец сделать себе правила, которые в будущее время, как меловую нитку, в пользу употреблять можно.

Путешествия в другие города и на ярманки для исправления торговых дел немалое делают в познаниях распространение, ибо купец или ученик его видит на месте тутошние обращения, обстоятельства и обыкновения. Но путешествие в чужестранные земли молодого человека, который намеряется предпринять торг иностранный, сверх расширения его познаний о делах торговых, обнадеживает размножением самой его торговли. Однако ж сии выгоды тогда только могут быть надежны, когда путешествие сие предприемлется не рановременно, но в полных летах, когда уже разум придет в зрелость, и имев хорошее воспитание, снабден познанием света и довольным сведением и опытностию дел торговых, особливо ж тех, в коих он в будущее время упражняться намеревается. Естли уже кто, собою торговать начав, предприимет путешествие, то он имеет осторожность наблюдать единственно пользу оногo странствования и, не вдаваясь излишно в другие любопытства, все свои примечания к сему намерению склоняет. Тогда будет его предметом не одно умножение торгового познания, но совокупно приобретение, чрез персональное обхождение, знакомства лучших купцов. Ибо самоличная бытность на местах торговых, обозрение и исследование многих нужных купеческих обращений и товарных источников, также персональное с купцами честное и разумное обхождение весьма способствует как в приобретениях и расширениях торговых познаний, так в снискании полезного с купцами знакомства и прямого их приятства, насаждающего доброе о достоинстве мнение, надежный кредит и откровенную корреспонденцию.

Чтение публичных ведомостей служит к расширению купеческих познаний часто содержащимися в оных о происшествиях торговых компаний описаниями. Сии описания поощряют купца учиться рассуждать о щастливых и неудачных содержащихся в них дел окончаниях и посредством исследования приводить коммерческое знание в обширнейшее совершенство. Сверх сего в оных ведомостях бывают многие известия,

которые купцу весьма знать нужно для предприятия потребных мер в торговле.

Знание иностранных языков изливает реки торговых познаний чрез чтение книг, на тех языках о купеческих делах во множестве изданных и издаваемых, и чрез разговоры с приезжающими иностранными, кои удобно доставить могут многие сведения.

По показании источников, из коих купцы почерпают несметное множество торговых понятий и познаний, надлежит оные пересмотреть в совокупленном систематическом виде.

Три суть главные навыки или познания, без коих никто прямым, порядочным и надежным купцом именоваться не может, почему оные и почитаются за необходимые, и суть: первое — познание товаров, второе — искусство торговли и третье — навык купеческой бухгалтерии. Сии три совокупленные познания составляют купечество или прямое звание и должность торгового человека.

А. Познание товаров сколько купцу необходимо нужно, столько обширно, а посему составляет оно особливую и главную торгового звания часть. Она по свойству своему занимает первое место; ибо, во-первых, надлежит знать купцу те вещи, которые он покупать, продавать, выменивать и променивать во время своей жизни вознамерился и чрез которые положился получать свое пропитание и искать щастия. Предметы сего познания суть товары, в числе коих все те движимые вещи разумеются, коими купечество и торговля, покупка и продажа производимы бывают.

Кажется, не надлежало бы включать в число товаров деньги и вексели, но как деньги по своему различию в тяжести и доброте разность, так же по многим обстоятельствам в ходячих сортах излишество или недостаток приемлют, то и несут цену и курс разные, вексели ж, по надобностям и обстоятельствам доверия и сроков, покупаются и продаются с вычетом, потому и они как товары в торговле обращаются.

Обстоятельное познание товаров разделяется на роды и виды, тканье, фабрикование, доброты, пробы, сорта, цены и достоинство; на целость и поврежденность, сохранность и содержание, исправление и приведение в лучший вид, фальшивость и подложность, на надобность и употребление их. Когда все сии статьи или большая их часть приведены в рассмотрение, то по оным не токмо полное рассуждение, какое вообще о товарах берется, но и частное, какое об одном товаре в особенности приемлется, купец располагать уже может. Из сего следует, что познание товаров разделяемо быть должно на всеобщее, то есть что о товарах вообще говорится, и на частное, то есть что о каждом товаре в особенности знать нужно.

Между помогающими в товарном знании средствами, сверх опытности и привычки, почитаются в рассуждении натуральных продуктов или

сырых и неделанных товаров естественная наука; в рассуждении художественных вещей и их мастерства — познание художеств и мануфактур; в рассуждении вообще невыделанных и художественных товаров — неповрежденные чувства, то есть зрение, слух, вкушение, обоняние и ощущение. Книги о товарах, каковы суть на немецком языке Бонов товарный лагерь и Лудовиков полный купеческой лексикон,²⁸ весьма сие знание распространяют, но если бы можно иметь товарный кабинет или собрание проб товарных, то бы он мог служить первым поводом к сему распространению.

Купец, основательное познание о товарах имеющий, нелегко быть может обманут в покупке и при сведении торговли обольщен в продаже. Но хотя он о всех товарах не может обстоятельно навыкнуть знанию, однако ж продукты и рукоделия своей страны, а особливо те товары, которыми он торгует или торговать хочет, должен знать совершенно.

Б. Искусство торговли есть способ и образ покупать и продавать товары и производить прочие торговые обращения. Свои познание или навык не менее предыдущего обширны и купцам, поелику они чрез течение жизни своей торгом содержать себя уповают, необходимо нужны, чего ради оный навык по существу своему особливую и главную, а по порядку вторую часть купеческого звания составляют.

Купец чем более сведущ о товарах, где оные достать из первых, а продать в последние руки способнее, тем более может надеяться себе прибыли. Он должен знать походность и употребление товаров и сие знание размерять надобностями, употребленими и переменами мод. Если он достает товары из других мест, зная о ценах их по известиям, то должен ведать способность перевозки и все потребные расходы, и потому вычислить наперед, в какую цену товар в то место станет, где он продать его намерен. Когда он торговлю сию не самолично производит, то употребляет к тому комиссионеров, факторов и прикащиков, чинит с оными переписку и производит пересылку денег чрез вексели или в натуре. Если сам торгует, то должен знать способы промыслить товар и продать оный чрез сообщение и обхождение с купцами и чрез маклеров. Он чинит переписку по свойству своего торгова, с разными корреспондентами, и чем он более в других местах покупает и продает товаров или исправляет другие

²⁸ *Bohns Gottfried Christian* (1719–1763). *Neueröffnetes Warenlager: Worinnen aller im Handel und Wandel gangbaren Waren Natur, Eigenschaft, Beschaffenheit, verschiedene Arten, Nutzung und Gebrauch, wie auch der Unterschied der guten und verfälschten Waren, der Ort ihrer Erzeugung, ihrer Zubereitung, ihres Einkaufes, und alles, was zur Erkenntniss derselben nöthig ist.* Hamburg, 1763; *Ludovici Carl Günther* (1707–1778). *Eröffnete Akademie der Kaufleute, oder Vollständiges Kaufmanns-Lexicon.* 5 Bd. Leipzig, 1752–1756 (2. Auflage: 1767–1768).

роды торгов, тем более корреспонденцию наблюдает и большей от того пользы надеется. Звание его обязывает иметь полное сведение о различных родах торгов, то есть собственного, комиссионного и складочного или общественного, валового, лавочного, меновного и ярманочного; о промыслах корабельных, фрахтовых и застраховных, о делах фабричных, заводских и ремесленных, о торгах вексельных, заразных и курсовых, ибо сии сведения по случаям и обстоятельствам обнадеживают его полезным упражнением и приобретением корысти.

При всех сих сведениях следует ему быть трудолюбиву, ласкову, обходительну, учтиву, честну, скромну, знающу разные (по свойству своего торгова) языки, умеющу говорить красно и порядочно и, словом, вкрадывающемуся, так сказать, в людей. Надобно, чтоб бодрость и предприимчивость были его удел, осторожность и быстрота мыслей — его щастие, а довольная опытность и осмотрительность — его подпора. Весьма противоестественно купцу быть лениву или тратить время в излишних забавах. Ему должно находить увеселение в деловом упражнении, забаву в обхождении с торговыми людьми, прогулку на бирже или где бывает купцам собрание, препровождение времени в рассмотрении щетов и корреспонденции, отдохновение в чтении книг о торговле и сладкий покой при засыпании с изобретательными о своих пользах мыслями.

Сии краткосказанные качества требуют прилежного и наблюдательного навыкновения, в чем что более успеет, тем более приобретает совершенства в искусстве торговли. Но при всем том купец за самое главное правило почитать должен честность и непоколебимое держание своего слова.* Сию добродетель как в договорах, так и в обещаниях весьма твердо и неизменно содержать он должен. Она единственно дает купцу имя честного и, обогащая его доверием, привлекает других надежно производить с ним торговлю. Напротиву ж сего, никто, кроме ласкателей, не называет хотя весьма богатого, но неустойчивого честным купцом. Частое употребление неосновательных, хотя и посторонних разговоров и рассказываний лишает купца по мере сего употребления уважительного о нем мнения и доброго кредита.

В. Бухгалтерия наконец составляет третью главную купеческого звания часть и занимает место после торгового искусства по естественному порядку предваряющей покупки или продажи и последующей записки сих действий в книгу. Она есть наука, произведенная основательными заключениями разума. Польза и действие ее состоит в скором, кратком,

* Некоторый иностранный разумный писатель говорит: «Верность и доверие основывается на уверении других людей о врожденном или хорошим воспитанием приобретенном нами наклонении к честности. Каждый человек не исключительно, — продолжает он, — обязан быть честным, но купец добродетель сию необходимо вдвое наблюдать обязан».

ясном и верном показании всего того, что в торгу происходит и в каком состоянии успехи одного существуют. Купец, содержащий книги по правилам двойственной, италийской называемой бухгалтерии,²⁹ всегда и сколь часто ему угодно, ясно видеть может состояние своего торга, то есть, сколько у него денег и товаров в наличестве, сколько долгов на других и другим заплатить должно, когда оным долгам сроки, которой товар или щет принес прибыль или наклад, что и когда по договорам отдать или получить, и наконец видит, сколь велик его собственный капитал. Из сего следует, что всегдашнее сведение и способное обозрение своих дел приводит купца в состояние быть основательным и собственные дела, сколько бы они обширны и разнородны ни были, якобы в зеркале видящим и всегда в виду имеющим.

К сожалению нашему, весьма редких видим мы торгующих соотечественников, которые сию важную торгового звания часть почитают для купечества за необходимую. Но частые падения торговых домов, особливо ж темность и недоказательность причин одного падения, о необходимости знания сей науки свидетельствуют, и одна способность различения честного фаллита³⁰ от бессовестного и бесстыдного банкрота довольным к тому доказательством. Употребление бухгалтерии для купца, особливо ж разные роды торга пространно ведущего, толь необходимо, сколь твердость его состояния ему нужна и сколь без одного упадок непредвидим и часто близок. Ибо где нет порядка, там все клонится к падению. Правда, купец при больших делах, занимающих всю силу его разума в изобретениях, не имеет времени сам производить и содержать свои книги, но для сего употребляет и содержит он искусного бухгалтера, так же причивает и приготавливает к тому детей и молодых служителей, кои, производя частные щеты, составляют бухгалтеру, под его смотрением, деятельное пособие.

Несмотря, однако ж, на то, должен торгующий, для лучшей прочности промысла, знать сам науку бухгалтерию. Ибо необходимо нужно ему иногда для рассмотрения своих дел и щетов и для освидетельствования верности и безошибчивости в производстве книг бухгалтером балансировать разные щеты и извлекать общий из всех щетов баланс или равенство, чего без знания бухгалтерии произвесть нельзя. Осторожность сия тем паче нужна, чем ошибка бухгалтера более бедственна. Бывают еще в торгу и такие приключения, коих или для ненадежных качеств бухгал-

²⁹ Способ ведения бухгалтерского учета, при котором каждое изменение состояния средств отражается на двух бухгалтерских счетах (дебет и кредит), обеспечивая общий баланс. Описание принципов двойной бухгалтерии связывают с именами итальянских ученых XIII в.

³⁰ Неплатежеспособного.

тера или для большей скрытности никому вверить купец не хочет, но они ведены быть должны щетным производством; в таком обстоятельстве бухгалтерия дает способы завести и содержать самому купцу отдельные под избранными титулами с главною сцепляющиеся книги. Для всех сих обстоятельств и для болезни или отлучки бухгалтера надобно купцу самому знать науку бухгалтерии необходимо.

Все благоустроенные народы в совокупленных сих трех главных познаниях звание купца заключают и не признают того купцом порядочным и надежным, который в познании одной из них имеет недостаток.

Хотя предыдущие три, вообще взятые, познания сами собою торговое звание составляют, но для приобретения их и усовершенства потребны купцу следующие посредствующие познания, подающие способы расширять те главные познания и приводить действие оных в поспешнейшее, надежнейшее и практическое обращение. Почему первые называются необходимыми для составления торгового звания, а последствующие — нужными для обогащения оных главных знаний и для деятельности в сем промысле.

- I. Арифметика купеческая, или на торговые предметы обращенная, между нужными познаниями занимает первое место; и как счисления во всех торговых действиях беспрестанное имеют соучастие, того для должен купец всемерно навикнуть выкладки свои поспешно и неошибчиво исчислять. Российское купечество по большей части для сих исчислений хотя с пользою употребляет во внутреннем единовидном торге кости, называемые щетами, но для расширения разнovidных иностранных дел и многих с ними соединенных действий сии щеты недостаточны; например, интересный щет сими костями хотя и можно без совершенной аккуратности с великим трудом вывести, но арифметика предлагает к тому правила легкие и точные. Наши торгующие соотечественники многие жалким и посмеятельным образом страдают от беспроверки щетов иностранных своих корреспондентов.
- II. Навык чистописания второе занимает место. Купец должен привыкнуть и уметь исправно, чисто и красиво писать, потому что хороший почерк — не одно все преимущество, что, будучи красиво изображен, глаза читателя увеселяет, но особые снижает выгоды и пользу в корреспонденции. Ибо корреспондент, получа писаное четким почерком письмо, изъясняющее ясно мысли писателя, может в скорости оное понять и потому исправное сделать производство. Напротиву ж того, из нечеткого худого письма часто половинный разум понимается, и потому приказы и распоряжения получивший такое письмо неясно

выразумев, неисправно или вовсе по желанию писателя исполняет. Исправному письму научает грамматическая часть орфография, наставляющая выписывать слова правильно буквами и постановлять строчные препинания в принадлежащих им местах; ибо неправильное постановление строчных препинаний делает всегда разум письма темным, трудным и двознаменательным. Купец должен еще привыкнуть писать поспешно и неосшибчиво, чрез что возымет способность при многой корреспонденции великую приобрести пользу от успешности.

- III. Сочинение купеческих писем равно предыдущему нужно для купца, торгующего вне своего места. Исправное, штилеватое и основательное письмо не только делает купцу честь, но достигает наилучше его намерения, с каковыми его сочиняет, нежели нескладное и смешанное с посторонними, к делу мало принадлежащими идеями, каковые часто писателевы мысли неясными читателю представляют. Сии погрешности происходят от непорядочных предложений или от неупотребительных и редко употребительных слов, коих читатель не разумеет. Сочинение купеческих писем должно быть от писем совсем других родов отлично, а сию отличность делают краткие предложения, к коим вступление немногие слова составляют. Разные периоды, составляющие сие письмо, не должны принимать для соединения их риторической связи, но следовать один за другим просто. Сей способ весьма выгоден для много корреспондующих, кои не для показания красноречия один к другому пишут, но для объяснения своих мыслей и желаний. Ибо в приборном образе слов надлежит много терять времени, которое купцу часто весьма бывает дорого, а ясная простота совершенно удовлетворяет приятеля, могущего вдруг просмотреть и вразуметь, что ему знать надобно. Правда, таковое навыкновение требует наперед довольного из словесных наук приуготовления.
- IV. Знание действительных и мнимых монет, мер и весов, употребляемых и считаемых в иностранных государствах, купцу, торгующему вне своего отечества, неотменно нужно. Ибо всегда потребно исчислять содержание того государства, с которым оно (так! — А. С.) торгует, денег по курсу и мер и весов по сравнению со своими; а посему и о ценах товарных делать заключение.
- V. Сведение мануфактурных, фабричных и заводских дел весьма нужным между купеческими знаниями считается, потому что оно дает наставление сырые товары выработывать и переделывать в художественные. Польза, каковую купец от мануфактурного познания получить может, весьма велика, ибо он боль-

шее имеет сведение в фабричных товарах и по случаю сам может заводить фабрику.

- VI. Знание торговой географии купцу сколько нужно, столько и полезно. Хотя таковая география проистекает из всеобщей политической географии, но отменяется от оных тем, что при описаниях каждого государства и страны направляет свое повествование наиболее о делах, в торговлю втекающих. Она уведомляет при описании каждой страны о ее естественных и художественных произведениях, о их множестве, доброте и прочих принадлежностях, о морях, озерах, судоходных реках, гаванях, торговых и складочных городах, ярманках, таможенных, пошлинах, сухопутных и судоходных дорогах со всеми другими обстоятельствами, кои купцу знать нужно. Таковое географическое учение наставляет его познания о избытках и недостатках стран, в рассуждении пропитания и роскоши, а потому приводит в состояние посылать свои товары в последние и получать их себе из первых рук. Всяк видит, коль сие знание выгодно для снискания прибылей и похвально для приобретения доброго от людей мнения из основательных разговоров.
- VII. Знание государственных, градских, гильдейских и цеховых прав и учреждений, относительно до торговли касающихся, не токмо своего отечества, в коем кто живет, но и других держав, с коими торгует, весьма для купца нужно. Он должен потому знать все до его промысла касающиеся государственные установления и указы, дабы, следуя оным, мог дела свои производить безбедственно и от разных иногда приметок защищаться доказательно. Правда, не издают еще у нас таковых книг, в коих бы содержались все касающиеся до купцов и до коммерции учреждения, как во многих европейских государствах типографщики и книжные торговцы сие наблюдают; почему и знание сие затруднительно. Но можно иметь в собрании напечатанные в королевских типографиях городское положение, вексельный, таможенный и водоходный уставы, морской пошлинный регламент, тариф настоящего времени и прочие. Собрание и сведение таковых учреждений освобождает купца от многих сетей, от завистливой приказности расставляемых. Производящим торг в иностранные государства нужно знать тамошние морские, вексельные, асsekурационные, бодемарейные,³¹ ярманочные, штапельные, таможенные и прочие права, чрез что более пробыть можно без

³¹ Асsekурационный — страховой; бодемарейный — связанный с займом под залог судна, получаемый от владельцев капитаном судна.

собственных ошибок и предостеречься от комиссионерских обманов.

VIII. Напоследок нужно купцу познание клеймов товарных, кои бывают разнovidные. Иные кладутся от купцов, другие от фабрикантов, иные от надсмотрщиков фабричных товаров, а иные таможенные и пр. Из сих нужнее всего знать фабричные и надсмотрщиковые фабричных товаров знаки, по коим познается фабрика, где товар делан, и доброта его, надсмотрщиками одобренная.

В сих познаниях состоят нужные навыки, усвершающие торговое звание и придающие купцу имя благоискусного; но чтоб приобрести ему название совершенного, то надлежит ему быть научену следующим наукам, украшающим его звание и умножающим его пользы. Оне, не составляя для всех купцов действительной нужды и необходимости, носят имя красных и полезных купеческих познаний, для того что во всех купеческих приключениях могут подать торговле преимущественные и обильные выгоды. Мы их переберем на перечень.

- 1) Коммерц-политика: для познания цели управления государственною торговлею и для составления иногда нужных проектов и донесений, касающихся до сего промысла.
- 2) История естественная и физика: для точного познания обращающихся в торговле натуральных продуктов, их существа, силы и качества, и для предохранения оных от порчи и приведения порченных в годное состояние.
- 3) Механика: для мануфактурных и фабричных дел и для многих пособий, часто при торговле случающихся и несносные расходы навлекающих.
- 4) Визирование или наука счислением мерятельная: для измерения ластов корабельных, бочек винных и пр., для избежания иногда промедлительных и убыточных перемеров.
- 5) Рисовальное искусство: для изображения образцов заказываемых художникам и фабрикантам товаров и надобностей.
- 6) Логика правдоподобная или вероятная: для исследования торговых предприятий, на вероятных мнениях основывающихся, и из заключения по тому о успехе или убытке, последовать могущих.
- 7) Геральдика: для познания иностранных монет.
- 8) Иностранные языки: для разговоров с иностранными торговцами, кроме своего языка не знающими, и для корреспонденции, в иностранном торге необходимой.

Таковые познания и навыки составляют порядочного, благоискусного и совершенного купца. Просвещенные европейцы с сими совершенствами обладали торговлею во всех частях света. Они преимуществуют

в тех народах, где господствует еще невежество или недостаток в сих познаниях, и обогащают убытками их свои страны, умножая обилие и народность оных.

А. Фомин

Купец архангелогородский

Опыт исторический о морских зверях и рыбах, промыслаемых Архангелогородской губернии жителями в Белом море, Северном и Ледовитом океанах, с описанием образа тех промыслов³²

О недостатке познаний о тварях, к царству животных принадлежащих, и о надобности естественной истории морских животных

Нет еще толь изобилующего понятиями разума, ниже толь изощренного учением и опытами пера, которые бы могли познать и описать всех подверженных человеческим чувствам животных. Усильные труды, предприятия любомудрыми со времен, начавших просвещать человеческие смыслы, и продолжаемые поныне учеными мужами, хотя, кажется, объемлют уже тьмочисленные их прииски, но в рассуждении целого царства животных должны поступить уже почтяться скудным оногo познанием. Сие-то нас руководствует к признанию необъемлемого всемогущества Создателя и неисчислимости созданных его бесконечною премудростию тварей.

Естьли не могли еще быть обозрены все наземные и воздушные удобно видимые животные, закрываемые то пустотою пространнейших степей, то непроницаемостью отдаленных лесов, то дикостию населяющих поверхность земли народов, так что же скажем о насекомых, малозримых и почти невидимых тварях, стройными телами одаренных! Ежели уже в сем состоянии обсушенная земли часть могла обогатить естественную историю множеством животных, то сколь большого числа ожидать мы их можем от вод, две трети поверхности земного шара занимающих? Море, населенное бесчисленными их родами, более всего не допускает испытливых очес к открытию своей бездны, наполненные удивительно оных неведомостию, коя иногда обнаруживается в невероятной огромности чудовищ морских, змиев, краков.³³

³² Опубликовано: Новые ежемесячные сочинения. 1788. Ч. XXV. Июль. С. 24—61.

³³ Морской змий и крак (или кракен) — огромные мифологические морские животные. Морской змий описывается как гигантская рептилия

Итак, сколько б ни был кичлив человеческий разум, но не видно еще надежды, чтоб когда-нибудь возмог он себя совершенно уверить и сказать самому себе: я уже все познал. Всеведение, престол свой утверждаешь в неисследимых пределах вечной премудрости!

Возьмем в пример о сей необъятности бесчисленного множества морских животных следующее начертание, которое рассказывают самовидцы и дополняют описатели.

Всемирного океана часть северная есть сущее вместилище и источник сельдей, толь охотно нами в пищу по всей Европе употребляемых. Сии малые животные в странах полюсных, под тамошними стоячими степями, составленными из состаревшихся льдов и плавающими пространствами ледяных полей, находят пребывание безопасное от поглощения китов и пожрения меньших зверей, кои не могут жить без частого вдыхания воздуха и потому под упомянутые морские покровы войти не отваживаются. В сих домоограждениях сельди бесчисленно умножаются и жиреют. Но промысл Создателя неведомыми нам пружинами в одно время года вытесняет их оттуда в открытое море и посылает к югу необъятные великости стадами, для насыщения ими больших тварей и в ловитву разумного создания, северо-западные берега Европы населяющего. Поход сей представляет человеческому взору огромное, величественное и преузорочное зрелище лицами тьмочисленных разнородных животных действующего Естества. Зрители с высочайших корабельных мачт не могут вооруженным оптическими пособиями оком достигнуть пределов пространства сребровидным сельдяным блеском покрытой поверхности моря. Они описывают сие пространство не иначе, как пространство десятков миль, густотою сельдей наполненное. Сие стадо, во-первых, окружается и со сторон перемешивается макрелями, сайдою, тикшуями, тресками, ленгами, палтасами и многими других родов плотоядными, одна другую теснящими и сверх поверхности моря обнаруживающимися рыбами. Она окружная черта рыб знатной широты полосу составляет. Но к умножению пространства смешиваются с нею по окружности звери водноземные: нерпы, серка,³⁴ тюлени, тевяки³⁵ и прочие; а сих стесняют

с большим огненным гребнем на голове, крак — как головоногий моллюск. Первое подробное описание этих животных и свод свидетельств о них составил бергенский епископ Эрик Понтопидан в середине XVIII в. Фрагмент о кракене из сочинения Понтопидана был опубликован на русском языке: Санкт-Петербургский вестник. 1779. Ч. 3. Янв. С. 137—141.

³⁴ Годовалый щенок нерпы, названный так по окрасу шерсти. Взрослая нерпа имеет черный или пятнистый окрас.

³⁵ Серый или длинномордый тюлень.

звери рыбовидные: делфины, белуги,³⁶ акулы, финн-рыба,³⁷ косатки, кашелоты и другие из родов китовых. Оные огромные чудовища в смятении приводятся от собственных их мучителей, толпами их преследующих пильщиков,³⁸ палашников,³⁹ единорогов⁴⁰ и тому подобных.

При таком смятении водной стихии увеличивают представление сего зрелища со стороны атмосферы тучи морских птиц, весь сельдяной поход покрывающих. Оне, плавая по воздуху и на воде или ходя по густоте сих рыб, беспрестанно их пожирают и между тем разногласным своим криком провозглашают торжественность сего похода. Сверх сего множества видимых в воздухе птиц сгущается оный водяными столпами, кои киты, из отдушин своих беспрестанно выпрыскивая до знатной высоты, делают сей воздух, по причине раздробления сих огромных водометов и преломления в них солнечных лучей, радушно блестящим и дымящимся, а совокупно от усиленного шипения и обратного сих водоизвержений на поверхность моря падения буйно шумящим.

Стенание китов, нестерпимым терзанием от их мучителей им принимаемое, подобное подземному томному, но весьма слышимому реву; тако ж звуки ударения хвостов о поверхность моря, сими животными от остервенения производимые, представляют сии шумы страшными и воздух в колебание приводящими.

Сей величественный сельдяной поход, каковым его вообразить возможно, представляет, напротив того, страшный театр поглощения, пожрения и мучения, на котором несметным множеством и более всех сельди истребляются. Он, начавшись от стран Арктического полюса, протягается до высот Исландии, где, отделя одну часть к стороне Гренландии и северной Америки, стремится до крайней Норвегии. Тут паки отделенная его ветвь идет до островов Аркадских и около всей Англии. Следовательно, поход сей продолжается около 40 градусов, считая от полюса, и протягается более 4000 верст, всегда будучи преследуем беспрестанно поглощающими их неприятелями, из которых некоторые одним зевом поглощают их бочешными количествами. В желудке одной выкинутой на берег косатки (как заметили норвежские писатели) найдено более 600 тресок со многими птицами и громадою не изгнивших еще сельдей.

³⁶ Вид зубатых китов.

³⁷ Финвал — один из видов китообразных.

³⁸ Дельфин гринда.

³⁹ Кит-полосатик.

⁴⁰ Нарвал, крупное китообразное с длинным, спирально закрученным клыком. Зуб нарвала часто выдавали за рог единорога.

Несмотря на сие бесчисленное истребление, достигают оставшиеся сии беззащитные твари в несметном еще количестве к берегам и сыскивают убежище в заливах и мелководных местах, куда большие животные гнаться не могут. В сих прикрытиях награждают оне своего рода трату испущением икры и лишение сил приобретением корма, глотая, в свою очередь, подсильных себе животных. Между тем попадают оне в сети человеческие толиким множеством, которое тысячи грузов корабельных составляет. Сие описание хотя к моему делу и не весьма принадлежит, но оно показывает бессметность тварей, в одной части океана обитающих, и совокупно изображает неизглаголанное всемогущество и многообразную премудрость и благодать Создателя, оныя сотворшего и вся питающего.

Из упоминаемых здесь морских жителей некоторые подлежат к настоящему описанию по поводу их промыслов, производимых Архангелогородской губернии жителями в Белом море, в Северном и Ледовитом океане около Шпицбергена, Новой Земли и лежащих между ими местах. Весьма бы приличествовало здесь изобразить естественную их историю в совершенном виде, которая бы достойна была любопытства для большей части моих соотечественников, потому что нашли бы они в ней сих морских жителей не таковыми, какими их воображают по смешанным понятиям. Усмотрели бы новые виды восхитительных удивлений о бесконечном всемогуществе Творца, страшные бездны океана несметными творениями наполнившего. Великость земного слона показалась бы малою мухою против неизмеренной еще огромности морского крака или морского змия.

Но честь сочинения такового естествословия предоставлена мужам ученым, познание сие расширяющим. Однако ж сожалетельно, что и им предлежит труднейшее препятствие, от коего, так сказать, чернила на пере замерзают. Естли б Минерва с помощью аполлоновой арфы могла уласковать угрюмого Нептуна, испросивши в его царстве возможное, спокойное и безопасное ея клиентам пребывание и упражнение, то б многое число достойных глав увенчано быть могло всегдашнею славою за открытие свету чудес неслыханных.

Покойный доктор Понтоппидан хотя жил при берегах норвежских в Бергене и оставил нам «Натуральную историю»⁴¹ о морских животных, но, несмотря на его ученость и что море пред глаза ему представляло великое множество разнородных своих обитателей, ощутительно, что он сам в ловле описуемых им тварей не упражнялся. Равным образом ка-

⁴¹ Имеется в виду издание: *Pontoppidan Erik Ludvigsen* (1698–1764). *Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie*. Kopenhagen, 1752; немецкий перевод книги, который мог читать Фомин: *Versuch einer natürlichen Historie von Norwegen*. Mumme, Kopenhagen, Flensburg, 1753–1769.

жется нельзя и другим славным писателям, при повествовании об отдаленных от них больших животных, обойтись без посредства описателей, заимствующих рассказания от промышленничьих смешанных понятий. Невзирая, однако ж, на то, честь сих писателей уже увенчала, показав чрез них стезю другим достигать подобных или превосходных воздаяний.

Что ж до меня принадлежит, то должен признаться, что я не приготовлен шествовать ученою дорогою. Следовательно, не будучи в состоянии рассматривать физическим оком принадлежащих к моему описанию животных, ниже быв на месте их промыслов, мог когда-нибудь обозреть внешнее их образование и внутреннее телосложение, довольствовался я рассказываниями во многократных приемах самих промышленников. Надлежало раздроблять их сказания, из смешанных понятий проистекающих (так! — А. В.), приводить в отделенные идеи и сделать их ясными. Сие было мне не трудно. Начитавшись доктора Понтонпидана, г. Лудовика Андерсона, Цоргдрагера, Кранца,⁴² также сокращения из системы славного Линнея в натуральном г. Гибнера словаре⁴³ и пр., мог я способно отличить дельное от недостаточного. С сими вспоможениями отваживаюсь приступить к описанию промышленяемых здесь зверей и рыб. Но сие описание не далее простершись (так! — А. В.) может изображения жизненных их обстоятельств, из которых различие их родов явственно начинается, что было одною из причин, побудивших меня взяться за сей труд. Ибо я всегда слышал от своих земляков, у коих море почти пред глазами, имена нерпы, серки и тюленя, как будто принадлежащие вообще ко всем сим зверям, а не так, чтоб каждое означало особенный сих

⁴² *Anderson Johann* (1674—1743). *Nachrichten von Island, Grönland und der Straße Davis, zum wahren Nutzen der Wissenschaften und der Handlung*. Hamburg, 1746; *Zorgdrager Cornelis Gijsbertsz* (ок. 1650 — 1-я пол. XVIII в.). *Alte und neue grönländische Fischerei und Wallfischfang*. Leipzig, 1723. (1-е изд. на голл.: Amsterdam, 1720); *Cranz David* (1723—1777). *Historie von Grönland, enthaltend die Beschreibung des Landes und der Einwohner etc., insbesondere die Geschichte der dortigen Mission der Evangelischen Brüder zu Neu Herrnhut und Lichtenfels*. 2. Auflage. Barby, 1770. Упомянув Андерсона, Фомин неверно называет его имя.

⁴³ Имеется в виду знаменитый «*Reales Staats- und Zeitungs-Lexicon*» немецкого педагога и писателя И. Гюбнера (Hübner; 1668—1731), который написал введение к словарю и многие годы занимался его переизданиями. Первое издание Лексикона вышло в Лейпциге в 1704 г. Это был первый настоящий энциклопедический словарь, содержащий актуальные сведения по истории, географии, экономике и политике. Всего к середине XVIII в. вышло более 20 изданий словаря. Карл Линней (Carl Linnaeus, Carl Linné; 1707—1778) — шведский естествоиспытатель, создатель единой системы классификации растительного и животного мира. Фрагменты его трудов публиковались в словаре Гюбнера.

зверей род. Описание китов, за которых лóблю наши промышленники приняться покушаются, следовать будет из вышесказанных писателей, описание же промыслов составит рассказы промышляющих и их отпускателей или хозяев.

**Достоверное известие о худых успехах
сельдяной Беломорской компании,
составленное из несомнительных свидетельств и опытов⁴⁴**

Хотя бывшую сельдяную компанию привели в замешательство интересанты ее, однако оставшихся членов ее естественная невозможность принудила видеть худые в производстве сельдяного лова успехи. Залив, Белым морем называемый, не снабден от естества ежегодным привалом ужасного множества сельдей, так как голландцы и прочие народы в пространстве океана около Аркадских островов и близ Ютландии обыкновенно оным множеством пользуются. Приходящие тамо ужасные стада сельдей ежегодно дают многим стам промысловых судов довольные, а часто и превышающие их желания помыслы. Но в Белое море зашедшая в тот или другой год несравненно меньшим стадом сельдь расходится около берегов одного залива, гонима будучи добычею корма и пожиранием белуг. Она, заходя в малые заливы, плодится и продолжает чрез несколько лет свое потомство, вылавливаемое в течение одного времени промышленниками даже до нета, естели вновь с Мурманского моря не придет новое стадо.

В течение десятилетнее компания, после первого лета, во многих местах весьма малый сельдяный промысл имела; а в нынешнее время в тех местах опять лов изобильный. Голландские приданные компании промышленники не что иное были, как солильщики, о всем округе лова сельдей, как видно, полного знания не имеющие; они были работники, и потому знали свою токмо должность, а генеральное сведение о сельдяном лове принадлежит одним сооружателям промысловых отпусков. Они начинали ловить в Белом море сельдь в тех же местах, где русские обыкновенно промышляли сделанными на голландский образец сетями, но без успеха. Сети связали они из голландских парусных ниток, вместо чего голландцы употребляют на дело оных тонкую чистую пряжу и персидский дешевый шелк. Толстота ниток была причиною того, что сельдь в ячеи сети не входила и в них не увязала. А по сей неудобности и переде-

⁴⁴ Труды Императорского Вольного экономического общества. 1793. Ч. XVII. С. 34–40.

ланы оные сети по образцу нашему неводами, коими компания лов сельдей производила в малых заливах. И как сии приходящие животные делали привалы к разным местам и по всему пространству Белого моря, то по большей части случалось, что при тех местах, где было множество сетей и ловчих людей, не было сельдей, а где было много сельдей, тамо не было людей. Сему ж подобно происходило с гишпанскою солью и другими нужными припасами.

Но компания, видя свою неудачу в надежном промысле, чему она пособить была не в состоянии, сделалась в промыслах нерадивою и в награждение больших своих убытков попустила служителям своим корытоваться малыми прибытками от приморских жителей, несносную обиду им составляющими. У сих беззащитных крестьян под разными поводами компанейской привилегии отниманы были сельдяные собственные их промыслы, и чрез то приведены они в такое огорчение, что о лове сельдей, пока компания состояла, помышлять они не хотели и старались возможные навесьть ей помешательства; сего еще предосудительнее компания поступала противу своего обязательства о приучении промышленников и жителей к солению сельдей; о сем она, по свидетельству определенных со стороны правительства из архангелогородского мещанства учеников, сделавшихся после голландцев мастерами, совсем помышления не имела. Вследствие того попустила она голландским солильщикам в занятых ими квартирах делать разные своевольства жителям, по закоренелости и грубости нравов несносные, именно же — курение табаку и тому подобное; они, несмотря на брань и омерзение жителей, нарочно шутили окуриванием разных изб, входя в них с трубками. Сие огорчение, умноженное обидами самой компании, до толикой дошло степени, что жители за мерзость почитали не токмо сельдяному солению научиться, но и находиться с ними в одном месте. Вышепомянутые ученые солильщики свидетельствуют твердо, что компанейщики, как выше сказано, или письменно им приказаний не делали о наблюдении голландского образа в приготовлении сельдей и в солении, а тем меньше — при научении промышленников и приморских жителей.

Вот причины худого лова сельдей, худого успеха в рассуждении приучения беломорцев к приуготовлению вкусной из сея рыбы пищи; и сие то препятствовало удивления достойному старанию и желанию Великия Матери быть исполнением увенчанну! Нельзя сказать, что некоторые из сих крестьян не научились, но как нет за ними смотрения, то они наблюдение исправности пренебрегают. А потому, что старым русским образом, и осоля русскою солью сельди, закупоривают с ними бочки; и как оныя усолеют, и должно б их опять докласть сельдями ж, они сию полость доливают рассолом, ища чрез то своей прибыли, дабы бочка казалася полною; но сельдь, не будучи плотно укладена, скоро пропадает,

————— «ЛУЧШИЙ В АРХАНГЕЛОГОРОДСКОМ ПОСАДЕ ПИСЕЦ...»

и вытечка из не весьма плотных бочек рассола ускоряет сию порчу. О дубовых бочках и говорить нечего, ибо крестьянам их взять негде, а сосновые свойственный сему дереву неприятный вкус сельдям придают. Могли бы они бочки из елового, не столько портящего сельдь, дерева делать, но сия работа большой бы труд им составила по причине неколкости дерева.

Архангелогородский купец Александр Фомин

Переписка Вячеслава Иванова с Э. Р. Курциусом¹

Для русского читателя имя Вячеслава Иванова не нуждается в комментариях. Поэтому мы сосредоточимся в этой небольшой преамбуле на его корреспонденте Эрнсте Роберте Курциусе (1886–1956) – выдающемся немецком ученом, чьи труды о европейской литературной традиции имели огромное влияние на развитие западной филологии. Многосторонний эрудит, Курциус происходил из «академической» семьи. Его дед (также Эрнст Курциус, но без второго имени Роберт), филолог-классик, в Берлинском университете был одним из профессоров молодого Вяч. Иванова.

Эрнст Роберт Курциус получил прекрасное образование, изучал языковедение, философию, французскую и английскую литературы. Исследователь писал о себе: «Мое счастье и моя пытка – многообразие моих интересов, причем каждый умственный интерес у меня подчас превращается в страсть».² Первые труды Курциуса касаются Франции 1919–1920 гг., но уже в 1929 г. появляется его книга о романе «Улисс» Дж. Джойса.³ В начале 1930-х гг. намечается новый «сдвиг»

¹ Первую публикацию переписки (на немецком языке) см.: *Wachtel M.* Die Korrespondenz zwischen E. R. Curtius und V. I. Ivanov // *Die Welt der Slaven*. 1992. Bd. XVI. S. 72–96. Подробно об отношениях Курциуса и Иванова см.: *Wachtel M.* Vjačeslav Ivanov als ‘missing link’ in Ernst Robert Curtius’ Kulturphilosophie // *Die Welt der Slaven*. 1992. Bd. XVI. S. 97–106.

² *Ernst Robert Curtius.* Briefe aus einem halben Jahrhundert: Eine Auswahl / Hrsg. von Frank-Rutger Hausmann. Baden-Baden, 2015 (далее – *Curtius.* Briefe). S. 316 (здесь и далее перевод мой. – М. В.).

³ *Curtius E. R.* James Joyce und sein Ulysses. Zürich, 1929.

в его работах, когда нарастающий хаос жизни в его стране заставляет ученого обратить внимание на политические и социальные основы современной Германии. Курциус пишет полемические статьи, разоблачающие «ненависть к культуре и самовольный отказ от образования».⁴

Работая над статьями, которые впоследствии составят книгу «Немецкий дух в опасности» (опубликованную в 1932 г., до гитлеровского переворота), Курциус ищет выход из запутанного и опасного положения. Именно в это время он читает только что вышедшую на французском языке переписку Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона («Переписка из двух углов»). Трудно переоценить значение этого текста для Курциуса. В эпистолярном споре русских мыслителей Курциус признает Иванова победителем, находя в его словах подтверждение и развитие своих собственных взглядов. Он восхищается защитой мирового культурного достояния и мистической трактовкой памяти. У Иванова он находит для себя «недостающее звено», позволившее ему дописать свою книгу.⁵ В последней ее главе Курциус многократно цитирует слова Иванова из «Переписки» о культуре как инициативе. По его мнению, это — «главное, что сказано о гуманизме после Ницше».⁶ Если такая вера в гуманистическую традицию возможна и в советской России, заключает Курциус, должна быть надежда и для Германии.

От Шарля Дю Боса, редактора французского издания «Переписки из двух углов» и адресата известного письма Иванова о ней («Lettre à Charles Du Bos»),⁷ Курциус получает адрес Иванова и обращается к нему с письмом. С тех пор они переписываются, обмениваются трудами и лично встречаются во время поездок Курциуса в Рим — до тех пор, пока политические события не делают их общение невозможным. Курциус пишет небольшую статью для специального номера итальянского журнала «Convegno», посвященного творчеству Иванова, в которой он приветствует Иванова как члена некоего сверхнационального общества евро-

⁴ Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1948. S. 9.

⁵ Выражение «недостающее звено» употребляет сам Курциус в письме к Дю Босу от 5 января 1932 г.; см.: *Herbert und Jane M. Dieckmann (Hg.) Deutsch-Französische Gespräche 1920—1950: La Correspondance de Ernst Robert Curtius avec André Gide, Charles Du Bos et Valéry Larbaud.* Frankfurt, 1950. S. 318.

⁶ Curtius E. R. Deutscher Geist in Gefahr. Stuttgart, 1932. S. 116.

⁷ О Дю Босе и письме Вяч. Иванова к нему см.: Вячеслав Иванов: Архивные материалы и исследования / Отв. ред. Л. А. Гоготишвили, А. Т. Казарян. М., 1999. С. 81—92.

пейских мыслителей, стоящих выше политики и понимающих друг друга без малейшего труда.

Годы войны были для Курциуса тяжелы. С самого начала Курциус отрицает фашистскую программу. Уже 3 декабря 1933 г. он пишет французскому другу (из нейтрального Люксембурга, поэтому без боязни цензуры): «Нацистская революция для меня, конечно, отвратительна. Она означает отмену всех форм личной свободы, вызов культуре, гуманизму, всему, что для меня составляет смысл жизни».⁸ В фашистской Германии Курциус принимает минимальное участие в культурной жизни. Нацисты резко критикуют его книгу «Угроза немецкому духу», и он перестает писать о современной культуре. Поскольку Курциус активно ничего не предпринимает против власти, ему не запрещают преподавать и печататься, но он постепенно перестает читать курсы лекций, печатается очень немного и занимается совершенно «неактуальными» темами. В центре его внимания — Средневековье, но не в узком националистическом духе фашистской трактовки, а в широком культурно-историческом плане. Согласно концепции Курциуса, вся европейская литература — одно духовное братство. Доказательство своей концепции он находит в повторяющихся тематических топосах, встречающихся у самых разных поэтов, в разных языках и странах. Ряд очерков того времени составляет основу огромного труда Курциуса «Европейская литература и латинское Средневековье», увидевшего свет после войны и быстро ставшего настольной книгой западных филологов. Книга, как пишет сам Курциус, была задумана не как научное исследование, а как вклад в сохранение европейской культуры в целом.⁹ Примечательно, что в методологической части книги упоминается имя Вяч. Иванова и его внеисторическая концепция памяти.¹⁰

После войны, узнав, что Иванов жив, Курциус возобновил переписку. В эти годы он стал одним из немногих немецких ученых, которые были признаны за пределами Германии. Курциус получил почетные докторские степени в университетах Глазго и Парижа (Сорбонна). В 1949 г. он совершил поездку в первый и единственный раз в Америку, куда был приглашен на семестр в Институт передовых исследований (Institute of Advanced Study) в Принстоне. Умер Курциус, как и Вяч. Иванов, в Риме.

Переписка Курциуса с Ивановым — памятник европейской культуры XX века, попытка двух гениальных умов найти друг в друге опору в эпоху культурного распада.

⁸ *Curtius*. Briefe. S. 288.

⁹ См. предисловие к английскому изданию: *Curtius E. R. European Literature and the Latin Middle Ages*. Princeton, 1953. P. VIII.

¹⁰ *Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter*. S. 399–400.

Эрнст Роберт Курциус — Вячеслав Иванов¹¹

1. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

26 февраля 1932, Бонн

Бонн

Глубокоуважаемый господин Иванов!

С большим опозданием, борясь с переутомлением и болезнью, я собрался поблагодарить Вас за изобильные дары. То, что я писал Дю Босу, было лишь чтением по слогам начинающего.¹

С тех пор мне кажется, что я понял Вас несколько лучше. Книга «Угроза немецкому духу»² теперь, наверное, в Ваших руках — она свидетель тому. Диалог Ваш с Гершензоном стал для меня чем-то большим, нежели точкой кристаллизации моих мыслей, — он вошел у меня в самую субстанцию моих глубочайших верований. Он стал для меня словом разрешающим и отпирающим — я ждал его, не ведая о том. (Вашей книги «Кручи»³ мой книгопродавец, к сожалению, не сумел раздобыть.) Я обязан Вам в подлинном смысле *посвящением*. Мало людей, кому можно сказать такие слова. Я буду счастлив, если моя книжечка поможет передать Вашу глубокую мудрость другим.

Вашего «Достоевского»⁴ я получил с великой радостью. Эта книга будет сопровождать меня на каникулах.

За это время я прочитал «Русскую идею».⁵ Это сочинение задело и всколыхнуло во мне столь многое, что сегодня я еще едва ли могу говорить об этом. Конечно, и раньше я находил у Мережковского много интересного о Тютчеве, Чаадаеве и других. Однако Вы ведете глубже. Мне придется потратить немалое время на то, чтобы проникнуть в русскую литературу. Но разве Россия эта сейчас жива где-либо, помимо рассеянных по свету эмигрантских кружков? Мирский недавно объявил о своем обращении в большевизм.⁶ Как относитесь Вы к Бердяеву? К Булгакову? Откуда взяты слова: «*Vis ejus integra si versa fuerit interram*»⁷ Тысяча вопросов встает во мне. Надеюсь, что мне снова можно будет написать Вам.

В благодарном восхищении

Ваш Э. Р. Курциус

¹¹ Пер. с нем. Ал. В. Михайлова.

2. В. И. Иванов — Э. Р. Курциусу

27/28 февраля 1932, Павия

Глубокоуважаемый господин профессор,

Позвольте глубоко поблагодарить Вас за прекрасный ответный дар — Вашу великодушную, мусически вдохновенную, мудрую книгу... или же мой «Достоевский» (с сопроводительным письмом) и Ваша «Угроза немецкому духу» в дороге пересеклись?.. Совершенно неожиданно для себя — как это поразительно! — я, не спеша наслаждаясь раздумчивым и по преимуществу восхищенно всё одобряющим чтением, обнаружил такую заключительную главу, которая с самого начала обещала *aureus ramsus*,⁸ высокозначительный и проницательный анализ моих рискованных размышлений об инициации и инициативе как внутренних движущих сил культуры. Я с энтузиазмом прочитал эти страницы — обетование исполнилось с преизбытком; «*primo avulso non deficit alter aureus; et simili frondescit virga metallo...*».⁹ Как прекрасно, как прозорливо истинно Ваше замечание: «Вероятно, надо быть русским христианином, стало быть, наследником Византии, чтобы внести в гуманизм идею античных мистерий, посвящений».¹⁰ А как радует меня Ваше согласие относительно необходимости трансцендентного обоснования культуры!

Ваше широкое постижение гуманизма снимает узы и служит мне порядочным утешением: я думал уже, что придется пожертвовать им во имя христианства, мистики вообще (в том числе и орфической!), — если только определять его по-школьному. Так я писал в своей давно распроданной и позабытой книжечке «Кручи. О кризисе гуманизма» (Берлин, 1921): «Гуманизм всецело основан на изживании индивидуации, отъединенности и отрешенности людей, на их взаимной потусторонности и непроницаемости друг для друга, на автаркии гармонического человека. Эта внутренняя форма сознания пережила сама себя. — Героический гуманизм умер. Словно в сказаниях Гомера, мы боремся за тело героя, уже бездыханное, с тем чтобы одичавшие орды бесноватых не отняли его у нас, не осквернили его, с тем чтобы на нашу долю выпало умастить и оплакать, и предать его земле, славя его на грядущих тризнах. Впрочем, я говорю лишь о том гуманизме, что смертен, не о душе эллинства, душе бессмертной. И не напрасно еще столь недавно являлась она нам в сновидении избавленной от своей формы — достойной, но преходящей и брэнной: в облике Диониса являлась она вдохновенному Ницше, этому последнему трагическому гуманисту, укротившему в себе гуманизм хитроумным безумием и самоубийственным экстазом, словно Аякс, что в безумии поднимает руку на себя; Ницше с презрением отвергал человеческую норму — человеческое, слишком человеческое — и провозгла-

шал сверхчеловека. Ибо Дионис противоборствует гуманизму и натравливает на него своих менад, словно на Пенфея...».¹¹

1 марта

До этого места я дописал вчера, когда пришло Ваше милое письмо, и радости моей не было конца. Я счастлив узнать, что в моих словах Вы слышали нечто родственное Вам по самой сути, а потому и желанное. Обладая даром прозрения, Вы говорите уже и о моих «Кручах», об этом маленьком эссе, где мысль выражается еще не вполне уверенно, — его я только что цитировал. Мне, быть может, удастся доставить его Вам. По-сылаю Вам также вышедшую в прошлом году статью об историософии Вергилия.¹²

Откуда взяты слова «vis eius integra si versa fuerit in terram», я и сам не знаю; так озаглавлено стихотворение Владимира Соловьева, о влиянии которого на мое духовное становление, об истинно посвящающем в таинства, я говорю в письме Дю Босу. Чтобы ответить на Ваши дальнейшие вопросы, скажу, что, хотя Булгаков и Бердяев являются самыми дорогими моими друзьями, я всё же отрицательно отношусь к их идеологиям. Булгаков ценил во мне «благочестивого язычника», «елевсинца», но считал меня «посредственным христианином»: теперь же он весьма разгневан моим отпадением от восточной схизмы, однако утешает себя тем, что я вовсе не призван судить о делах христианских.¹³ Головоломный гностицизм Бердяева, его сверхправославие, опирающееся главным образом на Якова Беме и желающее быть чем-то подобным «Evangelium Aeternum»¹⁴ Третьего царства, равно как его взгляды на русский народный дух, Достоевского и т. д., обладают свойством раздражать меня — сколь бы ни ценил я его духовное благородство. Обращение князя Святополка Мирского в большевизм — последовательно: как самосознание атеиста и к тому же одного из главных герольдов новоиспеченной «евразийской» доктрины, которая в полнейшем согласии с основной тенденцией большевиков стремится породнить Россию с монголами и китайцами, чтобы раз и навсегда вырвать ее из христианского мира. Понимание России как части азиатского мира — ложно до основания. Влияние монголов на Россию в Средние века было не глубже, чем влияние арабов на Испанию. Но Россия — это до самых глубоких слоев языка и мыслительных форм Византия; а Византия с самого начала (благодаря эллинизму) была евразийской в хорошем смысле — и всё более становилась таковой в дальнейшем своем развитии, что уже ложится весьма неблагоприятным бременем на наше историческое наследие. Европейская же культура, которую я имею смелость именовать христианским миром, — это еще с доэллинистических времен Восток и Запад. И Россия непременно останется именно *европейским* Востоком; ибо оба начала оплодотворяют друг

друга и должны составлять органическое единство. Протестантизм — это внутренняя диалектическая антитеза на Западе, а разноликость Востока и Запада в более широкой сфере всей совокупной европейской культуры — она и есть для меня христианский мир — не должна перерождаться в принципиальный раскол. И всё, что есть творческого в России, подтверждает, мне кажется, эту здоровую — гуманистическую и христианскую одновременно — ориентацию на Восток, это утверждение Востока.

Наши письменные беседы благотворно действуют на меня, однако я боюсь, что уже утомил Вас своим многословием.

С наилучшими приветами
Ваш сердечно благодарный и преданный
Вяч. Иванов

3. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

26 мая 1932, Баден-Баден

Глубокоуважаемый господин Иванов!

С тех пор, как я последний раз писал Вам — с острова Капри, — я прочел цикл лекций в Испании, после этого заболел и теперь должен лечиться здесь и не утомляться. Сегодня же мне хотелось бы поблагодарить Вас за посланные книги, я еще буду много с ними работать. В качестве маленького ответного дара примите прилагаемую статью¹⁵ — она далека от каких-либо претензий. Позднее я напишу Вам более обстоятельно.

С искренним почтением
благодарно преданный Вам
Э. Р. Курциус

4. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

24 июля 1933, Бонн

Посланное Вами итальянское издание «Переписки»¹⁶ я получил с радостью, смешанной с грустью. Со времени Вашего последнего письма произошло много событий. Всё лето и осень 1932 года я проболел — душевный паралич вследствие глубокой депрессии. С тех пор я могу снова работать, но не творчески. В двух последних семестрах я изучал со своими студентами средневековую латинскую литературу. С тех пор многое переменилось в Германии.¹⁷ То, что я писал в 1932 году, уже осталось в прошлом — на долгое, долгое время. И всё же я готов веровать в Мнемосину, в непреходящие *посвящения*, в идею тезауруса. И более, чем ког-

да-либо, я исполнен глубокой благодарности за встречу с Вашими писаниями. Для меня это надежда, утешение, опора. Среди всего слишком преходящего Ваши книги напоминают мне о вечной Славе, даже если и является нам она как эсхатологическое видение.

С сердечным восхищением и глубоким уважением
Ваш Эрнст Роберт Курциус

5. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

5 февраля 1934, Бонн

Глубокоуважаемый господин Иванов,

Д-р Пеллегрини любезно пригласил меня к участию в специальном номере «*Convegno*», посвященном Вам.¹⁸ С какой радостью я бы это сделал! Однако, как я знаю, печатать нужно спешно, а я не могу писать то-ропясь. Чтобы написать о Вас нечто достойное, идущее из глубины, мне нужна сосредоточенность, концентрация. Ибо всё творчество Ваше основано на погружение в мистерии. Чтобы иметь право обращаться к Вам, говорить о Вас, нужно войти в Ваши сферы. Как раз сейчас у меня нет возможности сосредоточиться, каждый день прибавляется работы в университете. Итак, я должен молчать. Вы, конечно, поймете это и по своей доброте извините меня.

Как раз сейчас читаю «*Storia dell'Umanesimo*» Тоффанина.¹⁹ Позвольте выписать оттуда слова, читая которые, я невольно подумал о Вас, и которые процитировал бы в своей статье, посвященной Вам: «*Sufficit enim ad amicitiae glutinum opinio famaue virtutis, quae potentissima ratio est, ut inter absentes et nunquam visos amicitiae vinculum oriatur*».²⁰

С искренним почтением и благодарностью
Ваш Эрнст Роберт Курциус

6. В. И. Иванов — Э. Р. Курциусу

12 февраля 1934, Павия

Глубокоуважаемый друг — могу ли так обратиться к Вам после того, как Вы в своем милом письме от 5 числа сего месяца применили к нам обоим прекрасное изречение гуманиста — об «*amicitiae vinculum virtutis inter absentes et nunquam visos*»?²¹ Только к содержащемуся в этих словах я хотел бы прибавить следующее: «*maxime cum naturalis quidam ingeniorum concentus consensusque inter disiunctos spatio, mente coniunctos intercedit*».²² Ибо в основе моего отношения к Вам лежит не только высокое восхищение, но и глубокое ощущение нашей духовной гармонии,

а также переживание благотворно укрепляющего воздействия, каковое оказывает на меня такое сознание. Среди тех, кто оказал мне честь рассмотреть и оценить мои искания с точки зрения гуманизма (как, например, проф. Зелинский, который как раз в своей статье в специальном номере «Convengo» говорит о призвании славянских народов к гуманизму нового типа, способного передать внутреннее познание мистического наследия античности, — или мои богословские друзья былых времен, которые с намеком на мистерии отчасти славили меня как *κἀτοχον ἔκ τῆς Γῆς*,²³ отчасти же посмеивались надо мною — «благочестивым язычником, но посредственным христианином»), никто не сумел разгадать и разъяснить²⁴ самое своеобразие и самую сущность этих исканий столь глубоко, столь ясновидчески, — а притом и в органической взаимосвязи с моим христианским строем души, не в противоположность ей, — как Вы, так что у меня на душе было так, словно Вы читаете в ней, а это ведь едва ли возможно, не будь известного избирательного родства душ. Мы вполне едины в наших взглядах на сущность гуманизма, на отграничение его от науки, на внутренние условия расцвета его в качестве творящей ценности силы, — скорее, надо было бы даже сказать: Ваше понимание — это единственная моя опора, отчего я и ссылаюсь именно на Вас в своей статье «Гуманизм и религия», с особым вниманием к религиозно-историческому наследию Виламовица, которая выйдет в свет в самое ближайшее время (вероятно, в апрельско-майском номере «Hochland»²⁵). По этим причинам (если только дозволено говорить о причинах воображаемых, ибо Ваша перегрузка, даже переутомление, несомненно переносит всё это в область мечтаний) была бы крайне ценна и действенна одна-единственная печатная страница, которую Вы опубликовали бы в «Convengo» (печать этого номера затягивается!), — далекая от всякого восхваления, она указывала бы на характерные черты общего для нас направления, без всякого более детального обоснования, потому что ведь Вы уже высказались об этом в другом месте и с достаточной определенностью. Мы же — Пеллегрини и я — порадовались бы этому столь дорогому и ценному подарку лишь при условии, что он не стоил бы Вам труда большего, чем тот, что требует написание простого письма *ad familiarem*²⁶ (иначе я не мыслю себе этот текст), уже Ваше предпоследнее письмо заставило опасаться за состояние Вашего здоровья... Я же необдуманно образом догадался ответить на него рекомендательным письмом, которое не дошло до Вас, потому что рекомендуемый мною молодой санскритолог из числа воспитанников Collegio Vogomeo не встретил Вас в Бонне²⁷ — Вы были в отпуске и в поездке — и не нашел способа доставить Вам это мое письмо. Позвольте вместе с пожеланиями полного благоденствия выразить Вам мою самую сердечную, самую нежную благодарность.

Ваш Вяч. Иванов

7. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

14 февраля 1934, Бонн

Глубокоуважаемый друг,

Я сердечно благодарю Вас за прекрасное и столь утешившее меня письмо. Я не подозревал, что Вы так сильно дорожите моим сотрудничеством. Если это так, то я сделаю свой вклад и через неделю пошлю Вам требуемую страницу (адрес доктора Пеллегрини, к сожалению, у меня затерялся). Разумеется, я не смог бы выразить, что хотелось сказать и что требовало бы сосредоточенности и времени для созревания. Мне трудно понять, что Вы — коренной русский, более того, славянин — всё же принимаете церковный примат Запада. Я еще напишу Вам об этом более обстоятельно.

От сердца благодарю Вас за то, что Вы сделали мне честь, назвав своим другом.

Уважительно Вам преданный

Э. Р. Курциус

8. В. И. Иванов — Э. Р. Курциусу

12 марта 1934 года

Павия

Высокочтимый друг,

Ваше милое письмо глубоко тронуло меня. Любезная готовность свершить то, на что я уже не смел надеяться, поскольку, очевидно, это казалось неосуществимым, для меня — новое редкое свидетельство нашей «amicitiae vinculum inter absentes et numquam visos». Однако мой собственный повседневный опыт учит меня, что и самого наилучшего желания недостаточно для того, чтобы устранить препятствия, какими оплетает нас жизнь, — «Ach! Zu des Geistes Flügeln wird so leicht kein körperlicher Flügel sich gesellen».²⁸ Меж тем набор журнала продвинулся уже настолько, что, если только у Вас есть уже abbozzo,²⁹ необходимо срочно отослать его д-ру Пеллегрини (piazza Castello, 11, Mailand), ибо через 6—8 дней набор будет закончен, а если Вы не написали свою «страничку» по-итальянски, то перевод его — всё равно, с немецкого или французского — потребует еще некоторого времени. Было бы просто трагично, если бы Ваш ценный текст пришел, а редакция — она и так в отчаянии, потому что последний номер за 1933 год всё еще не вышел, — не смогла воспользоваться им. Я запрещаю себе немедленно высказать Вам всё то, что сообщу Вам в самое ближайшее время, — ответ на Ваш вопрос относи-

тельно освобождения моего религиозного сознания от уз национальной традиции, — ведь Вы же читали мое письмо Дю Босу в «Vigile»; или же во французском издании «Correspondance d'un coin à l'autre», — потому что мое письмо срочное, и мне бы не хотелось, чтобы оно запоздало из-за пространных объяснений, какие вскорости последуют.

Позвольте еще раз выразить Вам глубочайшую благодарность и почтение.

Ваш Вяч. Иванов

9. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

15 марта 1934, Бонн

Спешно посылаю Вам спешно написанную рукопись. Одновременно она отправлена доктору Пеллегрини. Всё дальнейшее позднее.

Искреннейше Ваш

Э. Р. Курциус

Приложение

Э. Р. Курциус

Вячеслав Иванов

Читатель не найдет здесь то, что мне хотелось написать. А чего хотел я, что мне мерещилось? Погружение в духовный мир Иванова... Переживания, которые захватывают всецело и глубоко, не могут быть высказаны языком рассудка. Они даны нам как некое духовное постижение: только в медитации и в созерцании, как в чистом зеркале, может оно ясно отразиться. Медитация требует сосредоточенности, то есть внутреннего движения, выводящего нас из времени. И только вступая на такой путь, мы постигаем *come l'uom s'eterna*.³⁰

Внешние обстоятельства помешали мне отдаться полностью такого рода размышлениям. Я довольствуюсь лишь беглыми замечаниями и исходными соображениями. Всему, что создал Иванов, я бы предпослал слова: *Nolumus exproliari, sed supervestiri*.³¹ В свете такой эсхатологической надежды я и разумею воплощенное в Иванове взаимопроникновение христианства и гуманизма.

Речь идет не о «христианском гуманизме» в понимании Эразма или иезуитов. И не о политическом союзе классического порядка и тридентинской теологии. Гуманизм Иванова — это не внешнее соответствие некоему историческому прообразу, но анамнесис — пробуждение изначального ведения о посвящениях и мистериях отцов. Поэтому в самых отдаленных и чуждых явлениях он способен узнавать новоявленную ан-

тичность: в Достоевском — аттическую трагедию, в Гоголе — аристофанов хор.³²

Гуманизм последних столетий был обречен, потому что он забыл о *посвящении*. Правда, Ницше и Георге пытались обновить языческие посвящения. Но то были посвящения ложные — обманные Люциферовы образы.³³ В таких попытках мы не можем не видеть сегодня заблуждения. Иванов испытал подлинные посвящения и облек ими гуманизм. Его гуманизм — гностический или же софийный. Знание о посвящениях, о гностической мудрости прокладывает тропу между гуманизмом и христианством, между Библией и орфикой, это подземная тропа, выходящая из глубин истории и проходящая сквозь нее. Этот путь был завален землей, и объясняется это лишь тем, что само христианство из-за внешней традиции забыло о внутренней преемственности, о своем *intellectus spiritalis*,³⁴ о разуме духовном. Однако именно в нем, пусть и скрытая веками, заключается присущая *homo perfectus*³⁵ полнота и обетование всеобъемлющего наследия.

Согласно пророчеству Парацельса, как рассказывает Иванов, в 1900 году должна была начаться новая историческая эпоха³⁶ — эпоха, в которую господствует *adamantina proles*.³⁷ В такие эпохи катаклизмов появляется немало лжепророков. Но в сгущающейся грозовой тьме ярче вспыхивают разрывающиеся лучи света. У Иванова они пребывают в единении.

В своей новаторской книге «*Storia dell'umanesimo*» Джузеппе Тоффанин показывает гуманистов, объединенных духовным братством. Мы видим, как на наших глазах осуществляется *vinculum amoris*.³⁸

10. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

16 марта 1934, Бонн

Глубокоуважаемый друг!

Сейчас в Ваших руках окажется мой скромный *abbozzo*: Мне стыдно, что после столь долгих уговоров не могу предложить ничего лучшего. Подлинная причина моей медлительности заключалась в некотором параличе выражения мыслей и внутренних, психомеханических препятствиях, возникших частично, но лишь только частично, из-за внешнего окружения. К тому же не было никакой возможности как-то сосредоточиться. А какая это ответственность — говорить о гуманизме, и особенно о христианстве! Ваше письмо к Дю Босу я, разумеется, прочитал неоднократно, однако оно не всё мне прояснило. Но ведь не нужно желать понять всё.

Сейчас я готовлю доклад об итальянской литературе, и у меня — впервые в моей жизни — появилась возможность основательно позна-

комиться с итальянской духовной культурой (издавна я хорошо знал лишь Данте). Читаю Кроче, Де Санктиса, Сольми. Всё это пригодно, как мне кажется, лишь для местного употребления. А вот Тоффанин дает многое. У нас в Германии умозрительный идеализм уже давно пережит и считается устаревшим. Его вторичные и поздние итальянские пересказы не могут добавить ничего нового. Исключение я делаю для богатых научными сведениями исторических работ Кроче, особенно для его «Storiografia italiana».³⁹ Риторический национализм ученых вроде Сольми интересен лишь как психологический *indicium*.⁴⁰ Его построения — это огромный шаг назад, его воспроизведения античного Рима выдуманы. Я буду Вам очень благодарен, если при случае Вы сможете указать книги или авторов, достойных внимания.

С искренним уважением
Сердечно Вам преданный
Э. Р. Курциус

11. В. И. Иванов — Э. Р. Курциусу

<конец июля 1934 года>

Павия

Уважаемый и дорогой друг,

И снова стучусь я в Вашу дверь, смиренно, с сокрушенным сердцем... Чувство благодарности во мне стыдится слов, которые бы дали ему достойное выражение. Дружественное Ваше приветствие в «Convegno» — самое духовное, самое утешительное из всех. В предпосланном эпиграфе я, радостно потрясенный, распознал скрытый закон моего существования или — нагляднее, истиннее — одно из тех незримых солнц, к которым всегда тянулось из глубины ночи, расцветая, мое сердце.⁴¹ И вновь поражаюсь Вашему дару прозрения. Но разве и Ваш гуманизм не следует за звездой мистического *supervestiri*?⁴² Не это ли истинный *vinculum*,⁴³ соединяющий нас в благодати?

Если так, то Вы от всего сердца простите мне, что после того, как Вы столь самоотверженно и щедро исполнили мою настойчивую просьбу о Вашем благословении, я отложил выражение своей благодарности вплоть до сегодняшнего дня, поскольку лишь теперь я нахожу те душевные слова, которые достойны Ваших глубоких тем. Сердечная потребность моя — в том, чтобы довести до Вас хотя бы нечто в ответ на Ваш великий, на Ваш неисчерпаемый даже вопрос — он же и весьма желанный для меня в качестве повода для суровой самопроверки: как же могло совершиться, что я, в ком Вы по праву видите наследника духа Востока,

укорененного в душевном мире моего народа, всё же своим присоединением высказался в пользу Запада — в споре двух жизненных форм церковного предания. Не в очевидном ли противоречии находится всё это со всем моим анамнесисом, с моей «отпечатлевшейся формой»?⁴⁴ Ведь это и есть та апория, на которую указываете Вы словами: «Трудность разумения заключена для меня в том, что Вы — подлинно русский, славянин — всё же признаете церковный примат Запада», а чуть позднее Вы писали мне о том же: «Ваше письмо Дю Босу я, конечно, читал неоднократно, и всё же оно не дало мне полной ясности. Однако не следует хотеть понимать всё». Я со своей стороны хотел бы, чтобы Вы понимали меня во всём. И всё же есть, наверное, средство лучшее, нежели сразу говорить о самом трудном для понимания, то есть о посвящениях, что уже почти вошло в обычай между нами... Итак, вновь об ἐλενδύσασθαι.⁴⁵

В. Иванов

12. В. И. Иванов — Э. Р. Курциусу

9 февраля 1935, Рим

Посылаю Вам лишь немногие слова самой сердечной и глубокой благодарности, дорогой господин профессор, впредь до новой радости лично разговаривать с Вами, что обещает мне на ближайшее будущее Ваша досточтимая супруга, которую все мы сердечно полюбили, — слова благодарности за великолепный подарок — три Ваших произведения,⁴⁶ за высокое наслаждение, которое в таком изобилии доставляете Вы, мыслитель и стилист, мне, восприимчивому читателю, — благодарности за великодушие, решительные и исполненные любви действия, предпринятые в помощь мне и увенчавшиеся чудесным успехом. Думая о том, сколь бесконечно многим я обязан дружбе с Вами, всякий раз чувствую себя бесконечно тронутым.⁴⁷

Благодарно чтящий и сердечно преданный Вам
Вяч. Иванов

13. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

7 апреля 1935 года

Бонн

Дорогой и высокочтимый друг!

К сожалению, моя жена и я были вынуждены ускорить отъезд наш с Капри. Мы провели в Риме всего одну ночь, и тут, к своему величайшему сожалению, не было никакой возможности посетить Вас. С Капри

я еще раз написал госпоже Сарфатти,⁴⁸ но больше ничего уже о ней не слышал. Как жили Вы всё это время? С тех пор, как я удостоился личного знакомства с Вами, Вы постоянно присутствуете в моем внутреннем царстве духа, и я болезненно воспринимаю ограничения нашего существования во времени и пространстве, разделяющего нас с самыми духовно близкими людьми. Однако не буду жаловаться, а, благодарный, восхваляю Бога, который привел меня к Вам. Ибо наши беседы убедили меня в том, что и в наше время есть еще люди, ищущие πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ.⁴⁹ Изведать такое хотя бы в форме предощущения — тоже благодатно.

Прилагаю небольшую библиографию символизма. Правда, в большинстве этих книг Вы найдете только анекдотический и прагматический материал. Историческую картину лучше всех дает Реймон.⁵⁰ Однако, как я полагаю, Вы лишь кратко коснетесь так называемого «символизма» 80-х и 90-х годов. Ведь Ваша настоящая тема — это вечный символизм, для которого Данте и Гёте намного важнее Малларме и его современников. Ведь этот символизм конца XIX столетия — лишь несовершенная попытка восстановления духовного начала поэзии. Под таким углом зрения самым значительным представителем французского символизма кажется мне Вилье де Лиль-Адам, хотя он пишет прозой. У Вас, русского космополита, преимущество — Вы видите вещи с птичьего полета, а, следовательно, в верной перспективе.

Моя жена кланяется всем вам. Она полна благодарности за сердечный прием. Я от души присоединяюсь к ее чувствам.

Почтительно преданный Вам
Э. Р. Курциус

14. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

6 января 1936, Бонн

Глубокоуважаемый друг,

с сердечной благодарностью отвечаем на Ваши дружеские поздравления. С тоской вспоминаем праздники в Риме год назад, когда нам было дано познакомиться с Вами лично. Теперь мы остаемся на мрачном севере и скучаем по римскому небу. А Вы переселились на *via Gregoriana*. Это одна из любимых моих улиц в Риме. Сколько раз бывал я в *Bibliotheca Hertziana*.⁵¹ Несомненно, Вы тоже часто и с удовольствием там работаете. А потом Вы направляетесь к *villa Medici* и ее прекрасному парку, выходите на *Pincio* и чувствуете при этом вечную гармонию Рима. Рад был бы узнать подробнее, как Вы живете, какие Ваши планы. Постараюсь в ближайшем будущем раздобыть «Корону» за 1935 г. в надежде найти там что-либо Ваше.⁵² Вы знаете, что духовная и личная встреча с Вами

остаётся одним из самых счастливых событий в моей жизни, самых утешительных, и что я вижу в ней перст судьбы. С сердечным приветом Вам, Вашей дочери и О. А. Шор.

Преданный Вам
Э. Р. Курциус

15. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

21 декабря 1940 года

Дорогой, высокочтимый друг!

Ваш привет был для меня большой радостью, ибо снова завязывается наше *vinculum amoris*. Думать о Вас, о том, что Вы создали, о Вашей вести миру возвышает мой дух и доставляет мне более чем когда-либо глубокое счастье. В этом я снова уверился, читая Вашего замечательного поэтического «Тантала».⁵³

Вы живете теперь недалеко от моего дорогого Св. Саввы!⁵⁴ Он принадлежит к почти забытым в наше время святым раннего восточного христианства, следы которого я с такой любовью прослеживал в Риме. Да будет мне дано вновь увидеть Вас там!

Самые сердечные рождественские пожелания Вам и всем Вашим от нас обоих!

Преданный Вам
Э. Р. Курциус

16. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

19.4.48

Дорогой, высокочтимый учитель!

От г. Штейнера⁵⁵ я получил, к величайшей моей радости, добрые вести о Вас. В течение этого страшного десятилетия мы потеряли друг друга. Но тонкие нити духовного родства ищут сраститься вновь.

Вы знаете, что значило в моей жизни знакомство с Вашими произведениями, а потом и с Вами. Незабвенны наши встречи в Риме, куда Вы, как новый Виссарион,⁵⁶ — принесли аромат Восточной Церкви. Часто моя жена и я мысленно навещаем Вас и Ваших.

Мы благополучно пережили войну. Теперь подымается тень Третьей войны. Но мы верны нашей вечной надежде: *ζωή αἰώνιος*.⁵⁷

С почтением и любовью
Ваш
Э. Р. Курциус

17. Э. Р. Курциус — В. И. Иванову

27 июля 49

Глубокоуважаемый, дорогой друг!

С сокрушением вижу я, что уже полгода прошло с тех пор, как я получил Ваше глубоко меня волнующее письмо.⁵⁸ Поглощенный суетой ежедневной работы, я не сумел найти ту внутреннюю сосредоточенность, которая мне нужна, чтобы писать именно Вам, другу и учителю, с коим я осознаю себя внутренне связанным общим предчувствием вечных реальностей. И по сей час нет у меня такой сосредоточенности, ибо мне нужно готовиться к шестимесячному путешествию в Америку.⁵⁹ Но знак благодарности и памяти я не могу не послать Вам до отъезда. Ваше письмо всё время лежало передо мной как действенный талисман: послание из высших сфер, к которым Вы настолько ближе, чем я. Что Вы сочли меня достойным Вашей дружбы и Вашего письма, утешает меня, наполняет надеждой, поднимает над повседневными заботами, в которых держит нас *vita activa*.⁶⁰ Посланием из высокого и торжественного мира духов предстала мне Ваша поэма «L'UOMO», стройная песнь о тайнах бытия человека.⁶¹ Правда, я не осмеливаюсь думать, что разгадал ее тайнопись, но чувствую, что она, эта тайнопись, звучит во мне, и я уверен, что со временем она проявится и откроет мне свой смысл.

«Итак, купай, ученик, без боязни земную грудь в красной зоре восходящего солнца».⁶² Стихи эти выражают мое отношение к Вашим творениям.

Я не сумел выразить в этом письме того, что хотел Вам сказать. Но Вы почувствовали, быть может, с каким глубоким восхищением и с какой любовью я думаю о Вас. То, что мне дано было встретиться с Вами, я считаю благодатным промыслом Божиим.

Благодарный и почитающий Вас
Э. Р. Курциус

Примечания

¹ См. письмо Шарля Дю Боса к Иванову от 23 декабря 1931 г.: «Книга уже начинает оказывать воздействие, — причем воздействие вполне благотворное. Один из моих лучших друзей — может быть, Вам известны его труды, и, во всяком случае, Вы знаете его имя: Эрнст Роберт Курциус, величайший немецкий специалист по романской филологии и культуре, — недавно написал мне следующие строки, которые мне приятно Вам передать: “Если по воле случая Вы читали мою статью в *Nouvelle Revue Française* от 1-го декабря, Вы поймете *страстный* интерес, с которым я только что прочитал *Переписку из двух углов*. Она вызвала во мне столь своеобразное чувство, рождающееся всякий раз, когда наш разум сосредоточен на каком-то

вопросе, а «случай» дарит материал, касающийся как раз этого самого вопроса, или этой же мысли, или этой же личности. Тогда пробуждается некая радость *встреч*, полнота озарения. К ним присоединяется уверенность в том, что всё приходит вовремя к тому, кто умеет понимать. Не правда ли, любопытно: ведь я мог прочесть этот диалог по-немецки несколько лет тому назад, поскольку *Die Kreatur* издавался моим зятем В. фон Вайцзеккером? Но в ту пору я еще не был готов, не был я готов и тогда, когда Вы заговорили со мной об этой публикации в своей квартире в Версале. Тем более я счастлив сейчас разделить с Вами в очередной раз восхищение. В русской культуре я всегда особо высоко ценил восточный, профильтрованный через Византию, эллинизм, настолько отличный от нашего (либо классического, либо возрожденческого). Я обнаруживаю его следы у Иванова: через Платона он углубляется еще дальше в прошлое, достигая Саиса (в этом сходится он с нашим дорогим Новалисом). Он сумел раскрыть орфизм Гёте. Он учит нас доктрине о памяти, которая соединяется с неизвестно какими таинствами. Восхитительный поэт и мистик! Он завоевывает симпатию будто по волшебству. Как я признателен Вам за то, что Вы открыли его для меня». Есть в этой оценке столь прекрасный сплав проницательности и изысканности, что, рискуя слегка отступить от подобающей частному письму конфиденциальности, мне захотелось Вас с ним ознакомить. Впрочем, в своем ответе Курциусу я упомяну этот факт и посоветую ему лично написать Вам. В какое-то мгновение — он шел тогда впереди, воодушевляя меня своим примером — он вплотную, причем за год до меня, приблизился к Истине, к той нашей Истине, однако в последующие годы он напротив отклонился в сторону, и «страстный интерес», выраженный по отношению к Вашему вкладу в *Переписку*, стал для меня первым признаком сближения, случившегося благодаря Вам. В настоящее время Курциус бесспорно является в Европе одним из тех, у кого есть самое незыблемое чувство *тезауруса* и его ценности, но по складу характера он обидчив, его задевает и даже отталкивает любой пустяк, он принадлежит к людям, которые будут оберегать в себе скорее нечто слабое, чем нечто сильное: в его движении ему можно помочь, только если у него не возникнет ни малейшего подозрения, что ему помогают, помочь путем совершенно окольным, и именно поэтому Ваше воздействие было для него столь благотворным. Считаю своим долгом довести всё это до Вашего сведения на тот случай, если будущее подарит вам возможность переписываться» (*Julia Zarankin and Michael Wachtel. The Correspondence of Viacheslav Ivanov and Charles Du Bos // Русско-итальянский архив. Salerno, 2001. III. С. 524. Письмо Дю Боса написано по-французски; благодарим Наталью Гамалову за перевод).*

² Имеется в виду книга: *Curtius E. R. Deutscher Geist in Gefahr. Stuttgart, 1932.*

³ Речь идет об отдельном издании: *Vjatscheslav Iwanov. Klüfte: Über die Krisis des Humanismus: Zur Morphologie der zeitgenössischen Kultur und der Psychologie der Gegenwart / Aus dem Russischen übersetzt von Wolfgang E. Groeger. Berlin : Verlag Skythen, [1922].*

⁴ *Wjatscheslaw Iwanow. Dostojewskij. Tragödie — Mythos — Mystik / Autorisierte Übersetzung von Alexander Kresling. Tübingen: Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1932.*

⁵ Немецкое издание статьи Иванова: *Die russische Idee / Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von J. Schor*. Tübingen: Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1930.

⁶ В 1931 г. кн. Д. П. Святополк-Мирский (1890–1939) вступил в компартию Великобритании. Курциус мог знать статью кн. Святополк-Мирского «Why I Became a Marxist» (*Daily Worker*. 1931. 30 June. N. 462).

⁷ «Целою сохранится сила его, если обратится в землю» (*лат.*) — так переводил эту фразу Иванов в 7-й главе своей статьи «О русской идее», где цитирует эти слова. Первоначально они служили эпиграфом, а позже стали заглавием стихотворения Вл. Соловьева. Соловьев пользуется этой цитатой в своей книге «Оправдание добра» и переводит ее так: «Сила его (будет) цела, когда обратится в землю». Данная цитата взята из сочинения Гермеса Трисмегиста «*Tabula smaragdina*» («Изумрудная скрижаль»).

⁸ «Золотая ветвь» («Энеида» Вергилия, VI, 187–188) — слова из эпиграфа к последней главе книги Курциуса.

⁹ «Если сломана ветвь, сразу другая вырастает, золотая, как первая, и новый побег цветет из того же металла» («Энеида», VI, 143–144).

¹⁰ *Curtius*. *Deutscher Geist in Gefahr*. S. 122.

¹¹ Ср. первоначальный русский текст: «Гуманизм всецело основан на изживании индивидуации, отдельности и обособленности людей, их взаимной зарубежности, потусторонности и непроницаемости, — “автаркии” гармонического человека. Эта внутренняя форма сознания изжила себя самое. <...> Героический гуманизм умер. Мы ведем бой, как в былях Гомера, за тело героя, уже бездыханного, чтобы не отняли его у нас и не предали поруганию одичалые полчища бесноватых, чтобы нам досталось умастить его, и оплакать, и похоронить, и великолепно восславить на грядущих тризнах... Впрочем, я говорю только о гуманизме, который смертен, а не о душе эллинства, она же бессмертна. И недаром еще так недавно она явилась нам в сновидении отделенною от своей благолепной, но тленной формы: Дионисом приснилась она вдохновенному Ницше, этому последнему и трагическому гуманисту, преодолевшему в себе гуманизм хитрым безумием и самоубийственным исступлением, как налагает на себя руки обуянный Аянт, — отвергшему и презревшему человеческую норму, как “человеческое, слишком человеческое”, и возвестившему “Сверхчеловека”. Ибо противится гуманизму Дионис и натравливает на него своих мэнэд, как на Пентея» (*Вячеслав Иванов*. *Собрание сочинений*. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 377).

¹² Имеется в виду статья «*Vergils Historiosophie*» // *Corona*. 1931. Heft VI. S. 761–774.

¹³ Этот отзыв С. Булгакова в письменном виде неизвестен. Ср.: *Иванова Л.* *Воспоминания: Книга об отце*. М., 1992. С. 207–208.

¹⁴ «Вечное Евангелие» (*лат.*).

¹⁵ По всей видимости, Курциус послал Иванову статью «Хорхе Манрике и императорская идея», оттиск которой хранится в Римском архиве Иванова (*Zeitschrift für romanische Philologie*. 1932. Vol. IV). На оттиске имеется дарственная надпись: «Профессору Иванову первый знак благодарности». Среди статей, подаренных Курциусу, был, вероятно, доклад Иванова, нахо-

дящийся в архиве Курциуса в Боннском университете: «Il lauro nella poesia del Petrarca. Annali della Cattedra Petrarquesca» (1932. Vol. IV). На оттиске — дарственная надпись: «Глубокоуважаемому господину профессору Э. Р. Курциусу на добрую память».

¹⁶ Имеется в виду кн.: *Venceslao Ivanov e M. O. Ghercenson. Corrispondenza da un angolo all'altro / Traduzione dal russo di Olga Resnevic. 1932.*

¹⁷ 30 января 1933 года рейхспрезидент П. Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером. 27 февраля пожар разрушил здание Рейхстага. 14 июня национал-социалистическая партия была провозглашена единственной политической партией Германии.

¹⁸ Германист Алессандро Пеллегрини (1897—1985) редактировал номер миланского журнала «*Convegno*», посвященный творчеству Иванова. Журнал вышел в свет в середине апреля 1934 г. (хотя на обложке обозначено 25 января 1934 г.).

¹⁹ Дж. Тоффанин (*Toffanin Giuseppe*; 1891—1980), крупнейший итальянский историк литературы и писатель. В основе концепции его классической «Истории гуманизма» («*Storia dell'umanesimo*», 1933) лежит парадоксальное, с точки зрения традиции секуляризованной европейской мысли, утверждение: гуманизм писателей и мыслителей XIV—XVII вв. представляет собой высшее раскрытие идеалов римского католицизма, а кризис гуманизма в новейшую эпоху вызван нарастающим забвением этой родовой связи.

²⁰ Достаточно для укрепления дружбы взаимное признание добродетели — это сильнейший толчок для рождения звена любви между друзьями, отдаленными друг от друга или никогда друг друга не видевших (*лат.*). *Toffanin. «Storia dell'umanesimo».* 1933. P. 71.

²¹ Связь дружбы между друзьями отсутствующими или никогда друг друга не видевшими (*лат.*).

²² Особенно когда возникает естественное созвучие и согласие духа среди друзей, разделенных пространством и в духе единых (*лат.*).

²³ Землей вдохновенного (*грек.*).

²⁴ В оригинале: «definiert und diviniert».

²⁵ Имеется в виду статья «*Humanismus und Religion: Zum religionsgeschichtlichen Nachlass von Wilamowitz*», которая вышла в журнале «*Nochland*» (1933/1934. P. 307—330). В переводе К. Ю. Лаппо-Данилевского: «Заслуга Эрнста Роберта Курциуса (“Немецкий дух в опасности”) состоит в том, что он недавно с силой и с глубоким знанием дела напомнил, что гуманизм — это гораздо более широкое и глубокое понятие, чем то, как его обычно понимают, ибо гуманизм не может быть подчинен науке и не может быть привязан к одному из своих исторических проявлений; что гуманизм нуждается в религиозном обосновании, чтобы ожить как действенная сила; что, наконец, это обоснование с самого начала определено истоками европейской культуры, возникшей из сплава античного духовного наследия с христианством, почему возникновение нового гуманистического самосознания следует полагать там, где оба течения сливаются» (*Вячеслав Иванов. Гуманизм и религия: О религиозно-историческом наследии Вилламовица / Пер. с нем., коммент. и послесл. К. Лаппо-Данилевского // Символ. 2008. № 53/54. С. 191—192.*)

МАЙКЛ ВАХТЕЛЬ

- ²⁶ Другу (*лат.*).
- ²⁷ О каком студенте пишет Иванов, не удалось установить.
- ²⁸ «Увы! Крыльям духа нелегко будет присоединиться к крылу телесному» (*нем.*). — «Фауст», I, стих 1090.
- ²⁹ набросок (*итал.*).
- ³⁰ Буквально: «Как человек приближается к вечному; как становится вечным человек» (*Данте*. Божественная комедия. Ад. 15: 85).
- ³¹ «Не хотим совлечься, но облечься» (*лат.*). — 2 Кор. 5: 4.
- ³² Курциус имеет в виду первую часть книги Вяч. Иванова о Достоевском («Роман-трагедия») и статью «Гоголь и Аристофан» (Сорона. 1932/1933. IV).
- ³³ В молодости Курциус был поклонником Стефана Георге. О его отношении к поэту см.: *Wellek R. Ernst Robert Curtius als Literaturkritiker // Wolf-Dieter Lange* (Hg.) *Französische Literatur des XX Jahrhunderts: Zur Erinnerung an Ernst Robert Curtius*. Bonn, 1986. S. 12–15.
- ³⁴ Духовном разуме (*лат.*).
- ³⁵ Совершенному человеку (*лат.*).
- ³⁶ Курциус имеет здесь в виду пассаж из статьи Вяч. Иванова «О русской идее»: «Агриппа Неттесгеймский учил, что 1900 год будет одним из великих исторических рубежей, началом нового вселенского периода... Едва ли кто знал в нашем обществе об этих исчислениях старинных чернокожников...» (*Вячеслав Иванов*. Собрание сочинений. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 322). В своей статье Курциус пишет об Агриппе, называя его Парацельсом (ок. 1493–1541); в итальянском переводе, появившемся в «Convegno», ошибка исправлена.
- ³⁷ Железное поколение (*лат.*). «Adamantina proles» — название 3-й части поэтического цикла Вяч. Иванова «Carmen Saeculare» (1904).
- ³⁸ Связь любви (*лат.*).
- ³⁹ *Benedetto Croce*. *Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono*. Bari, 1921.
- ⁴⁰ Симптом (*лат.*).
- ⁴¹ Ср. стихотворение Вяч. Иванова в «Кормчих Звездах» (1903) «Вечные Дары»: «Пасомы Целями родимыми, / К ним с трепетом влечемся мы — / И, как под солнцами незримыми, / Навстречу им цветом из тьмы» (I, 568).
- ⁴² Облечься (*лат.*).
- ⁴³ Связь (*лат.*).
- ⁴⁴ Из стихотворения Гёте («Δαίμων, Демон»): «Запечатленная форма, которая раскрывается в самом процессе своей жизни».
- ⁴⁵ Облечься (*грец.*).
- ⁴⁶ В январе 1935 г. Курциус послал Иванову свои книги «Бальзак», «Французский дух в новой Европе» и «Французская культура: Введение» («Balzac», «Französischer Geist im neuen Europa», «Die französische Kultur: Eine Einführung»).

⁴⁷ Скорее всего, речь идет о попытках Курциуса найти Иванову работу в немецкой печати. В римском архиве хранится письмо от 11 июня 1935 г. от ученика Курциуса Г. Р. Хоке (Gustav René Hocke), где говорится о соглашении Иванова писать статьи на культурные темы для газеты «Kölnische Zeitung». Из этих намерений, насколько нам известно, ничего не вышло.

⁴⁸ Маргарита Сарфатти (1880–1961) — писательница, журналистка; перед началом Первой мировой войны была светской дамой из высшего общества Милана, куда в то время из провинциального городка приехал молодой социалистический лидер Бенито Муссолини. Они влюбились друг в друга, и сын бедного слесаря многому научился от светской подруги. Муссолини скоро превратился в вождя фашизма. Маргарита Сарфатти написала о нем книгу — «Дух» (1926), которая имела большой успех и была переведена на многие языки. Когда Муссолини под влиянием Гитлера начал вводить в Италии антисемитские законы, Маргарита Сарфатти, еврейка по происхождению, эмигрировала в США и вернулась в освобожденную Италию после войны.

⁴⁹ Полноты Христа (*през.*).

⁵⁰ Имеется в виду кн.: Marcel Raymond. De Baudelaire au surréalisme: Essai sur le mouvement poétique. Paris, 1933.

⁵¹ Немецкая библиотека в Риме, где собраны книги по истории искусства.

⁵² В 1935 г. в «Короне» вышли три статьи Вяч. Иванова: «Древний ужас», «Апипа» и «Письмо к Шарлю Дю Босу» (немецкий перевод французского оригинала).

⁵³ Трагедию Вяч. Иванова «Тантал» в 1908 г. перевел немецкий поэт и переводчик Генри фон Гейселер (1875–1928). Впервые перевод был опубликован в 1940 г. благодаря усилиям сына Гейселера. Этот перевод в классических ритмах оригинала Вяч. Иванов ценил очень высоко.

⁵⁴ Имеется в виду Базилика Св. Саввы Освященного, приходская церковь на Авентинском холме, куда на Via Leon Battista Alberti, 25 переселился Вяч. Иванов.

⁵⁵ Герберт Штейнер (1892–1966) был редактором швейцарского журнала «Сокопа» и другом семьи Иванова.

⁵⁶ Имеется в виду сторонник соединения католической и православной церквей греческий гуманист кардинал Виссарион (1403?–1472), который последнюю часть своей жизни прожил в Италии.

⁵⁷ Жизни вечной (*през.*).

⁵⁸ Это письмо Иванова пока не найдено.

⁵⁹ С августа 1949 г. Курциус провел четыре месяца в Принстоне, Нью-Джерси, и два месяца в разъездах.

⁶⁰ Действенной жизни (*лат.*).

⁶¹ Речь идет о поэме Вяч. Иванова «Человек», переведенной на итальянский Ринальдо Кюфферле и опубликованной в 1946 г. в Милане.

⁶² «Фауст», I, стихи 445–446.

**«Всё это преодоление отрыва от России...»:
писатель Л. Ф. Зуров
и сохранение исторической традиции в эмиграции**

Произведения писателя-эмигранта и участника Белого движения Леонида Федоровича Зурова вряд ли известны широкому читателю, а сам он вошел в историю русской культуры в первую очередь как литературный секретарь Ивана Алексеевича Бунина. Между тем, деятельность этого человека была намного более многогранна, и лишь немногие ее плоды были оценены по достоинству. В настоящей статье, основанной на материалах архива Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына, речь пойдет о трудах Зурова на ниве собирания исторических свидетельств, в первую очередь, о событиях Гражданской войны на Северо-Западе России, участником которых был он сам.

Л. Ф. Зуров родился 5 (18) апреля 1902 г. в уездном городе Остров Псковской губернии. Он учился в Островском реальном училище, но не окончил его, в октябре 1918 г. добровольно вступив в ряды формировавшейся тогда Северной (впоследствии — Северо-Западная) армии.¹ В тот момент будущему участнику весенне-летнего и осеннего наступлений 1919 г. этой армии на Петроград было 16 лет. Зуров дважды был ранен и после неудачи осеннего похода 1919 г. эвакуировался вместе с армией на территорию Эстонии.

После ликвидации Северо-Западной армии Л. Ф. Зуров приехал в Латвию, где жили его родственники, и продолжил прерванное войной обучение — окончил Рижскую городскую русскую среднюю школу (бывшую Ломоносовскую гимна-

¹ Любомудров А. М. Зуров Леонид Федорович // Русская литература XX века: Прозаики, поэты, драматурги: Библиографический словарь: В 3 т. / Под ред. Н. Н. Скатова. М., 2005. Т. 2. С. 63.

зию). В первой половине 1920-х гг. Зуров на некоторое время переехал в гостеприимную по отношению к русским эмигрантам Чехословакию, где пытался получить образование в политехническом институте. Он также принимал участие в работе Семинария имени известного русского византиста Н. П. Кондакова, последние годы своей жизни работавшего в Карловом университете в Праге. В 1928 г. Зуров участвовал в экспедиции профессора Латвийского университета Василия Ивановича Синайского в Псково-Печерский монастырь. Художественным итогом этой экспедиции стал роман «Отчина», написанный Зуровым под печерскими впечатлениями и опубликованный в том же году в Риге.² Получить профессиональное историческое образование Л. Ф. Зурову не удалось, но он продолжал сохранять связи с академическим гуманитарным миром всю свою активную творческую жизнь.³

События революции и Гражданской войны, сознательный выбор в пользу Белого движения стали узловым моментом в биографии будущего писателя. На протяжении всей последующей жизни он постоянно возвращался в своем творчестве к этой эпохе, пытаясь осмыслить трагические события, произошедшие с его родной страной и с ним лично. Действие романов Зурова «Древний путь» (1933)⁴ и «Поле» (1938)⁵ происходит в годы Первой мировой и Гражданской войн на прифронтовых территориях, переходящих то к немцам, то к большевикам. Личный опыт участия писателя в Гражданской войне нашел также отражение в его более ранней повести «Кадет». Подобно самому Зурову, ее герой Митя записывается добровольцем в пулеметную роту.⁶

К теме русской смуты Л. Ф. Зуров подходил не только как писатель, но и как историк, имеющий дело с историческими источниками. Долгие годы он работал над романом «Зимний дворец» о событиях октября

² Зуров Л. Ф. Отчина. Рига, 1928.

³ Показательна в этом смысле ведшаяся Л. Ф. Зуровым в течение 35 лет переписка с преподававшим в Кембриджском университете историком-эмигрантом Н. Е. Андреевым. (Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Вып. 13: «Только Вы поймете следующий текст...»: Переписка Н. Е. Андреева и Л. Ф. Зурова. Таллин, 2013). Среди других корреспондентов Л. Ф. Зурова — историк и культуролог Г. В. Вернадский, филолог-медиевист В. И. Малышев, искусствовед В. В. Косточкин, историки Т. Н. Михельсон и П. А. Раппопорт, археолог В. В. Седов, директор Печорского музея М. С. Вильниц (см.: Зуров Л. Ф. Статьи и письма / Под ред. А. Пономарева. М., 2014. С. 49–90).

⁴ Опубликовано в 1934 г.: Зуров Л. Древний путь. Париж, 1934.

⁵ Опубликовано в 1939 г.: Зуров Л. Поле. Париж, 1939.

⁶ Зуров Л. Кадет. Рига, 1928.

1917 г. в Петрограде. Автор проделал большую подготовительную работу, собрав уникальные мемуарные свидетельства участников тех событий. Работа над текстом романа так и не была завершена, но сохранились ценнейшие воспоминания, записанные благодаря Зурову.⁷

Специалистам по истории Гражданской войны и Белого движения известны публикации Л. Ф. Зурова, посвященные истории Северо-Западной армии.⁸ Однако лишь сравнительно недавно появилась возможность более полно оценить вклад писателя в дело сохранения исторического наследия Белого движения.

В архиве Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына хранится немалое количество материалов по истории Северо-Западной армии. Значительную часть из них собрал сам Александр Исаевич Солженицын, находясь в вынужденной эмиграции в США. Собрание писателя составило основу архивной коллекции, в число переданных им материалов входил и личный архив Л. Ф. Зурова.⁹ Был сформирован отдельный фонд писателя (ф. 3),¹⁰ а собранные им источники по истории Северо-Западной армии были включены в состав фонда «Северо-Западная армия» (ф. 39).¹¹ Второй описью в состав фонда 39 включено собрание рижского отделения редакции альманаха «Белое дело». Во второй половине 1920-х гг. Л. Ф. Зуров занимал должность секретаря редакционной коллегии издания, которое выходило с 1926 по 1933 год.

⁷ Архив Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына (далее — ДРЗ), ф. 39 (Северо-Западная армия), оп. 2 (Архив «Белое дело»), д. 32 (*Н. Скородинский*. Ответы Л. Ф. Зурову на его вопросы относительно обороны Зимнего). Часть материалов хранится в архиве Лидского университета (Великобритания); см.: Балтийский архив. Русская культура... С. 59.

⁸ Особенно важной для историографии нам представляется его статья «Формирование Северной армии» (Белое движение на Северо-Западе России / Ред. В. Ж. Цветков. М., 2003. С. 17—29).

⁹ После смерти Л. Ф. Зурова, согласно его завещанию, его личный архив и архив семьи Буниных, хранившийся у него, унаследовала его добрый друг, преподаватель Эдинбургского университета Милица Эдуардовна Грин. Архив Буниных и часть архива самого Зурова в 1980-е — начале 1990-х гг. были переданы в архив Лидского университета (Великобритания). См.: *Белобровцева И.* «Предчувствие мне подсказывает, что я недолгий гость»: Переписка И. А. Бунина и Г. Н. Кузнецовой с Л. Ф. Зуровым (1928 — 1929) // И. А. Бунины: Новые материалы / Под ред. О. Коростелева и Р. Дэвиса. М., 2004. Вып. 1. С. 232—233). Значительная часть архива Л. Ф. Зурова (в первую очередь, материалы по истории Белого движения) через посредничество А. И. Солженицына попала в Москву.

¹⁰ ДРЗ, ф. 3 (Л. Ф. Зуров).

¹¹ ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 129—135.

У истоков этой серии стоял один из наиболее ярких и видных деятелей Белого движения на Северо-Западе России, светлейший князь Анатолий-Леонид Павлович Ливен (1873—1937). Участник Первой мировой войны, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, к 1919 г. Ливен сформировал на территории Курляндии Либавский добровольческий стрелковый отряд, более известный как «Ливенский отряд».¹² Летом 1919 г. отряд был переброшен на территорию Эстонии, где переформирован в 5-ю (Ливенскую) дивизию, вошедшую в 1-й стрелковый корпус Северо-Западной армии. Для характеристики личности А. П. Ливена представляется важным отметить его участие в идеологической и организационной работе антибольшевистской активистской¹³ организации «Братство Русской Правды» (БРП), просуществовавшей с 1921 до 1940 года.¹⁴ Князь Ливен был начальником Прибалтийского центра Братства, а в 1932—1934 гг. даже стоял во главе всей организации.¹⁵ Проживая в Латвии, он сотрудничал с рижской газетой «Слово», выходившей на деньги владельцев страхового общества «Саламандра» братьев Н. А. и С. А. Белоцветовых.¹⁶ А. П. Ливен предполагал использовать возможности братьев Белоцветовых для публикации материалов по истории Белого движения, в связи с чем была сформирована редакционная коллегия так называемого «Архива гражданской борьбы с большевизмом». В ее состав вошли сам князь Ливен, братья Белоцветовы, писатель Иван Созонтович Лукáш. Секретарем коллегии было решено назначить Л. Ф. Зурова.¹⁷

В конце ноября 1925 г. о планах Ливена стало известно генерал-майору Алексею Александровичу фон Лампе, начальнику II отдела Русского

¹² См.: *Рутыз-[Рутгенко] Н. Н.* Белый фронт генерала Н. Н. Юденича. М., 2002. С. 255.

¹³ Активизм — политическая доктрина части антибольшевистской эмиграции, стремившейся вести активную борьбу с правящим режимом в СССР. Активизм предполагал не только идеологическое противостояние советской власти, но и организацию террористических актов, проникновение на территорию СССР с диверсионными и разведывательными целями.

¹⁴ *Базанов П. Н.* Братство Русской Правды — самая загадочная организация Русского Зарубежья. М., 2013. С. 5.

¹⁵ *Рар Л. А., Оболенский В. А.* Ранние годы (1924—1948): Очерк истории Народно-Трудового Союза. М., 2003. С. 20.

¹⁶ Сотрудничал с газетой и Л. Ф. Зуров. См.: *Абызов Ю. И.* А издавалось это в Риге. 1918—1944: Историко-библиографический очерк. М., 2006. С. 86—87.

¹⁷ ДРЗ, ф. 39, оп. 2, д. 1: Протоколы заседаний редколлегии «Архива гражданской борьбы с большевизмом», л. 1.

Обще-Воинского союза (РОВС).¹⁸ Сам фон Лампе вынашивал идею издания подобных материалов, которое стало бы полемическим по отношению к уже выходявшему в эмиграции «Архиву русской революции» либерала И. В. Гессена и подобным ему изданиям. Эту идею генерал-майор обсуждал со своими соратниками еще в 1923 г., но не мог реализовать ее из-за отсутствия средств.¹⁹ Решением проблемы могли стать деньги Белоцветовых. В письме к фон Лампе, которое мы предположительно датируем декабрем 1925 г., А. П. Ливен, в частности, сообщал, что «типография Общества “Саламандра” с Николаем Александровичем Белоцветовым во главе заинтересованы (так! — П. М.) в деле с финансовой стороны и, вероятно, после переговоров возьмут на себя расходы по изданию. <...> Отклонять предложение “Саламандры” не рекомендуется, т. к. совместное издание с “Саламандрой” значит упростить финансирование предприятия».²⁰

Первый том задуманной серии вышел на деньги Н. А. Белоцветова.²¹ Петр Николаевич Врангель, ставший председателем созданного комитета нового издания, считал совершенно необходимым использовать слово «белый» в названии будущего альманаха.²² В итоге серия стала называться «Белое дело» с подзаголовком «Летопись Белой борьбы: Материалы, собранные и разработанные бароном П. Н. Врангелем, герцогом Г. Н. Лейхтенбергским и светлейшим князем А. П. Ливеном». Издавалась при этом серия не в Риге, а в Берлине, в издательстве «Медный всадник» Георгия Николаевича Лейхтенбергского, согласно условию, выдвинутому Врангелем и фон Лампе.²³ Кроме того, как следует из письма Л. Ф. Зурова А. П. Ливену, датируемого предположительно июлем 1926 г., Белоцветовы не хотели вести дело в открытую «под крылом “САЛАМАНДРЫ”», так как это может возбудить нежелательные разгово-

¹⁸ В ведение II отдела входили, среди прочего, и отделения РОВСа в Прибалтике; Латвийское же отделение возглавлял именно князь А. П. Ливен (см.: *Базанов П. Н. Братство Русской Правды...* С. 146–147).

¹⁹ Там же. С. 101.

²⁰ ДРЗ, ф. 39, оп. 2, д. 6: Переписка А. П. Ливена и Л. Ф. Зурова о сборе материала для архива «Белое дело», л. 9.

²¹ *Бортневский В. Г. Загадка смерти генерала Врангеля: Неизвестные материалы по истории русской эмиграции 1920-х гг.* СПб., 1996. С. 55–56. Финансовая помощь оказывалась предпринимателем изданию и в дальнейшем (см.: *Базанов П. Н. Книжное дело русской эмиграции: Курс лекций.* СПб., 2015. С. 85).

²² *Базанов П. Н. Братство Русской Правды...* С. 102.

²³ Там же. С. 83.

ры».²⁴ С точки зрения современного историка П. Н. Базанова, «Медный всадник» был своего рода прикрытием для «Братства русской правды».²⁵ Под видом представительства издательства и альманаха с аналогичным названием в близких к советской границе районах на территории Финляндии, Эстонии, Латвии и Румынии создавались особые отделы БРП для ведения работы в СССР.²⁶

Среди документов из архива Л. Ф. Зурова, хранящихся в Доме русского зарубежья, — протоколы заседаний редколлегии «Архива гражданской борьбы с большевизмом»; рукописи некоторых воспоминаний, присланных в редакцию; список адресов авторов альманаха; переписка, которую вели А. П. Ливен и Л. Ф. Зуров. Эти материалы свидетельствуют о том, что последний взвалил на себя огромную работу по собиранию мемуаров для публикации, ведению переписки с потенциальными авторами, литературной и редакторской обработке предлагавшихся к публикации текстов. В альманахе «Белое дело» были опубликованы литературно обработанные Л. Ф. Зуровым мемуары полковника Алексея Даниловича Данилова, посвященные истории его партизанского отряда, разросшегося со временем в 12-й Темницкий полк Северо-Западной армии.²⁷ После окончания работы над этими мемуарами (основной текст был, по-видимому, составлен к лету 1926 г., опубликован во 2-м томе альманаха в 1927 г.) Зуров предполагал заняться написанием истории Островского полка, в котором служил сам,²⁸ но, по-видимому, завершить эту работу ему не удалось.²⁹

²⁴ ДРЗ, ф. 39, оп. 2, д. 5: Переписка Л. Ф. Зурова о сборе материала для архива «Белое дело», л. 6 об.

²⁵ Базанов П. Н. Братство Русской Правды... С. 84.

²⁶ Бортневский В. Г. Загадка смерти генерала Врангеля... С. 67. По мнению В. Г. Бортневского, редакция альманаха «Белое дело» была де-факто организационным центром II отдела РОВС.

²⁷ Зуров Л. Ф. Даниловы // Белое дело: Летопись белой борьбы: Материалы, собранные и разобранные бароном П. Н. Врангелем, герцогом Г. Н. Лейхтенбергским и светл. князем А. П. Ливеном / Под ред. А. А. фон Лампе. Берлин, 1927. Т. 2. С. 158–196.

²⁸ ДРЗ, ф. 39, оп. 2, д. 5, л. 28 об.

²⁹ Интересно отметить, что по поручению рижского отделения редакции «Белого дела» над историей ливенской дивизии начал работать другой эмигрант-литератор, служивший в ней, — Анатолий Арнольдович Энш. Энш получил доступ к документам из архива Ливена, Дыдорова и других ливенцев. Мемуарист продолжал собирать сведения по истории ливенцев вплоть до своей кончины в 1936 г. Собранные им материалы сохранились в коллекции Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ, ф. Р-6054, оп. 1, д. 2: Энш А. А. Записки о белогвардейском отряде князя Ливена).

Помимо зуровской обработки мемуаров Данилова, в альманахе «Белое дело» были опубликованы воспоминания полковника Константина Константиновича Смирнова,³⁰ стоявшего у истоков Белого движения на Северо-Западе России, а также мемуары самого князя Ливена.³¹ Однако тематически серия охватывала все фронты Гражданской войны, и многие мемуарные свидетельства из числа собранных Л. Ф. Зуровым так и не были изданы на ее страницах.³² Значительная их часть была опубликована в издании «Памятка ливенца» в 1929 г.³³

В 1929 г. Л. Ф. Зуров по приглашению И. А. Бунина перебрался во Францию и отошел от дел, связанных с работой рижского отделения альманаха «Белое дело», не теряя интереса к истории вообще и истории Белого движения на Северо-Западе России в частности. В 1930-е годы писатель неоднократно участвует в археолого-этнографических экспедициях по русским районам Прибалтики. В 1935 г. Зуров отправляется в Эстонию на собранные русскими эмигрантами во Франции пожертвования (определенную поддержку оказал также Музей человека в Париже). В Эстонии он убеждает Отдел по охране памятников старины Министерства народного просвещения в необходимости реставрационных работ в звоннице Никольской церкви Печерского монастыря на основании исторических сведений, добытых экспедицией В. И. Синайского в 1928 г. Причем Зуров сам участвовал в этих работах как руководитель.

В 1937 г. Зуров вновь выступил в качестве одного из организаторов экспедиции в Печорский край, на сей раз совместно с сотрудниками Института им. Н. П. Кондакова, выросшего из Семинария, занятия которого Зуров в свое время посещал в Праге. В частности, в этой экспедиции он познакомился с историком Николаем Ефремовичем Андреевым, ставшим в дальнейшем его добрым другом. Еще одна экспедиция с участием Зурова состоялась уже в следующем, 1938-м, году.

Результатом зуровских экспедиций стали многочисленные записи ритуалов, говора, фольклора, сведений по топонимике и ономастике Пе-

³⁰ Смирнов К. К. Начало Северо-Западной армии // Белое дело: Летопись белой борьбы. Берлин, 1926. Т. 1. С. 193—244.

³¹ Ливен А. П., князь. В южной Прибалтике // Белое дело: Летопись белой борьбы. Берлин, 1927. Т. 3. С. 180—196.

³² Следует отметить, что среди авторов альманаха были такие видные русские мыслители-эмигранты, как И. А. Ильин и В. В. Шульгин. Кроме того, в альманахе были опубликованы «Записки» П. Н. Врангеля. Подробнее об истории издания альманаха см.: Базанов П. Н. Книжное дело русской эмиграции... С. 84—87.

³³ Памятка Ливенца. 1919—1929. Рига, 1929. Присланные рукописи сохранились в архиве Зурова (ДРЗ, ф. 39, оп. 2, д. 7, 8, 9, 30).

чорского края, зарисовки курганов и священных камней, сотни фотографий. Негативы были переданы Л. Ф. Зуровым в Музей человека в Париже, а его записи сохранились в его личном архиве. В составе фонда № 3 Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына сохранились следующие материалы археологических и топонимических экспедиций:

выписки из уцелевших записных книжек и полевых дневников за 1928 и 1935 гг.;

материалы археологической и этнографической разведки 1935 года;

выписки из переписных книг Псково-Печерской обители;

перечень деревень и дворов Печерской обители;

исследовательские материалы под следующими названиями: «Печерский край (материалы по этнографии). 1938 г.», «Курганы у Мишиной Мельницы (Печерский уезд). 1937 г.», «Изборск — Малы», «Пещеры — Мыльниково — Малая Пачковка — Пальцово — Рагозино. Топонимика», «Лезги — Новая Деревня — Кривск — Обозерский берег Псковского озера — Остров Семск — Городище. Топонимика», «Материалы для археологической карты Псковской губернии. Объяснение условных знаков»;

копия доклада о результатах произведенных Л. Зуровым летом и осенью 1937 г. в исторической области Сетумаа (Эстония) археологических и этнографических работ;

проект Центрального союза просветительных обществ, предусматривающий проведение работ по сохранению исторического наследия славян на территории Эстонии;

записка о произведенном обследовании древностей Печерского и Изборского края, о реставрации звонницы церкви Николая Ратного в Псково-Печерском монастыре и о результатах археологической и этнографической разведок в 1935, 1937 и 1938 гг.;

рисунки, схемы, планы местности, карты Псковской области, областей Эстонии и Печерского края за 1935—1938 гг.

В декабре 2014 г. часть материалов, собранных Л. Ф. Зуровым, была опубликована.³⁴ Публикаторами заявлено, что издание будет продолжено.

Во время своих поездок Зуров выступал и как собиратель исторических свидетельств по истории Северо-Западной армии. Прибалтика стала одним из основных мест расселения бывших участников Белого движения на Северо-Западе России³⁵ и пристанищем для самого писателя до конца 1920-х гг. В поездках Л. Ф. Зуров не упускал возможности побеседовать с бывшими солдатами и офицерами, так же как и с людьми, не

³⁴ Зуров Л. Ф. Статьи и письма.

³⁵ Подробнее об этом см.: Русское национальное меньшинство в Эстонской республике (1918—1940) / Под ред. С. Г. Исакова. Тарту, 2001. С. 23—24.

участвовавшими в боевых действиях, но ставшими свидетелями той эпохи. Воспоминания этих людей дошли до нас в его записях, хранящихся в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына. Особенно ценно то, что Зуров записывал в основном свидетельства рядовых участников событий, простых людей, которые редко оставляют мемуарное наследие. К тому же буквально через пару лет после последней экспедиции 1938 года Прибалтика вошла в состав СССР, что повлекло за собой новые преследования оставшихся там бывших белогвардейцев и сделало невозможным продолжение работ Зурова.

Записи Зурова в Доме русского зарубежья составляют 7 единиц хранения общим объемом в 1485 листов.³⁶ Писатель сам записывал рассказы своих респондентов, как правило, в школьных тетрадях или на отдельных листах бумаги чернилами или химическим карандашом. Зачастую текст записывался в спешке, поэтому почерк разбирается с большим трудом, а в некоторых местах, к сожалению, и вовсе не поддается прочтению. Воспоминания посвящены в основном событиям на территории Псковской губернии, где была сформирована Северо-Западная армия. Сам Зуров, видимо, предполагал тематически разделить собранные материалы и помечал отдельные рукописи надписями: «Псков» (описание формирования Северного корпуса в Пскове и оставление Пскова в конце ноября 1918 года), «Изборск» (о событиях в Изборске в это же время), «Печоры» (о событиях в Печорах), «Остров» (о событиях в Острове), «Талабск» (о формировании отряда из жителей Талабских островов) и т. п. Зуров проставлял даты в некоторых рукописях, хотя далеко не во всех. Наиболее часто встречаемая дата — 1938 год,³⁷ год последней экспедиции Зурова в Прибалтику, спонсированной Музеем человека в Париже.³⁸ Рукописи, датированные этим годом, объединены в одну архивную единицу хранения.

По мнению исследователя-реконструктора В. В. Кругликова, рукописи Зурова с записями рассказов участников и очевидцев Гражданской войны можно датировать собственно временем самой войны, точнее — 1919 годом. Кругликов мотивирует свою датировку следующим образом: «О том, что записи не редактировались и сделаны именно в этот период, говорит их внешний вид, — это ученические тетради, выпущенные до 1917 года, заполнены они различным почерком, то рваным и практически нечитаемым, видимо, когда записи делались под диктовку, то аккуратным и достаточно ровным, т. к. они создавались уже в более спокой-

³⁶ ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 129–135.

³⁷ ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 134: Зуров Л. Ф. Записи со слов участников Северо-Западной армии, л. 1, 41, 48, 60–62, 69, 74, 76, 81, 96, 104, 105, 117, 118, 124, 128.

ных условиях. Меняется цвет чернил, от черного к синему, и до пометок, сделанных простым карандашом. Интересно описание внешности и одежды очевидцев, чувствуется, что оно дается в условиях боевых активных действий, — рассказчики не в парадных мундирах и не в гражданских костюмах, как было принято в эмиграции». ³⁹ На наш взгляд, датировка эта всё же остается спорной и, во всяком случае, не может распространяться на весь комплекс записей Зурова, учитывая датировку ряда рукописей 1938 года самим писателем. Некорректно и утверждение о том, что все ученические тетради были выпущены до 1917 года: несколько тетрадей произведено во Франции, ⁴⁰ а одна — в Эстонии. ⁴¹ Во Францию же Зуров переехал в 1929 году по приглашению И. А. Бунина. ⁴²

Л. Ф. Зуров собрал свидетельства порядка 97 респондентов (точное число установить трудно, так как далеко не во всех случаях мы располагаем конкретными указаниями автора на личность опрашиваемого). 62 из них принимали участие в боевых действиях на стороне Белой армии, 35 — были очевидцами событий (среди очевидцев 11 респондентов-женщин). Большинство опрошенных составляли нижние чины Северо-Западной армии, что делает рассматриваемый источник особенно ценным.

Делая записи, Зуров сохранял особенности устной речи, передавал специфические черты псковского говора. В тексте встречается немало просторечных выражений, прекрасно передающих речь рассказчиков, простых, в основном, людей. Приведем лишь некоторые примеры (в цитатах сохранена орфография и пунктуация оригинального текста): «Свиной затрахнули. Было взято какое оружие, три лошади, кабан для довольствия и несколько молодых хлопцев, что работали. На скору руку был устроен из свиной обед...»; ⁴³ «[большевики] драпанули за 6 часов до

³⁸ *Зирин С. Г.* Голгофа Северо-Западной Армии. 1919–1920 гг.: Венок памяти соотечественникам. СПб., 2011. С. 144–145.

³⁹ *Кругликов В. В.* Талабский рейд осенью 1918 года: Проблемы датировки и состава. Хронология // <http://northwestarmy.ru/talabskij-rejd-osenyu-1918-goda-problemy-datirovki-i-sostava-xronologiya/> Сайт «Северо-Западная армия». Состояние на 20. 03. 2016.

⁴⁰ ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 130: *Зуров Л. Ф.* Записи со слов участников Северо-Западной армии. Тетрадь 1, л. 1–67; тетрадь 5, л. 1–65; Там же, д. 131, тетрадь 1, л. 1–54.

⁴¹ ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 129, тетрадь 3, л. 1–96.

⁴² *Любомудров А. М.* Зуров Леонид Федорович... С. 64.

⁴³ Из записи рассказа белогвардейца И. П. Изменова о реквизициях, проводившихся в местных деревнях (ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 129, л. 6).

того, как немцы пришли. А большевики смылись замечательно...»;⁴⁴ «мы в каждой деревне харчились, а не давали — производили обыск»;⁴⁵ «Смирнов — он не вояка — маленький, маленький, бородку отпустил, любил цукать всех, распоряжаться сильно. Плохого характера, задира, взрослый юнкер»;⁴⁶ «сестра милосердия, талабская жена, молоденькая девушка лет 19, все офицеры употребляли, каждый мог с нею дело делать».⁴⁷ Интересно и указание на этноконфессиональную принадлежность старшего унтер-офицера Копельского — *сету* (малочисленный финно-угорский народ, близкий к эстонцам, но традиционно исповедующий православие).⁴⁸

Основные сюжеты воспоминаний были определены самим Зуровым. В основном, речь в них идет о начальном периоде Белого движения на Северо-Западе России (1918 г.): оккупации Псковской губернии германскими войсками, формирования Псковского корпуса, оставления в ноябре Пскова и последующего отступления на территорию Эстонии. На этих свидетельствах в значительной степени основан очерк Зурова «Формирование Северной армии», также хранящийся в фондах Дома русского зарубежья и опубликованный в альманахе серии «Белая гвардия».⁴⁹ В современной историографии можно встретить и критическое отношение к историческим опытам самого Зурова, человека творческого и увлекающегося.⁵⁰ Тем ценнее представляется ознакомление с первоначальными источниками самого Зурова, которым пока не уделялось должного внимания.⁵¹

⁴⁴ Запись рассказа некоего Александра Ильича, служившего в 1-й артиллерийской батарее Псковского корпуса (Там же, д. 132, л. 2).

⁴⁵ Запись рассказа белогвардейца Томского (Там же, л. 164).

⁴⁶ Запись рассказа белого офицера И. С. Лукина о полковнике К. К. Смирнове, сыгравшем одну из ключевых ролей в формировании Северо-Западной армии (Там же, д. 133, л. 252).

⁴⁷ Запись рассказа кадета, служившего в Северо-Западной армии. Личность респондента не ясна, как и личность упомянутой сестры милосердия (ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 134, л. 9).

⁴⁸ Там же, д. 132, л. 38.

⁴⁹ Зуров Л. Ф. Формирование Северной армии... С. 17—29.

⁵⁰ Богомазов Н. И. Начальный этап Белого движения на Северо-Западе России. 1918 г.: Дисс. ... канд. историч. наук. СПб., 2011.

⁵¹ Исключение здесь составляет упоминавшаяся уже статья В. В. Кругликова, затрагивающая, впрочем, лишь один из эпизодов, о котором вспоминали респонденты Зурова (*Кругликов В. В. Талабский рейд осенью...*).

Ядро будущей Северо-Западной армии — Псковский корпус — возник на территории германской оккупации; его формирование началось 10 октября 1918 г. В воспоминаниях респондентов Зурова описываются обстоятельства, сопутствовавшие формированию корпуса, организация жизни армии, отношения местных жителей и новой военной силы. Особое внимание уделяется истории возникновения Талабского батальона (выросшего впоследствии в полк), сформированного из рыбаков Талабских островов Псковского озера. Основным организатором отряда выступил штабс-ротмистр (с 1920 г. — генерал-лейтенант) Борис Сергеевич Пермикин. Зурову удалось записать рассказ самого Пермикина о происходивших событиях (по мнению В. В. Кругликова, это было сделано еще в 1919 г.),⁵² который содержит немало интересных сведений, существенно дополняющих мемуары, написанные позднее самим Пермикиным.⁵³ Зуровым были записаны также свидетельства других участников и очевидцев возникновения Талабского отряда.⁵⁴

После Ноябрьской революции в Германии (1918) стало очевидно, что немцы не задержатся в Пскове и на оккупированной российской территории в целом. 21 ноября 1918 г. немецкие войска отошли вглубь оккупированной территории, а на следующий день произошли первые столкновения передовых советских отрядов и белых разъездов на территории Псковской губернии. Бои за Псков и Остров фактически развернулись уже к вечеру 24 ноября, а основное сражение за Псков произошло 25 ноября 1918 г. В этот день немцы неожиданно оставили без боя свой участок обороны, пропустив красные отряды в Псков. К вечеру 25 ноября 1918 г. советские войска заняли город. Последние белые части, потерявшие связь со штабом и блуждавшие в окрестных деревнях, переправились через реку Великую в ночь с 27 на 28 ноября 1918 г. Талабские острова были оставлены белыми 28 ноября 1918 г. Эти события на сегодняшний день достаточно подробно и точно описаны в историографии,⁵⁵ но подробнейшие свидетельства участников и очевидцев, собранные Зуровым, к сожалению, пока в поле зрения исследователей не попадали.

В записях писателя присутствуют как рассказы лиц, служивших в Белой армии, так и свидетельства гражданских лиц, проживавших на мо-

⁵² Кругликов В. В. Талабский рейд осенью...

⁵³ Пермикин Б. С. Генерал, рожденный войной: Из записок 1912—1959 гг. / Ред.-сост. С. Г. Зирин. М., 2011. С. 48—56.

⁵⁴ Подробный разбор этих свидетельств см.: Кругликов В. В. Талабский рейд осенью...

⁵⁵ См.: Богомазов Н. И. Начальный этап Белого движения...

мент описываемых событий в Пскове. Люди вспоминали о неразберихе и неорганизованности, царивших во время псковских боев и при отступлении на территорию Эстонии. При этом, естественно, в рассказах встречается и недостоверная информация, и противоречия, но чувства участников боев, личный опыт, атмосфера царившей сумятицы лучше всего передаются именно через эти индивидуальные свидетельства.

Немало интересных подробностей содержится в воспоминаниях о хаотичном отступлении из Пскова — через Изборск, Печоры, а также другими путями — на территорию Эстонии. Примечательны описания разбоев, учинявшихся в это время крестьянами села Сенно (рядом с Новым Изборском) под предводительством Василия Миколахина.⁵⁶ Миколахинцы грабили отступавшие части немцев и белогвардейцев, при этом какой-либо идейной подоплеки в этих грабежах, судя по всему, не было.⁵⁷ Сведения о действиях этой банды особенно ценны, так как в известной нам историографии ни личность самого Василия Миколахина, ни учиненные им разбои не становились предметом изучения и практически не упоминались.⁵⁸

Очень интересны записанные Зуровым воспоминания полковника Видякина. Видякин — один из первых мемуаристов Северо-Западной армии, еще в 1919 г. выпустивший агитационную брошюру, повествующую о ее возникновении.⁵⁹ Зуров записал рассказ Видякина в 1938 г. в Ревеле.⁶⁰ Видякин более подробно рассказывает об обстоятельствах

⁵⁶ ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 134, л. 54 об.

⁵⁷ Там же, д. 131, л. 15; д. 132, л. 139; д. 134, л. 54—54 об.

⁵⁸ А. В. Смолин упоминает о том, что «при отправлении со станции [Новый Изборск] состав [в котором ехал штаб Псковского корпуса] попал под обстрел местных крестьян» (Смолин А. В. Белое движение на Северо-Западе России. СПб., 1999. С. 45).

⁵⁹ *Видякин Б.* Краткая записка о возникновении Северного корпуса и дальнейшей его боевой деятельности. [Б. м., б. г. <1919>] Эта книга на сегодняшний день является библиографической редкостью. Отечественным исследователям она доступна благодаря архиву Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына (ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 128). В книге указано имя автора — Борис. Под этим именем он в основном и фигурирует в историографии, но, по данным современного исследователя из Эстонии Р. Абисогомяна, настоящее имя Видякина — Владимир Константинович (см.: Приложение к магистерской диссертации Р. Абисогомяна «Роль русских военных деятелей в общественной и культурной жизни Эстонской Республики 1920—1930-х гг. и их литературное наследие»: Биографический справочник. Тарту, 2007. С. 27).

⁶⁰ ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 134, л. 105.

своего личного участия в боях под Псковом и отступлении в Эстонию, об обустройстве в самой Эстонии. Впрочем, тот факт, что Зуров записывал воспоминания Видякина спустя 20 лет после описываемых событий, заставляет всё же отдавать предпочтение более раннему источнику.

В собранных Зуровым воспоминаниях встречаются и свидетельства о событиях 1919 г., хотя бóльшая часть респондентов рассказывала исключительно о 1918 г. Есть интересные воспоминания о набегах в тыл красных белогвардейского отряда «бабки» Станислава-Марии Никодимовича⁶¹ Булак-Балаховича. Записаны рассказы жителей Пскова о жизни в занятом войсками Булак-Балаховича городе в 1919 году.⁶² Интересны свидетельства псковитянок о популярности портретов атамана («портреты Балаховича рвали с аукциона, в большой цене был»);⁶³ а также семьи Шамбирских об истории с помилованием «бабькой» красноармейца, на груди которого висел крест.⁶⁴

Примечательны рассказы очевидцев о взаимоотношениях между местным населением и Белой армией, — вопрос об этих взаимоотношениях по сей день остается в историографии одним из наиболее дискуссион-

⁶¹ Иногда встречается вариант «Михайловича» (см., например: *Рутыг- [Рутгенко] Н. Н.* Белый фронт генерала Юденича... С. 112). Отец Булак-Балаховича, поляк по происхождению, носил двойное имя Никодим-Михаил (см.: *Белое движение: Исторические портреты / Сост. А. С. Кручинин.* М., 2014. С. 1143; *Богомазов Н. И.* Начальный этап Белого движения на Северо-Западе России. 1918 г.: Дисс ... канд. историч. наук. СПб., 2011. С. 55). Следует отметить также, что в некоторых источниках встречается иной вариант воспроизведения фамилии «бабки»: *Бей-Булак-Балахович*.

⁶² Псков был без боя занят эстонскими войсками, на тот момент союзниками русских белогвардейцев, в ночь с 25 на 26 мая 1919 г. 29 мая в город вошли части под командованием С.-М. Н. Булак-Балаховича. 30 мая, согласно приказу Главнокомандующего эстонской армией Йохана Лайдонера, вся власть в городе была передана Булак-Балаховичу. Последний установил в городе режим личной диктатуры, отличавшийся большой жестокостью (подробнее об этом см.: *Рутыг- [Рутгенко] Н. Н.* Белый фронт генерала Юденича... С. 113—114; *Смолин А. В.* Белое движение на Северо-Западе России. С. 142—143, 210—220).

⁶³ Запись рассказа Горошиной и Зензиновой (?) (ДРЗ, ф. 39, оп. 1, карт. 2, д. 133, л. 173).

⁶⁴ Запись рассказа Шамбирских (Там же, д. 134, л. 92). Эту же историю рассказывает журналист, редактор «Вестника Северо-Западной армии» Г. И. Гроссен в своих воспоминаниях «На буреломе» (*Нео-Сильвестр [Гроссен] Г. И.* На буреломе: Воспоминания журналиста. Франкфурт н/М., 1971. С. 56, 58).

ных.⁶⁵ По материалам записей Зурова можно сделать вывод о том, что отношения белых с местным населением, в первую очередь крестьянством, в 1918 г. были достаточно непростыми. Крестьянство не стремилось принимать ту или иную сторону в конфликте, преследовало прежде всего свои личные и сословные интересы, скорее враждебно относилось к белым, так как не видело в них реальной силы (в 1918 г. эта точка зрения была вполне справедливой), и тем более недоброжелательно относилось к реквизициям, которые они проводили. Имели место и случаи нападений крестьянских банд на хаотично отступавшие белые части, вроде упоминавшейся уже банды В. Миколашина. Конечно, основываясь только на мемуарных свидетельствах, нельзя делать окончательных выводов о том, поддерживало или нет крестьянство Белое движение, однако собранные Зуровым воспоминания, безусловно, могут дать дополнительные материалы для решения этого вопроса.

Леонид Федорович Зуров оставил после себя обширное наследие, которое лишь недавно стало доступным для большинства его соотечественников. Труды писателя и белогвардейца при всей их многогранности были неизменно направлены на сохранение памяти об исторической России и ее культурного наследия. Современной отечественной историографии еще только предстоит оценить их по достоинству.

Сохранение культурной и исторической идентичности, соблюдение национальной традиции стали одними из важнейших задач для русских эмигрантов. В письме к Н. Е. Андрееву от 11 сентября 1957 г. Л. Ф. Зуров писал о своих литературных текстах: «Всё это — преодоление отрыва от России, а преодолевать этот отрыв нашему, столь потерпевшему поколению — нелегко. Конечно, мое чувство истории усилено революцией, войнами и длительной жизнью на западе».⁶⁶ Думается, что подобным преодолением драмы собственной жизни в отрыве от родной земли было для Леонида Федоровича и собирание исторических свидетельств, вдумчивое изучение истории России. В письме к искусствоведу Владимиру Владимировичу Косточкину от 26 апреля 1960 г. Зуров писал: «...нас, русских, опять начинают обвинять в варварстве, говоря, что русские всегда были нигилистами, что они не являются историческим народом, так

⁶⁵ А. В. Смолин склоняется, скорее, к мнению о недоброжелательном отношении крестьян к белым (Смолин А. В. Белое движение на Северо-Западе России. С. 45, 180–191). Иной точки зрения придерживаются О. А. Калкин (Калкин О. А. На мятежных рубежах России. Псков, 2003) и отчасти Н. И. Богомазов (Богомазов Н. И. Начальный этап Белого движения на Северо-Западе России).

⁶⁶ Балтийский архив: Русская культура... С. 143.

как отрицают свою историю и издавна сами привыкли себя разрушать, что в каждом русском сидит сознательный или бессознательный нигилист-разрушитель. Всё это тяжело слышать».⁶⁷

Революционному разрушению и культурному нигилизму писатель-белогвардеец Леонид Федорович Зуров противопоставил кропотливый и вдумчивый труд по сохранению памяти об исторической России. Хочется надеяться, что собранные им свидетельства будут востребованы современной российской историографией и его труды послужат отечественной исторической традиции.

————— ⁶⁷ Зуров Л. Ф. Статьи и письма... С. 71. Горечь писателя была вызвана очередной антицерковной кампанией Н. С. Хрущева, приведшей, в частности, к разрушению памятников архитектуры, а также общим пренебрежительным отношением советского лидера к проблеме сохранения исторического наследия, отличавшим его публичные выступления.

РЕЦЕНЗИИ

Три книги для медленного чтения

Современнику, как бы он ни был начитан в отечественной литературе, трудно угадать, какие именно тексты, входящие ныне в культурный обиход, войдут в расширенный контекст литературной традиции. Мандат, выданный актуальной критикой, далеко не всегда признается действительным при перемене критериев актуальности. И всё же некоторые книги, так или иначе репрезентирующие поэтику и проблематику настоящего времени, могут с должным и достаточным основанием номинироваться культурной средой на значение, превышающее потребности нынешнего дня.

Наверное, безусловным лидером в ряду непосредственных претендентов на долгую и счастливую жизнь в искусстве является роман Евгения Водолазкина «Лавр», уже вскоре после выхода (2012) получивший всероссийское и международное признание. А далее под подозрением в серьезности намерений оказывается еще ряд текстов, которые без различия жанровых особенностей могут быть названы книгами для медленного чтения. И хотя у разных критиков порядок имен и номенклатура названий может различаться, есть книги, приоритет которых уже определился. Всё, что следует ниже, не столько запоздалые рецензии, сколько замедленные рефлексии — попытка вдуматься в эти избранные книги.

Пена дней из кипящего чана

Алексей Варламов. «Мысленный волк»

Если одной фразой аннотировать содержание романа Алексея Варламова, можно сказать так: это книга о том, как сто лет назад не стало России. Не стало так странно и страшно, что никто до сих пор понять не может — что же все-таки

случилось... При том, что это в той же мере *неисторический* роман, как и «Лавр» Евгения Водолазкина. Эти книги роднит особое отношение к историческому материалу: переживание непреходящего прошлого как обретение недостающего настоящего.

Алексей Варламов как никто другой воплощает в нашем времени классическую традицию отечественной литературы, не соблазненную доступной прелестью постмодернизма и не пораженную старческой немощью архаизма. Следуя своим принципам и своим интуициям, Варламов не стремится вписаться в формат. Как литератор он учится у тех, кого изучает как литературовед. И в то же время он понимает и принимает главное условие творчества: чтобы быть таким, как предшественники, надо быть иным. Он — иной.

Долгие годы целенаправленно работая над материалами по истории русской литературы первой половины прошлого века, Варламов накопил в себе критическую массу знаний, в которой началась цепная реакция понимания. Автор жизнеописаний Александра Грина, Михаила Пришвина, Михаила Булгакова, Андрея Платонова, Алексея Толстого и (что неожиданно, но логично) Григория Распутина обнаруживал в своих персонажах нечто большее, чем могли вместить их биографии. В чертах личности проступали контуры эпохи. Это требовало смены оптики. И вот — как замковый камень в своде — роман о русской катастрофе. Глубоко документированная феерия и хорошо темперированная фантазмагория, энциклопедия великой русской смуты: ее страстей и ересей, маний и фобий, парений и падений: р о м а н - а п о к р и ф.

В фабулу романа как бы заложена карта-схема силовых линий незримого магнитного поля, по которым выстраивались судьбы людей рубежной эпохи. Основное действие укладывается в период с 1914 по 1918 год. Роман сработан мастерски: проза начинается с языка, из которого возрастают образы, связанные сложными отношениями, а вокруг событий их жизни сгущается таинственная атмосфера, в которой проступает эсхатологическая перспектива эпохи. Невероятное так сопряжено с достоверным, а тайное с явным, что разъять образ минувшего на факты и фикции, не разрушив целого, уже невозможно.

И хотя Алексей Варламов с самого начала своей творческой биографии заражен нормальным классицизмом, эта книга входит в зону действия магического реализма — особенно если вести родословие жанра не от мифотворца Маркеса, а от мифомана Маркса. Идеология есть девиация религии, ее обезбоженная форма, и опыт российской катастрофы в этом разрезе — сеанс черной магии в национальном масштабе. Призрак бродит по Европе... мысленный волк! апокалиптический зверь, извращенным образом проникший в коллективное подсознательное российского общества.

Заглавие книги, согласно Сигизмунду Кржижановскому, есть словосочетание, которое «вправе выдавать себя за главное книги <...> книга и есть — развернутое до конца заглавие, заглавие же — стянутая до объема двух-трех слов книга».¹ Вот как объясняет Алексей Варламов заглавие своего романа: «Словосочетание “мысленный волк” восходит к одной из древних православных молитв, составленной Иоанном Златоустом, которая читается накануне святого причащения. Помню, когда я впервые прочел эту молитву — она меня поразила лексически, поразила художественно. Там есть такие слова: “да не <...> от мысленного волка звероуловлен буду”. Сам строй этой фразы проник в мое сознание, и я стал думать, что это такое, почему *звероуловлен*, кто такой “мысленный волк”. Чем дольше я над этим размышлял, тем больше проявлялся этот волк в моем романе...».²

Мистическая эманация, пронизывающая роман, снимает вопрос о достоверности событий, связанных сюжетом. Хотя едва ли не каждому персонажу соответствуют прототипы, один или несколько. Так в литературе по имени Павел Легкобытов синтезируются обстоятельства жизни сектанта Павла Легкобытова и писателя Михаила Пришвина. Так в образе Савелия Круда сводятся приметы реального писателя Александра Грина и предметы его романтических кошмаров. В то же время человеческий парадокс Василия Розанова (в романе — Р-в) представлен в биографической конкретности и психологической реальности. В процессе чтения можно сверять течение сюжета с хроникой эпохи, но разбирать досконально, что извлечено из документов, а что привнесено воображением, совсем не обязательно, — лучше положиться на свое чутье и довериться интуиции автора.

Особую, до конца не ясную роль в романе играет *дядя Том*, он же *старец Фома*; прототипом образа стал Владимир Бонч-Бруевич, большевистский агент в сектантском подполье, с победой революции — управделами Совнаркома. Это своего рода двойник и противник Григория Распутина, в романе не названного по имени, но наделенного сложным значением. Словно святой черт и падший ангел схватились за душу России и рвут ее на части...

Сложность сюжета не подлежит изложению. Пересказать роман — всё равно что насвистать симфонию. Семантика романа самоценна и самодостаточна. Конечно, в действительности всё было не так, как представлено в книге. Но ведь и на самом деле всё было не так, как в свидетельствах современников, которые опровергают друг друга. Когда умозрительное становится очевидным, а обыденное недоступным, репрессированная

¹ Сигизмунд Кржижановский. «Поэтика заглавий».

² <http://www.biblio-globus.ru/history>.

реальность теряет внутренние критерии. Сущее мреет, брезжит, грезится, блазнится, мерещится, мстится... Всё не то, чем кажется. В словах не осталось смысла. Для героя не стало долга. «Его жизнь обесценилась так же, как обесценивалось множество вещей. И в этом была суть революции — она не просто переворачивала людей, их право на достоинство, честь, совесть, имущество, она переворачивала смыслы, бросала их в грязный пенный чан и вываривала до бессодержательности». Опереться не на что, спастись нигде. Как и когда идеологический дискурс переходит в параноидальный бред, а революционная литургия становится террористической оргией, — определить никто не может. Мысленный волк не попадает в капкан логики.

Напряжение сюжета переходит не от события к событию, а из одного сознания в другое. Словно вслед охотнику, выслеживающему в ментальных дебрях мысленного волка, читатель идет сквозь череду миражей, которые персонажи романа до поры до времени считают своей жизнью. Реальность исподволь проникается колдовским мороком. Гипнотическое обаяние темных чар претворяется в наваждение. Душа выматывается в напрасных бореньях, — пока не останется ни цели, ни силы, ни воли.

Другая семиотическая линия книги — развернутая метафора *кипящего чана*. Образ опрощения, символ вырожденного народничества, впавшего в мистицизм, заимствован из русской сказки: бросишься в клокочущую стихию по доброй воле — выйдешь преображенным для лучшей жизни. Пади, чтобы возвыситься: когда всё грешное растратится и растворится, дух живой, испытанный отречением от своей воли, освободится от терзаний разума и мучений плоти. О, это головокружение на краю бездны... велик соблазн! на то он и соблазн. Харизматический лидер убеждает довериться ему и отказаться от себя. И не бояться преступить черту: «Только тот, кто познает грех и страсть, познает подлинную святость. Вы пришли сюда за добром, но сначала бросьтесь в чан кипящий, выпейте до дна чашу зла и станьте так же искушены и неуязвимы для него, как я».

Это логика религиозных изуверов. Но разве не так же радикальные революционеры увлекали нацию в кровавую купель — обещая воскресение в царстве любви и справедливости? И ведь увлекли же! «Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно в баню сходили и окатились новой водой...».³ Раскрещивание Руси как банька по-черному — с оргиями и угарами. Краснобаи и лжепророки, сектанты и студенты, богоискатели и богоборцы, просветители и мракобесы, путаники и параноики, оборотни и двойники — все так или иначе пропали в прорве котла. Кто решился, сам сига-

³ Василий Розанов. «Апокалипсис нашего времени».

нул, и так сгинул; кто не хотел, того столкнули, и каждый растворился во всех. Когда пространство внутри горизонта превращается в кипящий чан, спасение может явиться только как чудо.

* * *

Это проза без героя, но героиня в ней есть. Девочка Уля, девочка-мечта, которой не дали сбыться. Она могла летать и могла любить. Ни то, ни другое ей не было суждено. С ней стало то, что происходит со всеми грезами, не сумевшими приспособиться к действительности. В какой-то мере и в своем роде нечто подобное случилось с каждым из нас.

Рационального изъяснения русская история не имеет. Простите за избитую мудрость, — умом Россию не понять. А должно ли это нас обескураживать или обнадеживать — Бог весть. Надо подождать еще лет сто...

Как сказал современный исследователь связей эсхатологического сектанства и революционного народничества, — «В истории, однако, мифы работают эффективнее правды».⁴ И конец одной мифологии становится началом другой.

«Мысленный волк» Алексея Варламова, типологически сходный со «Степным волком» Германа Гессе, может стать своевременным аргументом в современной рефлексии общественного сознания, изживающего национальное самодовольство и национальное самоедство.

Алексей Варламов в темных подвалах новейшей истории обнаружил что-то очень важное. Не скелет в шкафу, а нечто пострашнее. Но это нечто не может быть верифицировано в семантическом плане. Ибо можно прояснить сущий смысл, но как просветить кромешную тьму? Перед явлением света тьма исчезает в тайне своего происхождения. Ее не уничтожить, поскольку она сама и есть ничтожество. Тайна сия велика есть.

Знание о тайне и знание тайны — это разные вещи. Но с чего-то надо же начинать...

Если мы не поймем, что произошло с нами сто лет назад, то и не заметим, как произойдет то же самое.

Тень человека в пустыне дней

Евгений Чижов. «Перевод с подстрочника»

Радостью от хорошей книги хроническому книгочею хочется поделиться с ближними, — особенно если широкому кругу читателей автор известен меньше, чем заслуживает. Однако этого автора я бы не стал ре-

⁴ Александр Эткинд. «Хлыст».

комендовать всем и каждому, а советовал бы только тем, чей вкус не испорчен бестселлерами.

Евгений Чижов — литератор среднего поколения, сформировавшегося вместе с новой эпохой. Он получил признание критиков как автор двух романов, чьи заглавия в семантическом смысле являются концептами: «Персонаж без роли» и «Темное прошлое человека будущего». Новый роман, «Перевод с подстрочника», убедительно доказывает, что у автора серьезные литературные намерения. Это хорошо написанная книга, что само по себе необходимая и достаточная причина чтения. Это хорошо темперированная проза, в которой нетерпеливость чтения поглощается неторопливостью повествования.

Критическая традиция требует предупредить читателя на входе в предложенный текст: какого рода эта книга? из какого она ряда? Мне кажется, сравнительными ориентирами здесь могут послужить две великие книги XX века — «Комедианты» Грэма Грина и «Дервиш и смерть» Меши Селимовича: притчи о том, как опасно для жизни, не уверенной в своих жизненных принципах, пытаться пройти незамеченной по нейтральной полосе между властью и совестью.

Фабула романа проста. Главный герой, московский поэт Олег Печигин, подражает переводу на русский язык стихи национального лидера одной среднеазиатской страны, — некогда бывшей советской республикой, а ныне ставшей феодальной деспотией. Чтобы не задеть ни одно из реальных государств, страна названа Коштырбастаном. Многострада́льный и малоизвестный поэт покупается на посулы старого друга, по национальности коштыра, и, рассчитывая на перемену участи, перебирается из российской эклектики в восточную экзотику: вживается в чужую жизнь и находит в ней свою смерть. Вот, собственно, и всё.

(Хотел автор или нет, но в подтекст его романа просачивается некрасивая история о том, как один известный поэт, человек широких взглядов, подрядился за хороший гонорар перевести на русский стихи туркменского тирана, — из чего вышел скандал, кончившийся гибелью другого известного поэта, оказавшегося слишком совестливым.)

Герой романа сродни базовым образам нашей литературы. Лишний человек, подверженный известным слабостям русской интеллигенции: пьянству и самоедству. Образ амбивалентен; в различных обстоятельствах места и времени герой способен как на поступок, так и на проступок. Он то такой, то этакий. А пока ни к чему не призван или не принужден, то вовсе никакой. Живущий кое-как в ожидании лучшего. О, эта вечная русская тоска о лучшей жизни!

По ходу сюжета герой проходит испытание любовью. Или, точнее сказать, не проходит его. Две женщины — как две надежды: одна, москов-

ская шалава, стильная и вольная муза житейского соблазна, обольщает и обманывает; другая, коштырская наложница, покорная и верная гурия райского миража, не оправдывается и не сбывается.

Ориентализм без романтизма порабощает разум наркотической зависимостью от превратностей судьбы: *кисмет* в исламе — проекция русского *авось* в дурную бесконечность. Иван-дурак, попавший в сказку из «Тысячи и одной ночи», не может полагаться на то, что дуракам всегда везет. И начинает понимать, что в этом сюжете ему несдобровать. Для того, кто сдуру сел не в свою арбу, выбор невелик: или моральная гибель, или физическая. Выводы подведены в древней мудрости: кувшин падает на камень — горе кувшину; камень падает на кувшин — горе кувшину.

Корни альтернативы уходят в непроглядную тьму веков. Власть обольщает поэтов прелестью славы и облагает податью лести. Для нас актуален опыт сталинской эпохи. В период культа личности служенье муз стало похоже на занятие проституцией. Трагический гений эпохи, ставший жертвой режима, делил явления искусства на разрешенные и написанные без разрешения: «Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух».⁵ Дело, на которое подрядился герой романа, — перевести вирши тирана из национального масштаба в интернациональный. Перевести с подстрочника, заменив в подтексте спертый дух застенка ворованным воздухом.

Поэт понимает, чем рискует; он видит, что из окружающей его действительности торчат ржавые гвозди, которыми сказка приколочена к жизни — намертво по живому. Но очень хочется попасть в случай... Вранье — как отравленное варенье, и лесть — как мед, к которому подмешан опиум. В резоны разума вкрадывается тайное сладострастие, свойственное отречению от своей воли. Затаенный запах животного страха перекрывается пряным ароматом поощряемого порока. Так отвратительно и неотвратимо дурманят разум наркотические миазмы цветов зла.

Проблема усложняется тем, что стихи, написанные тираном (или приписанные ему), в подстрочнике, данном для перевода, обладают художественной выразительностью и содержательностью. (В текст книги вплетены авторские верлибры, открывающие выход его поэтическому началу.) Вот, хотя бы, строки из касыды о пустыне: «...неисчислимое множество горячего песка, пересыпаемого ладонями горизонтов из пустого в порожнее и обратно в пустое». И еще: «...под голой луной тень человека достовернее его самого». Признаться, пробирает...

Диктатор Коштырбастана именуется Народный Вожатый. Возникают опасные ассоциации... Когда по отношению к президенту РФ риториче-

⁵ Осип Мандельштам. «Четвертая проза».

ское выражение *национальный лидер* в семантике официоза приобретает ритуальный характер, мне как либералу становится как-то не по себе. Это, конечно, еще не культ, но — культивирование. Каким образом авторитарная власть превращается в авторитарную? Даже политологи не определяют момент фазового перехода системы, а уж обыватели тем более. Очевидно одно: когда *соборная лигность* воплощается в образе вождя, народ *обезлигивается*.

Харизматический тиран внушает народу сакральный страх, который в гравитационном поле власти преображается в священный ужас; он не просто правитель, он — повелитель: в нем находят олицетворение гений места и дух времени. Всё это было бы смешно, когда бы не было так страшно. Давно ли нашей родиной владело такое же наваждение, воплощенное в образах вождей? Как сказал главный поэт эпохи, которая из царства свободы превратилась в лагерную зону, — «Я бы жизнь свою, глупея от восторга, за одно б его дыханье отдал». ⁶ Поэт вызывался быть добровольным донором Ленина; Сталин же всякое дыхание, даже хвалящее его, считал ворованным у него воздухом.

Книга Чижова разрывает порочный круг патриотической риторики — и переводит проблему выбора на другой уровень: внутренний. Зыбкая граница между Европой и Азией проходит через загадочную русскую душу. Как говорится исстари (со времени освобождения от татаро-монгольского ига): поскребешь русского — обнаружишь татарина. А ежели по Чижову — сокрытого коштыра; так яснее для морали. Ох уж эта наша евразийская природа! Вольность и сервильность явлены в русском менталитете нераздельно и неслиянно.

* * *

Нельзя сказать, что сарказм автора нарочит. Вероятность культа личности в нашем народе, много раз преданном и проданном оптом и в розницу, по ходу времени сходит на нет, — но никогда не исчезает в нетях. Слишком уж велик соблазн державного величия, гарантом которого явится личность самодержца. Если внимательно присмотреться к грезам евразийцев, одержимых образами грядущего, то в смутном видении Китеж-града проступают контуры не Третьего Рима, а Второй Орды.

Действительность есть зона компромисса между добром и злом, границы которой не обозначены. Захочешь обойти житейские трудности, пойдешь по кривой дорожке — и не заметишь, как зайдешь слишком далеко. И обратной дороги нет...

⁶ Владимир Маяковский. «Владимир Ильич Ленин».

С чего начинается сдача личности? Старая притча о куче зерна: одно зерно — куча? нет! а два? а три? когда число зерен начинает быть достаточным, чтобы считаться кучей? С невинностью всё понятно, а вот как утрачивается порядочность... Без компромисса с действительностью человеку ничего существенного в жизни сделать нельзя, однако соглашательство — дело опасное. Одна уступка, другая, третья... спохватился, хватился себя — ан поздно! Был человек, да весь вышел...

Пожалуй, ничто не показывает трагичность человеческой участи с такой наглядностью, как судьба поэта. Альтернатива XX века со смертельной ясностью выражена в жизненном пути двух великих русских поэтов, Владимира Маяковского и Осипа Мандельштама. Один, революцией мобилизованный и призванный, чтобы оправдать свое призвание, приравнял перо к штыку и наступал на горло собственной песне. Другой, заблудившийся в небе, чтобы не видеть ни труса, ни хлипкой грязи, ни кровавых костей в колесе, спасался от века юродством и дышал ворованным воздухом. Погибли оба. Мандельштама приговорил режим. Маяковский осудил себя сам.

Когда смысл жизни оказывается между молотом власти и наковальной совести, возможность выбора сжимается как шагреневая кожа.

Мифотворчество тоталитаризма — это ритуальное жертвоприношение: жрецы культа одурманивают лучшие надежды смутными грезами и отдают на разращение и растерзание кровавому кумиру.

* * *

Кто верит в человека, разочаровывается в людях. Такой вот парадокс. Образ Божий, данный как видовой идеал, в отдельных индивидах проявляется страшно искаженным. В подлунном мире тень человека достовернее его сути. Александр Пушкин так суммировал выводы мизантропии:

На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.⁷

В новом времени ему вторит Иосиф Бродский:

Скучно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй,
вот и мы!» Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта, «на всех стихиях...».

⁷ Александр Пушкин. «К Вяземскому».

Далеко же видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.⁸

Кстати... Или, скорее, некстати. Стихотворение Иосифа Бродского адресовано его старому другу, поэту Евгению Рейну. Тому самому, кто подряжался переводить с подстрочника вирши Туркмен-баши. Такая вот ирония истории...

Дорога в один конец, или Рок в личине долга

Леонид Юзефович. «Зимняя дорога»

Чем глубже в землю уходят кости павших за Родину, тем выше поднимается знамя Победы в Великой Отечественной войне. Величие подвига обусловлено масштабом события, возрастающим в контексте современной истории. В последнее время в проекте укрепления державного духа особое внимание уделяется также героике Первой мировой, прежде целенаправленно вытравляемой партийными идеологами из народной памяти. Восполнение пробелов необходимо для восстановления непрерывности исторического времени. Недоумение вызывает другое: из дискуссионного поля постепенно выводится самый сложный комплекс трагических событий, в отечественной историографии обобщенный понятием *Гражданская война*. Комиссары в пыльных шлемах и белогвардейцы в лихо заломленных фуражках, герои и жертвы легендарных сражений, отступают на периферию информационного пространства, теряясь в тумане забвения. Это неправильно. Это несправедливо. И это неразумно. Устранение из оперативной памяти травматического синдрома, связанного с расколом национального единства, расслабляет нашу настороженность к идеологии — и повышает подверженность соблазну разобрататься с внутренними врагами, руководствуясь интуитивным понятием правды. Ничего хорошего из этого выйти не может. Как бы ни были люди злы друг на друга, народ не делится на правых и виноватых. Правда, как она проявляется в эмпирике, не виза в Царство Божие на земле, а приманка в ловушке, поставленной дьяволом на людей.

Пожалуй, единственный современный литератор, для которого тема гражданской войны едва ли не профильная, это Леонид Юзефович — автор замечательных книг и лауреат престижных премий. По базовому образованию он историк, а по призванию — прозаик. Если книга-исследование «Путь посла» свидетельствует о его научной компетенции, то его исторические детективы демонстрируют незаурядное литературное мас-

⁸ Иосиф Бродский. «К Евгению».

терство. Что характерно: каждая новая книга пишется им иначе, чем прежние. Если роман «Журавли и карлики» (премия «Большая книга», 2009) полифоничен во всех смыслах бахтинского термина, то новая книга «Зимняя дорога» (2015) — стилистический монолит, явление редкой литературной цельности.

* * *

Леонид Юзефович — интеллектуал, но продуманная целесообразность его прозы направлена не к сложности, а к ясности. В диалоге с Захаром Прилепиным, представлявшим его книги как философские тексты, Леонид Юзефович с твердой сдержанностью отклонил такое истолкование: «Я не мыслитель, я — повествователь». Наверное, тут он не вполне прав. В увлекательных сюжетах его книг отложилась авторская историософия, нераздельно и неслиянно сочетающая фатализм с мужеством. История — дорога в один конец, и тем, кто идет по ней невесть откуда Бог весть куда, дано одно непреложное правило: дорогу осилит идущий. Историческая проза Леонида Юзефовича, помимо непосредственного удовольствия от чтения, имеет позитивное побочное действие — она прививает недоверие к идеологии. Особенно последовательно идейные наваждения общественного сознания развеяны в книге, о которой речь.

Документальный роман (это парадоксально точное обозначение жанра) «Зимняя дорога», вышедший в издательстве АСТ, рассказывает об одном из последних эпизодов Гражданской войны — героическом и трагическом походе Сибирской добровольческой дружины из Приморья в Якутию в 1922—1923 годах, окончившемся поражением и пленением белых добровольцев. В центре повествования противостояние двух эпических героев — белого генерала Анатолия Пепеляева и красного командира Ивана Строда. Как сказал автор в интервью журналу «Огонек», — «это рассказ о борьбе двух родственных душ, двух идеалистов, судьбой разведенных по разным лагерям, но сумевших сохранить братство в нечеловеческих условиях войны на Крайнем Севере. Эти двое — фигуры настолько яркие, что легко могут показаться продуктом художественного вымысла. Тем не менее, никакого вымысла в моей книге нет». Это так: каждая подробность фантазмагии, составляющей содержание романа, подтверждена надежными свидетельствами.

* * *

За что сражались герои, превратившие жизнь в борьбу? Общественные идеалы белого генерала Пепеляева были мотивированы идеями

русского народничества, опасно соблазнительными для носителей национальной идеи. Ах, как жадно впитывали молодые идеалисты, настроенные пострадать за правое дело, отравленную прелесть высокопарного агитпропа! Горе от ума становилось памятью сердца. «Иди в огонь за честь отчизны, / За убежденье, за любовь... / Иди и гибни безупречно. / Умрешь не даром: дело прочно, / Когда под ним струится кровь...».⁹ Ох уж эта несносная истеричка, муза мести и печали, продиктовавшая поэту-популисту эти скверные вирши! Ведь и красный комиссар Иван Строд, анархист и авантюрист, с детства впитал то же коварное вранье. Всякое кровопролитие по ходу Гражданской войны оправдывалось грядущим торжеством справедливости. Два противоборствующих дискурса сошлись в жестокой схватке за действительность, и сторонники каждого из них, не щадя себя, уничтожали противников, заливая кровью идеи, положенные в фундамент утопии.

По своим неясным намерениям Пепеляев, возглавивший поход на Север, склонялся к соблазнам сибирского областничества, колеблющегося между патриотизмом и сепаратизмом. «Всё это взывало больше к уму, чем к сердцу, но Пепеляев, по-русски легко умевший переводить идеи в эмоции, всей душой отдался надежде, что возрождение России пойдет с востока на запад». К тонкому и точному замечанию Юзефовича о переводе идей в эмоции можно добавить, что столь же верно и обратное: к несчастью нашему, харизматические вожди русского раскола умели концентрированные эмоции выдавать за консолидированные идеи. Наверное, никто из героев Гражданской войны не представлял себе с полной ясностью, за что он проливает кровь — свою и чужую. «Я полагал, — признавался Пепеляев, — что сам народ из глубины своей выдвинет те силы, которые создадут действительно народную власть». Для кредо этого маловато. Столь же смутны были политические идеи анархиста Строда. Сложись обстоятельства иначе, Пепеляев мог оказаться на стороне красных комиссаров, а Строд поддаться смертельному обаянию белогвардейской романтики. Ибо их общественные идеалы, странным образом сходные, были возвышенными, но невразумительными. Не случайно их жизненные установки к концу жизни словно перевернулись: Строд, удрученный свирепостью сталинских репрессий, мечтает убить вождя, а Пепеляев, просяяв опыт разочарований через сито тюремной решетки, склоняется к посулам советской власти. Ирония судьбы в том, что оба героя, белый и красный, в годы большого террора с безразличной безжалостностью осуждены советским судом. И в равной мере оправданы судом истории; они антагонисты, но не антиподы.

⁹ Николай Некрасов. «Поэт и гражданин».

Решающим моментом похода и центральным эпизодом романа стала осада селения из пяти бревенчатых жилищ со смешным на русский слух названием Сасыл-Сысы. Красный отряд стал на пути белого отряда, наступавшего на Якутск. Две долгих недели отчаявшиеся люди отстреливались от ожесточившихся людей — через бруствер, устроенный из мертвых тел, выложенных штабелем вперемешку с пластинами замерзшего навоза. Разрывные пули вонзались в эту жуткую ограду, и вышибленные мозги летели на осажденных вперемешку с разметанными фекалиями... Если бы автор романа сочинил этот эпизод, его обвинили бы в цинизме и садизме. Но — так было. День за днем, ночь за ночью осажденные на пределе сил удерживали позицию — и выдерживали характер, отказываясь сдаться. Раненые отлеживались в хлеву, и вши кишели на их гноящихся ранах. Убитые ложились на укрепление разбитого бруствера: мертвые прикрывали живых от смерти. Потрясенное открывшейся картиной, наше сочувствие склоняется на сторону красных. «Кажется, осажденные противостоят не столько другим людям, сколько хаосу и смерти, и мы не потому желаем им выстоять, что они во всем правы, а потому, что они всего лишены. Чем труднее им оставаться людьми, тем сильнее наша вера в их человечность. Нам хочется думать, что внутри этого магического круга все равны, объединены братской любовью и, как сироты, жмутся друг к другу в поисках последнего оставшегося в мире тепла». Если нужно найти психологическое обоснование моральной победы советской власти над белым делом — лучше не придумайшь.

Другой вопрос — что принесла эта победа народу и стране. То, что вышло в итоге, оказалось совсем не тем, за что люди убивали друг друга и гибли сами. Как всегда в истории, начиная с осады Трои, реальные итоги войны не совпадают с заявленными целями. Вот как интерпретирует фабулу романа в одном из интервью сам автор: «Стоит возвести эту ситуацию к историческим архетипам, к мифу, чтобы почувствовать бессилие человека перед ходом истории, перед фатумом. Ахилла и Гектора вел Рок. Но и Пепеляева, и Строда вел Рок в личине долга. Оставим им доблесть и благородство, забудем их заблуждения. Давайте смотреть на историю как на эпическую драму, а не как на происки каких-то злодеев, с которыми хорошие люди вовремя не поборолись. Последнее попросту непродуктивно. Судить должны современники, потомки — понимать». Попробуем найти понимание...

В чем урок этой истории? — задастся дотошный читатель детским вопросом, надеясь на вывод в конце текста как на выход из сомнений. Но простого ответа он не получит. «Мне трудно объяснить, для чего я написал эту книгу», — признается автор на последней странице. Но несколько ранее он проговаривается фразой, которую можно считать свернутой

историософской концепцией: «То, чего не удастся избежать, кажется потом неизбежным — так проще оправдать собственные ошибки». В какой-то мере эта мысль опирается на сходное суждение Шпенглера: «История — это образ, при помощи которого воображение человека стремится почерпнуть понимание живого бытия мира по отношению к собственной жизни — и таким способом придать ей углубленную действительность».¹⁰ Живое бытие умирает в идейной бедности, преобразуется в памяти и воскрешается в истории.

В чем мораль этой притчи? В горестном недоумении, остающемся в итоге. Мы так и не знаем, как нам обустроить Россию. Сто лет спустя для нас так же актуальна горькая правда Виктора Пепеляева (старшего брата героя этой книги), расстрелянного вместе с Колчаком: «Российские либералы слишком мало любят родину, а русские патриоты слишком дешево ценят свободу». Это было сказано о тогдашних антагонистах, левых и правых политических и общественных деятелях. С тех пор всё так переменялось и перепуталось, что уже не понять, кто есть кто. Те, что пошли налево, зашли слишком далеко, а правых по нашей жизни вообще нет — все, так или иначе, виноватые. И тот, кто дорожит и родиной, и свободой, обречен на трагическое противоречие.

Согласно Гегелю, суть трагедии отнюдь не в конфликте правды с неправдой. Трагическая коллизия возникает тогда, когда в схватке сходятся антагонисты, обладающие разными частями правды, — чтобы отнять у противника его часть и утвердить всю правду за собой. Что заведомо невозможно. Трагедия в том, что потерпевший поражение теряет всё, — но и одержавший победу не получает того, на что рассчитывал. В итоге Гражданской войны правды меньше, чем в начале.

Этим постулатом можно, наконец, завершить затянувшиеся рассуждения, — скорее запутавшие, чем прояснившие тему романа. Вместо назидательного вывода я бы присобачил к концу рецензии художественный образ — воображаемый памятник последним героям Гражданской войны. Я вижу его как мысленный монумент, воздвигнутый на полюсе недоступности, — там, где кончается дорога никуда. Посреди нескончаемой ночи на постаменте из глыбы замороженной крови стоят две статуи из прозрачного льда: два благородных врага соединены в смертельном объятии. Пурга отшлифовала скульптуры настолько, что они уже неотличимы друг от друга. Вокруг них белое безмолвие, под ними вечная мерзлота, над ними небесная бездна. И полярные совы, словно голодные ангелы, высматривающие чего пожрать, садятся на головы героев, роняя к их ногам помет, замерзающий на лету...

¹⁰ Освальд Шпенглер. «Закат Европы».

Пожалуй, последняя подробность — единственное, что могло бы понравиться в этой рецензии автору романа, чурающемуся нарочитого красноречия. Иносказание есть изысканная манера умолчания. Реальная история порой превосходит наше воображение, и то, что не вмещается в общепринятые понятия, обрабатывается риторикой до утраты сути — и пустое знание вытесняется из общественного сознания. Когда же старое зло, заговоренное риторикой, вознамерится вернуться в современность, мы можем его не узнать... Книга Леонида Юзефовича вообще-то не об этом. Но и об этом тоже.

Сведения об авторах

Андрей Алексеевич Аствацатуров (р. 1969) — писатель и филолог. Доцент кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат филологических наук. Автор научных монографий «Т. С. Элиот и его поэма “Бесплодная Земля”» (СПб., 2000), «Феноменология текста: игра и репрессия» (М., 2007), «Генри Миллер и его парижская трилогия» (М., 2010), «И не только Сэлинджер: Десять опытов прочтения английской и американской литературы» (М., 2015), а также около 150 статей, посвященных проблемам английской и американской литературы. Автор романов: «Люди в голом» (М., 2009), «Скунскамера» (М., 2011), «Осень в карманах» (М., 2015) и нескольких рассказов и повестей. Печатался в журналах: «Сноб», «Нева», «Октябрь», «ШО». Лауреат премий «ТОП-50» («Знаменитые люди Петербурга»), «НОС» (приз зрительских симпатий), финалист премий «НОС» и «Национальный бестселлер». Живет в Санкт-Петербурге.

Владимир Сергеевич Березин (р. 1966) — прозаик, критик, эссеист. Окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Литературный институт им. А. М. Горького, работал книжным обозревателем и редактором в «Независимой газете» и газете «Книжное обозрение». Печатался в журналах: «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир» и др. Долгое время занимался преподавательской деятельностью. Автор книг: «Свидетель» (2001), «Поляков» (2007), «Диалоги. Никого не хотел обидеть» (2008), «Путевые знаки» (2009), «Путь и шествие» (2010), «Птица-Карлсон» (2011), «Группа Тревиля» (2011), «Последний мамонт» (2012), «Виктор Шкловский» (ЖЗЛ, 2014) и др. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Москве.

Илья Владимирович Бояшов (р. 1961) — историк и писатель. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. Работал в Военно-морском музее, преподавал в Нахимовском военно-морском училище, был редактором в издательстве «Амфора». В настоящее время — ответственный секретарь журнала «Аврора». Автор более 10 книг прозы, среди которых — «Безумец и его сыновья» (2002), «Армада» (2007), «Путь Мури» (2007), «Повесть о плуте и монахе» (2007), «Господа офи-

церы» (2007), «Танкист, или “Белый тигр”» (2008), «Конунг» (2008), «Кто не знает брата Кролика!» (2010), «Каменная баба» (2011), «Эдем» (2012), «Жокон: История одной болезни» (2013), «Джаз» (2015). Лауреат премии «Национальный бестселлер» (2007) за роман «Путь Мури». Живет в Петергофе.

Дмитрий Львович Быков (р. 1967) — писатель, поэт, журналист, кинокритик, сценарист. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Член Союза российских писателей. Печатается в качестве колумниста в изданиях: «Огонек», «Общая газета», «Новая газета», «Труд», «Русская жизнь» и др. Автор нескольких сборников поэзии, сборников рассказов и публицистических статей, книг: «Борис Пастернак» (ЖЗЛ, 2005), «Был ли Горький?» (2008), «Булат Окуджава» (ЖЗЛ, 2009), «Советская литература: Краткий курс» (2012), «13-й апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях» (2016) и др., а также романов «Оправдание» (2001), «Орфография» (2003), «Эвакуатор» (2005), «ЖД» (2006), «Списанные» (2008), «Остромов, или Ученик чародея» (2010), «Икс» (2012), «Квартал. Прохождение» (2014), «Июнь» (2016). Лауреат Международной литературной премии им. А. и Б. Стругацких (2004, 2006, 2007, 2013), финалист и лауреат премий «Бронзовая улитка» (2006, 2009), «Портал» (2008, 2011), «Национальный бестселлер» (2006, 2011), «Большая книга» (2006, 2011), Бунинской премии (2011) и др. Живет в Москве.

Майкл Вахтель (р. 1960) — филолог, профессор русской литературы Принстонского университета (Нью-Джерси, США). Специалист по русской поэзии и поэтике, особенно по творчеству Пушкина и Вяч. Иванова. Среди его книг: «Russian Symbolism and Literary Tradition: Goethe, Novalis, and the Poetics of Vyacheslav Ivanov» (1994), «The Development of Russian Verse: Meter and its Meanings» (1998), «The Cambridge Introduction to Russian Poetry» (2004), «A Commentary to Pushkin's Lyric Poetry, 1826—1836» (2011). Публикатор многих архивных материалов о Вяч. Иванове, среди которых: «Dichtung und Briefwechsel aus dem deutschsprachigen Nachlaß» (1995) и «Вяч. Иванов, Лидия Зиновьева-Аннибал. Переписка» (2009, совместно с Н. А. Богомоловым и Д. О. Солодкой). Живет в Принстоне.

Александра Юрьевна Веселова (р. 1972) — кандидат филологических наук, научный сотрудник Отдела русской литературы XVIII века Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. Область научных интересов: русская литература XVIII века, взаимосвязи русской литературы с европейскими, театр, садово-парковое искусство. Автор ряда работ по творчеству А. Т. Болотова, Н. М. Карамзина, Я. Б. Княжнина, Н. А. Львова, А. П. Сумарокова и др., а также статей, посвященных вопросам развития теории садово-паркового искусства в России. Живет в Санкт-Петербурге.

Алла Михайловна Грачева (р. 1955) — доктор филологических наук, зав. Отделом новейшей русской литературы Института русской литературы (Пуш-

кинский Дом) Российской Академии наук. Область научных интересов: литература Серебряного века и первой волны русской эмиграции, творчество А. М. Ремизова. Автор более трехсот научных работ и публикаций архивных материалов, среди которых — монографии «Алексей Ремизов и древнерусская культура» (СПб., 2000), «Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910—1950-е годы)» (СПб., 2010), «Диалоги Януса: Беллетристика и классика в русской литературе начала XX века» (СПб., 2011). Главный редактор Собрания сочинений А. М. Ремизова (т. 1—10, М.: Русская книга, 2000—2003; т. 11—12, СПб.: Росток, 2015—2016, продолжающееся издание). Живет в Санкт-Петербурге.

Татьяна Михайловна Двинятина (р. 1971) — доктор филологических наук, старший научный сотрудник Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, заведующая библиотекой Института Восточной Европы при Университете г. Бремена. Область научных интересов: история русской литературы XIX—XX веков, поэтика и текстология, архивное дело и источники для писательской биографии. Автор публикаций о жизни и творчестве И. А. Бунина, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, Н. С. Гумилева, поэтах русского авангарда (А. В. Туфанов и др.). Подготовила первое научное издание лирики И. А. Бунина: Стихотворения: В 2 т. (СПб., 2014; Новая Библиотека поэта). Живет в Санкт-Петербурге и Бремене.

Владимир Александрович Ермаков (р. 1949) — поэт, эссеист. Заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России. Автор 13 книг, в том числе литературного дневника «Осадок дня» в 5 томах (2009—2014). Лауреат Горьковской литературной премии в номинации «Несвоевременные мысли» (2011 — за книгу «Птицы радости и печали»). Публикуется в журналах «Вопросы литературы», «Литературная учеба», «Дружба народов» и др. Отдельные эссе переведены на английский, финский и польский языки. Живет в Орле.

Владимир Владимирович Иванов (р. 1943) — искусствовед и богослов. Окончил Ленинградский государственный университет по специальности *история искусства* и Московскую духовную академию. Кандидат богословия. В 1960-е гг. разработал совместно с Михаилом Шемякиным теорию метафизического синтетизма. С 1975 по 1987 г. занимал кафедру церковной археологии МДА; в 1983 г. — священническая хиротония. В качестве приглашенного профессора читал лекции в университетах Германии, Австрии и США. С 1995 по 2009 г. — профессор Православного института Мюнхенского университета. Автор более 100 работ по вопросам религиозной философии, эстетики и искусства, вышедших на ряде европейских языков, в числе которых книги: «Russian Icons» (New York, 1988), «Russland und das Christentum» (Frankfurt am Main, 1995), «Петербургский метафизик: Фрагмент биографии Михаила Шемякина» (СПб., 2009), «Триалог: Живая эстетика и современная философия искусства» (в соавторстве с В. В. Бычковым и Н. Б. Маньковской; М., 2012), «Триалог plus» (в соавторстве с В. В. Бычковым и Н. Б. Маньковской; М., 2013). Живет в Берлине.

Габриэлла Элина Импости (р. 1957) — итальянская славистка, профессор русской литературы Болонского университета (с 2004 г.). Область научных интересов — русская классическая литература, творчество Велимира Хлебникова, современная русская литература. Занимается сравнительным изучением русского и итальянского футуризма, теорией русского стихосложения начала XIX века (автор монографического исследования об Александре Христофоровиче Востокове: Bologna, 2000), русским романтизмом и его отношениями с английской литературой (автор ряда работ о русских переводах английских и немецких авторов), творчеством современных русских писательниц, историей гендерных исследований в России, темой *фантастического* в русскоязычной литературе XIX—XXI веков. Автор многих эссе о Достоевском и Толстом, а также о кинематографии Анджея Вайды. Участница многочисленных международных конференций и симпозиумов. Живет в Болонье.

Михаил Яковлевич Кельмович (р. 1956) — писатель, поэт, дизайнер, психолог. Автор развивающих тренингов, построенных на основе учения о доминанте А. А. Ухтомского; автор метода психологического проектирования интерьера, разработчик метода оценки информационного оптимума образовательной среды. Автор книг: «Дизайн дома и квартиры: Психология современного интерьера» (2008), «Иосиф Бродский и его семья» (2015), а также серии книг, посвященных практике развития творческих способностей человека (2001, 2004, 2011, 2012), и трех стихотворных сборников: «Тайна рождения» (2002), «Святая ложь» (2003), «Окно» (2009). Лауреат художественной премии «Петрополь» (2015). Имеет ряд научных публикаций в области педагогики, психологии и физиологии человека. Живет в Санкт-Петербурге.

Людмила Федоровна Луцевич (р. 1951) — доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой восточноевропейской культурологии факультета прикладной лингвистики Варшавского университета. Сфера научных интересов: русская классическая литература; литературный процесс Серебряного века; *sacrum/profanum* в литературе; автобиографическая проза (дневники, мемуары, исповеди). Автор более 200 научных публикаций, в том числе десяти книг, среди которых — «Серебряный век русской поэзии» (1994), «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою» (1995), «Псалтырь в русской поэзии» (2002), «Русская псалтырная поэзия XVIII века» (2004), «Память о псалме» (2009); публикатор архивной рукописи Ф. И. Дмитриева-Мамонова «Псалтырь, переложенная на оды» (2006), научный редактор серии «Studia Rossica» (XVI—XXII, 2005—2012) и других изданий. Живет в Варшаве.

Петр Юрьевич Мажара (р. 1988) — кандидат исторических наук, ведущий специалист Российского Государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ). Окончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Область научных интересов — история Белого движения и русской эмиграции в XX в., история российских армии и флота, источниковедение. Живет в Санкт-Петербурге.

Павел Маркович Нерлер (р. 1952) — географ, историк, писатель, литературовед и публицист. Друг и ученик А. Штейнберга, С. Липкина, А. Тарковского и В. Микушевича. Издатель произведений О. Манделъштама, Б. Лившица и других поэтов. Инициатор и председатель Манделъштамовского общества. Член Русского Пен-Клуба, Союза писателей Москвы и других творческих ассоциаций. Автор около 600 публикаций по широкому кругу культурологических и филологических проблем, в том числе книг стихов «Ботанический сад» (1998) и «Високосные круги» (2013), а также книг о Манделъштаме — «Манделъштам в Гейдельберге» (1994), «С гурьбой и гуртом...: Последний год жизни Осипа Манделъштама» (1995), «Слово и “Дело” Осипа Манделъштама: Книга доносов, допросов и обвинительных заключений» (2010), «Осип Манделъштам и Америка» (2012 — 2 издания), «Сop amore: Этюды о Манделъштаме» (2014), «Осип Манделъштам и его солагерники» (2015), «“Посмотрим, кто кого переупрямит...”: Надежда Яковлевна Манделъштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах» (2015; автор идеи и составитель) и др. Лауреат премии имени А. Блока (2015), премий журналов «Новый мир», «Вопросы литературы» и сетевого журнала «Семь искусств» (все — 2014), финалист ряда других премий («НОС», «Писатель XXI века» и др.). Живет в Москве.

Сергей Анатольевич Носов (р. 1957) — прозаик и драматург. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор шести романов: «Хозяйка истории» (2000), «Член общества, или Голодное время» (2000), «Дайте мне обезьяну» (2001), «Грачи улетели» (2005), «Франсуаза, или Путь к леднику» (2012), «Фигурные скобки» (2015); нескольких книг малой прозы: «Внизу, под звездами» (1990), «Музей обстоятельств» (2008), «Полтора кролика» (2012) и др.; сборников эссе в жанре «другое краеведение»: «Тайная жизнь петербургских памятников» (2008) и «Конспирация, или Тайная жизнь петербургских памятников — 2» (2015) и многочисленных пьес: «Дон Педро» (1993), «Берендей» (1994), «Тесный мир» (1998), «Табу, актер!» (2002) и др. Лауреат премии «Национальный бестселлер» (2015) за роман «Фигурные скобки». Живет в Санкт-Петербурге.

Сергей Павлович Оробий (р. 1985) — литературный критик, кандидат филологических наук. Сфера научных интересов — современная русская проза. Автор монографий: «“Бесконечный тупик” Дмитрия Галковского: структура, идеология, контекст» (Благовещенск, 2010), «“Вавилонская башня” Михаила Шишкина: опыт модернизации русской прозы» (Благовещенск, 2011), «Матрица современности: генезис русского романа 2000-х гг.» (СПб., 2014). Живет в Благовещенске.

Андрей Михайлович Ранчин (р. 1964) — доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Автор более 550 работ, посвященных древнерусской словесности и культуре и русской литературе Нового и Новейшего времени, в том числе книг: «На пиру Мнемозины:

Интертексты Бродского» (М., 2001), «Вертоград златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях» (М., 2007), «Путеводитель по поэзии А. А. Фета: Учебное пособие» (М., 2010), «Древнерусская словесность и ее интерпретации: Маргиналии к теме» (Saarbrücken, 2011), «Путеводитель по “Слову о полку Игореве”: Учебное пособие» (М., 2012) и др. Живет в Москве.

Татьяна Робертовна Руди (р. 1961) — литературовед, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, член редакционных коллегий научных серий «Труды Отдела древнерусской литературы», «Русская агиография» и альманаха «Текст и традиция». Сфера научных интересов: древнерусская литература, текстология и источниковедение, поэтика средневековых текстов, агиографическая топики, творчество русского писателя XVI века Ермолая-Еразма. Автор более 130 научных работ, среди которых — монография «Житие Юлиании Лазаревской (Повесть об Ульянии Осорьбиной): Исследование и тексты» (СПб., 1996). Публикуется в ТОДРЛ, сериях «Русская агиография», «Книжные центры Древней Руси», «Библиотека литературы Древней Руси», журнале «Русская литература» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

Людмила Ивановна Сараскина (р. 1947) — доктор филологических наук, главный научный сотрудник Государственного института искусствознания (Москва). Член Союза российских писателей и Союза писателей Москвы. Лауреат Литературной премии «Большая книга» и Яснополянской литературной премии им. Л. Н. Толстого. Автор 20 книг, среди которых — «“Бесы” — роман-предупреждение» (1990), «Николай Спешнев: несбывшаяся судьба» (2000), «Достоевский в созвучиях и притяжениях: от Пушкина до Солженицына» (2006), «Испытание будущим: Ф. М. Достоевский как участник современной культуры» (2010), «Солженицын» (ЖЗЛ, 2009), «Достоевский» (ЖЗЛ, 2011) и др. Живет в Москве.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) — филолог, культуролог, профессор теории культуры и русской словесности университета Эмори (Атланта, США) и Даремского университета (Великобритания). Автор 29 книг и более 700 статей и эссе, переведенных на 17 языков, среди которых — «Парадоксы новизны» (М., 1988), «Философия возможного» (СПб., 2001), «Отцовство» (СПб., 2003), «Знак пробела: О будущем гуманитарных наук» (М., 2004), «Постмодернизм в русской литературе» (М., 2005), «Слово и молчание: Мегафизика русской литературы» (М., 2006), «Философия тела» (СПб., 2006), «Sola amore: Любовь в пяти измерениях» (М., 2011), «The Transformative Humanities: A Manifesto» (Нью-Йорк; Лондон, 2012), «Религия после атеизма: Новые возможности теологии» (М., 2013). Лауреат Премии Андрея Белого (1991), Международного конкурса эссеистики (Берлин — Веймар, 1999), Премии «Liberty» (Нью-Йорк, 2000) и др. Живет в Атланте (США).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Гузель Шамилевна Яхина (р. 1977) — писатель и сценарист. Окончила факультет иностранных языков Казанского педагогического института и факультет сценаристики Московской Школы кино (2015). Публикуется в журналах: «Нева», «Сибирские огни», «Октябрь», «Сююмбике», «Дружба народов», «Сноб» и др. Лауреат литературных премий «Большая книга» (первая премия, 2015), «Ясная Поляна» (2015), «Книга года» (2015) и «Звездный билет» (2015) за роман «Зулейха открывает глаза» (М., АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015); финалист премий «НОС» и «Русский Букер» (2015). Живет в Москве.

*Утверждено к печати
Институтом русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской Академии наук*

ТЕКСТ И ТРАДИЦИЯ

альманах

Том 4

Издательский редактор • *Андрей Дмитриев*
Оформление переплета • *Давид Плаксин*
Макет • *Сергей Степанов*

Редакция альманаха:
199034, Санкт-Петербург, В. О., наб. Макарова, 4
e-mail: tatianarudi@mail.ru

Подписано в печать 17.06.2016. Формат 70 × 100 ¹/₁₆.
Бум. офсетная. Гарнитура Октава. Печать офсетная. Печ. л. 28.
Тираж 1000 экз.
Заказ №

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В. О., 9-я линия, 12.

Согласно Федеральному закону
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред здоровью и развитию» книга предназначена
«для детей старше 16 лет».